23-1-14

1 р. 90 к.

Индекс 70331

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 3. 1—240.

ЗНАМЯ

3

1991

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Март



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

3

МАРТ
1991

Москва
Издательство
«Правда»

Содержание

Публицистика

Критика

Советую прочитать

Из почты «Знамени»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».

Булат Окуджава

А У НАС—ОДНИ РАЗДОРЫ...

Красный клен

Красный клен, мое почтение!
Добрый день, вермонтский друг!
Азбуки твоей прочтение
занимает мой досуг.

Каждый лист твой что-то важное
говорит ученику
в это жаркое и влажное
время года на веку.

Здесь из норвичского скверика
открывается глазам
первозданная Америка,
та, что знал по «голосам».

Здесь, как грамота охранная,
выдана на сорок дней
жизнь короткая и странная
мне и женщине моей.

Красный клен, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди средь всех и выдели
матерь сына моего.

Красный клен, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.

Американская фантазия

Столица северного штата — прекрасный город Монпелье.
Однако здесь жара такая, что хочется ходить в белье.

Да, да, в белье. Да, да, в исподнем. Да, да, пусть даже в прошлогоднем,
а впрочем, лучше без него,
как в том дарованном господнем, чтобы предстать пред этим полднем
рисунком тела своего.

Да, да, пожалуй, обнаженным, лишь долларами снаряженным,
в ладошке потной их держа.
И с этой потною ладошкой, как будто с деревянной ложкой
перед витринами кружа.

Моя московская ладошка, в тебя вложить совсем немножко,
и эти райские места благословят мои уста.
Мои арбатские привычки к простому хлебу и водичке
здесь обрывают тормоза, когда витрины бьют в глаза.

Удар — и вой в пустом желудке, не слишком явственный, но жуткий,
людей пугающий окрест.
Но этот тип на вид опасный — всего лишь странничек несчастный,
и он Вермонта не объест.

Глоток, и все преобразилось: какая жизнь, скажи на милость!
Я распрямляюсь наяву.
Еще глоток — и что там будет: простит ли Бог? Или осудит,
что так неправедно живу?

Да, этот тип в моем обличьи, он так беспомощен по-птичьи,
так по-арбатски бестолков.
Он раб минувших сентиментов, но кофию на сорок центов
ему плесните без долгов.

Дитя родного общепита, пустой еды, худого быта
готов к свершениям опять.
И снова брюхо его сыто... Но на ногах растут копыта,
да некому их подковать.

Америка в недоуменьи: пред ней прыжками, по-оленьи
я по траве вермонтской мчусь.
И, непосредствен, словно птица, учу вермонтцев материться
и мату ихнему учусь.

Жаркий полдень в Массачусетсе

Джоан Афферике

Какая-то птичка какой-то свисточек настроила вдруг на июль голубой.
Не знает заботы. Поет и стрекочет. Не помнит ни зла, ни обид за собой.
Он так неожидан, дебют ее сольный! Он так поражает и сердце и слух,
как дух Массачусетса, жаркий и вольный, как Латвии дальней полуденный дух.

Я музыку эту лелею и холю и каждую ноту ловлю и ценю,
как вновь обретенную вольную волю, которую сам же всю жизнь хороню...
Шуршание клена. Молчанье гранита. И птичка, поющая соло свое.
И трудно понять, где таится граница меж болью моею и песней ее.

* * *

Прикатить на берег крымский и на Турцию глядеть,
а потом взмахнуть крылами, оттолкнуться и взлететь
по чудесному капризу, по небесному лучу...
Проплывают лодки, рыбы, всё плывет, а я лечу!

Пролетаю я над морем, над стамбульской Галатой.
Подо мною жизнь иная, Рог довольно Золотой,
минареты, и трамваи, и бараньи шашлыки...
А у нас — одни раздоры, только слезы да штыки.

Вот стою уже я прочно на стамбульском берегу,
но гляжу на крымский берег, изогнувшийся в дугу.
Шею вытянул до хруста, мысли черные гоня:
неужели всё впустую? Как там нынче без меня?

Что за грозные решенья долетают сквозь туман?
То ли впрямь разоруженье, то ли заново обман?
Что там будет? Кем мы были? Кто мы есть и что нас ждет?..
А на пристани турецкий собирается народ.

Все дела давно забыты и веселье, и уют,
и они не тостов праздных и не манны с неба ждут,
ждут, чтобы Мазлум с Ахметом здесь, на краешке земли,
с русского на их турецкий боль мою перевели.

Турецкая фантазия

Виртуозней и ловчее истамбульского шофера
в целом свете, как ни бейся, не найти.
Каждый выезд — авантюра, приключение, афера,
роковые неурядицы в пути.

Он садится на сиденье в предвкушенье наслаждений,
он сознательно готовится к борьбе.
Сколько в граде Истамбуле непредвиденных течений,
где спасение таится лишь в судьбе.

Но судьба, как я заметил, это детище счастливых,
это им звучит мотив ее трубы,
ну а тем, кто видит счастье лишь в движеньях суетливых,
не до жиру, не до милостей судьбы.

Вот Ахмет, он спозаранку, чуть поел — и за баранку.
Он и кучер, он и рыцарь, он и плут,
и езда усугубляет его гордую осанку,
хоть шоферы ему форы не дают.

И когда машин лавины, словно танки, словно льдины
разнести его на части норовят,
тут ему подспорьем служат опыт, риск и жест единый,
и судьба, и обаянье — всё подряд.

Да, он вымотан, конечно. Да, чело покрыто потом.
Но в какой-нибудь случайной чайхане
он, отхлебывая чинно чай густой, что пахнет медом,
как паломник исповедуется мне.

И сливаются нежданно лики Запада с Востоком,
кейф с безумием, пускай лишь раз на дню,
но и скорбь о самом низком, но и мысли о высоком
под ленивую под нашу болтовню.

А потом опять баранка и коварная дорога,
и умение, и страсть, и волшебство...
Все безумное от Бога, все разумное от Бога,
человеческое тоже от Него.

* * *

Ты, живущий вне наших сомнений и драм,
расточающий благостный свет по утрам.
Ты, кому с придыханием мы говорим:
Тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим! *
Ты, кого за печали свои не корим,
и дороги к кому в бездорожье торим,
и за то, что живем, и за то, что горим,
и за всё, что во имя Твое мы творим,
тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим!

* * *

Сочиняет плов Мазлум из баранины и риса.
Жир бурлит, вода клокочет, пламя пышет в камельке.
И ковбоечка на нем золотая словно риза
и поношенные джинсы, и половничек в руке.

Он стучит по котелку, будто всё не достучится.
Пахнет дом травой и дымом и землею, и водой.
Жир задумчивый течет, рис рассыпчатый струится,
и Мазлум над ним колдует, молодой и чуть седой.

Он турецкий любит плов, а любой другой не любит.
Плову — наша благодарность, сочинителю — почет!
Или голод нас сомнет, или сытость нас погубит,
или-или, или-или, или нечет — или чёт.

* * *

Европа пьет водичку из Босфора
и Азия. Вода на всех одна.
Босфор для них — дорога и опора,
но кровь веков на дне его видна.

Неужто ради золота и пищи
от лет младых до гробовой доски
мы столько поистратили кровищи,
что сердце холодеет от тоски?

За все платить приходится жестоко
(все остальное — суета и прах):
за черный камень, брошенный в пророка,
за слезы на его похоронах.

* Тешекюр эдерим (тур.) — Благодарствуй.

Когда придут большие перемены —
не ради власти, злата и жратвы
очнется мир и вскроет себе вены
длиною от Босфора до Москвы.

* * *

Полночь над Босфором. Время тишины.
Но в стамбульском мраке, что велик и нем,
крики моих предков преданных слышны...
Инч пити асем? Инч пити анем? *

Если б можно было, как заведено,
вытравить из сердца, позабыть совсем,
но на древних плитах — черное пятно...
Инч пити анем? Инч пити асем?

Это ль не отрава? Это ли не яд?
Полночь быстротечна. Времени в обрез.
Если я не знаю, ты, мой дальний брат,
инч пити анес? Инч пити асес?

Японская фантазия

(песенка)

Когда за окнами земля кружиться перестала,
тогда Япония сама глазам моим предстала,
спеша, усердствуя, молясь и плача, и маня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

Пойду пройтись ночной порой на Гиндзу золотую,
костер удачи распалю, свечу обид задую.
Не зря я десять тысяч верст нащелкивал коня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

То брызнет дождь, а то жара, а то туман, о Боже!
Судьба на всех везде одна, знакомо всё, всё то же.
Как будто к дому я бреду перед началом дня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня!

Я так устал глядеть вперед с надеждой и опаской.
Пора уж как-нибудь остыть от трепотни арбатской.
Да, я москвич, и там мой дом и сердце, и броня...
Но между тем, себя храня, молитесь за меня.

* * *

Л. Люкимсону

Из Австралии Лёва в Москву прилетел,
до сестры на машине дожал,
из окошка такси на Москву поглядел —
холодок по спине пробежал.

* Инч пити анем? (арм.) — Что поделаешь? Инч пити асем? — Что тут скажешь?

Нынче лик у Москвы ну не то чтоб жесток:
не стреляет, в баранку не гнет...
Вдруг возьмет да и спросит: «Боишься, жидок?»
и при этом слегка подмигнет.

Там в Австралии вашей, наверно, жара
и лафа — не опишешь пером,
а в Москве стало хуже, чем было вчера —
правда, лучше, чем в тридцать седьмом.

По Безбожному, Лёва, пройдись не спеша
и в знакомые лица вглядись:
у Москвы, может быть, и не злая душа,
но удачливым в ней не родись.

Анатолий Приставкин

РЯЗАНКА (человек из предместья)

РОМАН

Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.

Н. Бараташвили (пер. Б. Пастернака)

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Вокзал — особая веха. От него начинаются все отсчеты, и не только километров. Сколько раз уже вот отсюда, от этой стрельчатой башни, от странных на ней часов без цифр — лишь знаки зодиака, пророчествующие судьбу, — уезжал я близко и далеко, и очень далеко, и даже так: безвозвратно.

В сорок первом году, ранней осенью — помнил лишь потому, что мама умерла в конце августа, а далее мы с сестрой еще месяц болтались сами по себе, — отец работал на военном заводе и никак не мог к нам вырваться... Так вот, где-то в начале октября, не ранее, отсюда, с Казанского вокзала, отправляли нас в Сибирь. Другого адреса не было: просто — Сибирь.

Помню, мы еще сфотографировались на память с отцом, и даже где-то сохранилась эта несчастная фотография: мы там втроем, странно притихшие, такие глаза были у всех в ту пору... Начало войны! Хоть ничего еще о себе по-настоящему не могли наперед знать.

Нас с сестренкой привезли тогда с вещами электричкой на Казанский вокзал.

Отец неумело, с помощью соседки-портнихи тети Дуни, собрал какое-то вовсе не зимнее барахлишко: ботинки, кепку, легкое осеннее пальто.

Была пасмурная погода. Первая белая крупка летела на дощатый перрон.

Взрослые, это были, как потом выяснилось, наши воспитатели, суетились, бегали, кричали, и в их громкой торопливости, как я теперь понимаю, была тоже паника перед неизвестностью, ведь и нас, и их посылали куда-то на восток, без адреса, без станции назначения. Без самых необходимых на первый случай вещей, даже без продуктов.

И все это вместе с тревожными сводками Совинформбюро, бомбежками, очередями за хлебом, солью, мылом, смутными слухами, зачастую противоречивыми, о подходе к Москве врага.

Я думаю, что взрослым (некоторых я помню: учитель ботаники Николай Петрович, мужчина средних лет с язвой желудка, еврейская семья с маленьким ребенком, учитель физкультуры, контуженный в Белофинскую) было в этот отъездной час на Казанском гораздо тяжелей, чем нам (хоть жалели больше нас), ведь они уже хлебнули войны: и на фронт провожали, и первые похоронки получили, и близких в Москве бросали, и даже, почти смутно, могли себе представить, каково им там, в этой зимней Сибири, достанется с нами.

Мы же были напуганы, но не настолько, чтобы все время переживать. Мы еще играли в осколки зажигательных бомб, как в игрушки.

Книга первая: «Слово о голубом экспрессе».

Мы даже с интересом лезли в вагон, куда нас заталкивали наскоро по нескольку человек на место, и еще не видели, чем станет этот отъезд и куда поведет нас наша Рязанка.

А дорога-то была медленной, голодной, далекой, мы неделями тащились от полустанка до полустанка, уходя все далее от опасных мест. Навстречу шли эшелоны с солдатами, пока не нюхавшими фронта и оттого бесшабашно веселыми, почти беззаботными... «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!» — И далее лихое: «И пойдут боевые тачанки!»

Верилось, что тачанками да клинками мы быстро, почти как в песне (хор Александрова), «разгромим, уничтожим врага!».

На каком-то разъезде, на Урале, мы стояли бок о бок с таким громкоголосым эшелоном, и щедрые солдатики швыряли нам, оголодавшим, в открытые окна, в двери куски хлеба, картошку, сало. Мы накидывались на жратье, но еще не рвали друг у друга, не убивались, не зверели, как случилось бы позже. Мы еще умели делиться добычей, помогать слабым, особенно девочкам, и в этом мы тоже еще были глубоко довоенными!

Но недалек был тот день, когда в деревне Зырянка Юргомышского района, где нас разместили в холодной школе, я собирал по изюминке — их давали на завтрак по пять штук вместо сахара, — чтобы подкормить голодающую пятилетнюю сестренку. Хлеб у нее отбирали старшие девочки. Да и все остальное тоже отбирали. Чтобы не умереть с голоду, она по ночам таскала из аквариума и поедала живых рыбок.

Ее поймали, избили.

Мы разъехались с тем веселым, еще как бы невоенным эшелоном в разные стороны; и хоть дороги наши разбежались: на Запад у одних и на Восток у других, — они пролегали одинаково через войну и вновь пересеклись нескоро, в сорок пятом, в сорок шестом.

Отец-солдат разыскал меня на Кавказе, дерганого, малорослого из-за недодобранных соков подростка. Но сколько тысяч километров намотал я, начиная с того дня на Казанском, — на крышах вагонов, в тамбурах, в угольных тендерах, между вагонами, а то и в собачьем железном ящике, подвешенном в самом низу, между колес!

В сорок первом, перед фронтом, когда отец нас провожал, ему было тридцать, и у него не было, как через пять лет, на висках седины.

Он бежал за вагоном у нашего окна и, улыбаясь, махал рукой. Наверное, он тоже думал, что все это ненадолго, и мы через полгода, через год встретимся и заживем нашей прежней домашней довоенной жизнью.

С Володькой Рушкевичем мы приехали в Москву из Кизляра. Меня забирал отец, а Володька упросил его, а потом и директора детдома отпустить в Москву. В Москве наш шеф, контр-адмирал Папанин. Володька надеялся, что с его помощью он попадет в школу юнг. Но директора и упрашивать не надо было: Рушкевич был переросток, пятнадцать лет, от таких избавлялись любыми способами, отсылая обычно в ремеслуху. Директор, как все директора, которых я встречал, был обыкновенной скотиной: туповатый, мрачный, не терпящий детей. Звали его, кажется, Иван Тимофеевич. Плотный, кряжистый, с красной налитой шеей, сытый, наглый, деловой. Отец угощал его вином, а мне объяснял, что так полагается.

На прощание тот вышел из дому, вряд ли он меня помнил в лицо, враскачку подошел, придвинулся, обдавая густым запахом «Шипра», и сразу определив, кто я, а кто Рушкевич, и желая моему отцу сделать приятное, велел нам обменяться пальто. У Рушкевича пальто на вид было лучше.

Ехали мы через Астрахань. Здесь на вокзале отец с кем-то торговался, произнося такие слова: залòм, полузалòм, балык... А потом мы шли по длинным пригородным улочкам с одноэтажными домами и тащили, аж плечи ломило, корзины с селедкой. Эту селедку мы потом с Володькой

загнали на люберецком рынке, чтобы оправдать, как пояснил отец, нашу дорогу. Торговали, помню, с удовольствием, а вот когда тащили через Казанский вокзал...

Володька был постарше меня, сильней, но и корзинка досталась ему увесистей. И он тащил, стараясь изо всех сил перед моим отцом. Детдомовцы знали цену хорошему отношению. То, что мне давалось теперь как бы даром, Володьке надо было отрабатывать. У меня же противная корзина натерла на плече косточку, и я заныл... Стал жаловаться, что мне тяжело. А рядом милиция, не дай Бог углядит, учует, что столько набрали селедки! Отец рявкнул на меня, впервые с момента нашей встречи. Он схватил корзинку и с оглядкой, не видел ли кто, взгромоздил ее, вторую, себе на плечо. Понес, покряхтывая, заставив меня тащиться позорно со своим вещевым мешком в хвосте. В то время как Володька победоносно вышагивал впереди, хотя я точно знал, что ему не легче моего.

Селедку у нас раскупили в момент, по червонцу пара.

Отец, забирая горстями пахнущие селедкой деньги, сожалел вслух, что мало мы ее в Астрахани взяли, такая удача — провезти, чтобы в дороге не протекла, да с колес втридорога продать! Ни долгов, еще и на жизнь осталось.

Мы получили по тридцатке в награду за труды и поехали смотреть Москву. В Москве — мы знали — существует Большой театр, Красная площадь, метро. И, конечно, Казанский вокзал: башня с часами.

Линий метро тогда было немного, кажется, всего три. От Казанского вокзала мы с Володькой спустились в просторный зал станции «Комсомольской» и доехали до конечной остановки «Сокольники», а потом до другой конечной, до «Парка культуры и отдыха имени Горького». Над лестницами-эскалаторами висели надписи, предостерегающие нас от того, чтобы не ставить и не провозить с собой тростей и зонтов. У нас не было ни того, ни другого.

Мы выходили на каждой станции, чтобы лучше все увидеть, их было тогда не очень-то много, и они казались странно пустыми, тихими, вдоль мрамора ощутимо гулял ветерок. Мы смотрели на свое отражение в этом мраморе, на хрустальные плафоны под сводами, на рельефы, на барельефы и всяческую цветную мозаику и отчего-то не приходили в тот долгожданный восторг, который нам представлялся по дороге сюда. В центре мы перешли на станцию «Площадь Революции». Володька придирчиво осмотрел фигуру партизана, изображенного как бы в засаде с пистолетом в руке, потрогал пистолет и разочарованно протянул: «Ненастоящий!»

Мы, пережившие войну, знали оружие не понаслышке. Видывали и бомбы, и мины, и снаряды, баловались разряженными лимонками, а впрочем, теперь я не уверен, что они были разряжены, кто это мог точно знать? Устраивали фейерверки из зажигалок, зажигательных бомб, подпалив их на костре.

Случилось в середине войны: нас, оборвышей из томилинского детдома, повезли на электричке, а потом на метро в Парк культуры и отдыха имени Горького. Не отдыхать, конечно. Здесь располагалась выставка трофейного фашистского оружия: пушки, бронемашины, танки с крестами на боках, всяческие минометы, в том числе и уродливый шестиствольный, прозванный нашими бойцами «Ванюшей». Ясно, в противовес любимой «Катюше». Вся эта грозная техника была свезена и выстроена на асфальтированной набережной Москвы-реки, ее мы увидели еще на подходе с Крымского моста.

А как увидели, так и рванули к ней, и собрать нас смогли нескоро. Ошалевшие от свободы, речного простора и всей этой невиданной панорамы, мы пошли на приступ выставки, беря с ходу танк за танком, как настоящие войска.

Наверное, покажется странным, но мы никак не чувствовали себя жертвами этих, подбитых в бою, танков, пушек и шестиствольных чудовищ.

Да, мы знали, не могли не знать, что мы дети войны, а вся эта устрашающая техника, изобретенная на заводах Круппа (его имя, как главного фашистского буржуя, мы помнили со школы!), пусть теперь

и мертвая, была направлена против нашей страны, против наших воюющих отцов, а значит, и против нас лично.

Но, захватив ее, облапав, обсмотрев, мы числили ее как бы своею. Полагаю, что взрослые, те из них, кто побывал на той известной выставке, воспринимали каждое выставленное орудие иначе, чем мы, и куда драматичней.

Мы же обращались с ней по-свойски: втискивались в узкие башни танков, с еще не выветрившимся запахом от пороха, карабкались на высокие лафеты дальнобойных орудий, норовя всунуться глазами внутрь сверкающих стволов со снятыми замками, рассматривая, как в подзорную трубу, противоположный берег.

Первая же мысль, посетившая нас, мысль недоступная, конечно, ни одному взрослому, была о том, что вся эта свалка железа, которая несла нам смерть, может нам пригодиться теперь для жизни. Помнится, у Виктора Гюго Гаврош с приятелями ночует внутри каменной скульптуры слона. Господи, да наш изобретательный, изощренный войной ум находил местечки куда позамысловатей! Мы ночевали в катакомбах, в подвалах, в трубах, в цистернах, в старых могилах, наконец. А место под любой пригородной платформой было как дом родной! Но еще и товарняки, и паровозные тендеры, и угольные ямы, и норы в дровяных складах, и прочее в том же духе.

Теперь ко всему этому прибавлялась захваченная нами трофейная выставка. Помню, двое или трое из наших так и не захотели из нее уйти, облюбовав броневые склепы машин, и лишь нескоро, когда выставку потащили на переплавку, появились опять в Томилине.

Выставку фашистской трофейной техники к зиме закрыли. Но она оставила неизгладимый след в наших путаных, темных, деформированных, как эти танки, но еще живых душах. Нашим бы душам да панцирь, как раку-отшельнику, из броневой стали! Господи! Сколько бы мы прожили!

Метро Володьке не понравилось. И Москва не понравилась. Дело вовсе не в том, что город был плох. Просто Москва не приняла Володьку. Он это кожей почувствовал.

Целыми днями он дежурил у парадного подъезда чиновного, очень на вид представительного здания Главсевморпути на улице Степана Разина. Далее дверей его не пустили, и никто его не принял, а о Папанине, главном начальнике, шефе нашего спецдетдома, и говорить нечего.

Да и какой он был шеф, скорей, охотник, приезжавший в кизлярские камышовые заросли Терека пострелять диких кабанов. Но его самого словили, затащили в наш грязненький детдом. Нас приумыли, почистили, тех, кто без заплаток, выставили вперед, и тут, на площадке, во дворике, мы что-то громко и нескладно прокричали в честь героического полярника и новоявленного шефа. Перед нами стоял толстенький человек, с одутловатым лицом и щеточкой усов. Глаза у него были застывшие, ледяные, может, поморозил на Северном полюсе? Вряд ли он нас видел. Его на минуту вывел директор Иван Тимофеевич и сразу увел домой, а мы еще долго торчали на дворе, не зная, что нам теперь делать и как дальше жить. Знаменитых людей мы еще ни разу в своей жизни не видели.

И уж какой был восторг, когда нам сказали, что самых старших, всего несколько человек, Папанин (сам!) приглашает в свой вагон, который стоит на запасных путях.

Спотыкаясь о высокие ступени, робея, мы поднялись в странный для нас вагон, мы еще не знали, что бывают такие вагоны: как бы дом на колесах и все для одного человека, и он, то есть Папанин, живет здесь среди челяди и ординарцев. Мы прошли в красного дерева двери и встали вдоль стенки, не имея права присесть, уж слишком все было в коврах. Но нам и не предлагали присесть, и правильно: еще вшей нанесем! Спасибо, что пустили! Спасибо, что разрешили посмотреть, подышать одним воздухом со знаменитостью!

А Папанин, шумно отдуваясь, будто он перед тем долго бежал, тыкал короткими руками в свои охотничьи трофеи, в кабаньи оскаленные морды, развешанные на коврах, и прихихикивая, как клоун в цирке, спрашивал: «А! Ну как? Впечатляет? Вот этого я в голову, он на меня кинулся... Такая харя!..» А мы потупливались, не зная, как себя вести и что говорить. Но нас никто ни о чем не спрашивал. Говорил только сам Папанин.

Продемонстрировав висящие головы, он стал прощаться, его уже торопили на охоту. И он стал вдруг деловым и оттого еще более комичным, потому что лучше всего, пусть это и смешно, он выглядел, когда хихикал и ругался. Теперь же он стал важно поучать. Трудно связывая слова, путаясь в глаголах и спряжениях, он сказал, что страна делает для нас все возможное, чтобы нам, то есть ей, стране, надо, чтобы... «В общем, трудное время, братцы...» Он так и сказал: «Братцы», — и нам стало приятно. Это мы-то, рвань беспризорная, обреченная на скорое вытуривание из детдома, в галошах на босу ногу... А все-таки — «Братцы!».

— Надо жить экономно, — сказал Папанин. — Всем трудно, братцы... Всем! Вот я на льдине... Суп сварим, поедим, а остатки снова водичкой разбавим и снова поедим...

О льдине он заговорил, наверное, по инерции, зная, что о ней обязан говорить. Привык уже. А мы смотрели на щеточку усов, комичную, почти как у Гитлера (в фильме про Швейка). Мы смотрели и прикидывали, что же нам разбавлять, если наша затируха — мука, вода и лук — уж настолько разбавлена, что если дальше разбавлять, то будет чистая вода.

Но тут ординарец, стоящий так, что мы при желании не могли бы придвинуться к Папанину вплотную и чем-нибудь заразить его — а мы-то уж, конечно, зараза! стоит взглянуть, чтобы понять: и парша, и чесотка, и глисты, и вши, — шепнул вроде того, что пора, Иван Дмитриевич! Машины, охота, горком... И Папанин стал торопливо прощаться, отступая от нас и уже глядя застывшими, подернутыми ледком глазами куда-то вдаль. А мы-то рассчитывали, что хоть по куску хлеба или по конфеточке-подушечке в конце даст! Но разочарования не было, а была счастливая благодарность: мы, наверное, догадывались, что больше нам и такого не предвидится — стоять рядом с великим человеком и слушать его замечательные слова, и ощутить себя с ним б р а т ц а м и. Это ли не счастье! Это ли не залог на будущее, что поможет. Но Володьку на проходной и слушать не стали о каком-то шефстве... Что еще за шефство! Какое? Над кем? Это что? Предприятие? Завод? Колхоз? Мальчик, ты не разобрался, он же контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза! Иди, мальчик, отсюда! Иди по-хорошему! Мало ли куда он ездил, он повсюду ездил! Со всеми общался, но всем помочь он не может... Так что иди, иди!

Володьке надо было жить, и он поступил в ремеслуху. Это была та самая знаменитая люберецкая ремеслуха, из которой вышел первый космонавт Юрий Гагарин. Там, у здания училища, теперь ему и памятник стоит: звездный человек, знаменитый на весь мир. Но тут учились и будущие работяги: слесари, жестянщики, которые звезд не хватали. И никто, конечно, не помнит Володьку Рушкевича, который тут пробыл всего два месяца. Он вдруг решил возвращаться обратно в Кизляр. Хоть не дом, а детдом, но, наверное, отсюда, из казенной Москвы, он показался Володьке в ту пору родней родного.

Была осень, теплая, но Володька был в пальто, в моем пальто, он так и не захотел обменяться обратно, проявив и в этом характер, а под пальто был надет рюкзачок, так что Володька казался чуть-чуть горбатым.

Мы постояли на Казанском вокзале, но вовсе не как друзья. Мы и в детдоме не были друзьями, и в Москве не сдружились. Да и положение теперь, Володька хорошо помнил, было у нас неравное.

Вместе с отцом я получил всё: дом, семью, уверенность в будущем, а значит, стал другим человеком. Я был для Володьки, как Гагарин для ученика из ремеслухи, вознесшийся в космос. Володька же возвращался в бесправный, убогий мир детдома, где самой большой опорой в жизни было вывешенное на стене письмо нашего шефа Папанина, драгоценность, обрамленная в рамку. В этом письме он заверял нас в своей любви.

Володьку, это потом выяснилось, даже обратно в детдом не приняли. Директор, свиное рыло, наотрез отказался от бывшего воспитанника,

мотивируя тем, что тот сам, добровольно, так сказать, ушел из детдома. Пусть теперь и гуляет, где хочет. В Москву ему, видишь ли, захотелось, к самому Папанину! Володька устроился в ремеслуху в Грозном. Так он написал потом. А сейчас мой дружок стоял передо мной, среди общей суматохи на этом самом Казанском вокзале, и почти беспечно поглядывал по сторонам. Все было у нас сказано. Мы молчали, ожидая отправления. Башенные часы предсказывали своими знаками неблизкую дорогу.

— На крыше, значит? — переспросил я.

— На крыше.

И Володька улыбнулся так, как он улыбался, когда нес на плече тяжелую селедку. Вроде бы ему такая езда нипочем.

— А если снимут?

— Не снимут.

— Но милиция?

— Ладно. Пока.

Мы посмотрели в глаза друг другу. Нет, не было у нас с Володькой равных отношений, но сейчас как-то все отлетело. Жалко стало. Жалко и больно отчего-то. Он увидел это по моим глазам и отвернулся. Шагнул от меня и лихо мотнул рукой: «Пока! Отцу передай...» Что уж там передавать отцу, я не понял. Да и, думаю, что Володька сказал потому именно, чтобы не слышать, как я могу его вслух пожалеть.

Он втиснулся между другими безбилетными в узкое межвагонье, чтобы тотчас же, когда поезд отойдет от столичного, напичканного милицией вокзала, вместе с другими полезть на крышу, где всем и всегда хватало места.

Так ездила половина России в те времена, располагаясь между круглыми вентиляторными трубами во всю длину с мешками, сумками, сундучками, а то, бывало, и с мелкой домашней живностью. Однажды я сам видел, как везли на крыше козу. И спали там, и ели, и нужду по-малому справляли, презрительно поливая на окна тех, кто ехал с удобствами внизу.

И я так ездил, да и вся наша беспризорщина считала крышу своим личным, надежным плацкартом. И никто не смел гнать нас. Да и как сгонишь, очисть один вагон, так все на другом будут.

Володька доедет, я не сомневался. И не это меня сейчас тревожило. Он был последним звеном, звенышком, соединявшим меня с прежним моим, трижды проклятым миром. С Володькой, с его отъездом, связь с детдомом, но и с детством, но и с войной обрывалась, как мне казалось, навсегда.

Я встал и вышел в тамбур. Если бы я курил, то непременно бы сейчас закурил. Нечасто я вспоминаю проводы Володьки и короткое, единственное письмо от него.

Почему я тогда не ответил? Работал? Ах, ну да. Я пошел тогда работать, одновременно я учился по вечерам.

Я потоптался у дверей вагона, глядя в перспективу вокзала, где из метро, из подземного вестибюля, появлялись люди и рассыпались, каждый торопился к своему поезду.

В то давнее время этого стеклянного павильона-выхода не было.

В ранний предрассветный час, особенно дремотный и тяжелый, я вылезал из душноватого вагона, ощущая сразу холодный озноб наступающего утра.

В сумрачной, молчаливой толпе приезжих я брел на желтый свет фонарей у внутренней стены вокзала, потом вдоль нее, левей; я, как и остальные, по покатому, всегда почему-то мокрому асфальту, как бы стекал между торцом вокзала и странными, барачного типа строениями на широкую и даже в этот час многолюдную Комсомольскую площадь.

В строениях располагались тогда багажные отделения, всяческие склады и билетные кассы.

Окошечки в этих кассах были круглые, на уровне пояса, и надо было, изловчившись, не только руку, но еще и голову одновременно всунуть, чтобы краем глаза заглянуть в темное нутро и крикнуть неведомому кассиру: «До Люберец». И чья-то рука выхватывала у тебя деньги и совала взамен картонный билетик. Для того же, чтобы получить сезонный билет, необходимы были две справки: с места работы и с места жительства, да еще фотография с подписью и печатью. Иной раз к печати придирались, и приходилось неделями ездить без сезонки. В другой же раз можно было наляпать, намазав чернилом пятак, и сходило.

Кстати, благодаря тем давним сезонкам у меня остались на память с десяток крошечных фотографий, сероватых отпечатков, сохранивших меня тех времен, но будто и не меня, а какого-то странного подростка, коротко остриженного, с чубчиком, зализанным набок, скуластого, худого и, видно на глазок, голодного, с недоуменными глазами: кроме недоумения, мне удается разобрать в них жуткое упрямство (меня в детдоме звали «настырным»), а может, и некоторую диковатость. Это были первые годы после встречи с отцом, я плохо приживался в новых для меня, домашних, условиях.

Рушкевич уехал, а других дружков не завязалось. Отец после фронта наверстывал, как сам выражался, «упущенное», он часто не ночевал дома. Сестра заболела, ее отправили в Лесную школу. Я оказался один.

Кто бы знал, какое это было тяжкое одиночество. Не легче того, коллективного, которое мы все испытали в детдоме.

Но там-то была еще вера в иную, недетдомовскую, неодинокую жизнь!

Я днями не появлялся дома, ходил-бродил, сейчас и сам не помню, где. Переключился на торговлю папиросами: на рубль две штуки, чтобы хоть как-то себя занять, и все станции на Рязанке, в том числе и Казанский вокзал, стали моими.

Я знал, где папиросы хорошо берут, а где плохо, где милиционеры добрые, если поймают, то пожурят да отпустят, а где и отлупить могут. И все отнять!

И тут, среди других пацанов-торговцев, нашел я первых, пусть ненадолго верных дружков.

Мы, объединившись, у тех же спекулянтов перекупали «Беломорканал», платя за пачку десятку, а когда продавали — поштучно, за рубль пара, — получали двенадцать с половиной рублей, то есть два с полтиной дохода с каждой пачки. Что такое два с полтиной... — да железнодорожный билет от Люберец до Москвы. Буханка хлеба стоила на рынке сто рублей, стакан семечек — трояк!

Выскочив все в той же толпе на площадь, мы огибали вокзал, темную холодную громаду, торчащую из сумрака, будто скала, и втискивались под напором сзади идущих плотной человеческой массой в деревянные, отжатые нашими телами двери метро.

Был случай, когда открывали новую линию, несколько станций, в том числе эту самую — «Комсомольскую»-кольцевую. Был выходной день, и я, кажется, мог не поехать, но поехал, охота было посмотреть на чудо-дворцы, о которых безумолчно трубило радио. Немалое событие в нашей тогдашней жизни.

Это сейчас услышишь: пустили линию, — и подивишься немного, вроде бы недавно начинали, а вот уже ходят поезда, и все недосуг поехать посмотреть. Да, собственно, чего смотреть-то?

А тогда все ринулись к метро, все хотели знать, что за новые фантастические подземные дворцы создали наши герои-строители.

Да что станции, новые дома в Москве были наперечет, а уж высотные, которыми мы тогда невероятно гордились, чуть ли не десяток лет были темой разговоров, описаний, песен, даже повестей.

А наше метро, это мы уж назубок знали, самое красивое, самое быстрое, самое, самое, самое!

Зажатый в толпе, которая от вокзала, от поездов текла в узкие двери подземки и сливалась с городской, тоже текущей массой, я прошел, а точнее, пронес себя долгими переходами к станции «Комсомольской»-кольцевой.

От вокзала путь у меня занял около часа.

А тут уж собралась огромная толпа, которую не успевали разрежать приходящие поезда. Встали эскалаторы. Но народ прибывал и прибывал,

спрессовывая тех, кто пришел раньше, и началась паника и давка.

Пронзительно закричали женщины, заплакали дети, крайних вытесняли с платформы и сбрасывали на рельсы. Поезда и вовсе перестали ходить, как же тут пойдешь! И хоть говорили, что входы в метро перекрыли, но ведь те, что зашли и были теперь в переходах, плохо представляли, что там их ждет впереди, они напирали и напирали, желая видеть свои замечательные, лучшие в мире станции.

Меня притиснули к белой колонне, холодно-блестящей, под каким-то великим полководцем. Я его, право, тогда не успел рассмотреть.

До него ли было, если я, смятый, наполовину раздавленный, кричал, как кричали остальные, и лишь через несколько часов меня вынесло, выбросило наружу. На мой, такой родной, спасительный Казанский вокзал.

Пуговицы были оторваны, как и рукав, шапки не было, потерял в той давке, но не жалел, голова, слава Богу, осталась цела.

Много позже я рассмотрел эту станцию, все ее картинки, за которые, кажется, художника наградили, и хоть было и вправду красиво, я уже не полюбил эту станцию и до сих пор ее не люблю.

Вот недавно, сойдя на «Комсомольской», наткнулся на экскурсию: толпа, человек двадцать, стояла посреди вестибюля и, задрав головы, слушала объяснение щуплого очкастого юноши-экскурсовода об одном из самых прекрасных фризов, изображавших видного полководца. Юноша пояснял, сколько там квадратных метров мозаики, да сколько времени художник ее складывал и что он хотел при этом выразить.

А у меня вдруг поплыло в глазах и горло сдавило.

Это же мой фриз, моя картина, под которой я погибал! Моя колонна! Как же я кричал тогда, стоя под этим произведением искусства, расплющенный об этот прекрасный белый карельский мрамор! Мне казалось, что через горло лезут мои кишки! О Господи! Я кричал и не слышал сам себя, рев, крик, стон стояли невообразимые, каких я и в войну не слышал. Если бы тщедушный очкарик сейчас нарисовал легковерно благодушным туристам вот эту картину, этот фриз...

Вернулся в вагон, который оказался едва ли не заполнен, но мое место не заняли, там лежали газетки, свернутые трубочкой.

Я сел, огляделся, разномастная дорожная публика, она будто бы всю жизнь одна и та же. На лицах печать заботы, но нет ожесточенности. Она появляется в более позднее послерабочее время, когда с транспортом и магазинами много тяжелей, чем сейчас. Вот и место оставили, и газетки не тронули. Смирная, покладистая публика. Только не дай Бог попасть, когда она становится толпой!

ТУННЕЛЬ

— До каких поез-то?

Я вздрогнул. Обращались явно ко мне.

Позади, за спиной, присела бабка с корзинами, мне видны были в стекле и она в белом платочке, и ее корзины, накрытые сверху марлей: то ли с базара, то ли на базар. Достала белый батон, вареную колбасу, толстую, с руку, и, поочередно откусывая от того и другого вставными зубами, она ухитрялась еще спрашивать через жующий рот: «До каких поез-то? Скоро пойдет иль нет?»

Вполуоборот я ответил, что поезд идет на Раменское и далее, а отправление его, по расписанию, минут через пятнадцать. Четверть часа то есть.

Бабка выслушала, но жевать не перестала. До меня доносился резкий чесночный, но более чем чесночный, поскольку достигается при помощи химии, запах, сквозь который еще пробивался и натуральный хлебный, какой может только быть от свежей булки с поджаристой хрусткой коркой.

Хоть не был я голоден, и то проняло, сладкая слюна набежала. Ни борща, ни кофе, ни цыпленка какого-нибудь, а вот колбасы с булкой вдруг захотелось, да не за столом, а так, в вагоне, на ходу, и чтобы в каждой руке по ломтю, уж не помню, когда я так ел.

Я посмотрел в окно, наваждение какое-то: накладываясь на зеленый вагон, стоящий напротив электрички, бабка и в отражении наяривала колбасу с хлебом, громко хрустя и отправляя откусанный крупно шматок за щеку, половина ее лица становилась больше, будто от флюса. Наклонясь в мою сторону, отчего и запах и хруст усилились, она спросила:

— Не опоздает, поез-то?

Я не понял, куда он мог опоздать, как и не понял, куда эта бабка вообще торопится. И оттого, что все в ней вызывало сейчас раздражение, даже ее вид в окне, я громко, уже не оборачиваясь, произнес странную фразу: «Ни за какие коврижки». И сразу же подумал: «Какие коврижки? Что я мелю? И чем бабка виновата, что проголодалась и захотела поесть?»

Я вздохнул, посмотрел вдоль вагона — он был пуст, почти пуст.

Один подвыпивший дядька с сеточкой картошки, брошенной у ног, дремал, не в силах разомкнуть век и понять, где же он оказался. Морщины на его лице от долгого, в сидячку, сна обмякли, собравшись книзу, отчего он мог показаться старше, чем был на самом деле. Я подумал, что долго еще в семье, если она, конечно, существует, будут его ждать, пока не проспится, не опомнится, мучительно возвращаясь в себя и утыкаясь недоуменно в окно, но определится на глазок и успокоится, словно сделал дело. С тусклым, ничего больше не выражающим лицом, подхватив свою картошечку, побредет к выходу, так и не уразумев, какое количество километров он отмахал, пока длилось его безмятежное, прекрасное забытье.

Я пытался отвлечься мыслями о дядьке, а в голове все эта невесть откуда взявшаяся коврижка...

И вдруг вспомнилось.

В сорок каком-то послевоенном году ночной электричкой я возвращался из техникума. Занятия заканчивались поздно, да еще надо пешедралом топать до Кратово, да ждать поезда, который шел, как я сейчас вспоминаю, в одиннадцать ноль шесть. Но шел он так: до Люберец со всеми остановками, а далее, миновав платформы Ухтомскую и Косино, останавливался лишь в Вешняках. И мне нужна была именно Ухтомская. И оттого, сойдя в Люберцах, приходилось дожидаться следующего, панковского, поезда, который приходил через сорок четыре минуты.

Нас ехало далее Люберец из техникума несколько человек. Спасаясь от холода, мы пережидали тягучую паузу в небольшом зальчике станции, где на крашенных масляной краской стенах, грязно-сине-зеленого цвета, висели портреты Сталина и Кагановича, а под ними, в простенке, был устроен буфет. В буфете же торговали морсом и коврижками.

Стоила коврижка — рубль восемьдесят, ныне это было бы восемнадцать копеек.

Но ни у кого из нас таких денег и в помине не было. У одного Лешки Козяпина, чистенького, вылизанного парниши с соседнего курса, который жил в Плющево, водились денежки.

И каждый раз, когда мы влетали в зальчик, мельком оглядев и портреты, и витрины, пристукивая озябшими ногами о каменный в подтеках пол, Лешка направлялся прямо к буфету. Он доставал свой кошелек и покупал стакан морса и коврижку.

Двумя пальцами левой руки он брал коврижку, правой рукой поднимал стакан и тут же все съедал, неторопливо, отложив сумочку-планшетку на край буфетной стойки, чтобы она не мешала. А сумочка у него тоже была куда видней наших кирзовых сумок — из желтой хрустящей кожи, с никелированными карабинчиками и блестящим щелкающим запором.

Лешка ел, повернувшись вполуоборот к нам, чтобы мы могли это тоже видеть. А мы сидели рядком на деревянной, с неудобно выгнутой спинкой скамейке, стараясь не смотреть на Лешку и на буфет: от давнего и малокалорийного обеда, по талончику, до ночи ни крошечки не было во рту, а жрать именно в эти минуты хотелось зверски.

Все мы были подростки, все хотели расти, но никак не росли, и буфет, и жующий Лешка Козяпин, медленно так жующий, почти задумчиво, подбородок вверх-вниз, вверх-вниз, возбуждали в нас особенные, мстительные чувства, от которых вовсе не становилось легче.

Мы вроде бы и не смотрели, отводя глаза, но мы все равно видели, как шевелятся у Лешки прыщавые скулы и как скашивает он с ухмылкой в нашу сторону серый глаз, вот, мол, я каков, не из голодранцев, не из нищих, как некоторые, хоть в ту пору разница между нами, скажем, сытыми и несытыми, так резко не обозначалась, как это станет позже.

Я и до сих пор помню медово-пахнущую на расстоянии коврижку, слоистенькую, припудренную, упругую, думаю даже, что еще теплую.

Вот уже недавно взял я с полки «Словарь русского языка» Ожегова 52-го года и открыл на слове «коврижка». А словарь из тех самых времен и как бы ближе всего к той коврижке находится. Нет-нет. Я нисколько не усомнился в своей памяти, просто захотелось узнать, что же такое в науке — коврижка и с чем ее едят языковеды.

Написано же оказалось до обидного мало: «Род пряника». И все. Да ниже поговорочка приведена: «Ни за какие коврижки не отдам».

Я сразу Лешкино лицо вспомнил, да я его и не забывал, потому что не глазами, я его животом своим запомнил, как тот кусок из «рода пряника» он медленно подносил ко рту, как откусывал, неторопливо и с удовольствием, но главное, как это все он демонстрировал нам, которым и уйти, и сбежать-то было некуда! Как сейчас от бабки!

«Ни за какие коврижки», — ответил я, хоть я никак не мог злиться на нее за ее трудовой обед. Батон колбасы да батон хлеба, это же у людей и до сих пор представляется символом сытого городского человека. Хотя опять же, нынешним городским как раз в пору на бабкины огородные овощи перейти, да только дороги они, эти овощи. И чем дальше, тем больше дорожают.

Я посмотрел на часы, потом попытался сверить их с вокзальными, прижимаясь лбом к прохладному, рыжеватому от грязи и подтеков оконному стеклу.

Но никаких часов видно не было. Да и волновало это меня не больше, чем жующую батон бабку. Как отправят, так и видно будет, что отправили, да еще и по радио объявят, с большей или меньшей надеждой разобрать косноязычное бормотание в микрофон.

Был такой случай в моей жизни, когда я попытался купить бухарик. В начале сорок шестого года, еще до отмены карточек, в Люберцах стал появляться хлеб по коммерческим ценам. Это было много дешевле, чем на рынке, но и народу собиралось немало.

Я же и говорю, что публика наша покладистая, вон как бабка, как старичок с картошкой, как Лешка Козяпин. Как я сам. Но вот когда мы становимся толпой, мы другие... Что-то с нами со всеми происходит.

Помню, я занял очередь с вечера и даже оказался во втором или в третьем десятке. Но к моменту открытия, верней же, за час до него, утречком, собралась тысячная толпа и придавила нас, первых, к стенке.

Так что мы и шевельнуться не могли, в то время как другие, поздние, прорвались к двери и вдруг оказались первыми.

Хлеба мне, конечно, тогда не досталось. Но еще и бока намяли, и я болел.

Люди утверждают, что как раз на уровне пятого или шестого ребра находится наша душа, может, это мне ее помяли?

Во всяком случае, я без содрогания не могу вспомнить эту ухающую, вопящую, громкую толпу, темной волной накрывшую меня с головой. От таких воспоминаний у меня начинает ныть между пятым и шестым ребром. Хотя толпа-то причем? Они все, как и я, мечтали купить бухарик коммерческого хлеба. Но хлеба, ясное дело, на всех не хватало!

Это я потом прочел, уж не помню где, что именно в тот голодный сорок шестой год мы продали Франции зерно, много зерна, и на парижских улицах красовались крупно нарисованные призывы: РУССКИЙ ХЛЕБ!

Их покупателей еще надо было зазывать, заманивать такой вот звучной рекламой, а нам и так, и без рекламы, узнавалось, как его раздобыть. Почем он, этот русский хлебушек, достается!

За раздумьем, странным, размытым, почти беспамятным, я не заметил отправления и, лишь взглянув в окно, понял, что уже не стоим на месте.

Серая громада вокзала отодвинулась и ушла в небытие, и сразу началось то, что зовется изнанкой большого города: лабазы, склады, свалки, мастерские, замусоренные пустыри, вновь сменяемые заводиками и гаражами, и нескладно пробивающийся сквозь этот ржавый беспорядок сам город, то ли улица под мостом, то ли канал с нефтяными пятнами, церковка без креста, едва угадываемая за грубыми постройками, бесконечные пакгаузы...

А потом туннель.

С детства обожаю этот туннель и лишь потому, что ни одна дорога из Москвы, кроме нашей, не имеет своего туннеля. А с туннелем связывалось что-то необычное, странное, загадочное, потому что было все как было, и солнце с правого окошечка, лабазы, дома, и вдруг как в омут... Ух! И на какое-то время, которое трудно измерить, потому что вокруг изменилось и стало невидимым, ты вместе со всеми пассажирами и пропал. И уж, кажется, пропал навсегда, потому что смутное чувство брезжит, я такое испытал при солнечном затмении — тревоги за пропавший свет. То есть ты знаешь, ты уверен, что он, свет, и не может пропасть, а все-таки что-то внутри тебя, тоже темное, шевельнется и заставит сжаться сердце: а вдруг. А вдруг навсегда? И когда ты, напрягаясь, попытаешься в той стороне, где стекло, что-то высмотреть, проблеск, обещание дальнего отсвета, туннель вдруг оборвется неожиданно, как и начался, и яркий свет с силой хлынет в вагон и в тебя!

Наверное, каждый из нас сам себе туннель: сочетание тьмы и света.

В ГОСТЯХ У ДЯДИ КОЛИ И ТЕТИ ДУСИ

Дневная электричка обычно свободна, не забита народом. Да и я выбрал такое ненапряженное время середины рабочего дня, когда без толкотни, без помех можно доехать, скажем, до Люберец, свободно вытянув ноги и глядя в окно, все видя и ничего отдельно не замечая, кроме разве лоскутка мелькнувшего пейзажа с высокой насыпью, где по яркой зелени белыми камешками аккуратно выложены слова «Миру — мир!», а возле них пасется равнодушная коза, и двое мужичков в робах расположились, как у себя на даче: перед ними бутылка, стаканы, огурчики, а они полулежат, поглядывают на проходящие внизу поезда и пьют свою бормотуху у всех на виду, отчего-то исключительно для этого выбирая напоказ такие высокие травяные насыпи.

Закопанный по горло во всякие дела, как говорят у нас, текущие, но они впрямь текущие, то есть утекающие, что ни день, как речка в пустыне, бесследно в песок, я давненько не был на Рязанке, не ездил никуда по ней. А прежде, когда я жил по этой дороге, но не как дачник, а как человек пригорода, предместья, с областной пропиской, именно Рязанка во многом определяла мою жизнь.

Три с половиной часа я тратил на поездку от Ухтомки до работы на станции «Отдых» и обратно. Как ни странно звучит, но я работал именно в «Отдыхе»! Часа три выходило у меня и до места учебы, это рядом с «Отдыхом» — Кратово. Сперва в техникуме, потом в институте. Еще по этой дороге я мотал по разным делам и за продуктами в Москву, навещал родню, разбросанную от Вешняков до Томилина, ездил в кино, к приятелям в гости, за грибами и на свидания тоже ездил: все мои девушки жили почему-то очень далеко, за сорок вторым километром. А еще

я посещал литературное объединение на Фабричной. Это еще дальше, чем моя работа. Занимался в Кратове в драмкружке.

Да, Господи, мало ли куда ездил! Она тут главная, эта дорога, и все рыночки, палатки, разные торговые точки, забегаловки и прочее, и прочее, вместе с поселочками и городками, нанизаны на эту дорогу, как у старьевщика тряпье на железный штырь!

Это сейчас, подобно разогнувшейся пружине, в живое тело пригорода воткнулось своими остриями метро. И автобусы, и трамваи, маршрутки ходят. Да и пригород медленно, но верно перешел в категорию города на радость его жителям, то-то счастливцы, будут снабжаться по другой, более сытной категории, отличной от остальной России.

А прежде, сколько я себя помнил, только одна Рязанка и была. Но какая! Я даже не могу представить, как мы жили бы без нее.

Подобием несущейся в белом метельном облаке электрички, железной, гремящей на всю вселенскую и особенно слышной по ночам, просквозила, прогрохотала чугунными колесами эта дорога через мое детство, через юность. Через всю мою, посчитать, жизнь.

У каждого человека есть какой-то главный образ детства, главный для этого человека, конечно, то ли озерко с леском, деревянный городишко с крестами, приморье, горы или, скажем, квартал Арбата... «Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия...» И так далее, словом, живой слепок с натуры, которая, возможно, и не существует уже, но которая еще существует в нас и благодаря которой, возможно, еще существуем мы. Очищающая, осмысляющая полуреальность на весь остаток жизни.

И ничем, право, не хуже иного — отрезок дороги — Железка — как прежде емко звали: узкая полоса в два ряда (но потом и в четыре, и в восемь) серебристых рельсов, в ровных гребешках шпал, пахнущих мазутом, вечно замусоренная бумагой, банками-склянками и всенепременным вдоль насыпи бурьяном, седым от пепла и угля.

Но это еще стылые, продуваемые ветром платформы, прежде деревянные, а теперь бетонные, как бы мы, беспризорные, в войну, под ними жили?!

Под деревянными-то и жилось, и спалось, и спасалось от милиции совсем неплохо.

И свалки еще, и склады, и вагоны на путях, где кто-то живет, и пригородные домики, на задах которых ныне уже не картошка, а прорастают белые зубы близняшек-домов. (И где-то тут похоронен мой дружок Швейк.)

Москва ими исподволь, но неотвратимо пережевывает и заглатывает малоэтажный пригород, как проглотила, еще раньше, и мои родные Люберцы.

Но он еще существует, этот странный полуобластной и полугородской мир, сливаясь на первых километрах в сплошную каменную вязь; в сторону от столицы — чем далее, тем свободнее — уже свалочки с лопухами и просветы между гаражей и труб, и огородики, вскопанные впритык к насыпи на ничейной, на железнодорожной, земле (такой и у нас с отцом был); а там уже полянки и перелесочки, пусть разряженные, истоптанные, сплошь в электромачтах, но благодаря этим мачтам и сохранившиеся; а потом и вовсе простор: небо видать, и поймочка реки блеснет, и старухи появятся с букетом цветов и пучком редиски у выхода с платформы.

И может вдруг померещиться, как отсвет чего-то дальнего, беспамятного, золотого, в отдалении, на бугорке, деревня с колоколенкой, хоть всем понятно, что никаких деревенек уже не осталось в этом крае, отутюженном тяжелой гусеницей индустрии. Но пусть хоть какие, пусть вырождающиеся, выродившиеся, вымороченные, на себя самих не похожие, замордованные еще с тридцатых годов, но где-то внутри себя еще чуть-чуть живые, и то лишь потому, что в этом гигантском размахе и в этой бесхозности их как-то упустили, недосмотрели, недограбили, недобили этаких сук-подкулачников, гадов и мироедов, и тем сни, деревеньки, живы не только для мимолетной из окна радости, но и для чего-то большего в нашей выхолощенной жизни.

Да что деревни, сама дорога эта странная, удивляющая всех своим

левосторонним, единственным на всю Россию, движением. А мы так с детства привыкли, что движемся против течения, если посмотреть от других дорог, но поскольку ездим мы, как родились, по своей и глядим на другие дороги, сравнивая с нашей, то все они кажутся нам непривычными, наоборотными, неестественными вроде бы для нормальной езды. Как бы показались они, скажем, англичанам.

Но это лишь говорит об относительности всего в нашем мире. Левая ли, правая сторона, и сколько нам ехать, час, а может, всю жизнь: не будем считать. Как не считает своих расстояний и своего времени едущий с нами пьяненький и уже бесконечно счастливый дядька, с картошкой в сеточке.

В ту пору я, типичный житель Подмосковья, очень подозрительно относился к самому городу: к его лифтам, улицам с потоками машин, квартирным соседям.

Разумеется, я наслышался о всяких очередях в коммунальный туалет, о чернилах, которые выливают соседям на кухне в щи, о балконах, которые сваливаются людям на головы.

Это было предубеждение подростка, знавшего лишь деревянный дом, колонку за палисадником и дощатый туалет в уголке сада, за малиной. Холодно зимой, но свой, без очереди.

Впрочем, в памяти засел один довоенный эпизод, как мы всей семьей ездили к папиному дружку, который получил комнату в Москве. Этот дружок, дядя Коля, был один из первых стахановцев в той же бригаде, где работал отец на большом военном заводе.

Мы долго тащимся трамваем, и я, заглядывая в окошко, все слежу, чтобы он не сошел с рельсов, особенно когда, пронзительно визжа, закругляет на поворотах.

Мы доезжаем и с непривычки долго топчемся в подъезде, не зная, как вызвать лифт: жмем на кнопку, но бесполезно. Родители из-за этого громко ссорятся. Выходит женщина и поясняет, что этот лифт еще не работает, а нужно зайти в другой подъезд, на ихнем лифте подняться на какой-то этаж, а потом по переходу выйти на эту площадку и спуститься в квартиру.

Мы поднимаемся на лифте, и мама испуганно держит меня за плечи, все время ожидая, что лифт вот-вот оборвется. К всеобщему удивлению, лифт не обрывается, а поднимает нас наверх.

Потом мы пробираемся по балкону, на котором от высоты захватывает дух. «Трусишка! Не смотри вниз, иди быстрей!» — говорит мама, а сама-то ступает с оглядкой, хватаясь судорожно за перила. И мне ясно, что она боится пуще моего.

Мы опять идем по этажам и наконец застываем перед дверью, где сразу вывешено несколько почтовых ящиков и заляпанные известью торчат многочисленные звонки.

Дядя Коля и тетя Дуся (она тезка моей мамы) встречают нас попраздничному, он — в сорочке и галстуке, она — в ярком красном бархатном платье, и ведут в свою комнату, где уже накрыт стол.

Но прежде чем посадить нас за стол этот — я не свожу с него глаз и потому пропускаю какую-то взрослую историю с ордерами (для меня звучит: с орденами), — нам демонстрируют жилье, и я только запоминаю, что мама моя ахает и все пробует руками: стены, стекла (а окна-то в доме не такие маленькие, как показалось снаружи!), ручки, мебель... Тетя Дуся хвалится новой люстрой: цветные ободки, а на них стеклянные трубочки на крючочках в два ряда, один ряд выше, чем другой. Такая и у нас висит, и я уже отцеплял стеклышки от крючочков, а одну нечаянно уронил и разбил.

Я говорю: «Такая и у нас есть!»

Тетя Дуся смотрит на меня растерянно, а мама кричит: «Помолчи! Дурачок!»

Потом тетя Дуся ведет нас в коридор и показывает остальное, не меньшее, хоть и общее, то есть коммунальное, богатство: кухню, туалет, газ, горячую воду.

И везде мама более других замедляет шаг, смотрит многозначительно на отца и вздыхает. Мы ведь, в сравнении с тетей Дусей и дяде Колей, теперь загородные, областные. У нас нет своей комнаты, а мы снимаем чужую, у хозяев Гвоздевых, в деревянном доме, который стоит среди многих других деревянных домов. У нас даже адрес — никакая не улица, а Куракинский переулок! А в переулке всего два домика: Гвоздевых да Сютягиных, а потом идут огороды и поле с картошкой.

В нашей комнатухе семь квадратных метров. И туалет у нас на улице, а керосинка в прихожей, а вода так метров за сто, около большого, но тоже деревянного здания нарсуда, куда я хожу с бидончиком, ведро мне дотащить не по силам.

Мама смотрит на краны, на горелку с фитильком и опасливо спрашивает, не взрывается ли газ, такие страсти рассказывают!

Тетя Дуся снисходительно улыбается: вот уж сразу видно, не москвичи. Газа боятся! А сама-то второй лишь месяц в Москве!

Мы — наконец-то! — садимся за стол, но моя мама еще не пришла в себя, ей даже чужие вилки-ложки кажутся лучше, чем у нас в Люберцах.

Я прямо чувствую, вижу, что она завидует тете Дусе. Завидует, когда все щупает руками, когда вздыхает, когда произносит врастяжку: «Да, вот Николай-то молодец, что в стахановцы записался... А мой...»

— А что? — вскрикивает отец, он уже выпил, и теперь ему кажется, что он вовсе не хуже дяди Коли. — В цеху кто-то должен первым! Мой приятель! А мог быть я!

Дядя Коля по-доброму кивает: да, верно, мог быть, конечно, и мой отец... Если б повезло. А не повезло!

— Подожди! — кричит отец. — Дальше-то ух как будет! Мы такую комнату отхватим! Пошире этой!

Дядя Коля кивает: ну да... Я, мол, отхватил, и вы отхватите! Не всем же сразу! По очереди тоже отхватывать нужно. А очередь — шутит — за выпивкой!

Отец у меня бойкий, умелый, это я и по дому знаю. Он может и ботинки подшить (колодочка и деревянные гвоздики у него в шкафу), и доску обтесать рубанком, и ведро залудить. Значит, может он по очереди и комнату в таком каменном доме отхватить. Мне-то лично вовсе не хочется, чтобы он ее отхватил.

У нас в Люберцах лучше.

Но я молчу. Мне жалко маму, жалко, что она так сильно вздыхает.

Она, наверное, чувствует, догадывается, и это правда, что никогда не будет у нас своей комнаты в каменном доме, и глаза ей закроют в той самой, ненавистной семиметровке, в Куракинском переулке. И точно. Отец мой, умелый отец, до смерти своей никогда ничего не получит по очереди, а будет проживать в построенной своими руками развалюхе. Лишь за год, что ли, до его смерти моя сестренка, она родилась в тот год, когда мы ездили в гости, получила в свои сорок пять лет первую в жизни небольшую квартиру.

Вот такая оказалась та очередь — на сорок пять лет!

Ох уж этот загляд вперед, как он может испортить такой замечательный праздник, как застолье в гостях, где все вкусно и нарядно! И где все, даже своя городская комната для мамы кажется такой близкой и возможной.

А праздник, между прочим, продолжается, и дядя Коля как бы ненароком надевает красивый пиджак, и все видят на нем настоящий орден: две литые фигуры держат в руках серп и молот.

Это был первый орден, который я видел совсем близко, я даже его осторожно потрогал, когда мне разрешили. На ощупь орден был тяжел, гладок и отливал серебром. Он даже пахнул по-особенному.

А может, потому и красив, что тяжел, в нем чувствовалась весомость, подтвержденная этой комнатой и этим столом.

И тут был нанесен последний удар моей бедной маме: дядя Коля принес какую-то коробку, вынул из нее баян (я сразу закричал: «Гармошка!») с многими перламутровыми пуговицами, постелил себе на колени полотенце, поданное тетей Дусей, и стал нам играть.

Играл он медленно, путаясь и сбиваясь, но все равно это было здорово. Я скажу так: красиво было. И мы, затаив дыхание, смотрели на блестящие кнопки баяна, а тетя Дуся прислонилась к плечу дяди Коли и, прикрыв счастливо глаза, замерла.

Я сейчас подумал, что это было в самом деле их настоящее счастье. И нас они для того и позвали в гости, чтобы мы увидели, как они фантастически счастливы. Без маминых охов, без папиной жалкой ухмылки это так много не стоило бы: кухня, туалет, вода... баян.

Лифт? Ну выключили, это же редко... Можно и на соседском доехать. Вода? Сейчас горячей нет, но это тоже пустяки, сколько ждали! Неделю-то подождем! А балкон! Какой балкон! Какой вид!

Тут дядя Коля отложил баян, вскочил так, что полотенце упало на пол, и он не заметил, потащил нас на балкон!

— Толик! Иди сюда! Дуся, Сергей! Да не бойтесь! Не отвалится, глянь, как красиво! Это выдумки буржуев, что балконы падают! Не падают они!

Мы смотрели на Москву, но радости не получали, потому что вслушивались, а мама особенно: не трещит ли под ногами, не начинает ли падать!

А у меня закружилась голова, и показалось, что мы уже летим. Я сильно закричал, и мама от страха вслед за мной тоже закричала, и мужчины прогнали нас в комнату, а сами остались на балконе курить.

Я занялся конфетами, а тетя Дуся все объясняла и объясняла затихшей, побледневшей маме, как хорошо жить с газом, без керосинки, да и дров не надо... Батареи всю зиму греют. Тепло, светло и мухи не кусают!

Через много лет, подростком, мамы уже не было, а я работал учеником техника-механика на аэродроме, поехал с отцом на Перовский рынок покупать часы.

Серьезная покупка по тем временам!

Часы не то что были большим богатством, но они свидетельствовали о достатке их хозяина. Часами похвалялись, обменивались, их можно было всегда продать за весьма немалую цену. И если человека останавливали ночью грабители, то прежде всего отнимали они не бумажник с деньгами, а именно часы. Такая это была ценность.

Долго копил я на часы деньги, откладывая с получки, а получал я двести двадцать рублей, это двадцать два рубля на нынешние деньги. Исключая, конечно, налоги и подписку на заем.

Потом была реформа. О реформе говорили кругом, и какие-то жучки суетились по магазинам, скупая все, что возможно, даже никому не нужные предметы, которые лежали еще с «довойны».

Но я верил в справедливость сталинских указов, и потому вся эта шумная возня, слухи, перекупки вызывали у меня лишь снисходительную улыбку: как же можно чего-то бояться, если даже газеты пишут, что слухи эти ложные и их распространяют всякие спекулянты. Я даже отцу нагрубил, когда он осторожненько предложил истратить мои деньги хоть на что-нибудь, хоть на пару буханок хлеба: разговор-то происходил за два дня до реформы.

Вечером, накануне реформы, я сидел в ожидании сеанса в фойе люберецкого кинотеатра, где торговали крюшоном, люди брали сразу по несколько бутылок, произнося со злым смешком, что это единственное, на что можно потратить наши бумажки! Завтра ими разве что задницу подтереть! Водой обпивались, то и дело проливая на пол, а я с осуждением глядел на такие забавы молодых парней, не позволяя себе из экономии истратить даже на бутылку, хоть очень, признаюсь, хотелось пить. Я верил, что куплю зато часы.

А на другой день вышел указ о денежной реформе, о том, что старые деньги ликвидируются, а из тех, что на руках, разрешается небольшую сумму обменять на новые деньги один к десяти.

Я пересчитал полученные из кассы новенькие, хрустящие, непривычные по размеру и по цвету бумажки и вдруг увидел, что не только на часы, но и на бутылку ситро едва ли теперь хватит.

Вот тогда произошла со мной странная история: я не плакал и не ругался. Я замкнулся. Это был какой-то необычный, молчаливый шок. Как же могло получиться, что мне платили за работу, давали то есть зарплату, а потом ее как бы обратно забрали, выдав вместо нее совсем ничтожную часть? Обманули? Но у нас же не могут обмануть. Это у них там, у капиталистов, все всех обманывают, потому что человек человеку у них волк, а у нас совсем не волк! У нас... А кто у нас человек человеку? Некоторые шутят: у нас человек человеку товарищ волк... Мне было не до шуток.

В эти дни «Крокодил» напечатал карикатуру: спекулянт и спекулянтка сидят за столом и тупо смотрят на деньги, которые валяются повсюду, из разбитых кубышек, а внизу обличительные стишки: «Торговали — веселились, подсчитали — прослезились!»

Но у меня-то не было кубышки! Честно говоря, я и до сих пор не знаю, как она выглядит: в виде кувшина, а может быть, графина? Или горшка? А вот отец мой, посмеиваясь, говорил, что деньги вообще надо хранить в валенках: голенищами один засунуть в другой, тогда, мол, и в огне не сгорят, и жулики не догадаются.

Но все это шутки, ибо мои деньги лежали под бельем в комоде, и не пачками, а всего-то несколько бумажек.

Копить еще оттого пришлось долго, что я подписался на заем. Подписка на заем у нас в лаборатории каждый год проходила. А как год кончался, собирали собрание, ставили на стол графин, рядом список сотрудников и начинали говорить речи о долге и о родине, и о восстановлении народного хозяйства, которое без наших денег обойтись не может. Люди торжественно подходили к столу и на листочке, напротив своей фамилии, ставили сумму, сколько процентов от зарплаты они отдают. Самое меньшее — сто процентов. На этот раз выступил первым слесарь Хазатулин, молчаливый, попивающий, никогда он прежде речей не говорил, он-то и предложил, чтобы каждый патриот подписался бы на сто двадцать процентов!

Но тут выскочила наша комсомольская дура, Терехина, и бодро прокричала, что мы, молодежь, никак не можем отставать от старших товарищей и подписываемся на сто тридцать! Ей бурно аплодировали, а следом по списку оказался как раз я. Придвинувшись боком к столу, я было собрался написать положенные сто тридцать, но услышал, как прошептали: «Скажи... Скажи давай! Надо сказать! Ну!» Я повернулся, все на меня смотрели. И тут под локоток парторг лаборатории: «Давай! Давай! Бери выше! Не опозорься!»

Я набрал воздуха, чтобы повторить, что мы-де, молодые, не отстанем от старших... и так далее, но вдруг бухнул, как в лужу: «Я на сто пятьдесят!» И героем, под бурные аплодисменты прошел на место.

За мной, правда, немногие эту цифру назвали, большинство на ста двадцати пяти разумно застопорилось. А из моих двухсот двадцати рублей (это двадцать два на нынешние деньги) теперь каждый месяц тридцать три рубля вычиталось, да налог подоходный, да бездетность, и выходило сто семьдесят рублей. Сто в аванс и семьдесят в получку. Для сравнения: билет сезонный мой до работы стоил двадцать семь рублей, а пресловутая бутылка крюшона или морса — около трешки. Ну, и билет в кино от трех до пяти рублей.

А часы на рынке (в магазинах часов с «довойны» не было) можно было отхватить, если по дешевке, рублей так за пятьсот!

Если тридцатку в месяц откладывать, как я и делал, то года за два набиралась как раз моя сумма... Реформа же съела ее за день!

Если бы не отец, не было бы у меня в молодости своих часов.

Мы и отрез на штаны, привезенный еще из Германии, настоящего, офицерского, как утверждал отец, сукна, долго кроили, чтобы на двоих вышло. Портниха тетя Дуся сотворила чудо — двое галифе. Как раз под сапоги! А там никому не видно, ниже колен можно и старые подшить!

А как выкроились от штанов деньги, отец сказал: «Поехали на рынок. Может, какую штамповочку и подберем».

Мы долго высматривали, как бы вынюхивали, бродя по рынку в поисках часов. Разве что на язык не пробовали. Попадались часы в основном трофейные, но денег на них у нас недоставало. И вдруг нашлись одни, совсем простенькие, та самая штамповка: без камней. Привозились они обычно из Германии.

Отец выложил наши деньги, потом для проверки поставил время по своим часам, и я гордо затянул ремешок на руке, сделав все как у отца: а отец носил свои часы лицом к ладони. Он утверждал, что так их трудней повредить и так носят часы военные шоферы.

Но случилось, отец отошел в толпу, а я увидел на столбе иное время, тут же переставил у себя, новая интересная игра — переставлять стрелки! Отец застал меня за этим занятием и стал громко кричать, что я все испортил, и теперь он не знает, точно ли ходят мои часы! Он ругался, потому что с опозданием понял, что промахнулся, прогадал в цене. А теперь жалел деньги и вымещал свою злость на мне.

В общем, отец в сердцах наорал, потом отвлекся — кого-то увидел в толпе. Окликнул человека и стал с ним разговаривать, кивая в мою сторону, наверное, он рассказывал о покупке часов и о своем промахе.

Человек временами смотрел на меня. Лицо у него было испитое, синюшное, и одет он был неряшливо, наверное, спекулянт, так я подумал. В руках у него было какое-то тряпье, которым он торговал.

Потом они попрощались, мой отец с этим торгашом, и когда он скрылся в толпе, отец спросил: «Ты разве не узнал его? Ты же у него в гостях был, у дяди Коли... Помнишь?»

Дядю Колю я помнил, и помнил отлично. Веселый молодой мужчина с орденом на лацкане и баяном в руках, а сбоку красивая, вся в красном бархате, тетя Дуся, прислонившаяся к его плечу.

— Это не он! — возразил я.

— Да он, — сказал отец вполне равнодушно. О моих часах и о своей злости он уже, слава Богу, не вспоминал.

Глядя в сторону толпы, туда, где скрылся этот обтрепанный человек, отец добавил: «Был он у нас самый передовой, стахановец. Его тогда выдвигали, а мы, целая бригада, работали на него. Пока он, значит, по трибунам... А ему комнату, а ему премию... Ну, он и спился от такой сладкой жизни».

И отец странно усмехнулся, произнеся такие слова. Но тут же посмотрел на свои часы, потом еще на мои и сказал, суровея: «Ладно, береги время!»

И это прозвучало почти как предостережение, связанное с дядей Колей, хотя не думаю, что отец связывал в эту минуту прошлое с настоящим. Это уже я так связал. Он просто торопился на электричку.

Оглядывая рыночную, текущую в пространстве толпу, я думал: как же так возможно, что тот настоящий дядя Коля, наполненный счастьем, и этот барышник с синюшным лицом могут вдруг стать одним и тем же человеком?

И что же тогда время, отмеренное на купленных мной часах, и что же тогда мое счастье, вызванное этими часами? Ведь завтра или даже сегодня я могу встать рядом с дядей Колей в потоке людей рынка, чтобы загнать часы или какое иное барахло, вплоть до рваной обувки, чтобы оплатить одну из моих бед, или все разом, но единым стаканом водки. И я, и мой отец, и любой из тех временных счастливцев, которых мне приходилось встречать, хоть было таких совсем немного.

В общем-то, отец потом и закончил рынком, но это уже другая история; а речь сейчас не о нем и не о купленных им часах.

Разговор, понимаете ли, о времени, которое острыми ножницами стрелок что-то от нас всю жизнь отрезает, лоскуток за лоскутком, пока мы не становимся такими вот, как сейчас, странно похожими... На этих людей с рынка.

СЛОВО О ГОЛУБОМ ЭКСПРЕССЕ

Пожалуй, Плющево — это остановка, на которой я никогда не выходил и к которой у меня нет никаких чувств, кроме догадки, что она никакая, ибо ее нет ни в одном моем воспоминании о Рязанке.

Но и такие остановки нужны.

Они позволяют отодвинуть прошлое, чтобы наконец оглянуться, посмотреть вокруг себя.

Старуха моя с корзинами спит, но будто и во сне она еще жует, и пьяненький мужичок едет, и все остальные едут, возможно, что они частью вышли, частью вошли, но остались все теми же, пассажирами из электрички, и ничто не изменилось с их выходом и приходом.

Легко даже представить, что мы все сели в этот вагон вовсе не сегодня, а еще в те времена, мои дальние, когда я ездил на работу, да так и засиделись, забыли, как и я, поглощенные общим движением, что не время проходит, а мы проходим.

Проезжаем. Так, пожалуй, верней.

Я откинулся на деревянной, отполированной до желтизны лавке. Такие вот лавки я предпочитаю нынешним, мягким, отделанным кожзаменителем, которые, наверное, и мягче, и удобнее для долгой езды.

А те, деревянные, для меня привычней, они свои и по-своему греют. В них слышен наш допластмассовый, досинтетический век.

Мы вообще с нашим временем попали на технический излом, когда от лошадей и от телег, которые еще заполняли наш пригород (а электрички, дирижабли, детекторные приемники были чудом), влетели, врезываясь, в телевизоры, в ракеты, в видеомагнитофоны, в порошковое молоко и всяческие заменители и даже будто бы смогли к ним приспособиться, доказывая, что мы не хуже, скажем, моли, которая тоже перешла на синтетический корм.

А я запомнил сорок шестой год, когда на нашей дороге появился странный поезд, ярко-голубой, с кожаными сиденьями и раздвижными дверями.

Раздвижные двери были только в метро, а на электричках их еще никто не видывал.

А этот поезд, именуемый красивым словом «экспресс», доставили из Германии, вывезя в счет репараций, как в ту пору вывозили многое, подчас жестоко и бессмысленно обдирая побежденную страну, насколько можно было ее ободрать.

На нашей работе, к примеру, склад ломился от пехотных радиопередатчиков, которые ни на что не были годны, разве что можно было выломать, выдрать из них для фонарика крошечную лампочку; что мы и делали.

Мы все тогда бредили этим экспрессом и мечтали на него попасть.

Если уж не надо было торопиться на работу, мы могли пропустить с десяток других поездов, чтобы попасть на этот, особенный, заграничный, голубой. Но ведь нас таких было много, желающих, а экспресс-то был один! Да и ходил он почему-то редко, то ли никак не мог приспособиться к нашим суровым условиям, то ли техника была слаба и не тянула, когда в него набивалась толпа, висела гирляндами на подножках...

Но существовали еще трофейные фильмы: уж чего мы не насмотрелись в ту пору! И знаменитый на весь мир «Гибралтар», шедший у нас под названием «В сетях шпионажа», и «Трио Трукса», захватывающий цирковой детектив; известная, отложившаяся как цветной сон в наших юношеских грезах, «Девушка моей мечты» с актрисой Марикой Рокк в главной роли.

Мы все шалели, сидя в зале, от ее потрясных нарядов, от ее танцев, вообще от ее фантасмагорической красоты.

Это был один из самых первых цветных фильмов.

А потом в цепочке тех же трофейных лент (на них так и писалось, что они захвачены в качестве трофея) наравне с несравненным Тарзаном... ах, Джейн! Джейн! Еще более увлекающе возник Диснеевский олененок Бемби!

Вот он-то и впрямь остался ярким цветным пятном в моем сероватом отрочестве, и когда я увидел в руках у своей дочки книжку, скопированную с фильма, где был на страницах отпечатан мой знакомый Бемби, со всеми его приключениями, я почувствовал вдруг, что руки мои дрожат и сам я начинаю волноваться, как, думаю, не разволновался бы при встрече с любой из тех ослепительных звезд, которые нам в юности снились по ночам.

А тот голубой трофейный экспресс прожил, если не ошибаюсь, не более недели на нашей провинциальной грязноватой Рязанке: сиденья кожаные с него моментально срезали, обнажив белые изнанки, плафончики побили, поручни и ручки отвинтили, что-то сломали, покорежили, расправились, словом, как поступают с чужим, не своим, и он быстренько закончил свое существование. Сгинул он не сразу: мы еще какое-то время его видели стоящим на запасных путях около панковского депо, выделяющегося среди других ржаво-зеленых вагонов своим вызывающе заграничным, явно чужим видом.

Заграница в ту пору ворвалась в нашу жизнь, как этот странный экспресс, не только волшебными фильмами, но и открытками, и часами, и всяческим трофейным барахлом, но и рассказами возвращающихся из Европы солдат, которых никак еще не проинструктировали, что можно говорить о загранице, а чего нельзя.

Потом-то им все внушили бы как надо.

Но те солдаты уже хлебнули вольного воздуха Победы и ничего не боялись.

Они вообще считали, что с концом войны начинается новый необыкновенный мир, и все в нем будет уже не так, как было прежде.

И мы так считали и слушали, слушали рассказы — это были фантастические рассказы про всяких там фрау, которые падали ниц от одного вида наших солдат, про вагоны добра, что везли генералы, про винные погреба, где они пили из бочек до потери сознания и до того допивались, что кто-то даже утонул в этом самом вине.

Вспоминали и американцев, и англичан, которые на поверку оказывались веселыми, славными парнями. Меняли свои странные — в ту пору у нас таких не было — сигареты, свою пресловутую жевательную резинку (мы ее потом ругали!) на нашу махорку, на «Беломор»; они шумно угощали своим пахнущим самогоном виски и с удовольствием показывали фотографии оставшихся дома детишек... Разных там Джонов, Мери, Томов!

Мы слушали и по-своему, по-киношному, представляли американцев, потому что среди фильмов мы видели «Сестру его дворецкого» с Диной Дурбин в главной роли.

Услышанное, в общем, смыкалось с вещами, вещи с фильмами, а фильмы с нашей собственной фантазией, и это было ошеломляющее, как взрыв, впечатление в нашей нищей послевоенной жизни.

Вот, к примеру, от отцовых дружков-солдат я набрал много разных заграничных денег и составил коллекцию из них, пока в поздние пятидесятые в наш дом не заглянул один военный, из тех, кто проходил службу в Восточной Германии.

Он-то прошерстил мою коллекцию, вдруг загоревшись при виде денежных знаков, что-то забрал, пообещав наутро вернуть, но так и не вернул, да и вообще исчез из моей жизни.

А я лишь потом понял, что забрал он у меня лишь доллары и стерлинги, да, небось, еще дружкам похвалялся там, в своей Германии, как облапошил глупого люберецкого юнца, который сам не понимал, что у себя хранил драгоценную валюту.

Но как-то вдруг, хоть и не сразу, эта загульная шальная атмосфера армейщины, боевых воспоминаний, непривычных иностранных вещиц стала спадать, спадать и сошла на нет.

Солдатики еще толпились вокруг пивных, еще торговали на черных рынках, спуская за бесценок привезенное барахло, да разве это то барахло, что тащили эшелонами генеральские жены, но уже затихали, негодуя лишь по временам, когда им перестали платить наградные за ордена и медали.

Да все вдруг оказалось не ко времени, как тот голубой экспресс. И фильмы с Тарзаном пропали, вместо них широким экраном пошли сплошь свои, патриотические: «Клятва», «Падение Берлина», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской» и, может, среди всех, един-

ственный живой, про спорт — «Первая перчатка» с Володиным в главной роли.

Но и в спорте поменялось, и корнер уже назывался угловым, офсайд — вне игры, а пенальти — одиннадцатиметровым.

Произносить было неудобно, непривычно, но вслед за популярным комментатором Синявским мы произносили, как бы пробуя на вкус новоизобретенные слова.

При этом мы посмеивались, не понимая, что же происходит.

Только однажды дружок Костя Мамков на лекции нарисовал в тетради человечка над костром и приписал: «Безродный космы палит!» И с улыбкой пододвинул ко мне, мол, смотри — новый анекдот такой.

Оно произносилось как единое «безродныйкосмополит» и звучало среди нас чаще и чаще, и вот уже кричали его на собрании, бичуя тех, кто ставит превыше нашего, русского, все заграничное и чужое.

Отщепенцы, космополиты, враги, словом, готовые за чечевичную похлебку продать американцам нашу советскую родину.

Мы в глаза не видели тех отщепенцев, но со всеми вместе негодовали, нас тоже до глубины души возмущало: как же так! Неужели же они, ну то есть космополиты, не понимают, что они предатели! А ведь сало — как написано в газетах — русское едят! Только я не понял, почему они едят именно сало, его-то в магазинах как раз и не было. И чечевицы для похлебки тоже не было.

В срочном порядке, по распоряжению сверху, от комсомольских органов, стали нас водить с работы во время перерыва в клуб, где нам показывали — как надо и как теперь не надо танцевать.

Нас выстраивали парами, и я все время попадал с комсомольской активисткой, глуповато наглой Ритой Терехиной. Нас ставили друг против друга, и в противовес вражескому танго и вражескому фокстроту и, не дай Бог, страшно представить, буги-вуги! — тайному оплоту нашего классового врага, обучали падеграсу, падепатинеру, падеспани и другим замечательным бальным танцам.

То, что наша внешность мало гармонировала с этими великолепными танцами, никого не смущало, это сейчас я представил, и стало смешно. Но и грустно.

В застиранных темных рубашках, в дешевых брюках с пузырями на коленках или в шароварах, тоже дешевеньких, сатиновых, висевших на нас, на наших задницах, как мешки, мы топтались в тапочках, в сапогах, кто в чем, под дивные звуки музыки, поддерживали наших, ненавистных нам партнерш!

И никто над нами не смеялся, даже выписанный из Москвы по этому случаю, наверное, через райком комсомола, балетмейстер, интеллигентный с виду человек.

Он хлопал в ладоши, вскрикивал по ходу танца: «Кавалеры! Кавалеры! Изящно оттопыривая носок, вы плавно (Плавно! Я сказал!) берете своих дам за талию... Талию! Талию! А не за задницу! Простите! И легко, плавно, изящно, будто взлетая, делаете шаг вперед... И — раз!»

Зал, в нашем лице, изящно громыхал ножищами.

Василий, мой дружок, бойко топал по ногам своей партнерше — они шли впереди меня, а я вспомнил, что Васька на днях лапал свою партнершу в кустах, по пути домой, а матери долго объяснял, что залил на работе клеем «БФ» свои штаны.

Сзади, нарочно толкая меня коленкой, вытанцовывал Витька Ларионов, почему-то в картузе и немыслимых обрезках, старых, но подшитых резиновой шиной от автомобиля.

— Кавалеры! Кавалеры! — кричал голосистый балетмейстер. — Будьте кавалерами!

А Васька, я слышал и все кругом слышали, матюкался по его адресу, потому что перерыв наш, сорок минут, подходил к концу, а значит, мы остаемся снова без обеда.

— Кавалеры не танцуют на голодный желудок! — ворчал Витька, и мы были с ним согласны.

Слава Богу, скоро эти танцы вообще закончились, и мы стали по вечерам собираться в одном из домиков в поселке, где под радиолу танцевали «запрещенные» танцы: танго и фокстрот, а до этого мы сами учились танцевать со стулом. Стул вместо партнерши. Но все равно это лучше, чем разучивать бальные танцы под руку с комсомольской дурой Ритой Терехиной!

А вот падеспань я ни разу с тех пор не танцевал, хоть еще и до сих пор помню, как надо, повернувшись к партнерше боком, делать шаг, потом другим боком, и опять шаг, а потом, взяв ее за руки (холодные, в поту, руки), вести ее, бойко и задорно, чуть выгибая шею и любезно улыбаясь.

Но это все прошло, и теперь уже не рассказать, не объяснить, какими странными мы были. Да и на вопрос моего сына: «А почему?», — то есть почему фокстрот считался не тем танцем, и почему надо было ходить танцевать по приказу свыше, и почему вообще что-то надо делать из того, что не хотелось, невозможно сейчас ни понять, ни доказать. Мы лишь говорим: «Так было». Почему «так было», почему это вообще могло быть, я и сам не знаю.

Но я сейчас лишь о трофейном голубом экспрессе, который пронесся миражем через мою юность, чем-то меня зацепив, мою память, мою залапанную чужими руками душу, может, и вправду, ютящуюся между пятым и шестым ребром.

Вагон дернулся. С шипением закрылись двери. Платформа поплыла назад. Она уже заканчивалась, когда резко и неожиданно, так, что всех сидящих тряхнуло и бросило вперед, поезд встал. Ясно, кто-то сорвал стоп-кран.

И те, кто дремал или читал, или просто сидел скучая и смотрел в окно, вдруг оживились и стали выглядывать наружу.

А я вспомнил, что произошло со мной. Произошло на одной из платформ, когда вдруг я увидел, что моя электричка, на которой я каждый день езжу на работу, отправляется. А если на следующей, уже известно, будет опоздание примерно на полчаса.

Закон в войну, да и после войны был суров, те, кто постарше, это помнят. За опоздание свыше двадцати минут судили.

Это мои часики, те самые, купленные по случаю на рынке, меня подвели. Но сообразил я, что бесповоротно опаздываю, лишь когда увидел отходящую на моих глазах электричку.

Не скажу, что я сразу представил себе показательный суд, расправу, срок и подобное. Но в краткий миг, в доли секунды пронеслось как откровение, что это к о н е ц.

Промелькнуло еще в уме слово «крах», без каких-либо подробностей. Просто «крах», и все. Больше мыслей не было.

Я бросился наперерез поезду по рельсам в нескольких метрах от первого вагона, уже рычащего от набираемой скорости.

И мысли, и мой бросок, и надвигающийся стеной вагон — все было одновременно, как и слово «крах», и слово «конец», гвоздем торчавшие во мне. Я даже успел рассмотреть черные чугунные колеса, которые вдруг ударили по ушам скрежетом и включили тормоза экстренной остановки, и посыпались на шпалы искры.

Я как зачарованный смотрел на эти грохочущие чугунные колеса, еще не осознав главного: поезд встал передо мной. Или, что точней, надо мной.

И тут последовал бросок, это был второй бросок, и он был начисто лишен осознанности, а состоял как бы из механических действий, независимых от меня. Я выпрыгнул на насыпь, стараясь при этом не попасть ногой между шпал и не споткнуться, двумя руками я ухватился за железную лесенку первого вагона. В то время как поезд свирепо рыкнул гудком, снова дернулся и стал набирать скорость, я, уже висящий снаружи, одной рукой рвал неподдающуюся дверь, и она вдруг сама распахнулась, и я ввалился, оказавшись на коленях, и так я вполз в тамбур: сумасшедший, видно сразу, человек!

Да нет, я не человек, а оголец, шпана, сволочь, ездют тут разные... Так на меня кричали, и накричал кондуктор, побелевший от страха.

Но я уже не слушал его. Я стоял, прислонившись к двери, и знал, осознавал одно: что я еду, еду, еду... Я в той самой электричке, которая уже и не была моей, которую я увидел на подходе, ускользающей от меня навсегда, улетающей, как птица удачи!

И вдруг перенесся в нее, это ли не чудо!

Уже за Люберцами я почувствовал, что кружится голова и меня подташнивает. Пусть. Пусть тошнит, пусть голова, пусть что угодно, ведь главное, я еду, и мои, отведенные мне минуты теперь уже совпадают с километрами, отведенными для этих минут, а значит, ничего страшного в моей жизни и в моей работе произойти не может.

О том же, что могло произойти ранее, я старался не думать: это не произошло, значит, этого уже нет.

А на работе, в курилке, стоя среди ребят, я услышал: «Какой-то дурачок сегодня бросился под колеса! Так тряхнуло, на меня свалился чужой рюкзак!» А другой: «Идиоты, себя не берегут!»

С этими, не предназначенными лично для меня словами, впервые ко мне вернулся истинный взгляд на происшедшее. Я вдруг как наяву увидел летящую на меня электричку, ее свирепо гудящие, сверкающие огнем чугунные колеса, дикий жар, гарь и пыль в лицо.

Стало душно, громко заколотилось в груди. Кругом решили: от курева, от дыма, и срочно вызвали в лабораторию добровольную санитарку Лелю Данкову, которая дала мне каких-то пилюль от позднего страха. Может, они назывались иначе, но я выпил, и все прошло.

НАШ СМЕШНОЙ ДРУЖОК ШВЕЙК

Перово для меня — прежде всего рынок, барахолка, одна из самых крупных в Москве. А для нас, беспризорщины, Малаховский, да Томилинский, да Люберецкий, да Перовский рынки были для жизни более чем дом родной.

Мы их тасовали в любом порядке в зависимости от наших планов, но и других обстоятельств: наличие товара, милиции, знакомых урок, даже времени года, ибо все это вместе взятое и еще многое другое создавало нам условия и возможность что-то выкрасть и выжить.

Разговор идет, понятно, о временах войны. Это еще до того, как нас на Кавказ, к чеченцам, заслали.

А Перовский барахольный рынок звался тогда Рогожским и был на полкилометра дальше, это его уже потом перенесли и переназвали.

Здесь, и на Малаховском, и на Томилинском, и на Люберецком я прошел полный курс вступающего в жизнь детдомовца, у которого была тысяча врагов в лице блатяг, спекулянтов, барыг, всякого рода крысятников и урок, которым мы составляли конкуренцию, но и прижимистых бабок, и особенно кулачков, этаких отожравшихся в войну за счет эвакуированных сыторожих парней, откупленных от фронта за крупные суммы...

Они-то и били жестче всего, правда, при случае и урка мог пригрозить пером (ножичком) или ткнуть заостренной спицей; стальная спица от велосипеда была страшным оружием, ибо не оставляла почти крови, но протыкала тело насквозь, как свиной окорок.

Рынки и отдельные на каждом рынке углы поделены были на зоны влияния, как делят, к примеру, лес между собой волки или медведи или как делят озерко щуки.

И не дай Бог забрести в чужие владения да напороться на хозяев: мелких и крупных урок!

Но проходили чистки, забирали одних, сажали других, изгоняли третьих, и в какой-то момент поле деятельности освобождалось: так и зверь, почувствовав отсутствие соперника, быстро прибирает к рукам освободившийся угол тайги.

Мы всех знали, но знали и нас, и если старшие блатяги нас презрительно отгоняли с заветных мест (не путайся под ногами, шушера!), то детдом на детдом, колония на колонию шли как стенка на стенку: насмерть!

Если одним, скажем, быковским, которые оказывались в большем числе, удавалось кого-то из чужих, тех же томилинских, захватить, происходила жесточайшая расправа. Особенно она была тяжка, если до этого томилинские поймали и избили из быковских.

А в иные, хоть и нечастые моменты, схлестывались в пределах рынка несколько разных враждующих групп, каждая при этом летела за подмогой, тогда прямо среди торгующих, пьющих, едящих, барышничающих людей, среди огромной толпы начиналась отчаянная бойня, ну почти как ныне среди мафий в кино, и рынок тогда разбегался.

Барыга или мужик могли шугануть одного или двоих, даже троих ребят, но справиться с сотней воющих, кусающих, способных на все и ничего не страшащихся подростков было практически невозможно.

Любая банда, любая организованная шайка орудовала в определенных условиях, у нее было развито чувство самосохранения, которое начисто отсутствовало у беспризорных.

Они, как нынешние тараканы, как муравьи, как моль, были неизводимы, и, наверное, они сами догадывались об этом.

Когда в детдоме появлялся воющий шакал, да еще в крови, с воплем, с истерикой, с криками, что «на Перовском наших бьют!», мы срывались с места, бросая все, и летели на помощь. Летели, никого не остерегаясь, наоборот, жаждая мести, крови, счастья потасовки, драки, поножовщины, чтобы излить из себя все черное, все гибельное, что накапливалось в крови годами.

Что за побоища это были!

Люди, отчаянная рыночная толпа, монолитная, с которой не совладать было милиции и законам, вдруг сама собой распадалась и начинала жаться к спасительным заборам.

И боевые фронтовики-солдаты, и дошлые инвалиды, и разбойные деревенские парни, и алкоголики, да все, все начинали сматывать свой товар и искать способы для безопасного отступления.

Так уходят люди при нашествии саранчи или крыс. Ибо тут вступают в действие иные законы, против которых остальное бессильно.

Я это знаю потому, что участвовал в таких драках.

И я утверждаю: всякий мордобой, бандитские налеты, сшибка спекулянтов, даже столкновение матросни, хотя последние дрались ремнями особенно отчаянно, не могли идти ни в какое сравнение с дракой малолетних. Любая драка имеет свою причину, да и свою логику. Тут же не было никакой логики, никаких соображений, а одни лишь голые инстинкты.

Дрались все и со всеми, камнем, железкой, гвоздем, пиской, то есть бритвой, зажатой особым манером между пальцев. Шли в ход и палки, и доски, и чужие вещи, даже телеги и оглобли, и колеса от телег... И если, не дай Бог, попадался неопытный торгаш, решивший встать на пути этого, на него налетали сразу десять, двадцать озверевших пацанов; искусывая до смерти, рвали зубами, когтями, как дерут свою жертву только звери, и, бросив окровавленного, тут же схватывались снова между собой!

Рынок пустел, оголялся, появлялась милиция, опасливо глядевшая со стороны, и она по опыту знала: надо выждать, дождаться сумерек, вечера, и тогда орущая, воющая, свистящая, кричащая, плачущая стая взбесившихся пацанов начнет сама по себе затихать и медленно отпадать, группа за группой, чтобы под покровом темноты убраться восвояси и унести своих полумертвых товарищей.

Но, повторяю, такое происходило нечасто. Чаще же стыкались малыми группами, пытаясь в мелких стычках расчистить зону существования. Рыночное существование означало в войну вообще существование. Иного у нас быть и не могло.

Вообще-то нашей «зоной», местом, в которое никто не лез, было, конечно, Томилино, там, где находился сам детдом. Там-то мы были сами себе хозяева.

Каждый квадратный метр томилинской подзолистой бедненькой земли мне был знаком, это не образ, это несчастная правда. Даже на той полосочке земли, что идет рядом с железной дорогой, мы пасли украденную кем-то козу, которую держали тайком в подвале детдома, и тут же,

у рельс, на чужих убогих огородиках мы откапывали, выковыривали только что посаженную картошку, не дожидаясь, пока она прорастет.

Уж очень хотелось есть!

И крепко, надо сказать, в том сорок третьем году урезали наш корм ученые академики, предложившие сажать для экономии вместо целых клубней срезы с картофеля, так называемые глазки. Ими-то не пропитаешься!

С тех, наверное, пор, ко всем без различия ученым, изобретавшим, как усовершенствовать (а в моем понимании — урезать) натуральное питание, я лично питаю неприязнь.

Мне все время чудится, что они в разных вариантах предлагают свои «глазки», из которых, кажется, и картошка-то нормальная, полноценная не могла родиться.

По правой стороне от платформы находился рынок, без него мы и дня прожить не могли. Тут теснились деревянные лабазы, магазины, и в одном из них мы наткнулись на пакеты с повидлом, там и сям рассованные по углам. Видать, нагрянула ревизия, и эти пакеты наскоро были выброшены, засунуты куда попало, кто станет смотреть и нагибаться, что там валяется по углам.

Работники ОРСа, конечно, не рассчитывали на нашу такую мгновенную хватательную реакцию. Мы пожирали повидло, засовывая в рот руками, скрытые лесом чужих ног, мы выедали густую массу из пакетов, пока влезало в пузо. Насытившись, мы побежали звать на помощь своих шакалов, но, когда вернулись через четверть часа, ничего уже не нашли.

Но и за то спасибо магазину и бдительной ревизии — это один из самых невероятных, самых везучих дней детства, когда я наелся в войну. И не чего-нибудь, а сладкого повидла!

Сладкого же хотелось порой до тошноты.

По весне мы залезали на липу и слизывали с молодых листочков сладковатый клей с риском слететь и свернуть себе шею. А когда нас повели перебирать мороженую картошку, мы все ее жрали сырую, она была очень сладкой.

Но ворованное повидло из-под столов было, конечно, слаще.

Кстати, здесь, на правой стороне, стоял один деревянный дом, от которого у нашего дружка Мишки Зверева оказались ключи.

Когда становилось невмоготу от голода, Мишка прихватывал когонибудь из нас, вел к этому дому и, оставив стоять на шухере, через короткое время волок будильник, или одеяло, или вазу для цветов. Мы загоняли это на рынке или меняли на картофельные пирожки. Или и недоумевали: как ловко Мишке удается все время грабить и не попадаться! Лишь позже выяснилось, что домик-то этот лично Мишкин, откуда после смерти матери и ухода отца на фронт его выкинули ближайшие родственники. А значит, Мишка не просто крал, он мстил им за свою бедственную жизнь. Мстил, конечно, глупо, по-детски, но как мог. Что еще ему оставалось делать?

Я запомнил, что в такие моменты лицо его приобретало особенное выражение, не прощающее, что ли! Он мог и дом поджечь, может, он его потом и поджег, но я вскоре слинял с этой станции и Мишку больше не видел.

Впрочем, один пожар, но не по нашей вине, я запомнил. Как раз здесь, у станции, загорелся деревянный двухэтажный дом. Люди бежали к нему, кто на помощь, а кто поглазеть, дело было к ночи. И мы бежали, вся детдомовская рать, все голодные сявки, и уж нам-то было не до развлечения, смотреть на чужой пожар было бы непозволительной роскошью. Мы в это время работали, то есть лезли в огонь, в горящие комнаты, чтобы найти что-нибудь съестное. Барахло нас мало интересовало. Нетрудно было рассчитать, что в панике жильцы хватали в первую очередь вещи, а не кастрюли с варевом.

Вот на такую кастрюлю мы и напоролись...

Гнулись над головой прогорающие балки, вот-вот рухнут, а мы втроем — Мишка, у которого в курчавых волосах застряли искры, Швейк, успевавший и тут корчить рожи, и я — пили через край чей-то брошенный суп и выхватывали руками картофельную гущу.

Мишка заорал: «Атанда! Сейчас падать начнет!» А Швейк кривил набитый рот, из него уже текло обратно, и бормотал, что лучше он сам сгорит, но сытый сгорит, чем бросит этот драгоценный суп! Он же потом будет несъеденным во сне сниться! Кошмарный сон!

И все мы слушали Швейка и пихали в себя руками гущу, и за пазуху еще пытались пихать, а она тут же вытекала из-под рубахи обратно, в штаны и наружу.

А потом стало невмоготу от жары, и уже сам Швейк, весело взвизгивая, закричал: «Ро-бя, кажется, мы тоже горим! Мой суп в животе кипит!» И мы бросились к оконному проему и выскочили наружу, облизывая на ходу липкие пальцы!

Едва успели отбежать, как с треском рухнуло, осыпая нас бенгальским огнем искр и дождем летящих головешек!

Швейк тогда еще сказал: «Вкусный суп был! Если бы горело почаще!» А Мишка добавил: «Можно и самим помочь!»

А я посмотрел на него и увидел, что мстительный звериный огонек светится в глубине его зрачков. Тогда-то и понял: этот за все отомстит! Он родимый дом подожжет!

Нет, не мог я ошибиться, хотя, может быть, в это время в глазах у него плясало красное пламя от догорающего дома.

Я тогда, помню, подобрал книжку «Всадник без головы».

Суп сгорел, Мишка скрылся, Швейк погиб.

А на месте сгоревшего дома стоит спортмагазин и еще пивная. А страшный призрак лошади с сидящим на ней всадником и преследующий их капитан Кассий Кольхаун (на пуле — два «к») соединились у меня в памяти с горящим взглядом Мишки.

Кому возможно сейчас объяснить, что не мы — нас убивали и наши крошечные души, если они еще были у нас. Что же осталось от нас живого, что вообще могло остаться, если не любовь, не добро и не милосердие были нашими главными учителями!

А ненависть, а мщение за звериное остережение всего, что нас окружало.

И вот здесь, под томилинской платформой, не раз и не два я прятался от охотящихся за моей жизнью блатяг, милиционеров, но и воспитателей, которых я тогда ненавидел и которых мне сейчас жалко.

Мы ведь и им мстили, как первым среди многих обидчиков, и даже просто потому, что они оказывались ближе к нам, чем другие!

Однажды кастелянша Лидия Павловна почему-то стала забирать мое одеяло. Может, она его поменять хотела, не знаю. Но я-то вдруг решил, что у меня одеяло насовсем забирают. Такие затмения бывают, особенно у тех, кто боится, кто ждет, что его вот-вот обидят. А возможно втайне даже этого желает, чтобы выплеснуть накопившуюся злобу. На топчане без одеяла под одной дерюжкой из верхней одежды долго не протерпишь — и с одеялом-то заледенеешь! «Дрожжи» продаешь! Пока сон сморит, если даже блатные рядом в карты режутся, и даже если режутся на твою жизнь!

В карты могли проиграть первого встречного, например, или ряд и место в кинотеатре, или — в электричке. Но ближе всего были те, что из собственной спальни.

В общем, накопилось у меня.

А тут еще одеяло забирают, последнее из всего, что нам принадлежало; а спать на голых досочках, на топчане, когда тюфячок прогнил и солома вывалилась, да без одеяла! Без верха и без низа — ну как терпеть! И я, помню хорошо, прыгнул и вцепился в руку кастелянши. Она закричала от боли и попыталась меня сбросить. Она стала бить меня свободной рукой, рвать на мне волосы, отдирать меня, но все бесполезно. На крик прибежали ребята. Встали стенкой, не вмешиваясь, но и никого не пропуская в круг, ибо они желали до конца увидеть поединок, да и были они на моей стороне. Притопали и взрослые, воспитатели и сам директор, случайно оказавшийся поблизости, хватал меня за ноги, оттаскивал прочь: даже пытались в зубы вставить нож, чтобы расщемить челюсть. Но как это дальше было и как им удалось меня с моим врагом разъединить, не

помню. Я уже и себя не чувствовал, а мою челюсть, мое единственное главное оружие, так свело, что при желании я не мог ее разжать.

С тех пор несчастная кастелянша Лидия Павловна, невысокая кривоногая удмуртка с косенькими глазами, прижималась к стенке, когда в коридоре я попадался ей навстречу. Да все воспитатели, я сразу заметил, стали обходить меня стороной, остерегаться, как бешеной собаки. Ибо в детдоме знали только один закон, закон силы. А я ее показал.

В характеристике, той самой, которую я потом украл, она у меня где-то хранится, написано о моей странной вспыльчивости. «Неуравновешен, но любит ласковое обращение,— написали.— При ласковом обращении исполнителен, при грубом—вспыльчив». (Из учетной карточки на «беспризорного безнадзорного».)

«Ласкового обращения» не припомню, а о грубом они точно написали. Мы от него спасались в основном под платформой. Там было совсем неплохо. Это для тех, кто знал, что такое плохо. Мы-то знали.

Не каждый захочет лезть сюда, особенно кто постарше и покрупней, а значит, сильней нас. Да и не пролезет, вот в чем наша везуха.

А мы среди крыс да воробьев, которых ухитрялись живьем съедать, если находили гнезда, но и среди всякой прочей твари, кошек там, собак, разных грызунов, чувствовали себя как свои со своими. Это были наши джунгли, наши прерии, наш «Дикий Запад», только реальный, а не придуманный в книжках, даже таких якобы страшных, как «Всадник без головы».

Разве могли бы герои Майн Рида представить себе, как горит живьем десятилетний человек, которому ночью сделали «велосипед» и «балалайку», то есть спящему надели на ноги, на каждый палец отдельно, и на руки—тоже на каждый палец, а иногда и на голову — бумажные колпаки и одновременно подожгли. А в рот, еще спящему, при вдохе пустили струю дыма.

Он летит как трассирующая пуля, как горящий факел через черные спящие улицы поселка, и звериный вой, крик, не во спасение, от кого ждать спасения, а от отчаяния, от всплеска остатка жизни, которая никому не нужна и о том последний раз вопит, пронесется и смолкнет над поселковыми крышами.

А потом его же, недогоревшего (если, конечно, не сгорит), а может, и не его, а другого, нас много, и мы несчитаные, выведут голышком на снег и сотворят снежную бабу. Обольют водичкой, делая из живого (пока дышит) — снеговичка, и коллективно наслаждаются этим вполне даже нормальным зрелищем.

И каждый будет лишь думать: слава Богу, это не со мной. Это с другим... И меня-то, может, и не заметят, обойдут, и тогда я выживу.

Да мы со смертью могли рядышком жить, потому что она была кругом и даже внутри нас, и вряд ли осмысливалось, что смерть для нас не норма, а исключение в нашей той полуреальной или даже вовсе нереальной жизни.

Однажды во время промысла, когда обстряпывали мы одно рискованное дельце, летом сорок третьего самого веселого из нашей стаи по кличке Швейк захватила перовская шпана. Я говорю — перовская, но это могли быть чужаки из других поселочков и станций. Борьба за овладение рынком в тот год шла особенно отчаянная. Дня не проходило без драки.

Мы не углядели, расколовшись по двое, по трое, как схватили нашего Швейка. Имени его я не помню. Мы услышали: над толпой, над рыночным гулом пронесся дикий вскрик—и бросились туда. На рябой от семечной шелухи земле лежал наш Швейк около лабазов. Он был еще жив, а из бока у него, из какой-то ненормальной дыры хлестала и тут же становилась черной, никак не впитываясь в землю, живая кровь.

У Швейка были огромные серые глаза и особенная улыбка. Встречается такой склад лица, когда все в нем, особенно же рот, как у Буратино, полумесяцем, создано для улыбки.

Швейк не был отъявленной шпаной, подобно нам. У него где-то были родители. Но они ни разу не объявились в детдоме и вообще никак не напоминали о себе. Швейк платил им тем же. В наших разговорах о родственниках, иногда третьестепенных, а мы не могли об этом не говорить, это служило нам единственной в нашем одиноком существовании точкой опоры и надежды, Швейк о своих глухо помалкивал. Лишь однажды по случаю произнес, криво усмехнувшись, что э т и живут неподалеку, с собакой и машиной (в войну—машина, нам такое и представить невозможно), и что когда мы тут шлялись, они даже проехали разок навстречу, но не заметили, не узнали или не захотели узнавать сына.

Да, вспомнил, разговор зашел как раз о собаках, вот тогда и произнесено было про его родителей. А мы тут же предложили ему проколоть им шину, поджечь их дом (это предложил Мишка), накласть говна в машину или проще: убить собаку! Чего ее жалеть, если собака им дороже человека!

Он не ответил, лишь покачал головой. А потом сказал: «В чем же собака-то виновата? Она добрая, она-то меня понимала...»

И вдруг стало ясно, как тяжко ему переживать и молчать об э т и х, а тем более встречать их машину на дороге.

Когда мы взяли с собой Швейка, мы не думали о том, что он не приучен, как мы, отвечать злом на зло. Мы не подумали, что его доверчивость может его погубить. Он улыбался любому встречному, еще не узнав, кто он и с чем пришел. Склад лица, но и склад характера. В отличие от нас, которые, завидев любого, плохого или хорошего (да откуда хорошие-то в наше время!), лезли на всякий случай в карман и там держали руку, пока было нужно.

Говорят, его окликнули, и он, улыбаясь, пошел, доверившись встречным как самому себе.

И тут, у лабазов, где было меньше свидетелей, двое подростков взяли его за руки, а третий очень деловито, будто исполнял работу, воткнул ему в бок, провернув для верности, огромный остро отточенный гвоздь.

Когда мы прибежали, четверо, он лежал среди осторожной толпы и смотрел вверх, но еще дышал, только кровь при каждом вздохе начинала сильней булькать из раны.

А потом он кинул голову и застыл. Люди, отпрянув, стали торопливо отходить, но мы на них не смотрели. Мы взяли Швейка на руки, один за голову, еще один подлез под спину, а двое поддерживали, чтобы он не упал.

Так пошли, никто нас не остановил, никто не спросил и никто не попытался помочь. Только, помню, тетка сердобольная всхлипнула, но один из нас так на нее посмотрел, что она, проглотив свой всхлип, моментально исчезла. Да мы всех в тот момент ненавидели: и тех, кто молчал, и тех, кто пытался нам сочувствовать. Все они убили нашего Швейка тем, что видели, как его убивали, и поэтому они были нашими врагами. И мы знали, мы сюда вернемся и тоже кого-нибудь убьем. Да мы всех убьем, потому что все убивали нас. Убивали тем, что смотрели, как мы голодаем, и тем, что ловили нас и били, били умело, чтобы отбить внутренности; убивали тем, что видели, как мы страдаем, бросаясь за мерзлой картофелиной, упавшей с возка в грязь... Как жмемся к ним, к своим врагам, погибая от холода, от вшей, от язв, которые осыпали наше тело... Убивали вот как сейчас: потому что боялись подойти, боялись помочь, боялись нарушить свой скверный, полуголодный мир, который еще у них был!

Именно в тот момент, когда мы несли нашего остывающего товарища, мы становились врагами всего человечества, потому что мы тогда точно знали: все человечество объединилось против нас.

Мы несли Швейка по огородам, по насыпи, по свалкам, и никто нам не попался навстречу.

Временами мы садились, положив его на землю и постелив ему под голову, чтобы ему, мертвому, не было жестко, лопухи. Не было слов, даже слез не было. Мы вспоминали, как смешно он гримасничал, изображая по памяти фильмы. А во сне он напевал знакомую музыку. Конечно же, он стал бы артистом, циркачом... Даже нам, погибшим душам, было чуть легче рядом с ним и с его гримасами. И мы с восторгом кричали: «Швейк, изобрази!»

Мы принесли его в лесок и там, на полянке, вырыли руками небольшую ямку, а потом засыпали, затоптали могилу, сровняв ее с землей. Чтобы никто никогда не смог найти нашего Швейка.

Мы одни знали этот кусочек земли.

Мы и воспитателям ничего не сказали. Да они и не очень-то спрашивали. Один из них — завуч, предположил, что мальчик, наверное, решил уехать к родителям. А другой сказал: «Да, конечно, они известные люди и, наверное, решили забрать его к себе».

А мы слышали. Молчали.

Но про себя знали, что, может быть, убьем и этих воспитателей. Потому что они, вот сейчас, убивали нашего Швейка. Убивали как бы по второму разу, ибо ничто, даже исчезновение одного из нас, не могло их прошибить.

Да пропади мы все разом, все, все, кто жил здесь, они смогли бы так же спокойно рассудить и оправдать наше исчезновение, спровадить нас к кому-то, кого на самом деле у нас не было.

Проезжая станцию, я гляжу туда, где был лесок с зеленой полянкой, и мне видно, что теперь там дома. Возможно, при рытье котлована под фундамент экскаватор вместе с красной глиной извлек какие-то кости, не заметив толком, что они — человека, а не собаки.

Но также возможно, что их не коснулось время и они оказались на пустыре, где, выкорчевав большие деревья, тут же сажают маленькие. И вырастет над этим местом крепкое дерево, густое, обильное: те, кто сажает деревья, знают, что если под ними зарыто живое, они растут почему-то особенно густо и зелено, и объяснить этот феномен не смог еще ни один ученый мира.

ПРОИГРАННАЯ ЖИЗНЬ

Такой остановки в моей памяти нет — Ждановская, — да и быть не может. Ее создали не так уж давно, когда подвели сюда линию метро, и последнюю остановку метро назвали тем же именем *.

Практически здесь как бы проходит и граница города, упираясь в Московскую кольцевую дорогу — МКД.

Словом, станция чужая, как и название, а вот все, что тут было до станции, мое и всегда будет моим, что бы уж тут ни построили и как бы ни называли...

Сразу за Вешняками следовало Косино, и электричка, резво набрав скорость, перегон-то большой, с привычным завыванием проносилась вдоль садов, а потом болот и торфоразработок по левую руку; а по правую — тянулись сплошь огороды (там теперь депо), а за огородами, в отдалении, виднелись одноэтажные домики деревни Выхино, выстроившиеся темной цепочкой вдоль старого Рязанского шоссе.

Выхинские домики стояли лицом к старой Рязанке, а к поездам и огородам спиной, в одном из них проживала с семьей моя двоюродная сестра Вера.

Я пишу «проживала», потому что как раз через это место впоследствии пролегла МКД, и домик, как и соседские домики, снесли, а Вере дали жилье в Люберцах, там она живет и сегодня.

Наверное, историю Веры нужно бы начать с «довойны», когда жила она у нас, уйдя от своего отца, дяди Миши — моего дяди, которого я обожал и звал Папанькой. Он работал на станции Люберцы грузчиком.

В давние времена дядя Миша, моя мама и тетя Поля сиротами были взяты на воспитание к родственникам, жили у них как бы в прислугах.

Дядя Миша женился, а мама ушла работать на Люберецкую трикотажную фабрику и тоже вышла замуж. И забрала к себе тетю Полю, я ее помню до войны молодой, красивой девушкой, о ней речь впереди.

У дяди Миши от первого брака родились три девочки: Вера, Тоня, Нина. Когда их мама умерла, дядя Миша, Папанька, привел в дом мачеху, она была по всем статьям хрестоматийной мачехой, сварливая и криворотая, возможно, что из-за ее криворотости я ее и запомнил.

* Сейчас она называется «Выхино».

Наверное, Вере и Тоне в доме с такой мачехой жилось нелегко, ну а дядя Миша, Папанька, огромный, рябой и добрый, только пил и молчал.

Вера и Тоня ушли жить к нам, и только для младшенькой, для Нины, места уже не находилось, она прибегала к нам поплакаться. А когда она подросла, сбежала от мачехи в ремеслуху.

Как уж мы все размещались на семи квадратных метрах, в деревянном доме без удобств и с соседями на кухне, ума не приложу.

Выходит, что нас было на метр по человеку.

Летом еще так-сяк, молодежь, то есть Вера, Поля и Тоня, спали в чулане, а вот зимой расстилались в комнатке на полу, ногами под кровать, где были отец с мамой, а временами и я, а головами — под стол, и первому, кто вставал на работу, надо было будить всех остальных.

Но еще до войны вышла замуж тетка Поля за смирного и задумчивого мордвина дядю Федю, электрика-монтера. Он носил на плече блестящие «когти», чтобы лазить по столбам, и я частенько встречал его на нашей улице. Вечером он приходил к нам в гости и молча посиживал, да временами, стесняясь своей неловкости в разговоре, поддразнивал меня, когда я забирался под стол на горшок. Это был мой личный в комнате «угол».

Дядя Федя и тетя Поля, поженившись, уехали в Косино, на торфоразработки, и там поселились в бараке, тоже в крошечной, еще меньше нашей, комнатушке.

А потом и Вера вышла замуж, это, кажется, произошло в самом начале войны, фамилия ее мужа была Сидоров, и жил он с родителями и семьей брата в том самом Выхине в деревянном доме, что стоял у шумной Рязанки, невдалеке от нынешней станции Ждановской.

В году так сорок шестом я учеником, в пятнадцать лет, пришел в лабораторию, и в этой лаборатории, оказалось, работал инженер Сидоров, брат того самого Сидорова, который и был Вериным мужем.

Внешне они были очень похожи, невысокие и какие-то медлительные, будто сонные.

Этот брат Сидоров тем и запомнился мне, что за своим письменным столом во время работы любил спать с открытыми глазами. И надо было неслышно войти, а потом около уха громко крикнуть: «Сидоров! Перерыв!» — и он испуганно вскакивал, озирался, не видел ли кто случайно его испуга, а потом, заглядывая подобострастно в наши лица, просил: «Не надо кричать... Я и так знаю, что перерыв, только задумался...» И виновато, как мальчишка, шмыгал носом.

А Верин Сидоров во время войны на фронт не попал, он работал в оборонной промышленности. У них пошли дети, все мальчики.

К сорок третьему году, когда я ошивался по всему Подмосковью, оттого что тетка Поля не захотела нас с сестренкой у себя держать, я чаще всего приезжал к Вере. Я так продолжал ее звать — Вера, хоть она была семейной, имела свой настоящий теплый дом.

Ее дом был хорош еще тем, что Вера не могла далеко отойти: двое мальчишек, родившихся у Сидоровых один за другим, так мельтешили, что казалось, их много больше. Впрочем, может, у Веры был тогда один мальчик, другой — соседский, родни...

Промороженный так, что звенела моя одежда, изголодавшийся, приходил я в этот дом с одним-единственным желанием — чтобы меня накормили. Я стучался обмороженным кулаком в дверь, пригибаясь и защищаясь спиной от всепроникающих, залетающих даже под навес ледяных струй, этим ветром во все мои дырки набивался мелкий снег.

Если бы Веры вдруг не оказалось дома, я, наверное бы, не смог уйти, так и остался бы замерзать у ее крыльца, ни сил, ни тепла на обратную дорогу у меня уже не оставалось.

Но Вера открывала дверь и впускала меня.

Она никогда не удивлялась моему виду, не ахала и не плакала по поводу моей такой ненормальной жизни. Ей хватало переживаний и со своими детьми.

Они всегда чем-нибудь болели, и в очередной мой приход, а я приходил, лишь когда чувствовал, что могу сдохнуть с голода, в доме царила обычная очередная разруха: и дров не было, и хлеба не было, и картошки не было, и все-таки они как-то все жили. А рядом, около них, на несколько часов пристраивался пожить и я.

Меня угощали чаем, ну то есть кипятком, а в какие-то дни мне перепадали, после Вериных, картофельные очистки. Но это были редкие дни, их можно пересчитать по пальцам. Ведь чтобы оставались очистки, нужна была прежде всего картошка для этих очистков.

Может, и картошка была, но при мне старались не есть. И я понимал: на всех не напасешься!

Дети могли быть коклюшные, коревые, любые, словом, это для очистков не имело никакого значения.

Бывало, что и я болел, но обычно болел как раз в те времена, когда все было вроде бы хорошо и чуть расслаблялся. Но таких случаев в моей той жизни было немного, а значит, и болеть мне не приходилось.

В грязноватой полутемной комнатке я садился на кровать в ногах у больного ребенка и, выпив две кружки кипятку, начинал потихоньку задремывать.

Я сидел, убаюканный криками, возней, стонами, руганью, впадая в забытье, и словно бы наяву видел, что меня, мою жизнь урки из нашего детдома проигрывают в карты.

Как та подопытная собачка, которой некуда из клетки деваться, сижу и жду своей участи. Отдадут ли за буханку хлеба какому-нибудь педику, это в лучшем случае, или для развлечения спустят в дырку туалета вниз головой, чтобы через толчок, свесив немытые хари, насладиться твоим последним судорожным плаванием в жидком говне, пока навсегда не уйдешь и не растворишься при помощи опарыша на дне ямы, которую не чистят, а лишь закапывают, вырывая для пользования рядом другую. А то соседской бабке на студень, на пирожки продадут, ей все равно, из какого мяса для базара эти пирожки делать! Еще как будет счастлива! Но игра затягивается за полночь, и, будто бы встав по малой нужде, я в одних трусиках бегу за дверь и — к станции, хотя понимаю, что добежать мне не удастся. Тогда я стучусь в первый попавшийся дом. Мне долго не открывают. Я сажусь на пороге и тихонько начинаю скулить, не плакать, а именно тоненько скулить.

Дверь приоткрывается, высовывает голову какая-то баба, без возраста, просто баба, и говорит: «Чего орешь? Иди что ли! Иди!»

Я не понимаю, гонят меня или, наоборот, приглашают, но послушно иду за бабой и оказываюсь в комнате и сразу же пугаюсь: на столе, сложив руки на груди, лежит покойник-мужик, бородатый и спокойный, а в руках у него зажата свечка. А по бороде и по лицу прямо ползут белые крупные вши. Но вши с мертвых, я знаю, никогда не переползают на живых. Это и х вши. А вот покойник меня пугает. Я трясусь.

— Ниче, ниче, — говорит мне баба и, закрыв ладонью глаза, проводит мимо покойника в кухню, сует мне одежду. — На! Энто ему ни к чему! Раз пришел, то бери! Грейся!

Меня кормят тошнотиками — блины из мороженого картофеля с примесью очистков, травы, коры и тому подобного. Они сладковатые и отдают гнилью. Но я ем и думаю о покойнике, что сейчас я в его спадающих штанах и в его телогрейке с огромными дырами пойду мимо, и мне заранее страшно. Но баба снова закрывает мне глаза, проводит через комнату и выпихивает на крыльцо.

— Ступай, — говорит она, — помяни, сирота, нас молитвой... Ангел ты мой безгрешный... Не жилец ты на земле-то... Не жилец, ох!

...Я вздрагиваю от стука в дверь и уже явно знаю, что это пришел Сидоров.

Еще я знаю, что он не любит меня и мои появления в этом доме.

А Вера, забитая и тоже вечно больная и несчастная Вера, не может меня защитить, она и голоска за меня не подаст, только вздохнет, отводя глаза.

Вот и теперь уж слышу, с порога ее Сидоров сопит, исподлобья колет меня глазами, и, отодвигая свои миражи и кутаясь в покойников ватник, я пытаюсь встать, а ноги, ноженьки мои деревянные, меня совсем не слушаются.

Вера мне помогает, она ведет меня до дверей, но я-то знаю, что так могут вести и на казнь, и ее поддержка — это не мое спасение, а ее спасение от меня.

Да и что же это как не казнь — выставить меня сейчас в ночь, в мороз, в пустое поле, которое надо пройти, чтобы спастись под платформой в ожидании электрички.

И уже за дверью, приживаясь и заново привыкая к стылому, такому твердому, колом в горле, воздуху, я слышу, как Сидоров срывается и кричит на Веру: «Ты чево, не знаешь, что ли, что самим худо? У тебя дети не кормлены, у тебя карточки украли, а ты этого жулика закармливаешь? Мало тебя твоя сестра Тонька очистила? Ждешь, когда и этот, да?» Я слышу, Вера что-то говорит, но тихо, тихо так говорит, оправдывается потому, как кругом виноватая, да она и не скажет за меня ничего, это она себя спасает.

А он опять кричит, называя меня жуликом, бандюгой, уркой бездомной, и я решаю, что не приду к ним, вот возьму и замерзну! Пусть будет им всем хуже!

Но замерзнуть не удается, и даже лечь на рельсу не удается, а все потому, что попадается какой-то веселый дядя-железнодорожник.

Откуда уж он, мой спаситель, появился на путях той ночью, Бог его знает.

Но вот железнодорожник смешит меня незамысловатыми историйками, байками из своей одинокой жизни, а потом приводит на стрелку, где у него фанерная будка около проходных поездов, и там он оставляет меня до утра — сам он еще на смене. А утром... О, утром мне уже совсем не хочется умирать!

При дневном свете мороз не кажется таким необоримым, люди — такими жестокими, да еще ходят спасительные электрички. Можно отогреться, подремать, прийти в себя, а потом сойти на любой случайной остановке, чтобы начать новую, после моей проигранной в карты, жизнь.

ТОРФУШКИ

Бараки торфушек располагались между Вешняками и Косино.

Однажды наш класс привезли сюда собирать лекарственные растения: желтенькие цветочки «куриной слепоты». Я зашел в один из бараков и отыскал свою тетку — это было, кажется впервые, когда я вполне самостоятельно явился к ней домой.

Тетка совсем недавно вышла замуж за дядю Федю, и ей было приятно принять меня в своей собственной комнатке, хотя была она, как я упоминал, — крохотуля даже в сравнении с той, где жили мы.

Тетка ничем тогда меня не угостила, да я не смог бы долго у нее оставаться: торопился вернуться к своим, к Анне Михайловне, которая меня отпустила.

Но, заглядывая уже в будущее, скажу, что я всегда делил дома, куда я ходил, причем ходил не только маленьким, но и взрослым, на две категории: на те дома, где угощают, и на те, где не любят угощать. Вторые я откровенно не любил и старался их избегать.

Так к Вере, где было менее ухожено и более голодно, чем у Поли, я заглядывал куда чаще, пока однажды меня туда вообще не впустили. Не впустили, то есть попросту не открыли дверь, хотя слышались приглушенно голоса малышей, и уж нельзя было подумать, что никого нет дома. Вот тогда я побрел к тетке Поле.

Бараки, где она жила, стояли прямо в поле, далеко от проезжих дорог.

От платформы Косино, тоже неуютной, пустой, бескрышной, надо было долго идти по тропинке вдоль насыпи или прямо по шпалам до арочного моста под железной дорогой, а уж отсюда по утоптанному грейдеру взять вправо километра три и еще с полкилометра по тропке, извилистой и влажной среди болот.

Ночью по такой дороге ходить было опасно из-за всяких блатяг и урок, и здешние жители предпочитали идти вкруговую — мимо деревеньки Косино и озера, хоть так выходило много дальше.

По странному совпадению та же Московская кольцевая дорога, что при прокладке изничтожила домик Веры, пересекла и эти бараки на отши-

бе, и мне, проезжающему на электричке, лишь на глазок удается угадать место, где они тут стояли.

Бараков было несколько, очень длинных, в народе такие насмешливо именуют «лежачими небоскребами».

А в общем-то, если прикинуть плотность населения, то это был целый поселочек со своим особенным укладом жизни: с огородиками под окошечком, с бельем на веревке во весь двор, с лавочками, где вечером устраивались посиделки и звучала надтреснуто гармоника, с пьяной солдатней, которая тут толкалась около молодых торфушек, присланных по разверстке на трудработы из дальних деревень.

Все, что тут случалось: свадьба, разводы, похороны, провожания на фронт и встречи возвращающихся оттуда, пусть инвалидами, как и любовь, и роды, измены и семейные ссоры, и даже самоубийства, — происходило у всех на глазах и при общем участии.

Это я смог увидеть, пережить, когда появился тут вторично осенью сорок третьего; нас, эвакуированных детей, вернули из Сибири и долго держали в старой школе, не зная, куда сбыть.

Около школы, на плацу, новобранцы проходили курс молодого бойца, оттуда громко неслись команды.

А мы с сестрой, кажется, единственные никем не востребованные, смотрели из окна и гадали, что же нас теперь ждет. Тогда я вспомнил про тетку Полю. Но адреса ее я не знал.

Нам дали в сопровождение учительницу, собрали в мешочек вещи, их было немного, и привезли в Косино: ищите!

Поплутав среди болотистых тропинок, я вышел к озеру, а потом и к баракам.

В какой-то момент учительница усомнилась, туда ли я иду, уж больно неприглядно выглядело все это, дорога, болота, бараки, возле которых шумели пьяные. Война всех и все переместила, и откуда мне знать, живет ли тут моя тетка вообще. Но тетка, как оказалось, еще тут жила, ее быстренько разыскали. И хоть никакой радости по поводу нашего явления она не выразила, но и то хорошо, что тетка оказалась невыдуманной, как, наверное, полагала учительница, и не понадобилось нас возвращать в пустую школу.

С тем она и укатила, вздыхая облегченно, ей было все равно, что нас дальше ждет.

Тетка жила в маленькой комнатке, но уже другой, не той, что я запомнил с «довойны», но тоже с фанерными перегородками, оклеенными белой бумагой, и небольшим окошечком во двор.

Кровать железная, высокая стояла у окна, столик совсем небольшой — в простенке, тумбочка для продуктов — в углу, а над ней зеркальце в деревянной раме.

Против окна небольшая печурка с двухкомфорочной плитой и масса всяких половичков, занавесок, кружевных накидок, которые попали сюда частью после смерти нашей мамы.

В бывшем нашем люберецком доме такие узорчатые белоснежные накидки были везде: на столе, на кровати, на приемнике. Мама была редкая рукодельница и все свободное время дома, пока болела, вязала. Ее вязанье приходили смотреть частенько со стороны. Теперь вот часть ее кружев оказалась у нашей тетки.

Мы с теткой спали на одной кровати втроем, вторая не поместилась бы.

А пол здесь был очень холодный.

Тарелок было две, и ложек две, а еще кастрюлечка и чайник из белой жести.

Все говорило о предельно экономном ведении теткой своего крошечного хозяйства.

На нас тут не рассчитывали, это стало ясно на второй же день.

По любому поводу тетка начинала на нас кричать, расходилась, а зачастую ее крики заканчивались слезами, а слезы новым скандалом.

Смягчал обстановку военный дядя, старшина из соседней части.

Немолодой, как мне казалось, лет, наверное, тридцати, обстоятельный, общительный, добрый, он приходил к тетке по вечерам и приносил

что-нибудь съестное, полбухарика хлеба, тушенку в банке или шмоток сала. Приносил временами выпивку.

Ну, а когда выпивали, в доме воцарялась теплая семейная обстановка, даже тетка размягчалась по отношению к нам, становилась податливой и сентиментальной.

Взрослые пили, иной раз заходили какие-нибудь женщины и громко смеялись. А в печке гудел огонь, разливая счастливое тепло, и казалось, что так можно долго-долго жить.

Да нам с сестренкой и немного было надо: чтобы только не кричали, чтобы не гнали на улицу, особенно же ночью, потому что именно к ночи появлялось такое желание у тетки, которой мы мешали в ее личной жизни.

Бывало, и выгоняли.

И тогда мы жались к стенке в коридоре, торча там часами, и нас забирала и привечала в общежитской комнате, где в ряд выстроились десяток топчанов, наша новая знакомая, Оля.

Именно Оля находила нас в коридоре и без слов затаскивала в общежитие: «Девки, это Полины, там — старшина».

И все всё понимали. Нас пристраивали в уголке на ночевку до тех пор, пока тетка нас не отыскивала и не забирала.

Но я все равно добром вспоминаю того старшину, который временами укрощал строптивую тетку, и тогда нас укладывали в узкую щель за печку, где обычно лежали дрова... Я думаю, что у него были где-то и свои малые ребятишки.

Наутро, когда мы просыпались, обычно старшины уже не было, а тетка всклокоченная, невыспавшаяся, кляня и это утро, и холод, и всю нескладную свою жизнь, ставила на плиточку чай и начинала причесываться перед зеркалом: у нее были прекрасные густые волосы, да и было ей, сейчас я подсчитываю и удивляюсь, лет двадцать пять — двадцать шесть, не больше.

А мама умерла в тридцать...

Появлялась тетка в обед, в перерыв на работе, наспех грела суп, сердилась, но не так сильно, на то, что не выставили кастрюлю на холод, не протопили печь, не принесли воды, да еще прозевали, когда раздавали по лимиту торф.

Поворчав, она убегала, уже до вечера.

Работа на торфоразработках шла посменно, а смена двенадцать часов. Благо до работы недалеко, торф тут был кругом, думаю, что и под бараками. А торфяные буровато-красные пирамиды громоздились рядами аж до самой железной дороги, будто стога.

Нищее, исхолодавшее за войну Подмосковье получало отсюда свои положенные, скромные нормы торфа, похожего на травянистые комки земли.

Но были еще крошки от тех кусков, и эти крошки получали те, кто здесь работал: на месяц около шести ведер! Да ведро — за премию, за перевыполнение плана.

Топить крошками было сущей мукой, оттого и ругалась тетка, что я не любил это делать. Хоть понимал, что надо: выстудит комнату, все промерзнет.

Вот когда наш спаситель-старшина приносил под мышкой полено, а то и два, мы экономно щепили их на крошечные лучинки, а уж с лучинками торф разгорался куда быстрей.

Бывало, что с сумкой я приходил в поле, как бы приносил тетке обед, а на обратном пути ухватывал несколько кусков полноценного торфа.

Все так делали, хотя с воровством в войну шутки были плохи, и уж не раз, не два кого-то судили из бараков за кражу торфа.

Да ведь взрослые-то одно, а мы — другое. С нас и спрос невелик! А раз-другой придешь, с оглядкой наберешь, и вот уже на весь вечер тепла хватает, а то еще и на завтра остается.

Работала тетка на торфокопальной машине и числилась по специальности оператором, почему-то запомнилось это необычное тогда слово.

Стальные зубы-скребки извлекали из ямы сочную черную грязь, и она, пройдя по каким-то трубам в чреве машины, выдавливалась из квад-

ратного желобка на подставляемые доски, уже сформированная в длинную сырую плотную массу.

Тетка резким нажатием ноги на рычаг открывала и закрывала заслонку, чтобы выдать на доску очередную лепешку торфа, но еще успевала поговорить со мной и прикрикнуть на зазевавшихся торфушек, очень тут похожих друг на друга: все в одинаково темных платочках, повязанных, как это делают на уборке хлеба, по самые глаза, в ватниках и в резиновых сапогах.

А у тетки модные сапожки, перешитые из солдатских, — подарок старшины!

Торфушки грузят торф на тачки и по склизким доскам, утопающим в болотной жиже, везут тачки к пирамидам, где другие женщины вручную, будто из кирпича, строят дома, выкладывают стены из брикетов рядами, для просушки.

Однажды я попросил тетку разрешить мне поработать на ее месте. Она засмеялась, сказала: «Ну, попробуй!»

Я сел на железный стульчик, нажал на рычаг, но он не поддался. Я нажал посильнее. Рычаг на миг приоткрыл заслонку и тут же обратным ходом ударил мне по ступне так, что я охнул от боли и схватился за ногу. «Чертова машина!»

Но я уже по-иному взглянул на работу тетки, хоть была она все-таки легче, чем возить по чавкающей жиже тачки.

Кстати, вспомнил, что одной из самых популярных довоенных игрушек была маленькая деревянная тачечка! Вон с каких пор нас готовили строить каналы!

Каждое время создает свои игрушки!

Но вот что меня поражало: я не видел, чтобы торфушки злились, чтобы они ныли, жаловались.

Если уж их доводили до отчаяния, то они матерились: долго и выразительно, крепче мужиков. И лишь оглянувшись и заметив меня, они укрощали свою ругань, но вовсе не тушевались. Оставляли недосказанное на потом.

Как-то раз одна из них, встав перед торфокопальной машиной и тормозя общее движение, вдруг громко закричала:

— Ох, де-о-ньки... Мозоль набила... Набила, де-о-ньки, ох, на таком месте... Мой-то се-дни придет, скажет как на фронте «ложись!», а я ему отвечу. Отве-чу-у, их, не могу, отвечу, повернуться-то энтой стороной, как ты лубишь... Уж ты луби, кажу, как я способна... Мозолик, кажу там... Ох!

Бабы, побросав тачки, хохочут и визжат, и тетка моя посмеивается, и даже я улыбаюсь во весь рот, будто что-то понимаю про тот мозолик, про который кричит эта рослая торфушка, крупная, как лошадка, с широким щекастым лицом и пронзительным голосом.

Она же любит орать похабные частушки, такие, например:

Милый зять, милый зять,
Не хватай за зад,
А хватай за перед:
Скорее разберет!

Часто приходя сюда, я уже различаю торфушек по именам, но особенно я жду мою Олю, ту, что меня жалеет, подбирает меня в коридоре и тихо расспрашивает об отце.

Оля маленькая, хрупкая, одни глазищи на лице, как сверкнет из-под платка, будто молнией черной ослепит.

Тетка у меня тоже красивая, это я слышу от многих. Но у Оли особенная красота, молчаливая, скрытая: не для других, для себя.

И я толкусь около теткиной машины со своей сумкой, где уже спрятаны три куска торфа, и жду, жду Олю.

Тетка ревниво догадывается о моей симпатии, она, приподнявшись, кричит на весь карьер: «Ольга. Катись сюда, твой жаних заждался!»

Но Оля не отвечает на такие шутки, она лишь кивнет и на ходу, не отрываясь от тачки, спросит: «Как ты? Папа пишет? А ты не голоден? Ну и хорошо... Приходи!»

Разговаривает она со мной как взрослая, а всего-то лет на пять старше меня. И все знают, что есть у нее обожатель, молодой солдатик-грузин с короткими усиками, и встречаются они обычно за титаном.

Но это вечером, когда торфушки, отработав свое, от темноты до темноты, возвращаются в барак, и длинный коридор оживает, начинается другая, не менее энергичная жизнь, с заботами о дровах, о кипятке, о магазине, где что-то, по слухам, отоваривали, о детях, конечно.

Нас в такое время невозможно загнать домой. Нам сладко потереться около взрослых, которые толпятся, покуривая махру, у дверей, рассказывают всякие истории или анекдоты и ждут, когда вынесут гармошку и начнутся танцы.

Это после двенадцати часов работы!

А после танцев, во время которых мы резвимся между парами по крошечному, утоптанному во дворике пятачку, мы с особенным удовольствием подсматриваем за солдатиками, как они обжимают по углам наших бойких торфушек, а те громко визжат...

Только Оля, моя Оля, ни с кем никогда не обжимается, а со своим грузинским солдатиком молча стоит за титаном.

Они стоят и смотрят друг на друга весь вечер.

Весь мой вечер! Потому что я прохожу мимо титана сто раз с видом безразличным, иду себе и иду, будто по каким-то делам, и все жду, что Оля меня окликнет и бросит наконец своего глупого солдатика, поняв, что я один ее люблю.

Сердце мое болезненно сжимается, и я ожесточенно решаю, когда вырасту, я приду сюда за титан, рослый и красивый, и скажу... Все скажу!

Через месяц тетка отвозит нас в детдом, это не очень далеко. И она говорит мне и говорит сестренке, что это недалеко и мы сможем по праздникам к ней приезжать.

Тетка произносит это не очень уверенно, но мне хочется думать, что мы еще кому-то нужны: и тетке нужны, и Оле, которая тут, в бараках, остается, мы тоже нужны.

«Приеду, конечно же, приеду!» — думаю я с отчаянием. Потому что знаю, что нас ждет там, в детдоме.

...А потом однажды, зимой, когда меня не пустили к Вере и когда я понял, что никогда уже не пустят, я появился здесь, в бараке.

Оборванный, грязный. И пришел-то я не столько из-за тетки, сколько из-за Оли. Мне хотелось, чтобы кто-то посадил меня в уголок и стал расспрашивать о жизни, о здоровье, об отце. Нет, вовсе не кормежка, а слова о сочувствии были мне тогда нужны, чтобы выжить.

Тетка осмотрела мою одежду и, найдя вшей, тут же меня раздела и стала бить их; брызги летели в лицо, но вши не кончались. Тогда она, разозлясь, начала трясти над плитой шов за швом, и видно было, как опадают насекомые жирными белыми гроздьями и вспыхивают золотыми искорками на раскаленной плите.

Тетка поджаривала мою одежду, а сама вела разговор с соседкой, забежавшей по случаю к ней: а я сидел голяком на кровати, накинув на плечи одеяло.

А тетка сказала:

— Слышала, что случилось-то? Они, видать, подкараулили ее, это было на перегоне, ну, выбросили в двери... На ходу! А нашли тело уже возле арки, под насыпью, так она, бедненькая, побилась, что узнать нельзя!

— А кто? Кто это мог? — спросила соседка.

— Разве узнаешь! — сказала тетка. — Она вон какая молчальница, даром что мужиков к ней как на мед тянуло! Да ведь она всем одно и то же, от ворот поворот, и весь сказ! А мы ее предупреждали... Ох, Ольга, смотри, подкараулят они тебя, зарежут где-нибудь! Мужики — звери, когда поперек их ходят-то!

Вот когда я понял, что разговор-то шел о моей Оле.

Я уж как-то не засек, когда тетка закончила жарить вшей, одела меня и ловко выдворила на улицу.

Я шел по пустынной, по ледяной дороге к станции и плакал об Оле, и слезы намерзали тяжелыми комьями на веках. О себе так я никогда не плакал.

И хоть было по тем временам это вовсе не редкость, что выбрасывали кого-то на ходу из поезда, но неизвестные жертвы одно, а Ольга — совсем другое.

Она была не из нашего мира, а из какого-то своего, и ее мир не был таким угорелым, от вечной нужды, бесшабашности, от вина и страха, что жизнь пришла к концу и надо от нее хватать что попало, любые крохи. Ангел, залетевший ненароком в наш край, на торфоразработки, она, конечно, как сегодня я понимаю, была обречена.

Я пытаюсь представить: это было, наверное, страшно — прыгнуть в черное гудящее пространство за дверями электрички. Но если от нее потребовали что-то, что она не могла себе разрешить, то она могла прыгнуть и сама. Я один знал, догадывался, какова она на самом деле.

«Маленькая да удаленькая», — сказали про нее как-то, я слышал, солдаты у барака. Не удаленькая, и даже не удалая, и никак не смелая, и не отчаянная, хотя все это, возможно, было в ней. Главное, что я почувствовал в ней сразу и в чем до сих пор уверен, была ее чистота. Потому и глаза казались строгими, чуть грустными, что не могла она жить иначе, так, как все вокруг нее жили, по расхожей формуле — война спишет. Как жила, скажем, моя тетка, у которой муж, дядя Федя, воевал в это время на фронте.

И Олю убили.

А грузинский юноша, солдатик с остренькими усиками, был отправлен вскоре на фронт. И если он остался жив, и если вернулся к себе на родину, то уже сейчас немолод и окружен семейством, заботами о внуках и, попивая в саду темно-красное вино «Изабелла», смотрит по вечерам на краснеющие горы, спокойно их созерцая и наслаждаясь мирной тишиной.

Вспоминает ли он холодный военный октябрь в Подмосковье и строгую девушку, глядящую прямо перед собой?

Может, и не вспоминает.

Это я вспоминаю.

Это я люблю эту девушку. И я, я тихо, про себя, по временам плачу о ее и моей загубленной жизни.

История же дальше такова: после войны, когда вернулся мой отец и узнал, что тетка выпроводила нас в детдом, а все его фронтовые посылки забрала себе, он перестал с ней общаться, как отрезал.

Но и нам, уже послевоенным и потому забывчивым и беспечным подросткам, было запрещено ездить в Косино, да мы туда особенно и не стремились. В то время мы жили в Ухтомской и частенько летом ходили купаться на Косинское озеро.

Там однажды моя сестренка и повстречала тетку Полю, но какая это была встреча!

Тетку вдруг в зрелом возрасте разбило полиомиелитом, болезнью детской, — странный необъяснимый случай, — вывернуло набок лицо, и тетка восприняла это как наказание за ее грехи перед нами.

Встретив на тропинке мою сестру, тетка упала на колени и стала умолять простить. Она билась в пыли, повторяя: «Людочка, я виновата! Прости! Прости! Тогда и ваша мать меня простит! Она одна знает, ей видно с того света, как я перед вами виновата!»

После этого случая, как мы слышали, все следы болезни у тетки пропали, и обезображенное лицо восстановилось, а потом тетка умерла. Но это уже случилось не так давно, я, честно говоря, больше ее никогда не видел. Она лежит на том же кладбище в Люберцах неподалеку от станции, где и моя бедная мама, чью могилу мы за время войны и бродяжничества потеряли.

Мы ухаживаем за чужой могилой, но предположительно в том районе, где она была похоронена.

Думаю, там же похоронен и брат мамы, дядя Миша, мой Папанька! В ту памятную осень сорок первого они вдвоем с отцом сколотили маме гроб, и я сидел на телеге, отец правил, а дядя Миша нес на голове крышку от гроба: от нас до кладбища было железную дорогу — Рязанку — пересечь.

Сам же дядя Миша замерз в пьяном виде зимой сорок второго, ему ампутировали руки и ноги, и он в страшных муках в больнице скончался.

Тоня, первая его дочь, в военные годы оказалась в шайке, обокрала Веру и скрывалась, а потом и совсем сгинула.

Вторая дочь Нина, младшая, еще приезжала году так в сорок восьмом раз-другой к нам в Ухтомскую из ремеслухи своей, отец попросил ее помочь с огородом. А потом до нас дошло, что она покончила с собой, было ей лет шестнадцать.

Вера перенесла рак горла, живет она в Люберцах, но и ее я не видел много лет.

Но вот когда я прихожу к моей маме на кладбище, вижу там иногда цветы.

Сестренка говорит: «Это Вера. Она навещает Полю и заходит к нам. Это ее цветы».

Жив и дядя Федя, муж моей тетки, говорят, он постарел и после смерти тетки живет один.

Их дочка, его и тети Поли, тоже, кстати, Поля, родившаяся после войны, имеет свою семью.

Иногда они встречаются с моей сестренкой, вспоминают тетку.

МОЙ РОДНОЙ, МОЙ ЯБЛОНЕВЫЙ САД

От платформы Косино до Ухтомской электричке не разогнаться. Она лишь успевает набрать скорость и тут же ее гасит, со скрежетом, с шипеньем тормозит. Говорят, прежде эта станция звалась Подосинки.

А я приникаю к окну, разглядываю ряд одноэтажных дачных домиков по левой стороне за деревьями и заборами, вытянувшиеся вдоль Рязанки, изредка рассеченные поперечными широкими улицами.

На одной из них, а именно на улице Сталина, теперь она зовется 8 Марта, еще жив, еще существует наш старенький послевоенный домик. Но его отсюда, из окна вагона не увидать.

Он и тогда был не нов, когда мы переехали в него весной сорок седьмого года.

Я говорю — домик, но мы заняли лишь часть его, ибо в неведомые еще времена он был поделен между двумя хозяевами, и одна часть, меньшая, досталась тем, на место которых мы потом въехали, а другая, бóльшая, была занята многочисленным семейством Макаровых: вдовой погибшего на фронте и тремя детьми.

Наша половина состояла из одной, но просторной комнаты семнадцати метров и темной, забитой рухлядью прихожей. Была и терраса, развалившаяся, без окон и без пола, лишь столбики, подпирающие крышу, — отец ее потом достроил.

Перед домом небольшой участок, четыре сотки, узкий, как коридор. Но из-за него, как потом выяснилось, отец и согласился на это жилье без удобств, он очень хотел иметь землю.

Отопление печное (попробуй-ка в те времена достать торфа!), вода в колонке на улице, а туалет в конце огорода, у самой калитки в углу, сколоченный из фанеры.

И все-таки я добром вспоминаю этот первый в жизни нашей семьи свой дом, свое гнездо; я благодарен отцу за такой выбор, хотя помню, что были у него варианты и другие, предлагали, например, коммуналку в одном из небольших домов в самих Люберцах.

Вот я написал: первый в жизни нашей семьи свой дом, и это правда. Потому, что тот дом, где я родился, в Куражинском переулке на краю Люберец, был не наш дом, мы в нем снимали комнату.

Но разве он был от этого хуже? Ведь я в нем родился, в нем прошло мое детство, именно там я стал осознавать самого себя.

Да все: и первые дружки, и первая любовь, Манечка, из соседнего дома, и первое соприкосновение с реальным миром прошло в нем... Самая тяжкая потеря в жизни, которой я тогда не смог еще понять — смерть мамы, — была там, там! в Куракинском!

Но Люберцы у нашей электрички впереди.

Мое странное движение происходит от периферии к центру, от максимума к минимуму, где нулевой точкой отсчета можно считать мой дом в Куракинском переулке, а нулевой точкой времени — мое рождение.

Если б можно было представить это изображенным в кино, получился бы антифильм, построенный на антилогике: движение против времени, против течения, против, кажется, самого себя!

Не тем ли, кстати, мы и занимаемся всю жизнь.

В какой-то древнеиндийской книге я прочитал, что человек, спустившись после смерти под землю, предстает перед зеркалом Кармы и видит свою жизнь, все добро и зло, что он совершил, а жизнь эта предстает перед ним в виде ленты ярко вспыхивающих картин от зрелого возраста к прошлому. От смерти к рождению, к нулю, к зачатию.

Возвращения на круги своя.

На расхлябанном грузовичке мы привозим свой немногочисленный скарб: довоенный раскладной дубовый стол, старый диван, железную койку и беккеровские настенные часы, исполненные в виде башенки, с белым эмалевым кружочком маятника и с двумя дырочками на таком же циферблате для завода пружины.

Ни книг, никакой посуды или семейных ценностей у нас, ясное дело, нет.

Но я забыл назвать шкаф, довоенный, со стеклышками в левой половине, предполагаемый, по-видимому, для посуды, и темно-синий квадратный радиоприемник СИ-235, это был один из первых ламповых советских приемников, он провалялся где-то в войну, когда строго-настрого полагалось приемники сдавать, и теперь, возрожденный, светился крошечным своим окошечком, в котором на вращающейся круглой ленте появлялись цифирки, и оттуда, как мне тогда казалось, исходил живой человеческий голос!

Все это было погружено в грузовик, и лишь часы, главную нашу ценность, я придерживал рукой, когда машину подбрасывало на ухабах.

— Стой! Стой! — крикнул отец шоферу и прямо из кузова указал на темный домик в глубине за соснами, забора, как и у всех в ту послевоенную пору, еще не было. — Ви-ишь? Наш! Дом!

По участку, на котором, кроме бурьяна, ничего не росло, мимо разрушенного сруба колодца с сохранившимся воротом, мимо разобранной, как потом выяснилось, соседями на дрова террасы мы шагнули с отцом в пахнущую сырым погребом прихожую, а из нее через высокий порог — в комнату.

После нашей люберецкой каморки она показалась нам огромной, эта семнадцатиметровая комната, я помню ее наизусть.

Слева у дверей печка, справа широкое окно, упирающееся в стену соседского сарая, метрах в пяти, напротив входа в конце комнаты, еще дверь, забитая, ведущая на не существующую пока террасу.

— Дворец! — воскликнул возбужденно отец и посмотрел на меня, предугадывая мое восторженное настроение. — То-ля! Ведь дворец же! А?

И я растерянно кивал, озирая новое непривычное жилище.

Мне было в ту пору пятнадцать с половиной, я уже работал, я видывал всякие дома: детдома в казенных строениях, избы, пересылки, развалюхи, где приходилось ночевать, разрушенные войной вокзалы, мазанки, оставленные населением и еще никем не занятые, школьные классы, где временно нас размещали, теплушки около станций, даже армянские склепы, где скрывались мы, беспризорные, от дождя и милиции.

Но это было новое, неиспытанное чувство, обретение дома, то есть места, где у нас, у меня и сестренки, которая проживала этот год в Лесной дальней школе, будет свой собственный угол и семья.

Оттого-то дом не показался мне дворцом. Да и что такое дворец? Нечто музейное, казенное, в нем нельзя жить.

А настоящий дом — это логово, как та родная ямка, которую я вырыл однажды около неведомой станции, вырыл руками и сидел, согнувшись, и сосал кусочек жмыха.

Меня оттуда, как улитку из раковины, доставали, выколупливали, а я, одичавший, забывший свой собственный голос и даже не помнящий уже, кто я такой, лишь мычал и кусался, потому что я боролся, как мне тогда казалось, за свою ямку, за свое единственное в жизни убежище, то есть Дом.

Но первое чувство обретения Дома влекло за собой и другие чудеса. Такие, как посадка первого в моей жизни сада.

Отец привез саженцы и прикопал их в уголке участка, издали они походили на хворост для растопки.

Потом мы разметили лопатой участок и вырыли семь лунок слева от тропки и семь лунок справа. Плотновато, но нам хотелось, чтобы всем саженцам хватило места.

Я держал крохотные деревца за стволик, на них еще были остатки желтых листьев, а отец швырял лопатой землю и трамбовал ее ногой. На каждом стволике была привязана фанерная бирочка с названием, начертанным химическими чернилами, как волнующе все эти названия звучали: «Папировка»! «Пепин шафранный»! «Штрефлинг»! «Бельфлёр-китайка»! «Шестисотграммовка»!

Мы тут же на листе бумаги составили план посадок, обозначив кружочками яблони, а еще в углу — смородину, а за спиной чужого сарая, рядом с нашим домом — малину, а потом еще и несколько груш.

Этот план мы свято сохраняли все годы заложенным в книгу, которая была для меня в те времена как Библия, она называлась «Плодово-садовые и ягодные растения».

Но я и наизусть помнил, где что у нас растет!

Когда деревья подросли, они вовсе не совпали с теми названиями, что были на плане. Но это ли главное! Мало ли чего у нас не совпало в жизни между начертаниями и реальностью! По Хрущеву, наше поколение должно давно уже жить при коммунизме!

Когда я сажал, я верил в свой сад, я мечтал о нем, как может только мечтать подросток, для которого сад вдруг стал самой главной целью. Как символ того реального будущего, которое я смог создать для самого себя и своими руками.

Помню, мы с отцом тогда впервые затопили *нашу* печку, сварили *нашу* картошку и на *нашем* столе устроили вдвоем пир.

Кажется, впервые после встречи с отцом мы сидели вдвоем, обычно отец по вечерам пропадал у знакомых женщин.

Оттого, что мы посадили сад, и оттого, что мы наконец вместе, более того, на равных, как двое мужчин, сидели около бутылки и пили из кружек по сто граммов холодноватую и зеленоватую, внушающую мне отвращение водку, я захмелел и стал и робким, и улыбчивым, и добрым. Много ли мне надо-то было! Лишь вечерок посидеть да поговорить с отцом! Я и на противную водку был согласен!

Вот какой светлый, редкостный был этот вечер. И третье чудо — я до сих пор помню радостное чувство обретения вдруг семьи.

Пьяненько посмеиваясь надо мной, что такой я слабачок, что быстро захмелел, отец громко, возбуждаясь от собственных планов, говорил, будто докладывал, о том, что сад лишь начало, а каких чудес мы еще тут с ним понаделаем! Ого-го!

Мы построим террасу, а еще верандочку в саду, он видел такие в Европе! Мы заасфальтируем дорожку, мы сделаем загончик для всякой живности, которую разведем!

— Поросеночка! Поросеночка купим, он молочный на рынке-то за сотни полторы выйдет, а вырастет во... Боров! Сала на год!

Я кивал, обласканный равным со мной отцовским разговором.

— Два пуда... Конечно!

— Кур! — вскрикивал отец и уже наливал себе, а мне не наливал. — А может, гусей или индюшек? А? У индюшек мясо сладкое... Вот наша помещица в Белом Холме индюшек держала... А?

— Индюшек...

— И потом собачка нужна! Маленькая, чтобы не тратиться на корм, но злая... Маленькие, они всегда злые, учти!

— Да, собачка, пап...

В отце проявился мужик, соскучившийся по земле. Это было понятно. Не напрасно, видать, придя с фронта, корпел он на должности вовсе не своей, на домоуправской, как последний писаришка, выжидая звездного часа. Бумаги, кучи бумаг, каких-то справок, актов. Занюханная контора в полуподвале на улице Смирновской, в Люберцах, заляпанные чернилами столы, и вечные посетители, печати, ручки, справки...

А все ради этого счастливого мира возрождения: домика, сада, семьи.

Отец, еще поддав, тыкал пальцем в книгу, где на сереньких страницах были нарисованы плодовые деревья и кусты:

— «Папировка»! Во — читай!

Я отыскивал страницу с названием «папировка» и начинал медленно, со вкусом читать: «Это летний сорт яблони, созревает обычно в конце июля, начале августа. На одном дереве в пору зрелости может быть до полутора-двух центнеров спелых плодов».

— Два центнера! — кричал отец, привставая и заглядывая в книжку. — Эх, варенья наварим... А то и компота насушим... ви-та-мин! Но ты читай! Читай!

И я читал про «пепин шафранный» и про «штрефлинг», и про «бельфлёр-китайку», которая нам особенно почему-то нравилась. И про малину, и про крыжовник, и это были золотые часы нашей начинавшейся семьи, которая так и не состоялась.

Но я тогда еще верил (как верил), что скоро, совсем скоро станет тут широкий, раскидистый, листоголовый, заложенный в доброе время сад!

Году в восьмидесятом сестренка переезжала в новую квартиру, она позвала меня, чтобы я посмотрел в сарае бумаги, и там, кроме писем, я наткнулся на план нашего сада, набросанный наспех в далекий осенний день сорок седьмого года.

На плане были начертаны четырнадцать кружочков, по семь в ряд, тропинка между ними, крыжовник у края участка и малина за сараем.

Но вместе с этим листком попал еще один, с изображением собаки. Нарисована собака карандашом. И хоть нарисована неумело, но узнать можно, что это собака и что она не сидит, а лежит, раскидав уши и закрыв глаза: лапки разбросаны в стороны, пасть открыта.

Вспомнил — Джек! Это был мой первый в жизни щенок Джек, отец почему-то прибавлял Сидорыч. Это когда он выпивал и был покладист, добродушен.

А вообще-то сад посадили, а отец пропал, надолго пропал, а я остался один в холодном пустом доме.

По утрам через наш участок проходили школьники, так им удобно было сокращать в школу дорогу, и уже через месяц наши яблоньки все до одной были обломаны. Я поднимался на работу раненько, в шестом часу, но в те времена, когда я болел, я выходил в сад и вставал поперек потока, поперек тропы в школу.

Они шли группами и поэтому были сильней меня. И когда я просил их: «Ребята, не трогайте! Это же саженцы! И это же «папировка»! Это же «штрефлинг» и «бельфлёр-китайка!». Они смеялись, оглядываясь на меня как на дурачка, и ломали на моих глазах хрупкие ветки. Они бы и остальное повыдергивали, но земля была промерзшей и не поддавалась.

Сад пропал, погиб.

Но я тогда еще во многое верил.

И когда весной крошечные обломки вдруг зазеленели и пошли в стебель, я возродился, я понял, что сад не убит и что будут у нас в семье яблоки на варенье и на компот.

Сад — это единственное, что у меня тогда было. Работа за сорок километров не в счет. Сестренка уже как бы существовала не в моей,

а чужой жизни, я не видел ее годами, у нее были свои интересы, как и у отца.

А у меня не было во всей Ухтомской ни одного приятеля, ни одной близкой души.

Кроме... сада. Да и то насмерть израненного.

Однажды я вышел на улицу и пошел искать себе друга. Я обошел весь поселок, побывал около заброшенного пруда, около пивнушки, где толпилась пьяненькая добродушная публика, и в тот грустный день кто-то ударил меня пивной кружкой по голове.

Я заплакал и ушел. Даже пожаловаться было некому.

Когда я возвращался к себе домой, хотя это уже не был дом, а было просто пустое помещение, где я, согнувшись на диванчике, прямо в валенках и пальто спал, не имея сил разжечь печку, я увидел Джека. Он сидел неподалеку от сарая и будто меня ждал. Он сам пришел и нашел меня. И так мы стали жить вдвоем.

Ну, а дальше вот что случилось. Отец, появившийся, как всегда, неожиданно и пьяный, вытолкал щенка на холод и приказал настрого держать его на дворе.

— Собака должна быть собакой! — сказал он.

Я видел, как мерзнет мой дружок, как он просится ко мне, поскуливая у окна. Он был крохотный еще, но вполне сообразительный, и стоило мне его позвать через форточку, он бежал к дверям, понимая, что я появлюсь именно там.

А потом его пришибли, ударив ногой в живот. Ударить могли и школьники, хотя Джек еще не умел на них лаять, он едва подтявкивал, убить по пьянке мог и сам отец.

И когда Джек издох, я остался опять один.

Вот тогда я взял лист бумаги и нарисовал Джека, желая сохранить о нем память. Я не только сделал карандашный набросок, но и описал его внешность, и на листе внизу стояло: «Шерсть рыжеватая, носик черный, а брюшко белое, а ушки в черных обводках».

Я закопал Джека в снегу, а когда наступила весна, перенес крошечный посеревший трупик под вишню, расстраиваясь, что он прожил свои четыре месяца в самые что ни на есть холода; он родился зимой и умер зимой, не узнав, что такое летнее тепло.

С чувством странным я рассматривал наивный рисунок с Джеком и этот, на удивление сохранившийся, план моего будущего сада. Наверное, они много для меня значили, вот и сохранились и долежали вместе до сих пор.

Сразу вспомнились все мои садовые страдания, ведь осенью опять пошли школьники, протоптав первую тропку через мой, возрожденный мной сад. И тогда я поставил крошечный заборчик на их тропке. Из каких-то, не помню каких, прутиков, жердочек я соорудил, конечно, загородку, но ее тут же раскидали. Тогда я воткнул железки, принесенные со свалки, и железки тоже разнесли.

Я боролся, как мог, за свой сад, хотя знал, что моя борьба бессмысленна. Мне ли, детдомовцу, не знать, какая это неуправляемая разрушительная сила: ребятня, дети, орда детей, прущих напролом там, где она не привыкла встречать сопротивления.

Они меня даже ни разу не избили! Они шли сквозь меня, как сквозь мой участок, не обращая внимания. И опять от сада остались лишь торчащие из мерзлой земли кончики палок... Слава Богу, их закрыло снегом.

Однажды появился отец — трезвый, почти трезвый. Озираясь и будто бы не узнавая собственного участка, он прошел домой и спросил недоуменно, но добродушно: «А где же сад?»

Я ему не ответил.

В тот вечер он не пропал из дома, а достал пол-литру, потом растопил печь, много дней нетопленую, и, удивляясь, как это я сплю в валенках и в пальто, заставил все с себя снять.

— Конец грязной жизни, — сказал он, наливая в кружки зелье. — Мы будем жить иначе... То-лик! Теперь-то заживем!

Я не хотел пить его отраву, а на отца смотрел с недоверием: сейчас напьется и уйдет! Как же он может не уйти, если всегда уходил! Всегда!

Нет, было однажды, когда я вернулся с работы, а в доме сверкали лампы, зажженные повсюду, и сидела какая-то женщина. Сперва я даже обрадовался: обычно, возвращаясь домой и завернув на нашу улицу, сразу угадывал наши окна, и обычно они были темны. Холодная чернота проникала в мое сердце, и каждый раз с отчаянием я понимал, что лучше бы мне сюда не возвращаться совсем. Приду, в доме заледенело, а печку растопить сил нет, да и дров нет, и, натянув на себя матрац с головой, я, голодный, забывался до пяти утра. В пять — на работу.

Так вот, был день, когда я увидел, что окна сверкали по-праздничному, и помню, что побежал, спотыкаясь в темноте, на их теплый зов.

Но отец не пригласил меня в комнату, где они сидели вдвоем с этой женщиной. Я тогда расположился в прихожей и стал стучать молотком. Они там смеялись, выпивали, а я все стучал, будто забивал гвозди. Отец вышел, спросил: «Чего стучишь?» «Ничего»,— сказал я, а сам продолжал стучать.

Глупо, конечно, что я так протестовал, теперь-то я понимаю.

На этот раз отец никуда не торопился.

И я хватил из кружки и растаял, и напряжение мое, и ожесточенность моя пропали, растворились в горячем чувстве благодарности к отцу за то, что он вдруг появился! Что он не торопится!

А я был ласков, как мой щенок Джек: если даже меня окликали через форточку, я с готовностью бежал к двери.

— Вот, мачеха,— говорил отец и смотрел на меня, будто испытывая свои слова, каковы они на слух и как я их восприму.— Баба что надо... Молодая, ребенок свой, но это лучше. Горячей держаться будет... А тебе к рождению аккордеон! А?

И я, задохнувшись от неожиданности, только кивал счастливо, потому что я любил отца в эту минуту и боготворил его. Его, который разжег печку, избавил меня от ночевки в ледяной комнате да еще сам предлагал мне аккордеон!

Да мне ничего никогда вообще не дарили!

Не было у меня рождений, и вряд ли я догадывался, что они должны быть.

Я вдруг понял — это все женщина, которая где-то существует. Это она незримо повлияла на отца и на его приход, и даже на мой день рождения!

А отец уже разошелся, его понесло, понесло.

— Купим свинью! — кричал он, и я согласно кивал.— И курей заведем. А сад... Не унывай! Я забор поставлю! Я веранду построю! Где план? Ты не потерял наш план? Нашего сада?

И когда я извлек бумагу из очень оберегаемой мной книги о садово-плодовых растениях, он заставил меня вслух прочесть про все яблони, про их урожаи, про вкус плодов, а потом он заплакал. Он бормотал, что сад у нас будет... «Дай, Толик, срок... Аккордеон и сад... И веранда в саду... Все, все будет». Он плакал, и я тогда тоже заплакал, мы плакали вместе, и было нам так хорошо.

Бывая временами у сестренки, это еще до ее переезда в новый дом, я прохожу через сад, крупноствольный, еще крепкий, несмотря на возраст, еще густо-зеленый, под деревьями на земле белеет падалица.

Хотелось бы, не скрою, подобрать да попробовать хоть одно яблоко, да мне теперь уже трудно на глазок определить, где здесь и чьи деревья, какие из них принадлежат сестренке, а какие соседу Васе, который переехал на место мачехи, после того, как она развелась с отцом.

Вася этот, кстати, недавно спился и умер.

Но еще до развода отец, практически в одиночку, подновил дом, выкопал подвал (его тоже потом поделили), поставил крепкий забор, и сарай поставил, и колодец починил, и террасу заново отстроил, единственно, что не достал цветных стекол для витража. Но и так было совсем неплохо.

А перед домом, в саду, возникло волей отца странное сооружение, которое мы стали называть «шестигранник».

Этакая ротонда со скамеечками по кругу и столиком посередине, крашенная в ярко-голубой цвет.

Предполагалось, что по вечерам, а может, по воскресеньям мы будем там собираться всей семьей и пить из самовара чай.

Недавно я наткнулся на фотографию, где я, лет шестнадцати, стою около яблоньки, склонив голову: этакий начинающий мичуринец-садовод, озабоченный неустанной заботой о плодово-садовом участке! Хоть карточка любительская, но можно увидеть, что я там худой, тщедушный и не очень-то счастливый подросток, плохо одетый, общипанный, как та самая яблонька, возле которой я снят. В общем, из одной породы — дикарок. Это в ту пору отец с мачехой поженились и как-то сразу ушли в свою жизнь, отдалились, не успев приблизиться, а я снова остался сам по себе.

Правда, они подарили мне аккордеон, купили по дешевке на Перовском рынке.

Он был настолько плох, что я с трудом мог подбирать на нем всего одну песню — про тонкую рябину.

Она соответствовала моему тогдашнему настроению.

Когда мне становилось тошно, совсем невмочь, я брал в руки этот не приспособленный для игры инструмент и, безрадостно нажимая на перламутровые клавиши, некоторые из них западали, старался выжать из него чужие деревянные звуки.

Я ненавидел свой аккордеон, как временами ненавидел себя.

Мы оба были никчемны. Беззвучны, так, наверное, надо сказать.

Эта моя полная одичалость и моя полная заброшенность подготавливали исподволь какие-то перемены, о которых я сам не подозревал.

Могло произойти самое худшее: мысль о самоубийстве не оставляла меня. А терять, как мне казалось, было уже нечего. Джека Сидорыча не было. Сада не было тоже.

И аккордеон не играл!

Но вдруг, как это произошло, я и не понял, я отложил дурной инструмент (навсегда!) и, вырвав из тетради в клеточку лист, написал на нем в столбик карандашом стихи. Начинались они так: «Осень стоит урожайная, хлеб собирают с полей, что ты, березка печальная? С летом прощайся скорей!»

Березка — был я.

Не яблонька, которую я безуспешно пытался возродить, а именно березка, которая росла за пределами нашего забора сама по себе, ничейная, с тонкими шнурами печально опадающих вниз веток.

Вот я и прощался с летом, с домом, с садом своим яблоневым, в котором стоял голубой шестигранник. Никогда, ни разу мы не пили в нем чай, он служил складом для многочисленных бутылок из-под вина.

НЕГАТИВЫ С ЧЕРДАКА

О Макаровых я вскользь упомянул, это было не из приятнейших соседств, да не мы же их выбирали.

Хозяйкой той половины, что примыкала к нам, была Антонина Ивановна Макарова, бывшая учительница, впрочем, я никогда не слышал о том, чтобы она где-либо работала. Лет ей к моменту нашего приезда в Ухтомку было около пятидесяти.

С ней жила ее старая мать, которую Антонина Ивановна изводила скандалами и в конце концов извела. Однажды я ее встретил возвращающейся из гостей, от таких же, доживающих свой век старух.

Видать, чекалдыкнули бабы по старой памяти четвертинку, и вот уже она едва брела, тыркалась во все стороны, никак не могла понять, куда ей вообще надо идти.

Подхватив ее под локоть, тяжелую, все время оседавшую на землю, я тащил ее до нашей улицы и слушал, как она кляла свою дочь. Как она ненавидела, мне даже не по себе стало от проклятий по ее адресу. Я ничего тогда не запомнил, кроме одного, что та мужа своего загоняла в гроб и, если бы не фронт, загнала бы, и над дочерьми изгаляется. А уж что она творит с матерью, то есть с ней, невозможно описать: морит голодом по неделе, запирает на замок, изуверствует, бьет палкой, топчет ногами, ну и прочее, в том же духе.

Я был тогда тихий подросток, подбирал брошенных кошек и собак на улице, и мое жалостливое сердце заболело от такого рассказа старухи. Хоть трудно было всему этому поверить.

Старуха же вскоре умерла.

Но запомнил, когда мы пришли к дверям Макаровых и постучали, вышла Антонина Ивановна и напустилась на нас.

Она кричала, что дурная баба выжила из ума, спилась и лучше бы она сгинула в канаве, чем по ночам беспокоить мирных людей! Да и я хорош, таскаю всякое отребье, будто меня просили об этом. Если уж такой я жалостливый, то и вел бы к себе! Это же надо — удружил, привел старую алкоголичку!

Кроме матери, жили с Антониной Ивановной трое детей: две дочери на выданье и самый младший, сынок Саша. Дочери — Муза и Лия — вскоре вышли замуж и уехали, а Саша, с ним-то мы неплохо общались, остался с матерью, а после ее смерти остался жить в этом доме, завел семью.

Началось же все из-за столба в саду, который соседка перенесла на метр еще до нашего вселения в дом.

А сад у нее был и так втрое больше нашего, это, наверное, разозлило отца.

Он позвал землемеров, соседку «разоблачили», а столб был водворен на старое место, но с тех пор и началась затяжная война между нашими семьями, длившаяся до ухода отца из этого дома и до смерти самой Антонины Ивановны.

Улица, а практически вся Ухтомка, в ту пору небольшой поселочек, принимала участие в этой безнадежной войне и сочувствовала нам: Макарову здесь не любили.

Кличка у нее была «Стенгазета», и еще одна, более соответствовавшая,— «Щука».

Последнее, наверное, потому, что нижняя челюсть у Антонины Ивановны выпирала вперед.

После смерти ее мужа, профессионального фотографа, осталось много стеклянных негативов и фотоаппарат гармошкой под названием «фотокор». Аппарат она продала, а негативы снесла на чердак, где я их и обнаружил в картонных коробках, сваленными как попало.

Я часами разглядывал эти негативы: странная, чужая, прожитая кем-то жизнь. Все, правда, вывернуто наизнанку, черное на белое, и наоборот, но я быстро приспособился подкладывать под картинку черную бумагу, и изображение возвращалось

Я увидел свою Ухтомку еще как подмосковный лесной уголок с полянами и тропинками; я увидел полустаночек, где поезд со старенькими вагонами останавливался дважды в сутки, а еще нашел там маленьких девочек с бантиками и игрушками, так выглядели тогда Лия и Муза, а рядом такая цветущая, такая эффектная женщина — сама Антонина Ивановна.

Я даже залюбовался этой семейной картиной, и вдруг подумалось: значит, была и она человеком, и доброй матерью, и славной женой? И ничего, что сад их на негативах выглядел крошечным, прямо как мой сегодня, сами-то они были добрые люди? Так почему стали по-волчьи жить друг с другом, да и со всем остальным миром?

Превратились впрямь в собственные негативы...

Не знаю, не уверен, что это уж такое интересное занятие, повествовать о своих соседях — справа и слева,— но они не только заборами, но своими мирами подпирали мой собственный мир, влияя, даже как-то деформируя его, вызывая мою собственную острую реакцию на все, что они представляли.

Я о многом не пишу, например, о портном дяде Васе, который жил через дом, о Томке-кошатнице, которая держала двадцать котов, не пишу даже о нашей собственной кошке Катьке, которую мы числили ведьмой, ибо она понимала все, что мы говорим, и когда в доме не оставалось еды, ненадолго исчезала, и тащила в зубах круг колбасы. Нет, я не стану рассказывать о кошке и о многом, что было тогда в Ухтомке, но эти два негатива, двух моих соседок: Антонины Ивановны (слева) и Екатерины Михайловны (справа),— я все-таки нарисую. Ибо теперь они уже часть меня.

Так вот, после смерти мужа на фронте Антонина Ивановна жила на пенсию, получаемую за него, подрабатывая продажей яблок со своего огромного сада, уже к тому времени прилично запущенного. Но деревьев было много, они плодоносили.

В какие-то особенные моменты, когда мне становилось худо, и я торчал около своих поломанных саженцев, обычно появлялась соседка; у нее был удивительный нюх на мое плохое настроение.

Она подзывала меня к забору (я был учтивый юноша и подходил) и, сорвав яблоко с какого-нибудь дерева, начинала о нем рассказывать: как сажали, да где что брали, и каково оно, яблоко, на вкус... И тут же, при мне, надкусывая крепкими мелкими зубами (истинно Щука, и зубов полный рот — штук сто, как у щуки!), и все яблоко с сочным хрустом она съедала, стараясь при этом, чтобы я не отворачивался, а смотрел бы, пока она ест, и с любопытством сама заглядывала мне в глаза: насколько все это меня проняло, крепко ли достало. Вдоволь ли помучило! И лишь убедившись, что проняло, что достало, что помучило, удовлетворенная убиралась к себе.

Иногда она впрямую провоцировала меня, подсыпав под забор десяток хороших яблок. И если я нечаянно оказывался рядом, жадно прилипала к стеклу, вдруг да возьму! Подниму! Вот уж и козырь в смертельной борьбе с моим отцом!

И если подобная тайная мысль у меня иной раз и мелькала — схватить яблоко, хоть одно, я не сделал этого ни разу, знал, крепко помнил, что Щука всегда на страже своей собственности, да ей, в общем-то, больше нечего и делать, как затевать всяческие подвохи да ловушки.

Она не то что яблоки, она малину у забора пересчитывала, и однажды, когда у нас соседский мальчик нарвал смородины, она словила его, а смородину, несколько ягод, принесла нам в пакетике с непременным требованием отнести это в милицию. Представляю, что бы она сотворила со мной!

Как-то мне рассказали, что яблоня может завянуть, если ее сфотографировать, глупость, конечно, но я вот так и вредил ей — снялся однажды на фоне ее самой лучшей в белом цвете яблони. Какой же я был тогда простачок!

А вот отца Щука изводила непрерывными заявлениями во все инстанции о том, какой жулик новый сосед, если к нему приезжают машины и что-то все время привозят: дрова, навоз, стройматериалы. При каждом заявлении все это перечислялось, как и номера машин, ни одной не пропустила! Начиная с той самой, на которой мы доставляли в первый день наши вещи.

Отец ради озорства, замазывал номера грязью, а потом из окошка тыкал пальцем в соседку, торчащую у машины, и громко хохотал: «Смотри! Смотри! Вот уж мука! Представляю, каково ей достанется, она же ночи спать не будет, если не запишет номера!»

Я смотрел, и мне почему-то было жалко старуху.

А потом, вслед за отцом, я уехал из этого дома и забыл про Щуку. Забыл, совсем забыл, что она вообще существует.

И вдруг встретил, незадолго до ее смерти.

Заехал по каким-то делам к сестренке, по дорогой машина забарахлила, и я, открыв капот, возился, и вдруг услышал, как надо мной гнусаво произнесли: «Так почему же вы не здороваетесь, молодой человек?»

Я даже не понял, что это обращаются ко мне, какой уж там молодой человек!

Но оглянулся и увидел Антонину Ивановну, стоящую с ведром воды. Ни в чем она не изменилась, разве что волосы стали белей. Она в упор смотрела на меня через круглые, в металлической оправе, очки.

— Вы мне? — спросил я растерянно и тут же услышал: «Вам, вам... Кому же еще! Вот так и воспитывают вас, что не знаете правил вежливости. Думаете, авось проскочит. Не проскочит! Нет!»

— Да я не видел... Простите... Здравствуйте,— сказал я, чувствуя себя неловко, неуютно. И вовсе я не испугался Щуки, меня поразило ее, неожиданное вообще, появление. Ее не было в моей жизни, да и быть уже не могло. И на тебе — объявилась, да все та же. Вечная, что ли!

— Учить вас, учить надо,— произнесла она наставительно, так что я чувствовал себя насквозь виноватым. И, на мое бормотание, повторив: «То-то же!»,— она пошла, неся легко ведерко с водой, и походка у нее была как у судьи, который только что совершил свой правый суд, но вдруг оглянулась и даже сделала шаг назад, чтобы лучше увидеть номер моей машины. Запоминала, но зачем?

В тот же день я даже машину плохо вел, никак не мог опомниться от этого дурного наваждения с возникшей из небытия старухой, сошедшей с того негатива.

Что взрастет после нее в ее саду?

По другую сторону от нас, против наших окон, располагался огромный дом другой соседки, ее звали Екатерина Михайловна. Вот с ней мой отец ладил и даже будто бы дружил.

Это была крупная властная женщина, ходящая вразвалочку, обутая всегда, даже летом, в шерстяные носки, у нее, кажется, болели ноги.

В молодости вроде бы слыла она красавицей.

Я запомнил ее историю со слов отца, что была женой средней руки фабриканта, владевшего производством, а может, и торговлей фетровыми шляпами под Москвой. Но после революции, а может, нэпа, мужа посадили, сослали, фабрику национализировали, и Екатерина Михайловна быстро выскочила замуж за своего собственного приказчика-армянина, купила на его имя дом в Ухтомке, это был в ту пору глухой пригород, и тихо-мирно прожила тут всю свою жизнь.

Своего второго мужа, которого я знал как дядю Костю, она держала в строгости, он и пикнуть в ее присутствии не мог, будто его и не было. Помалкивал да пил, вот и все его заботы.

Екатерина Михайловна же вершила свои немалые дела единолично, а хозяйство у нее было огромное, а сад еще больше, чем у Макаровых, а в саду том стоял у нее кроме капитального очень солидного дома еще один дом, а потом еще и флигель, и везде размещались какие-то темные жильцы-грузины, реже дачники. Детей от первого брака она рядом не терпела, и они тут почти не появлялись.

Занималась Екатерина Михайловна и перекупкой золота, которое она, по отзывам отца, надежно припрятывала на черный день.

Запомнил же я это потому, что у отца были массивные карманные золотые часы с откидывающейся крышкой, на которой были обозначены готические вензеля. Отец привез часы из Германии и хранил до особого случая, пока не стало нам особенно голодно. Но и в самые трудные времена он доставал их откуда-то из комода, из-под белья — комод и белье казались самыми надежными местами от воров,— и начинал тихонько рассматривать. Щелкал крышкой, которая откидывалась, обнажал белоснежный, с римскими золотыми цифрами циферблат... И я просил: «А мне? Мне дай подержать!»

Я осторожненько из его рук принимаю массивную луковицу, к золотому ободку которой сверху была прикреплена золотая же, в два ряда, диковинной вязки цепочка. Так что отец как бы переливал в мою руку все это бесценное добро и настороженно смотрел, не сводя глаз, как я прикасаюсь, поглаживая узорчатую, с цветочками крышечку, как нажимаю на пружинку и уж когда пытаюсь заводить, отец сразу говорит: «Не крути, сломаешь!» И тут же забирает часы обратно. Он так быстро выдергивает их из моих рук, что цепочка хлещет меня по пальцам.

Осматривает и кладет перед собой — решает.

А я смотрю на них и тоже решаю. Я знаю, что отец не спросит меня, продавать их или нет, но для себя я знаю точно, что продавать их нельзя. Они помогают выживать даже тем, что они есть, вот как я думаю.

Отец задумчиво произносит:

— Золото.

Имея в виду не время. Часы не являются символом времени, хотя сильней отражают его, чем все остальное. Ибо они отражают нашу проклятую жизнь. Даже когда из экономии мы не заводим пружину. Они живут вместе с нами, а значит, они ходят.

Вот эти часы и перекупила наша соседка. Ей они счастья не принесли и времени жизни не добавили. Сгинула она, сгинули и часы.

Но пока жила, она все допытывалась, нет ли у отца (в комоде под бельем!) чего-то другого подобного и золотого. Дура толстая, подобного ничего и быть не могло. Такие часы были для меня единственными в мире.

Я многое ей бы простил, а часов не простил.

Отец хоть и дружил с ней, но посмеивался над ее жадностью, приговаривая временами:

— Ох, скупа. До чего же она скупа... Ведь на платье себе материи не купит, как кухарка ходит! И мужа оборванцем держит, разве так можно жить? Умрет, с собой не унесет! Не унесет ведь, так я ей и говорю! Не слышит!

И будто накликал — та слегла, в больнице нашли у нее рак.

Отец навещал, а после ее смерти поведал о последних ее часах.

Будто почувствовав, что все кончается, позвала отца, специально запиской позвала и стала жаловаться, что умирает, а ни Костя, ни дети к ней не идут. Только вот и навещает он, мой отец.

Заплакала горестно, а потом успокоилась и, оглядевшись, не слышит ли кто, зашептала горячо, что̀ у нее спрятано, много, так много... А боится она открыться мужу, он все равно пропьет. Если бы она могла доверить Сергею Петровичу... Отцу, значит... Но чтобы он поставил ей памятник, а остальные отдал, куда она скажет.

— Ну, а где спрятано? — сразу спросил отец.

И тут она опомнилась, вновь заплакала еще горше и стала уверять, что не все у нее потеряно, вдруг да подымется! А если нет, то к разговору она еще вернется, у нее же есть время...

А времени у нее не было. Никакие золотые и самые бриллиантовые часы не могли ей уже помочь.

На другой день отец узнал, придя в больницу, что она той ночью умерла.

После смерти своей тиранической жены дядя Костя пустился во все тяжкие, тут же привел молодую бабу и начал еще крепче пить. Пил долго, до самой своей смерти. Видно, Екатерина Михайловна догадывалась о характере своего муженька и не верила ему справедливо, как и не ставила ни в грош. Возможно еще, что она что-то знала о его нечистом прошлом, тем и держала его при себе таким молчальником.

С детьми своей жены он рассудился, отдал им один из домов, худший, но земли не отдал ни капельки и вообще вел себя так, что жить с ним рядом они опять не могли.

Несколько раз, я слышал, он приглашал моего отца в гости якобы посидеть, выпить, на самом же деле расспросить под водку, он подозревал, что отец в самом деле знает, где запрятаны женины деньги.

Екатерину Михайловну при этом, наливаясь водкой, он клял безбожно! Он и сад перекопал, и дом переворошил, и подвал, но все попусту! Крепко свое добро запрятала старуха.

После смерти дяди Кости снова вернулись дети, снова судились, теперь уже между собой, и нам приходилось бывать свидетелями на суде и слышать все, что они думали о матери, об отчиме и друг о друге.

Крики и ругань из их сада слышались ежедневно.

И не было покоя этому богатому дому и великолепному саду.

Вымороченные, будто злом зараженные, были дом и сад. Сюда не доносились даже гудки поездов...

ФОТОГРАФИЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ С ДЕВОЧКОЙ НА КОЛЕНЯХ

В те времена, когда была жива еще Екатерина Михайловна, во флигеле поселилась на лето семья — молодая женщина с ребенком и престарелой матерью.

Женщина была прекрасна: лет двадцати шести, невысокая, складненькая, с густыми каштановыми волосами, огромными глазами. Ее все в нашей Ухтомке принимали за знаменитую актрису, так она была хороша.

Дочку ее, лет пяти, звали Мариночкой: золотые курчавые волосы и голубые глаза, кукла, а не ребенок. Мама была маленькой, толстой и хромой. Голос у нее был пронзительный, слышный сквозь забор даже в нашем доме.

Чаще всего она кричала по поводу своей беспутной дочери, которая гробит ребенка и живет кое-как, не думая о будущем. Дочь ей что-то медленно и лениво отвечала, она не умела, как видно, ссориться.

Из этой перебранки можно было узнать, что муж красивой женщины, звали ее Алла, находится где-то на Востоке, будто бы в Китае, и он военный, и что сама Алла живет на его средства, но не умеет жить экономно и вообще ничего не хочет, ничего не может, ничего не любит, даже своей дочки не любит.

Но это — неправда. Дочку она, конечно, по-своему любила.

Еще наезжала к Алле ее приятельница Соня, молодящаяся женщина, за тридцать, быстрая, практичная и немного насмешливая. Я почему-то ее всегда стеснялся, как не стеснялся Аллы или ее мамы. Да мама чаще всего отсутствовала. Поскандалив в очередной раз, она уезжала в Москву, жила там до очередного звонка дочери.

Может, потому я побаивался эту приятельницу Соню, что она первая, и сразу же, разнюхала о моей влюбленности в Аллу.

Да и как не влюбиться, если все так складывалось, что она была рядом, за забором, что она была мягка и ласкова и позволяла с собой разговаривать в любом тоне.

Может, ее покладистость, усталость от жизни я принимал за взаимную доверчивость, почти за ответное чувство.

Теперь-то я понимаю, что ей было тут скучно, одиноко, вот и весь ответ.

А я-то в семнадцать лет готов был для платонической такой любви, я был влюблен в любую женщину, похожую на Аллу, еще до того, как она появилась в нашей глухой Ухтомке!

Моя замкнутость, мое одиночество, моя стеснительность при всей моей навязчивости (но это вроде бы две стороны одного состояния) усиливали, обостряли тайное чувство.

Благо, что Алла была не только прекрасна, но и добра, она как-то сразу приняла, то есть не отвергла мою немного назойливую дружбу.

Познакомились же мы так: она зашла к нам в сад, с Мариночкой, конечно, чтобы попросить воспользоваться нашим садовым душем.

Отец соорудил такой летний душ, взгромоздил на столб бачок, сделал кран, рассеиватель и отгородил закуток клеенкой.

В жару мы наливали в бак воду, она подогревалась на солнышке, и мы купались.

Чуть ли не с первой той встречи Алла стала рассказывать о каком-то Жероме, который якобы должен к ней вот-вот подъехать.

Жером, вероятно, и правда существовал, и она время от времени ходила звонить ему по телефону из станционного автомата.

Кажется, она злилась, что он не едет, но злилась как-то лениво, от скуки, а может, еще потому, что была красивой женщиной и не привыкла долго ждать.

Я же злился на Жерома за то, что он вообще существует в природе, и что он, имеющий такое странное имя, безусловный красавец и шикарный модный мужчина.

Однажды по просьбе Аллы я звонил ему из Москвы и был немного разочарован, услышав пропитой голос с грузинским акцентом, который несколько раз переспросил, от имени кого я звоню, и лишь потом, не сразу вспомнив, сказал: «Да, да... Спасибо. Я пока не знаю... Но я это... Я подожду... Пусть позвонит!»

Я был счастлив от того, что мне не понравился этот голос и что он не оказался голосом шикарного мужчины. Пересказывая ей наш разговор, я ликовал: грузинский дурак Жером явно не торопился к нам, сюда, ехать!

Он так и не приехал в Ухтомку. Спасибо ему! Мне было бы тяжко пережить его приезд.

К Алле я приходил по утрам: перепрыгнув через соседский забор, стучался в окошечко.

Она приоткрывала створки, выглядывала, еще припухшая от долгого сна, но всегда с очень свежим, почти детским лицом.

Прищурив глаза от яркого солнца, она смотрела на меня и будто бы заставляла себя чуть улыбнуться: хоть и разбудил, но ведь пора будить и пора что-то делать из того, что ей очень не хочется.

— Бери Маринку, а я сейчас... — лениво говорила она, улыбаясь одними губами, тоже чуть припухшими, без помады, но такими красными, что я не мог отвести от них глаз. — Я только причешусь... Приведу себя в порядок. Ладно?

Она подавала мне через окно дочку, послушную куколку, строчащую наизусть на ходу какие-то стихи, сама начинала расчесывать чуть потрескивающие гладкие, блестевшие на солнце светло-каштановые волосы, отбрасывая их вперед и вовсе уже не замечая, что я еще тут и на нее, влюбленно затаив дыхание, смотрю.

Потом, чуть посмеиваясь над собой, она прыгала в сад через окошко, проникала сквозь дырку к нам на участок и садилась на скамеечку, щурясь на яркое солнце, небо, на зелень и как бы удивляясь, что это все существует.

— Ну, ты завтракал? — спрашивала она меня и, заметив мой, наверное, слишком пристальный взгляд, обращенный на ее полуоткрытую грудь, на ее голые из-под халатика ноги, отворачивалась и нехотя зевала. — Ты хочешь, чтобы мы погуляли? Да?

Я, конечно же, предлагал ей и дочке попить чаю, и она лениво соглашалась, она знала, что я ей предложу.

— А у тебя есть чай? Ну ладно. А хлеб есть? А папа где? Он что, так и не появлялся? А у меня к нему дело...

— Может, я сам что-то сделаю? — Мне было приятно играть роль хозяина дома и даже предлагать свои услуги вместо отца.

— Да нет... Нет... — медленно произносила она. — Твой папа обещал нашей хозяйке... Как ее... Екатерине... Да, Екатерине Михайловне привезти для нас керосину. А мне еще лично достать крупы... Мама что-то привозила... Но все кончилось, а она, вот злюка, поругалась, не хочет ехать. А мне не хочется ее звать! Так что же, мы будем пить чай или гулять?

— Да, да! Пить чай! — и я бежал за чаем, и приносил ей и ее дочке, потом я уносил и мыл посуду и все торопился, как в лихорадке, предвкушая, как мы будем сегодня с Аллой гулять!

Но прогулка наша оказывалась снова до станции, к телефону-автомату, где она сперва незло ругалась со своей мамой, потом сплетничала с подругой Соней, пеняя на скуку и намекая на какие-то с кем-то неудачи, а потом неизменно звонила Жерому, досадуя, что его опять нет дома.

Появлялась в воскресенье подруга, и Алла легко от меня уходила, уплывала под власть этой боевой Сони, а та, вдруг почувствовав мое недовольство, зазывала в гости и начинала меня бередить, бередить, конечно, умышленно, разговаривая об Аллиных мужиках.

А однажды, подмигивая мне после принятого душа в нашем саду, она сказала:

— Ах, Толик! Если бы ты знал, какая у нас сладенькая Аллочка! Я вот ей сейчас мыла спину и сама любовалась...

— Да перестань, — говорила Алла, но говорила по-доброму, будто

чуть-чуть сомневаясь, нужно ли мне об этом слышать. И даже так: не слышать, а нужно ли меня, наивненького мальчика, так дразнить.

— Ну а что, неправда, что ли? — невинно взглядывая на Аллу, а потом и на меня, произносила весело подружка.— Такую фигурку поискать надо! Ах, как все у нее прям точеное, какая грудь, какой живот, какие руки!

— Ну будет, будет...

Тут Алла смущалась и сама, как бы исподволь, быстро взглядывая на меня.

А уж я краснел вовсю,— даже грудь под рубашкой краснела,— где-то втайне понимая, что подруга-то права и фигурка у Аллы такая вся... Ну такая... А эта ехидная подруга, может, даже завидует ей, если так говорит. И завидует, и вообще, у нее мысли все вокруг этого.

Я стеснялся, боялся таких разговоров, но они мне, если бы признаться (в чем я тоже не смел), самому нравились!

А каверзная эта, словоохочая, насмешливая подруга, которая, конечно, была сильней характером, бойчей, чем Алла, начинала повествовать вообще о женской шее, о женских руках, что мужики еще не умеют их ценить, а это, может быть, главное в женщине. Особенно же руки. О, руки... Только истинные мужчины знают, что умеют ее руки, когда женщина по-настоящему любит!

Потом Соня уезжала, а в наших с Аллой отношениях наступала какая-то неясность, даже натянутость. Соня как бы отдаляла Аллу от меня, но именно она будто бы что-то обещала от имени самой Аллы, повествуя о ее достоинствах.

Что-то — но вовсе не обладание, да я и не знал еще, как это бывает.

Я не уверен, что мы с Аллой чувствовали, понимали наши неуловимо напряженные отношения совсем одинаково.

Может, даже так: я вел себя слишком неуверенно и строго, а она, чувствуя эту странную мою неуверенность, мою неестественность, терялась и начинала быть излишне нервозной, подчас замкнутой.

А потом случился вечер, когда все стало настолько очевидным, что жить, как мы жили, оказалось невозможным, наступил перелом.

Перелом, конечно, в моей жизни, для нее же все это было не больше, чем занятной игрой, при том что она ко мне и вправду хорошо относилась.

Просто я был еще слишком молод, а она — опытной, много пережившей женщиной для того, чтобы что-то и вправду могло между нами быть.

Но я хочу сказать еще об одном, чрезвычайно важном для меня обстоятельстве: здесь, в Ухтомке, она была из другого, неведомого мне мира.

Этот мир, будто звездные осколки, падающие на землю, неспециально, неумышленно проявлялся в ней в мелких подробностях ее дачной жизни — в ее этих звонках, в намеках подруги, а иной раз и в рассказах самой Аллы... Про сатирика, который в ресторане весь Новый год так острил! Так острил! Он про икру как-то сказал... Мол, кто мечет столько икры... Или что-то в этом роде. Ужасно смешно!

А потом еще про художника, а потом про певца... А мама ее все кляла какого-то ухажера, беспутного, проходимца, который вечно голодный и врет, что он поэт.

Да, да. И поэты были у нее в доме, это меня отрезвляло. Ведь я тоже писал стихи. О ней, об Алле, мечтая тайно, что она их прочтет, и пугаясь от этой мысли: я и какой-то, оттуда, настоящий поэт, из другого мира, где рестораны, где Новый год с сатириком, где художники и певцы.

И откуда ко мне сюда, в разнесчастную Ухтомку, доносятся непрерывно, через голоса мамы и Сони, и самой Аллы, звон бокалов и чья-то невозможная, головокружительная, похожая на вечный праздник жизнь.

Случилось, не могло не случиться, что однажды я задержался у нее в доме.

Такая проза: она кипятила белье на той самой керосинке, что притащил отец, и читала книгу, а я сидел рядом. Мариночка заснула, да и сама Алла, казалось, хотела спать. Она будто бы не сумела меня прогнать, хоть и лениво намекнула, что время-то позднее.

Но даже не в том дело, что она сделала это нехотя, а в том, что она не повторила, не настаивала на моем уходе.

И я это сразу понял. Я это понял и остался.

А что было дальше, я помню до мельчайших подробностей: она захлопнула книгу и сказала, что это занудство с бельем ей надоело и пока оно кипит, она чуть приляжет. Если уж мне охота тут сидеть, пусть я послежу за бельем, чтобы не случился какой пожар.

Она прилегла на кровать и прикрыла глаза.

А я находился рядом, и все во мне застыло от напряжения, потому что никогда передо мной так вот, ну, в такой беззащитной позе не была женщина! Какая женщина! Я ее в упор, стыдясь самого себя, всю-всю осмотрел. Я видел, что халатик у нее чуть отогнулся, стали видны стройные ноги с белой кожей чуть выше колен.

Странная дрожь возникла во мне, и я никак не мог с ней совладать.

Я слышал, как булькала вода в тазике на керосинке, смотрел, как поднималась и опускалась ее грудь, что-то цветное из-под халатика выглядывало на этой груди, сводя меня с ума.

И тогда я вдруг произнес эту чепуху, мол, Алла, не спи... Я стал торопливо повторять: «Алла... Ну, Алла... Ну, Алла...»

А она будто засыпала, не слышала меня. Не открывая глаз, она морщилась, как от зубной боли, произнесла: «Ну чего тебе? Ты еще здесь, да?»

Выходило, и правда, что она спала и что забыла про меня. И я поверил, какой же я был тогда наивненький и глуповатый, ясно, как день, она не спала, где уж там спать, она даже не погружалась в себя, она тоже ждала.

Но и она, я сейчас думаю, не знала, чего ждала, просто ждала. Понимая, что все это, конечно, смешно, глупо... Особенно то, что я продолжал бессмысленно повторять: «Ну, Алла... Ну, Алла... Ну, Алла...»

И тогда она будто совсем проснулась, грустно поглядела на меня (ах, ты еще все сидишь, все ждешь? А чего ты ждешь? Тебе не пора?), перевела взгляд на керосинку.

Резко поправив халат и отчего-то сильно смущаясь, она приподнялась, ткнула палочкой в белье и сказала:

— Ох, совсем засыпаю... Знаешь, ты, пожалуйста, иди. Ладно... Я завтра докипячу.

И я, поверив ее тону, ее голосу, ее зевку и в то же время точно зная, что не надо сейчас уходить, что этого больше не будет, чтобы она меня терпела и вот так лежала в забытьи. Все, все осознавая, чувствуя себя отвратительным и безвольным, я, не попрощавшись, побрел домой.

А она тут же, слишком резковато для засыпающей женщины, защелкнула за мной дверь на щеколду. Этот громкий, на весь сад щелчок прозвучал как поставленная точка.

Наутро отец, как-то необычно на меня взглянув, вдруг сказал:

— Ты это... К соседке... К дачнице к той... Ты не ходи... Она просила. Я ее встретил, она поехала в Москву, но она завтра вернется.

Так как я молчал, еще не до конца осознав силу удара, отец повторил:

— Я ее встретил, она сказала... Мол, не надо, чтобы ваш сын ко мне приходил.

Отец отправился на работу, а я остался сам с собой. Оглушенный странным разговором и этой просьбой, переданной, вот какая нелепость, именно через отца! Через отца, который, к моему стыду, все, наверное, понял! Где уж тут не понять!

Мне стало жарко. Стало совестно самого себя. В такие минуты что-то делают, и я побежал на станцию, сел в электричку и поехал неведомо куда. Потом я вернулся, ночью, и сразу же посмотрел на ее окошки, за забором: они светились... Она была там! Значит, ни в какую Москву она не уезжала. Сидела взаперти дома, вот и все.

Я смотрел на эти окошки, не зная, как мне до утра жить. До утра, а еще днем, а еще вечером... И снова до утра!

Но ведь не только косвенно, как прежде, а сейчас уже напрямик было мне доказано, что я лишь сосунок, местный выкормыш, невежественный, самоучный в сравнении с тем, кто был из ее московского мира!

Я тогда торжественно поклялся, что я вырасту и всего достигну, я стану с теми неведомыми мне поэтами, сатириками, певцами из ее мира вровень, я стану выше, лучше их!

Стал я чем-то и выше ли, сейчас мне думать неинтересно, а вот лучше, точно знаю, я не стал.

Сейчас-то мне просто видней, что я тогда, в ту пору встречи с этой удивительной, прекрасной женщиной был лучше их. И лучше себя, который сейчас.

Еще я уверен, что Алла тогда знала это, и оно-то мешало ей самой, кроме всяких других причин, перейти или даже помочь мне перейти ту границу, которая была (если была!) возможна в наших отношениях.

Но история на этом не заканчивается.

Наутро, когда я в бессчетный раз проходил мимо калитки Екатерины Михайловны, появилась Алла, она вышла, как обычно, прогулять Маринку.

Вышла уже как положено через дверь, а не через окошко, и тут мы с ней нечаянно встретились.

Я прошел мимо на деревянных ногах, ощущая, как сам весь становился неудобным, неловким, и, едва проворачивая языком, я произнес свое, ради чего все утро тут ходил, слово: «Здравствуй».

Она на ходу кивнула, мельком посмотрев на меня, будто едва меня узнавая, а потом вдруг вслед громко крикнула: «Толя!»

Я обернулся. Как вздрогнуло, как затрепыхалось мое всепрощающее сердечко лишь за одно вот это воспроизведенное имя!

Я же знал, я же верил, что она не выдержит и крикнет!

А она добавила громко, когда я остановился:

— У тебя в носочке...

— Что? — спросил я, не разобрав. Не разобрал же потому, что ждал других слов, всего другого.

— Дырочка... У тебя в носочке! — еще громче произнесла она и, дернув за руку дочку, пошла в противоположную сторону.

А я, не понимая, что меня еще раз, уже как-то по дешевке, изничтожили, унизили, нагнулся и стал приспускать носок, чтобы не видно было на нем пресловутую дырку.

Ах, какая это была страшная месть: заметить мою дырку и вот походя, в самый мой тяжкий в жизни момент, когда я еще не верил в свое отторжение, когда я на что-то надеялся... Дурак! Какой дурак!

А потом закончилось лето, и получилось, как я сейчас уже не помню, что я помогал им грузить их дачный скарб и даже сопровождал до Москвы, до их квартиры на улице Большой Почтовой.

В эту квартиру я потом наезжал и каждый раз привозил огромный букет цветов из нашего сада. Ездил так долго, я уже был студентом, пока Алла вроде бы между делом не обмолвилась (думаю, что это было не случайно), что у нее теперь есть мужчина, он, кстати, дирижер Большого театра.

Были и какие-то подробности о том, как они встречаются (у него больная жена, и он, несчастный человек, так любит Аллу!) и что ее муж на Дальнем Востоке, в Китае, не хочет давать ей развод и по-прежнему любит ее, и все в том же роде. Помню, что она даже похвалилась, что ее приняли за балерину Большого театра... Да, да. Она стояла у служебного входа, ждала его, а тут подошла какая-то женщина и сказала: «А вы балерина, правда? Я сразу поняла, это же видно!» И она еще спросила меня: «А правда, я похожа на балерину?»

— Конечно, похожа, — только это я и сказал.

Но я уже спокойнее перенес удар, да это уже и не был удар, а так... Легкая, быстроизлечимая травма.

Ее результатом стало лишь, что я перестал ездить в этот дом.

Отрезал, как некогда меня отрезала Алла, с той лишь разницей, что я еще страдал, еще думал о ней. Это чувство живо и до сих пор. А ведь сколько лет прошло!

Когда я впервые опубликовался, она сама позвонила, отыскав где-то мой новый телефон, и сдержанно поздравила.

Я не испытал той необыкновенной радости, того счастья признания, какое мог бы предположить прежде. Лишь больно кольнули ее произнесенные негромко слова: «Вот ты и достиг... А я...»

— А ты? Что ты?

— Да ничего, — сказала она тем самым привычным, чуть замедленно густым, даже по телефону, тоном. — Я все ругаюсь с мамой. Она так постарела... Она стала просто невыносима!

— А этот? Ну, дирижер?

— Дирижер? У него умерла жена.

— А ты?

— Что я?

— А ты как? Ты еще с ним?

— Ах, ну конечно, — сказала она, и это прозвучало почти так, как прежде она говорила о маме, с которой ругается. — Да, кстати, — продолжала она. — А ведь я тебя видела! Представь себе, в театре «Современник», в холле. Ты стал такой... Ну... Как твой отец тогда...

— А ты? — почему-то спросил я, решив не узнавать, почему же она ко мне там, в театре, не подошла.

— Я? — и задумалась. — Я, наверное, сейчас как в ту пору моя мама. А ты помнишь, какой ты был тогда, у этой... Как ее...

— Екатерины Михайловны? Она, кстати, умерла.

— Да? А ты был очень хороший... Чистый, чистый... И стихи такие писал, я все их вспоминаю. «Свой, кастрюльный, булькая мотив...»

— Надо же такое писать! — воскликнул я. Но она меня не поддержала.

— Нет, правда, я их вспоминаю.

Последнее она произнесла со вздохом, и мы распрощались.

Это был ее последний звонок, я уже сам туда не звонил. А потом я вообще уехал из Москвы, женился, и все пошло у меня так, как и быть должно.

Но где-то у меня хранится небольшая фотография, в свое время я ее часто рассматривал: на ней красивая женщина с распущенными волосами, в проеме дачного окошка, я снимал из сада, она с любопытством, но и с каким-то еще странным, скорей всего тревожным выражением лица смотрит в мой объектив, а на коленях у нее белокурая курчавая девочка, похожая на куклу.

УЛИЦА СТАЛИНА

Серые, в дорожной пыли кустики акации, кривые заборы, деревянные дачные домики, сады, огороды...

Вот она, улица Восьмого марта, бывшая Сталина! Электричка еще не набрала скорость, и можно подробно рассмотреть ее из окна, хоть ни моего дома, ни дома Екатерины Михайловны отсюда не видать. Но в общем-то можно и так представить, вся наша улица была сплошь одноэтажной, в зелени, в садах и огородах и не шибко шумной, несмотря на асфальтированное шоссе, по которому ходили машины.

Если смотреть отсюда, от вагона, наш дом будет на расстоянии двух кварталов слева от дороги, а справа, где ныне заводской клуб, прежде было поле, туда приезжали грузовики сливать на землю лишний бензин (для приписок), и там, конечно, ничего не росло. А на заборе Екатерины Михайловны, это был сплошной высокий забор, висела табличка УЛИЦА СТАЛИНА.

Я ужасно гордился, что живу на улице с таким замечательным названием, и, когда улицу вдруг переименовали, даже расстроился, хотя в то время я уже понимал, почему это сделали.

Но вообразите сами подростка, который учится, вкалывает на работе и тратит на дорогу три часа, какая у него личная жизнь? Утром бегом на поезд, ночью почти ползком до дома, темно, грязно, глухо. И так каждый день, да и воскресенье не каждое для себя: то поездка на картошку, то воскресник по уборке территории или иное подобное мероприятие, их у нас просто обожали на работе. И вдруг — праздник Первое мая, и уж точно твой праздник, его-то уж никто не заберет.

Куда унесется, умчится, улетит мой герой, не угадаете ни в жизнь! А полетит он на Красную площадь, потому что полгода этой дремучей жизни он ждал своего праздника, чтобы встретиться с товарищем Сталиным.

Вся его жизнь, утлое существование, оправдано этим ожиданием. Любить своего вождя никому не помеха, любить ежедневно, ежечасно и знать, проходя мимо таблички с его именем, помнить, до этого праздника души осталось столько недель или даже деньков! И все расписано, все известно заранее, что он будет делать в этот невероятно счастливый день.

В утро Первомая я поднимался до света. С первой электричкой, которая шла в четыре часа, я доезжал до Москвы, а уж тут, поскольку метро еще не ходило, топал пешочком к центру.

Где-то за Красными воротами уже начиналось шевеление: каждое предприятие имело свое место сбора. Тут я и толкался, стараясь втереться в колонну, но бдительные дежурные с повязками наметанным глазом выявляли меня и гнали прочь.

Прорываясь через солдатские и милицейские оцепления, обманывая и сочиняя про дом, который вот тут, рядом, за углом, я медленно, но верно проникал в полосу запрета, откуда легче было уже найти среди утомительного долгошествия колонн что-нибудь приемлемое, то есть что приемлемо было для меня. Малый рост и природная бойкость меня выручали. Обычно я прибивался к какому-то заводу, зная по опыту, что заводские благодушнее: не станут тут же оголтело кричать и пихать в затылок.

Объяснив невнятно, что отстал от своих, я для верности подхватывал транспарант потяжелей, и мне его с радостью отдавали. Кому же охота тащить часами неведомого миру Маленкова. А я их обожал, шестерок из сталинского окружения, и по-своему жалел, любил, да и сейчас вспоминаю с благоговением, ибо они помогали мне: как и я им... И Маленков, и Андреев, и Шверник, и Жданов, и невидимый тогда еще Хрущев — все они были моими спутниками, единомышленниками, почти дружками в труднодоступном походе на Красную площадь.

Вцепившись руками в спасительное древко, я мог часами тащить кого угодно, не отдыхая: и я уже как бы был среди всех свой, хихикая над чужим анекдотом, не злым, не едким, потому что в заводской колонне обычно поддавали на ходу из пластмассового стаканчика или из горла, и это никем не запрещалось, но всегда создавало легкую атмосферу радушия и праздника. Лишь по временам, когда приходил какой-нибудь райкомовский уполномоченный, я сжимался, хоть и понимал, что он не может знать всех, но все же своим особым нюхом мог угадать и ткнуть пальцем: «Кто разрешил?» И тогда меня неминуемо вытряхнут из колонны. Иногда и вытряхивали. И те, что были почти своими, веселыми, добродушными, сразу становились несговорчивыми, потупливая глаза; бдительных деятелей свыше недолюбливали, но боялись. Обычно с ними не спорили.

Если же мне удавалось пройти Неглинную до Метрополя, я вживался в чужой коллектив как в свой, я был его телом, кровью, отторгнуть меня становилось практически невозможно.

Совершалось чудо из чудес: пройдя десятичасовой путь от дома, я вступал победителем на Красную площадь. «Москва моя, страна моя, ты самая любимая...»

Гремели репродукторы, звучала музыка, марши, все цвело красным цветом.

И хоть проходил я всегда далеко от Мавзолея — близкие колонны формировались, наверное, из других, надежных коллективов, — но и это никак не портило моего праздника. Зайдя за буровато-красные стены Исторического музея, я, подобно остальным, поворачивался, вытягиваясь в сторону Мавзолея: «Он, Сталин, там? Он смотрит? Он приветствует? Ура ему, Ура! Ура!»

«Он лукаво улыбнется, он посмотрит на народ, эх, много Швернику придется... Эх, много Швернику придется пор-ра-бо-тать в этот год!» Известно, какая это работа — давать ордена. А мы и тем уже награждены, что тут, рядом со Сталиным.

Пускай ничего не видно, мы все, и я в том числе, домысливали, представляли, почти уже наяву видели, что вон он! Да вот же! Ну, в середине, машет нам! Ура! Ура! И на призыв громкогласный из репродуктора, звонкого, жизнерадостного, почти ликующего казенного голоса, кричавшего еще прежде нас: «Любимому вождю всех народов, генералиссимусу Сталину — ура!» Мы немного визгливо, мелковато, в сравнении с его поставленным дикторским голосом, но очень искренне, с энтузиазмом подхватывали: «Ура-а-а!» Те, кто перебрал с выпивкой, кричали громче.

— Вождю мирового пролетариата, товарищу Сталину — ура!

— Ура! Ура! Ура!

Мои андреевы, маленковы, шверники, ждановы бледнели в свете его всепобеждающей, немного лукавой улыбки, но про них сейчас никто и не помнил. Их тащили лишь потому, что они рядом с ним, иначе все бы несли только его, лучшего друга советских детей, советских рабочих, советских летчиков и советских спортсменов.

«Приезжай, товарищ Сталин, приезжай, отец родной!»

— Генеральному вождю всех времен и народов, великому Сталину ура!

— Ура! Ура! Ура! — кричал я что было мочи, срывая голос, ах, как я его любил! Сказали бы мне тогда, вот тебе жизнь и вот тебе смерть, но если ты умрешь, он за тебя будет жить! Не задумываясь, сразу бы крикнул на всю площадь: Я готов! Да все готовы! Скажите лишь, кликните! Да за него, такого родного, чтобы лишь он был всегда и жил вечно.

«На дубу зеленом, да над тем простором два сокола ясных вели разговор, а соколов этих люди все узнали: первый сокол Ленин, второй сокол Сталин!»

Конечно, как было со всеми и всегда, мы напротив Мавзолея невольно замедляли шаг, и тут начинали нас подгонять те, кто стоял в разделительной цепочке.

Так, наверное, полагалось, иначе вышел бы затор. Люди в темных долгополых плащах, в одинаковых, как мне казалось, кепках и в чем-то сами неуловимо одинаковые одинаковыми голосами покрикивали, почти приказывали: «Быстрей! Не задерживаться! Не-за-дер-жи-вать-ся!»

И мы, подгоняемые, но вовсе этим не смущенные, ускоряли шаг, а поравнявшись с Лобным местом, уже бежали, мы все время выворачивали головы назад, еще желая ухватить невозможное, то есть увидеть родного Сталина на отдаляющемся Мавзолее.

Испытывая оголтелый, почти щенячий восторг оттого, что я побывал ТАМ, что видел ЕГО, что впитал его образ и даже получил ответный всем, но и мне взмах его руки, я отдавал своих андреевых, маленковых, шверников, ждановых за Василием Блаженным в чьи-то торопливо протянутые с заводского грузовика руки, вовсе без сожаления видя, как их плашмя валят друг на друга, небрежно швыряют на дно кузова, лицом в бензиновую грязь.

Они свое отработали до будущего года. Да и будут ли на будущий? Все они, мельтешащие вокруг НЕГО, менялись, и лишь ОН один был всегда.

Наполненный святой любовью к нему, каждой клеточкой обновленный, возрожденный для новых побед в борьбе за светлое будущее, я бродил по улицам, засоренным веточками деревьев, что несли на демонстрацию с привязанными к ним матерчато-зелеными искусственными листьями и цветами, приятно шуршащими обертками от мороженого, пил сладкую шипучку, продаваемую в бутылках с грузовиков, заедал сладкой булочкой, и все растворялось во мне, и я сам растворялся в окружающем, и это было то самое счастье, в котором нельзя было усомниться, что оно настоящее.

Однажды, возвращаясь с такого праздника, я не нашел для метро билета и денег тоже не нашел. А сил уже идти до вокзала пешком у меня не оставалось. И я смухлевал, бросив в автомат, выдававший бумажные билетики, вместо двух монет по двадцать копеек трехкопеечные монеты. Билет тогда стоил сорок копеек.

Были в Москве два таких чудо-автомата: один на станции метро «Комсомольская», а другой здесь, в центре.

Кстати, можно было бы сделать и иначе, подобрать, скажем, билетик посвежей да и сунуть обратным, ненадорванным концом — не всегда, но сходило. В крайнем случае баба, стоящая на контроле, не в силах тебя

догнать, выдаст сапогом крепкий поджопник, и ты с такого благословения прямо-таки влетаешь в мраморный, сверкающий золотом зал.

Ну, а в этот раз, не помню уж почему, я бросил в автомат медяки. Они такого же размера, как и двадцать копеек, и автомат на них среагировал, затрещал, зафырчал, но билета так и не выдал. Бдительный был автомат, что и говорить. Мне бы поскорей убраться, но я ждал: наверное, в то время я еще верил в чудо-технику. Чья-то властная рука из-за моей спины нажала на кнопку возврата, и выпрыгнули всем напоказ мои стыдные медяки.

Та же рука, это был человек в гражданском, подхватила меня и быстро затолкала в туалет, кстати, вполне красивый, просторный и, кажется, даже в мраморе.

Вот уж сколько проезжал тут, в метро, к Сталину на Красную площадь, но ни этой крошечной деревянной дверки не видел, ни туалета не подозревал. Только в тот момент мне было не до рассматривания. Прямо от входа я получил резкий удар в затылок и полетел плашмя по гладкому полу (да, теперь я припоминаю, что это был мрамор!) в самый конец комнаты и стукнулся о стенку.

Человек сказал: «Ну, тебе в праздник пятый угол показывать?» И снова последовал удар, когда я захотел подняться, я снова полетел, потек по полу (вот теперь я убежден, что он был мраморный, тот пол: здорово же я по нему скользил) и снова стукнулся головой о противоположную стенку. Номер с такими полетами у моего обидчика был отработан. Так бил он меня, методически, но не зло, не ожесточенно, а скорей профессионально и даже радостно минут десять, повторяя одно: «Пятый угол тебе в праздник показать?»

А потом он выкинул меня через ту же дверцу, и я побрел с окровавленным лицом и расквашенным носом в метро, потом на электричку. Нос я задирал вверх.

Я сглатывал кровь и тихонечко поскуливал, хотя не было больно. Было жалко себя. Пожаловаться, уткнуться в чужую теплую подмышку и то некому. Ни здесь, ни дома, нигде. Только оставался один самый близкий человек, Сталин, с которым я сегодня встречался, как с лучшей родней. Да ведь до него далеко, полгода, день к деньку, до следующих праздников, до самых Октябрьских копить свое время и терпеливо ждать.

Под бравурные марши из репродукторов я умылся из лужицы на асфальте. Полез в карман и вдруг обнаружил два злосчастных медяка. Как они туда попали, непонятно. Но обрадовался, что деньги, хоть и малые, не пропали, а значит, праздник по-своему даже продолжается. С этим и сел в электричку, четвертый вагон от конца, второе сиденье слева.

Билета в электричку я в те годы не брал, ни по праздникам, ни в будни.

Окончание следует

Янина Дегутите
(1928—1990)

ЧАСЫ ТИШИНЫ

* * *

На дорогах белых нам судьбой
уготован приговор слепой.
Кто ж кого тут выбрал? Я? Меня?
(Голубь крылья моет в блеске дня).

Я ли тебя выбрала, вглядясь, —
в дыме плавном лун ущербных высь?
Лист кленовый — лесенкой кривой?
(С красной каплей в клюве — голубь мой).

Присужден ли? Избран? Дан вперед?
Весь оплачен, переплачен — сверх.
В сумерках простор наземных вод —
словно Андромеды дикий свет.

Выбирал меня осенний ветр, —
листьев огненный водоворот.

* * *

...Из рук ноября беру я
этот шелест ливней затверженный...
этот свод, лишь чудом удержанный...
путь непройденный, долю злую...

...Беру эту правду безлистую,
перо, что потеряно птицей.
Прохладу корней, гробницы ли...
(Солнце сим ноябрем не сыскано).

Одного прошу: не предай души
предательству, очерствению,
не то — даже с почкой сирени я

не смогу сойтись, расцветающей.
Словно глину, осень умяла меня
на пепельном дне слепого дня.

Прощание с одуванчиком

Прощай, — больше
ты сюда, одуванчик, вернуться
не сможешь; на тысячу лет
заснешь в гробнице бетонной.

Там, где ты сиял, как маленькое солнце,
квадраты серые лягут
в прямоугольном порядке.
Там, где с месяцем полным шептался,—
раскинется аэродром, а не то автострада.
А вдруг да проснешься
где-нибудь на балконе или на мусорной свалке
и эти слова мои вспомнишь.

А вдруг да услышишь, как я во сне
тебя призываю.

* * *

Ты, временность мирская,
не знай к нам состраданья.
Не угаси нашу жажду,
не отними у нас голод,
не затвори нашу дверь перед бурей.
Так блестит, расцветая, шиповник,
так длинна дорога
в краткий миг лихорадки.
Сквозь крови сверканье,
как будто сквозь жар заката,
мы тихо глядим в большое
небо Неведомого.

* * *

Час,
я должна удержать тебя,
(ветер в горсти!)
иначе — кто я?
Удержать — читай,— назвать по именам
разные вещи.
Крыши в снегу.
Двух синиц в окне приоткрытом.
Стену книг (чего я ищу в них?).
Шерстяной недовязанный серый
платок в корзинке плетеной...
. . . .
Воспоминания, упования, обрывки музыки,
их тени и всполохи — на полу,
на стене...

Час,
но ты забираешь меня, как свое достояние;
теряюсь: впустят ли, примут ли
в себя — две строчки вздрагивающие и память
греющая чья-то...

Перевела с литовского Новелла Матвеева

Жизнь

Крохотный — в мире огромном.
Хрупкий — кому он нужен? —
Но живехонек, дышит,
тепла ищет —

маленький котенок.
На коленях у меня — вот они —
глаза его удивленно
на солнце сентябрьского неба раскрылись,
на колыханье цветка под ветром.
Он живет и жить хочет,
когда несешь — чтоб не сорваться —
в платье вцепляется,
с доверием в глаза глядится.
Живой — и никому, никому не нужный,
только этой кошке,
такой счастливой и гордой,
принесшей его к ногам моим.
Благодарная,— теперь она лижет мне руки.

* * *

Раскрывшаяся пурпуром
тускнеющему своду северного лета —
средь елей и крыжовников
запущенного, кинутого сада,—
ты, роза, дикая и гордая,
растешь, такая одинокая...
Раскрывшаяся пурпуром —
всем четырем ветрам осенним —
бросаешь лепестки свои по-царски —
свою и плоть и кровь...
Раскрывшаяся пурпуром,—
что видишь ты во сне, во сне? —
в пургу, из рук судьбы покорно принимая
корону тяжкую серебряную,—
голову склоняя?..

* * *

Синее дерево сливы,
что будешь делать без руты и Дерева Божьего,
одно, в море солнечной ржи, островком голубым?
К кому прильнешь,— как задует северный ветер
в этом море взволнованной ржи?
Для кого взрастишь синий плод свой,
темный, как вечер?
— А вот прильну
к потерянному птичьему перу.
А вот верну
августовскому дню
синий плод свой,
темный, как вечер.

Вешние родники

Ледяные лестницы,
серебряные террасы.
Крылья — мельниц и птах.
Ветрá!
Брызжут ключи
(посвящение свету и храбрости часа),

восходя из почв молчаливого
заспанного нутра.
В стеклянных гробницах проснутся вот-вот
маленькие царевны.
Из талого снега восстав, расцветают
шиповники, ели...
Пробились ключи, небеса отразить,
(соблазн! — хотя и мгновенный),
на миг отразить — и вернуться назад —
в грунты, в свои колыбели.

Фуга с серебряными пилами

...Горло сухое мне льдинка жжет нестерпимая...
Ночь. Я стою на пороге ее —
ненавидимая? Любимая?
Тысячи звонких шагов по снегам — игрою серебряных
пил... Хочу я
И жду этой ночью — чуда...
На дне. С деревьями. А деревья —
как думой, как цепью, сковало.
«Чьи это,— спрашиваю,— шаги — звонче пил
серебряных? Чуток
ли их нарастающий звук?
Что несут мне они? Предадут,
вознесут иль затопчут? Иль мимо пройдут —
как не бывало?..»
Жду чуда...
...Улиткой в раковине коры —
ненавидимая и любимая...
Имя непроизносимое уста мне и жжет и нежит...
Двенадцать воронов-братьев кричат, налетая: «Покуда
жди этой ночью чуда»...
...морозных шагов серебряные пилы
по сердцу режут...

Сахарные колокольни

Так бел декабрьский город —
Высь колоколен сахарных,
А в окнах птахи серебряные.
И — снежные Божьи деревья —
деревья до облаков.
Так праздничен город, как будто придуман.
Так бел,
словно от роду не бывало
ни сажи,
ни крови.
И словно бы все искуплено, смыто.
И никуда не записано.
И словно все еще сбудется.
Сбудется.

Перевел с литовского Иван Киуру

Генрих Бёлль

ИЗ ПОЗДНИХ РАССКАЗОВ

Вежливость при некоторых неизбежных нарушениях закона

Представляется излишним превозносить само собой разумеющиеся формы вежливости, как то:

придержать дверь ребенку, входящему в дом;

не отталкивать ребенка, когда он что-то покупает, а, наоборот, пропускать вперед;

дать возможность школьнику, усталому и измученному стрессами, спокойно сидеть в трамвае, автобусе, электричке на пути домой, не задевая его ни словесно, ни даже испытующе-воздействующим взглядом — он заслужил свой отдых;

считаю также само собой разумеющимся не заставлять голодать своего ребенка, свою кошку, собаку или птицу и в крайнем случае быть готовым пойти ради них на кражу съестного, и, конечно же, нельзя заставлять мучиться от голода и жажды свою жену или подругу, как нельзя их бить, даже если они об этом попросят, поскольку вообще вежливость рук — одно из главнейших проявлений вежливости;

почетному гостю следует наливать не первую, не вторую и лучше даже не третью, а четвертую чашку, памятуя китайскую поговорку: вежливость на самом дне чайника...

К само собой разумеющейся вежливости относится и то, что обращение с людьми обоих полов, кто ощущает себя подшефными — поскольку понятие «подшефности» как таковое, естественно, недопустимо,— должно быть на несколько тонов спокойнее и сдержаннее, чем обращение с теми, кто считает себя шефами; естественно, понятие «шефства» как таковое также недопустимо, ибо нельзя ведь в конце концов — как снег на голову — заполучить человека себе в шефы, как тарелку супа от шеф-повара, и вести себя с этими шефами следует не то чтобы шумно и нагло, а лишь чуть потише и не столь деликатно; действуя таким образом, можно было бы несколько изменить общественные структуры.

Не следует также говорить прямо в глаза тому, кто вам несимпатичен, к примеру, такое: «Мне не нравится ваша рожа». Можно выразить свою неприязнь и в достаточно вежливой, по возможности письменной форме, поскольку устное общение всегда чревато опасностью срыва на грубость.

«На основании непостижимых, не поддающихся анализу, если не сказать, космических констелляций — поскольку я не хотел бы взвалить всю ответственность на положение звезд в данный момент и зодиакальных созвездий,— стало быть, на основании данных, которые не одни только ответственны и судьбоносны — скажем так,— узы симпатии между нами, к сожалению — я прошу Вас расценивать это «к сожалению» как знак огорчения, а также уважения в целом к Вашей особе, узы эти более не поддаются возрождению. Хотя Вы как таковой являетесь в высшей степени приятной особой, считаю тем

не менее уместным и даже необходимым свести число наших встреч до минимума, вынуждающего нас из деловых соображений обмениваться порою рукопожатием или обсуждать неизбежно возникающие в процессе производства (здесь можно вставить название соответствующей продукции как то: романов, гаек, сельди в желе), роль которого постоянно растет. За пределами этого минимума общения мы постараемся избавить друг друга от звука наших голосов, вида волос и кожи, от источаемых нами запахов. Сообщаю Вам это не без сожаления, в надежде, что вышеупомянутая непостижимая констелляция изменится, узы симпатии между нами возродятся, и в целом благоприятно для нас изменившееся соотношение данных позволит расширить наши неизбежные деловые контакты и перенести их на сферу личных отношений.

Примите уверение в моем совершеннейшем почтении...»

Подобные формы вежливости представляются мне столь очевидными, что я хотел бы лишь назвать их, не останавливаясь на них слишком подробно.

И напротив, мне представляется столь же трудным, сколь и необходимым говорить о вежливости в необщепринятых, даже незаконных ситуациях. Следует подчеркнуть, что действия, о которых я хотел бы здесь сказать, сами по себе не только не общеприняты или безнравственны, но имеют ярко выраженный преступный характер. Возьмем, к примеру, такое само по себе противозаконное, сколь и невежливое действие, как ограбление банка или нападение на банк, и вспомним некую бывшую до того весьма законопослушной приличную и почтенную даму, которая средь бела дня — точнее сказать, около 15.29 — «облегчила» сберкассу в предместье одного немецкого города на семь тысяч марок.

Вы только представьте себе: дама за шестьдесят, из тех, кого называют хрупкими, при взгляде на которых приходят на ум пасьянс или бридж, вдова подполковника, входит в сберкассу, чтобы незаконно присвоить себе деньги. И если эта дама стала известна как «вежливая налетчица» и даже значится таковой в полицейских документах, то прилагательное «вежливая» подразумевает в данном случае ее особую опасность. Дама эта инстинктивно поступила так, как и должен поступать вежливый грабитель: и не помышлять об оружии, насилии, крике — вовсе не принимать в расчет столь грубые приемы. Ведь не только невежливо, но и опасно размахивать пистолетом или автоматом и орать: «Гони бабки, а не то получишь пулю в лоб» — и, конечно же, такая дама, как наша, не пойдет в первый попавшийся банк из одной только абстрактной жажды поживиться или потому, что потеряла вдруг душевное равновесие, а именно потому, что в сложной ситуации обрела это самое равновесие. Она тщательно продумала свои действия, причины у нее на то есть!

Здесь необходимо обрисовать в общих чертах стесненное положение, в котором оказалась эта дама, вынудившее ее к вышеупомянутым, мягко говоря, необщепринятым действиям: у нее есть сын, сбившийся с пути, отсидевший несколько небольших сроков по разным тюрьмам, и вот теперь, выйдя опять на свободу, он нашел подружку, которая влияет на него стабилизирующе и добивается того, что ему обещают место агента в фармацевтической фирме, и мать тратит последние деньги на оплату телефонных переговоров, писем и телеграмм, пускает в ход все свои связи — в том числе знакомство с двумя еще продолжающими служить генералами,— чтобы он получил это место. И в последний момент нежданно-негаданно фирма требует пять тысяч марок залога. Мать — та самая дама, которая стала известна как «вежливая налетчица», уже сняла для сына небольшую квартирку, она чувствует симпатию к его подруге, все складывается лучшим образом, и вдруг происходит нечто непредвиденное — пять тысяч марок залога! Представьте себе только: на банковском счету дамы значительный перерасход, большая часть ее пенсии возвращается в банк в погашение долга, себе она оставила лишь прожиточный минимум; она заняла денег, у кого только смогла,— у приятельниц по бриджу, у бывших сослуживцев мужа, в том числе у двух полковников и одного генерала — сплошь славные люди,— ей пришлось даже отказаться от яйца на завтрак,— и вот она стоит посреди квартиры, и в голову ей приходит только одна поговорка: «Не украдешь — не поимеешь!» — И эта известная поговорка становится в определенном смысле роковой для той самой сберкассы.

«Не украдешь — не поимеешь!» — тут уж, так сказать, мысль о краже напрашивается сама собой. Нужно добавить, что дама эта не только хрупка, но и горда. Ей пришлось постоянно унижаться, выслушивать тысячи поучений и добрых советов, проглотить массу язвительных замечаний в адрес ее любимого сына, она продала большую часть мебели, избавилась от колье, к которому была очень привязана, и поссорилась из-за этого со своей лучшей подругой, которая так и сказала: «Овчинка выделки не стоит!» Она навещала сына в разных тюрьмах, платила адвокатам, тратилась на разъезды. Единственной роскошью, которую она могла себе позволить, оставался телефон: чтобы сын в любое время мог позвонить ей, а она ему, если у него будет под рукой телефон. Порой ей не просто кажется, будто она его понимает, но она действительно понимает. Социальный опыт истекших четырех лет принес ей внутреннее ощущение отверженности, хотя внешне она пока держалась — дама, которая следит за собой и выглядит моложе своих лет,— и вот теперь, после тревожного телефонного звонка сына, в голову ей приходит роковая поговорка: «Не украдешь — не поимеешь!»,— и мораль этой поговорки задевает ее за живое в том месте, которое не предусматривалось распространителями подобных речений.

«Выход один — украсть!» — думает она, вспомнив около 14.30 о том маленьком, ухоженном филиале сберкассы в близлежащем пригороде рядом с парком. Перед тем, как выйти из дома, она успевает еще покормить своих прелестных карликовых зябликов — это такие крошечные птички ростом с полмизинца — единственное, что она еще может себе позволить.

Слово «кража», столь чуждое ей, становится для нее все привычней, пока она идет к парку в близлежащем пригороде, куда она добирается около 15.05. «Кража,— думает она.— Где крадут хлеб? В булочной. Где крадут колбасу? У мясника. Где крадут деньги? В кассе магазина или в банке».

Касса магазина тотчас исключается, это носит слишком личный отпечаток, она не хотела бы красть у кого-то конкретно, к тому же вряд ли в кассе какого-нибудь магазина найдется пять тысяч марок. И еще — грабить кого-то непосредственно кажется ей слишком уж грубым, почти наглым.

Совесть уже давно перестала ее мучить, теперь она занята соображениями тактического и стратегического характера; она глядит из-за кустов на маленькую, весьма импозантного вида сберкассу напротив, которая, как ей известно, закрывается в 15.30. Кассовый зал пуст, и в голове у нее проносятся разные странные мысли: она, разумеется, смотрит иногда телевизор, изредка бывает и в кино и вспоминает не оружие, пусть даже игрушечное, а чулок, который натягивают на лицо,— это всегда вселяло в нее ужас, поскольку искажение человеческого облика таким манером оскорбляло ее эстетическое

чувство, и, кроме того, она считает ниже своего достоинства здесь, в этих кустах, лишать чулка одну из своих ног, к тому же это обратило бы на нее внимание случайных свидетелей. В этих рассуждениях неповторимо соединились — как это уже успел понять благосклонный читатель — эстетика, мораль и тактика! В сумочке у нее — огромные солнцезащитные очки (подарок сына, полагавшего, что они ей к лицу), она надевает их, лохматит свои обыкновенно очень аккуратно уложенные волосы, выходит из кустов, пересекает улицу, входит в сберкассу: молодая дама за правым окошком, занятая оформлением финансовых документов, любезно улыбается ей, хотя и немного вымученно, так как до закрытия кассы осталось несколько минут. Среднее окошко закрыто, за левым стоит молодой человек, примерно тридцати четырех лет, и считает дневную выручку: он поднимает на нее глаза, вежливо улыбается и спрашивает, как обычно:

— Чем могу служить, милостивая госпожа?

В этот момент она сует руку в свою сумочку и вытаскивает ее с таким видом, будто в кулаке у нее что-то зажато, подступает вплотную к окошку и говорит шепотом:

— Чрезвычайно затруднительные обстоятельства заставляют меня, к сожалению, совершить это нападение. В моей правой руке нитритная капсула, которая может причинить много вреда. Я крайне сожалею, что вынуждена угрожать вам, но мне немедленно нужны пять тысяч марок. Дайте их мне, иначе...

Трагизм ситуации возрастает от того, что служащий банка, как и большинство его коллег, тоже человек вежливый, это «иначе» ничуть его не пугает, но ему моментально становится очевидным отчаянное положение этой дамы. К тому же налетчики-профессионалы обычно требуют не определенную сумму, а всю наличность. Он перестает считать деньги — а под рукой у него как раз банкноты в пятьсот марок — и также шепотом отвечает:

— Вы поставите меня в крайне затруднительное положение, если не продемонстрируете бóльшую степень насилия. Никто не поверит мне, что была нитритная капсула, если вы не будете кричать, угрожать и вообще не устроите правдоподобную сцену. В конце концов и в ограблении банков существуют свои правила игры. Вы делаете это совершенно неправильно.

В этот момент молодая дама выходит из-за своего окошечка, запирает дверь в кассу изнутри на ключ, однако оставляет его в замке. Старая дама, решимость которой не только не убавилась, но, напротив, возросла как никогда, мгновенно оценивает ситуацию в свою пользу.

— Эта капсула...— говорит она угрожающим шепотом.

— Нитрит,— перебивает ее кассир,— не взрывается, он всего лишь ядовит. Вы, видимо, имеете в виду нитроглицерин?

Имею не только в виду, но и в руке...

Уже ясно, что кассир или деньги, что (в данном случае) одно и то же, пропали. Вместо простого нажатия кнопки сигнала тревоги он затевает дискуссию, на лбу и верхней губе у него выступают между тем бисеринки пота, и он ломает голову над тем, для чего так уж понадобились деньги этой даме: пьяница? наркоманка? карточные долги? капризный любовник? Он размышляет слишком долго, не воспользовавшись своим правом поднять тревогу, и в мгновение этого, так сказать, медитативного интермеццо старая дама быстро протягивает руку в окошко кассы, правильно сообразив сделать это левой рукой, хватает, сколько может, банкнот в пятьсот марок, бежит к двери, отпирает ее, пересекает улицу, исчезает в кустарнике — и лишь когда ее и след простыл, кассир дает наконец сигнал тревоги. Вполне вероятно, что этот же кассир повел бы себя более решительно и бесстрашно с невежливым грабителем — стукнул бы его по кулаку, немедленно дал бы сигнал тревоги.

Дело это не обошлось, разумеется, без разного рода последствий. Стоит упомянуть наиболее важные из них: даму так и не выследили, кассира не уволили, а лишь перевели на другую должность, где он не имел дела непосредственно с деньгами и клиентами. Когда дама обнаружила, что вместо пяти тысяч марок схватила семь, она переслала тысячу девятьсот марок обратно в банк, однако справедливо решила не отправлять их по телеграфу, поскольку таким образом ее могли опознать; она позволила себе взять такси, доехала до вокзала и отправилась ближайшим поездом к сыну — это стоило ей примерно девяносто марок, оставшиеся десять марок она истратила на кофе и коньяк, заказав их в вагоне-ресторане, полагая, что заслужила это.

Передавая деньги сыну, она знаком велела ему молчать и сказала:

— Никогда в жизни не спрашивай меня, где я их взяла.

Потом она позвонила своей соседке и попросила накормить зябликов. Почти излишне говорить, что у сына ее все кончилось благополучно: разумеется, он прочел в газете о странном нападении на банк «вежливой» налетчицы, и этот акт солидарности — совершение преступления его матерью — подействовал на него стабилизирующе в моральном плане больше, чем тысячи добрых советов и даже чем подруга с ее стабилизирующим влиянием; он стал вполне надежным агентом фармацевтической фирмы с перспективой роста, но не мог порою при встречах с матерью удержаться, чтобы не повторить: «И ты пошла на это ради меня!» На что именно — никогда не говорилось. После некоторых внутренних колебаний дама решила выплачивать свой долг банку в рассрочку по одной марке в месяц, объясняя незначительность суммы тем, что «банки могут ждать». Время от времени она посылала кассиру цветы, книги или билеты в театр и завещала ему единственную ценную вещь из сохранившейся у нее мебели — резную домашнюю аптечку в неоготическом стиле.

Итак, мы воочию убедились, что вежливость одинаково полезна и для банковских служащих, и для грабителей банков, и если эти последние в своих действиях совершенно откажутся от оружия, грубых слов и наглых повадок, то, пожалуй, в один прекрасный день можно будет говорить вовсе не о грабеже банков, а лишь о выдаче ссуды под принуждением, когда речь будет идти лишь о безоружном поединке двух разных форм вежливости.

Необходимо лишь добавить, что ограбление банка, когда оно происходит без насилия и кровопролития, является довольно популярным преступлением: каждое удавшееся ограбление банка, при котором никто не пострадал, вызывает ощущение удачи, а также зависть у тех, кто каждую минуту готов был бы совершить столь же удачное и некровопролитное ограбление, имей они на то мужество.

Гораздо сложнее установить какую-либо связь между таким же наказуемым проступком, как дезертирство, и вежливостью. Как ни странно, дезертиров считают трусами, но это суждение не выдерживает критики при ближайшем рассмотрении. Дезертир на войне рискует быть расстрелянным — своими или чужими,— и ведь ему никогда не известно, в чьи руки он попадет, даже если он считает при этом, что знает, из чьих рук он вырвался. И как бы ни оценивалось это в разных странах — а в этом вопросе все нации на удивление единодушны,— дезертир на войне кое-чем рискует, и риск его заслуживает уважения. Здесь, однако, речь пойдет о «вежливом» дезертире в мирное время, о некоем неизвестном молодом человеке, который оставляет военную службу, не воспользовавшись своим правом — хо-

тя бы правом на отказ от нее,— который смывается, скрывается, по возможности, за границей просто потому, что у него пропала охота и ему надоело главное бремя солдатской жизни — скука; которого не прельщает в большей или меньшей степени вынужденное товарищество, которому безразличны так называемая служба, деньги, еда, водительские права, перспектива образования или роста по службе, короче — славный немецкий юноша, который, скажем так, еще в школе прочел Эйхендорфа и нашел его «потрясным»; симпатичный парень, который так и не закончил школу, потому что она ему осточертела; который стал столяром, и это занятие доставляет ему удовольствие; который вскоре после сдачи экзамена на звание подмастерья был призван на военную службу; он не проявляет ни малейшего интереса ни к танкам, ни к какому-либо виду оружия, ни к политике, но зато— довольно большой интерес к изготовлению мебели, что ему случалось наблюдать несколько раз в поездках по Италии в столярных мастерских на первых этажах домов в Риме, Флоренции, возможно, и в Сиенне (моральная сторона дела, а именно то, что кое-где старинная мебель регулярно подделывалась, его не интересовала), он хочет и хотел туда, но неожиданно оказался вместо этого в пехотной казарме, скажем, в Ной-Оффенбахе. Разумеется, этого юношу можно всерьез упрекнуть в отсутствии гражданского сознания или сказать ему, что лучше было бы смываться, скажем, в Болонью до, а не после призыва; можно упрекнуть его в отсутствии чувства долга, хотя это не так, поскольку мастер, у которого он был в учениках, ставший между тем жертвой изменений экономической структуры, дал ему отличный отзыв; родители, учителя, даже его друг постоянно пытались втолковать ему, что нужно думать «реалистически», но этот симпатичный паренек думает как раз реалистически, он думает о таких реальных вещах, как о выдержанной древесине, о клее и тисках, о верстаке и гнутых ножках стульев, он думает, разумеется, также о девушках, о вине и подобных им вещах. Только вот армия ничего для него не значит и ничего ему не дает.

Такое бывает. Нет смысла сожалеть об этом, хотя само по себе это достойно сожаления. Парень такой, какой он есть, и нужно отдать ему должное, что он вел себя сравнительно порядочно, поскольку так называемый основной срок он честно отслужил, он не то чтобы осознал его необходимость, но все же проявил к нему любопытство, но так и не понял, зачем ему, собственно, нужна эта служба.

Но теперь он сыт по горло, однако не обращается в какое-нибудь учреждение за консультацией — в государственное, церковное, надпартийное,— нет, он попросту смывается, но поскольку он вежливый человек, то смывается не бесследно. Он посылает своему ротному командиру с безопасного расстояния письмо со сбивающим с толку швейцарским штемпелем на конверте:

«Уважаемый г-н капитан!

Не обижайтесь на то, что меня больше ничуть не привлекает перспектива еще целый год заниматься Вашей профессией, и вообще Вы не должны принимать мое дезертирство лично на Ваш счет или тем более как оскорбление. Просто я никакой не солдат и никогда им не стану, и мне меньше всего приходит в голову упрекать Вас в том, что Вы не столяр и, возможно, не знаете, что такое царга и уж наверняка как ее делают. Разумеется, я знаю и прошу Вас также всегда иметь в виду, что, хотя и существуют законы, по которым можно заставить человека на год с четвертью быть солдатом, но нет таких, по которым можно заставить кого бы то ни было разбираться в царгах, и, конечно же, я понимаю, что мое сравнение «солдат — столяр» хромает. Ну и пусть себе хромает, и если уж есть закон, принуждающий

меня еще целый год скучать самым кошмарным образом, то настоящим сообщаю Вам, что я этот закон нарушаю. Меня огорчает то, что я сообщаю это Вам, славному, симпатичному и чуткому начальнику, я, разумеется, предпочел бы причинить неприятность, которую, возможно, причиняю Вам, какому-нибудь дрянному и грубому офицеру. Вы не раз спасали меня от наказания, меня, столь плохо разбирающегося в абсурдных воинских предписаниях. Вы так сочувственно улыбались по поводу множества моих глупостей, раздражавших моего унтер-офицера и даже моих товарищей, так сочувственно, что я подозреваю в Вас тайного дезертира, и Вы опять-таки не должны принимать это за оскорбление, а скорее за комплимент. Скажу кратко: как шеф Вы были даже лучше моего мастера, но то, что предоставили Вашему подшефному Вы или, точнее сказать, армия, было просто невыносимо. Это относится не к еде или карманным деньгам, а ко всей этой невозможной деятельности, которая называется: «убивать время». И я просто не желаю больше убивать мое время, я хочу пробудить его к жизни — не больше и не меньше.

Одно только было разумно и доставило мне удовольствие: когда нас использовали в течение четырех дней для ликвидации последствий наводнения в Обердуффендорфе. Когда мы гребли на надувной лодке от дома к дому и доставляли отрезанным от мира жителям Обердуффендорфа горячий суп, кофе, хлеб и иллюстрированные газеты, на многих лицах светилась благодарность, и это приносило удовлетворение; но, помилуйте, господин капитан, разве не будет зловещим или даже кощунственным дожидаться очередных катастроф, чтобы найти смысл в армейской службе?

В надежде, что Вы поймете некоторые из моих мыслей и сочтете мои мотивы вескими,

остаюсь уважающий Вас

Ваш...»

1977

Пока смерть не разлучит вас

Первая спичка погасла у нее на сквозняке от раскачивающихся створок парадной двери, вторая сломалась от чирканья по коробку, и любезность адвоката, протянувшего ей свою зажигалку и прикрывшего огонь другой рукой, пришлась весьма кстати; наконец-то она могла закурить; сигарета и солнце — приятно было и то, и другое. Все продолжалось не более десяти минут — целую вечность,— по-видимому, из-за беспредельности этих бесконечных коридоров циферблат уже не доверял своим стрелкам; а вся эта толчея, эти люди, разыскивающие нужные им номера комнат, напомнили ей распродажу у Штрёсселя в конце летнего сезона. Кой-какая разница, впрочем, между процедурой развода и сезонной распродажей пляжных полотенец все-таки имелась. И в том, и в другом случае приходилось стоять в очереди, но при разводе все решалось гораздо быстрее, правда, быстрее ей и хотелось. Господин и госпожа Шрёдер — брак расторгнут. Господин и госпожа Науманы — брак расторгнут. Господин и госпожа Блутцгер — брак расторгнут.

Интересно, скажет ли и в самом деле этот симпатичный адвокат то, что ему в таком случае сказать полагается? То единственное, что он сказать может? И он сказал: «Не принимайте так близко к сердцу». Произнес, хотя и знал, что она вовсе не так уж близко принимает

случившееся к сердцу, и все же сказать это он был ей обязан, и он сказал это просто и мило, и было мило, что он сказал это так мило. И тут же заторопился, разумеется, ему необходимо было к определенному часу, назначенному для следующей пары, возвратиться в суд, чтобы там снова томиться в очереди: господин Чурбански и госпожа Чурбански — брак расторгнут.

Нечто похожее происходило и на сезонной распродаже; терпеливо, предупредительно, не поторапливая и все же чуть напряженно дожидаться, пока какая-нибудь покупательница, слишком старая, чтобы сделать непригодным хотя бы одно пляжное полотенце, вдруг решится на целую дюжину; потом заняться следующей клиенткой, отхватившей сразу три купальника. В конце концов, обслуживание у Штрёсселя было еще в достаточной степени индивидуальным, не какая-нибудь там мелочная лавка, где по дешевке спускают лежалый товар. И в конце концов, не мог же адвокат торчать возле нее часами, когда сказать уже нечего, кроме: «Не принимайте этого так близко к сердцу!» И пока она стояла здесь на верхней ступени парадной лестницы, ей как-то очень уж ярко припомнилась подобная сцена семилетней давности — на верхней ступени парадной лестницы ратуши: ее родители, свидетели жениха и невесты, родители жениха, фотограф, очаровательные детишки Ирмгард, Уте и Оливер, державшие фату; букеты, такси, украшенное белыми розами, и все еще звучащие в ушах слова: «Пока смерть не разлучит вас!» потом в такси на следующую церемонию, и еще раз уже в церкви: «Пока смерть не разлучит вас!»

И вот теперь жених снова тут — только теперь у основания другой лестницы, сияет от своего очередного завоевания, хотя и смущен немного, и явно гордится еще одним своим сегодняшним завоеванием: удалось втиснуть свою машину прямо перед самым судом, на одной из самых занятых стоянок города. Завоевания разного рода вообще сыграли в их разводе большую роль.

А развела их не смерть, а суд, и менее торжественной церемонии трудно себе вообразить. Но если суд, вынося решение о расторжении брака, устанавливает тем самым факт его смерти, то почему в таком случае не устраивают похороны? Катафалк, похоронная процессия, свечи, надгробная речь? Или хотя бы не прокрутят вновь всю свадебную церемонию — только теперь в обратном порядке? Очаровательные малыши, на этот раз, возможно, дети Герберта — Грегор и Марика — снимают с нее фату и венок с головы; белое платье сменяется на костюм — некий род свадебного стриптиза на глазах у почтенной публики, прямо на парадной лестнице суда, раз уж не получилось похорон.

Разумеется, она знала, что он будет ждать ее, чтобы в очередной раз выяснить отношения, хотя смерть уже засвидетельствована; глупо, потому что он так и не сумел понять, что с тех самых пор, как она с сыном переехала в маленькую квартирку, ей от него абсолютно ничего не надо: ни денег, ни ее доли в «совместно нажитом имуществе», ни даже этих бесспорно ее, доставшихся в наследство от ее бабушки шести стульев в стиле Людовика — какого именно, черт побери? Вполне возможно, что в один прекрасный день он эти самые стулья выставит перед ее дверью, поскольку просто-напросто не переносит никаких невыясненных «имущественных отношений». Ей не нужны ни стулья, ни мейсенский сервиз (из тридцати шести предметов), никакая «материальная компенсация». Ничего. Ведь у нее есть ее мальчик, пока у нее, потому что бывший муж пока еще не оформил свои отношения с этой — как ее? — Лоттой или Габи. Но вот когда он женится на этой самой Лотте или Габи (или какой-то там Конни?), вот

тогда им сына придется «поделить» (без всякого Соломона, державшего меч над мальчиком, которого вознамерились поделить), потому что эти отвратные крючкотворы все уже расписали до мелочей, что касается права опеки, и вот тогда начнутся эти обязательные посещения: ребенка будут забирать на «откорм» («Ты в самом деле не хочешь больше взбитых сливок? Тебе ведь нравится твоя новая куртка, а авиамодель я тебе, конечно же, куплю»). На день, на два или полтора, а потом возвращать («Пока я, пожалуй, новую куртку тебе купить не смогу, возможно, к первому причастию или к конфирмации? И переносной телевизор пока не получится».)

Еще одну сигарету? Не стоит, пожалуй. Из-за этого сквозняка от раскачивающейся парадной двери — симпатяги-адвоката с его изящной зажигалкой под рукой больше нет — новую сигарету пришлось бы прикурить от старой, а такая мелочь только усилила бы впечатление, что она потаскуха, и уж эту-то вольность ей бы наверняка припомнили, когда будут окончательно решать вопрос о сыне. Эта ее привычка курить на улице уже зафиксирована в деле о разводе, и поскольку к тому же она признала себя виновной в нарушении супружеской верности (в его присутствии, что, собственно, и требовалось доказать), то в материалах судебного дела явно характеризуется как шлюха. А вся эта тягомотина и спор о том, можно ли, следует ли, дозволено ли курить женщине на улице — эту ее привычку адвокат мужа обозвал «псевдоэмансипированным» жеманством, не соответствующим уровню ее образования.

Хорошо, что он не стал подниматься по лестнице, ограничившись лишь приглашающим жестом, и хорошо, что он неодобрительно покачал головой, когда она все-таки прикурила вторую сигарету не от первой, а от спички, на этот раз не погасшей, хотя из-за «летней распродажи» парадная дверь по-прежнему ходила ходуном. И раз уж сюда не являются ни священники, ни служащие магистрата, ни рыдающие матери и свекрови, ни фотограф и прелестные детишки, то следовало хотя бы присылать кого-нибудь из похоронного бюро, кто все это нечто — что? — увозил бы куда-нибудь в гробу, кремировал и тайно предавал земле.

Возможно, ради нее он пожертвовал какой-нибудь деловой встречей (предположим, переговоры о слиянии с фирмой «Табуреттер и Табуреттер», где ему надлежит решать кадровые вопросы), но неужто он и в самом деле ради нескольких стульев пропустит переговоры со своими Табуреттерами? Он не понял, не осознал того, что она не испытывает к нему никакой ненависти, что ей от него ничего не нужно, что он ей не просто безразличен, он чужой, некто, кого она когда-то знала, за кого когда-то вышла замуж, но кто стал совсем другим. Им удалось все — карьера и обустройство дома, все, кроме одного-единственного: остановить смерть, и умер не только он, но и она тоже; ей не удавалось даже воспоминание о нем. И, возможно, все эти церковники и чиновники не могут и не желают осознать, что это «Пока смерть не разлучит вас» подразумевает вовсе не смерть физическую, или, вернее, смерть до физической смерти, а всего лишь состояние, когда в супружескую спальню входит совершенно посторонний человек и требует исполнения обязанностей, на которые у него больше нет никаких прав. Роль суда, составляющего это свидетельство о смерти, которое он называет расторжением брака, столь же второстепенна, как и роль священника или чиновника: никому не дано оживить мертвых и отменить смерть.

Она бросила сигарету, затоптала ее и энергичным жестом отвергла его предложение окончательно. Обсуждать больше нечего, а уж куда он собирается ее отвезти, ей прекрасно известно — куда же еще, в кафе, что в парке Гайдна, где именно сейчас кельнерша-

турчанка расставляет по столам крохотные медные вазочки, а в каждой по тюльпану и гиацинту, и расправляет скатерти, и именно сейчас в глубине кафе еще что-то пылесосят; он его всегда называл «кафе воспоминаний»; добавлял покровительственно, что оно «ничего себе,— не изысканное, конечно, а уж тем более не аристократическое». Нет, она повторила свой жест — окончательный отказ — и раз, и другой, пока он, покачав головой, и в самом деле не сел в свою красную машину, вырулил со стоянки и, ни разу не кивнув ей больше, уехал, как всегда, «осторожно, но энергично».

Не было еще и половины десятого, и она наконец-то могла спуститься вниз, купить газету и войти в кафе напротив. Хорошо, что он уехал. У нее оставалось время, и надо было еще кое-что обдумать. В двенадцать, когда малыш придет из школы, она приготовит ему оладьи с вишневым компотом, а к ним — помидоры-гриль, он их так любит; потом она с ним поиграет, поможет сделать уроки, они сходят в кино или, возможно, даже в парк Гайдна, чтобы выяснить, окончательно ли умерли воспоминания. Когда он будет есть компот, оладьи и помидоры, то наверняка спросит, не выйдет ли она снова замуж, а она ответит: нет, нет! С нее хватит и одной смерти. И еще он спросит, не станет ли она снова работать у Штрёсселя, где он мог бы в задней комнате делать уроки или играть с лоскутками — образцами материй и где этот славный господин Штрёссель иногда ласково гладил бы его по голове. Нет, нет.

Скатерть на столике в кафе нравилась ей, была приятна на ощупь — чистый хлопок, темно-розового цвета в серебристую полоску, и ей вспомнились скатерти в кафе в парке Гайдна: первые, семь лет назад, были цвета спелой кукурузы, довольно грубые, потом зеленые с набивными маргаритками и напоследок ярко-желтые, однотонные с бахромой, и он беспрестанно перебирал (и перебирал бы сегодня) эту бахрому и пытался ей втолковать, что она и в самом деле имеет право на известную компенсацию, как минимум в пятнадцать или, может, даже в двадцать тысяч марок, которые он без труда может (и ведь смог бы) взять в банке под залог дома — ведь в конце концов она была ему «хорошей, осмотрительной, экономной и при том не скупой, хотя и неверной женой» и внесла свой «весьма весомый и положительный вклад в строительство их семейной жизни», и эти стулья в стиле Людовика и мейсенский фарфор — все это, бесспорно, принадлежит ей. Когда она сказала, что ей ничего не нужно, это взбесило его больше, чем известие об измене со Штрёсселем, и в конце концов он оторвал от этой дешевой скатерти несколько кистей (и сегодня сделал бы то же самое) и бросил их на пол; осуждающий взгляд кельнерши-турчанки, которая в этот самый момент принесла кофе и чай, чай — ему, ей — кофе, послужил лишним поводом к гневному замечанию относительно ее здоровья и ехидному жесту в сторону пепельницы (которая, кстати, была безобразной, темно-коричневая, цвета пола, и в ней действительно лежало уже три окурка!).

Да, кофе. Она снова пила его и листала газету. Здесь, в кафе, она могла безмятежно курить, не опасаясь, что какой-нибудь идиот уставится на нее или даже изругает последними словами; она вспомнила всю эту толчею и беготню в бесконечных коридорах суда, где все эти люди, оскорбленные или оскорбившие сами, домовладельцы или съемщики, сновали по лестницам вверх и вниз; где все решалось и ничего не разъяснялось симпатичными адвокатами и симпатичными судьями, которые не в силах остановить смерть.

Она вновь и вновь ловила себя на том, что улыбается, вспоминая момент наступления смерти, разлучившей их. Началось это еще год назад, когда они были приглашены на ужин к шефу и муж вдруг сказал, что она «специалист по текстилю», что звучало так, будто она была ковровщицей, ткачихой или художницей по росписи тканей, хотя она была всего лишь обыкновенной продавщицей в магазине тканей, и как же ей нравилось разворачивать и сворачивать эти рулоны, приятно рукам, глазам, а в перерывах между наплывом покупателей снова все приводить в порядок, раскладывать по полкам, ящикам и ящичкам: полотенца, скатерти, платки, рубашки и носки; и вот как-то в такой момент является некий приятный молодой человек, теперь, правда, уже почивший вечным сном,— и просит показать ему несколько рубашек, хотя не имеет намерения (и денег тоже) купить какую-нибудь из них, является просто потому, что ему немедленно надо рассказать кому-либо о своем завоевании: всего через три года после окончания вечерней школы («я, знаете ли, специалист по электротехнике — при этом он был просто монтером,— я уже получил диплом и тему диссертации»). Ну, а теперь — вполне логично — это его заявление «Моя жена — специалист по текстилю» должно было подразумевать если не искусство, то по меньшей мере художественный промысел, и как же он разозлился, прямо-таки чуть не задохнулся от ярости, когда она сказала: «Да, я была продавщицей в магазине тканей и теперь еще изредка помогаю там». В машине на обратном пути домой — ни слова, ни единого звука, ледяное молчание, руки, судорожно сжимающие руль.

Кофе оказался поразительно вкусным, газета скучной («Доходы фирм чересчур низки, заработная плата слишком высока»), а все, что творилось вокруг и невольно ею воспринималось, напоминало о суде («Искажение фактов», «Кушетка принадлежит мне», «Сына я не позволю у себя отнять»). Адвокатские мантии, адвокатские портфели. Посыльный из конторы принес бумаги, которые кто-то с серьезным видом разложил и, перебирая, изучал. Молодая официантка, принесшая сейчас вторую чашку кофе, положила ей руку на плечо и сказала:

— Не принимайте так близко к сердцу. Это пройдет. Я сама ревела несколько недель, честное слово, несколько недель.

Она чуть было не рассердилась, но потом сказала, улыбнувшись:

— Уже прошло.

И еще официантка добавила:

— Я тоже была виновата.

«Тоже?» — подумалось ей.— «Я тоже виновата? И если да, то как можно это увидеть по мне — может, потому, что я курю? Пью кофе, читаю газету и улыбаюсь?» Да, разумеется, она была виновата, ведь она не решилась засвидетельствовать смерть намного раньше и прожила с ним и у него несколько убийственных месяцев. Пока он однажды не принес ей новое вечернее платье, кричаще-красное, с большим декольте, и не сказал: «Надень это сегодня вечером на бал фирмы. Я хочу, чтобы ты потанцевала с шефом и показала ему все, что у тебя есть». Но она надела свое любимое серебристо-серое с вышивкой из стекляруса, и как он рассвирепел, когда месяц спустя всплыла эта история со Штрёсселем, как он вопил, задыхаясь от ярости: «То, чего ты не хотела показать моему шефу, ты-таки показала своему!»

Да, так оно и было. А вскоре после того, как он перебрался из спальни в комнату для гостей, он как-то утром явился в спальню со всем этим порнографическим хламом и плеткой в руках и затеял этот кошмарный разговор о том, что она-де отказывается содействовать ему в его достижениях в сексуальном плане и это находится в столь резком противоречии с его достижениями в профессиональном плане, что он подвергается опасности впасть в невроз и чуть ли не в психоз; она же не сочла возможным способствовать его достижениям в

сексуальном плане, отобрала у него плетку и выставила за дверь; все это она проделала с ледяным спокойствием, и вина ее состояла в том, что она и в тот момент еще не засвидетельствовала наступление смерти, не взяла сына, не заказала такси и не уехала, и потом даже продолжала обустраивать дом: комнату и ванную для гостей, телегостиную, библиотеку, сауну, детскую, и это ей принадлежала идея пойти к Штрёсселю и попросить его продать со скидкой полотенца для дома и пляжа, простыни и наволочки, материал для занавесей. Конечно, ей стало немного не по себе, когда Штрёссель посмотрел ей в глаза долгим взглядом и вместо двадцати процентов скидки пообещал дать сорокапроцентную, и когда глаза его подернулись поволокой и он попытался облапить ее через прилавок, она пробормотала: «Господи, ну не тут же, не тут»,— и Штрёссель неправильно (или правильно?) понял ее и решил, видно, что где-нибудь в другом месте она будет согласна на это, и она в самом деле пошла с ним наверх, с этим тучным и лысым холостяком, который был старше ее на двадцать лет и совершенно счастлив, когда она легла с ним. И на все это время он оставил магазин открытым, а кассу без присмотра, и даже неизбежное расстегивание и застегивание пуговиц и крючков не было ей неприятно. И когда он после внизу завернул ей покупки, о скидке не было речи, и ей пришлось уплатить за весь товар полную цену, и, придерживая дверь, он даже не попытался ее поцеловать.

Адвокат мужа действительно хотел было привлечь Штрёсселя в качестве свидетеля из-за этого ее утверждения о «непредоставлении скидки после оказанной услуги», однако ее симпатичному адвокату удалось все же этого избежать. Да, потом она не раз ходила к Штрёсселю. «Чтобы купить что-нибудь?» — «Нет».— «Сколько раз?» — Этого она не помнит, в самом деле не помнит. Не считала. Разговоров о женитьбе не было, слово «любовь» не упоминалось. Ее пугали и трогали тихое блаженство и растроганность, с какими Штрёссель погружался в розовые подушки.

Нет, она не может вернуться к нему, и все же его старомодный магазинчик был бы для нее самым подходящим местом, где она знает каждый ящичек, каждую полку и склад, где и в самом деле только шерсть и хлопок, для нее, с ее-то руками, которые безошибочно могут определить на ощупь в любой ткани малейшую примесь синтетики. Нет, она не смогла бы работать в какой-нибудь «паршивой мелочной лавчонке», как обычно их называл Штрёссель.

Нет, и замуж еще раз она не пойдет, не хочет еще раз присутствовать при смерти того, кто еще жив, и не хочет, чтобы снова разлучала смерть. Пожалуй, настало время, когда мужья стали зверски-жестокими и непристойными, а любовники блаженно-ласковыми, на старомодный, чуть ли не радостный лад.

— Знаете,— сказала официантка, когда она расплачивалась,— теперь нам уже легче. А ведь вы еще молодая и красивая женщина и...— она так и сказала,— вся ваша жизнь еще впереди, и ребенок будет к вам привязан.

Она еще раз улыбнулась официантке с порога кафе.

Она испечет сынишке торт с орехами и купит по дороге домой все, что к нему полагается. И если он спросит: «Мне правда нужно будет идти к той тете?» (Конни, Габи, Лотте?) — она скажет: «Нет». И в конце концов есть еще фирма Хауншюдер, Кремм и С°, давние конкуренты Штрёсселя, где безошибочная чуткость ее рук тоже могла бы пригодиться. Теперь там, правда, большей частью отправляют товары почтой, и ей не придется так уж часто разворачивать и расправлять рубашки, как в тот раз, когда вошел симпатичный молодой человек со свежеиспеченным дипломом и темой для диссертации. Может, вместо вишневого компота взять для оладий копченой селедки, это он тоже любит, и будет стоять рядом, пока рыба на сковороде не покроется светло-коричневой хрусткой корочкой. Она могла бы работать у Хауншюдера, Кремма и С° — на ее руки действительно можно положиться, от них не ускользнет ни одна синтетическая ниточка.

1977

Перевел с немецкого Г. Каган

Признание воздушного пирата

Уважаемый товарищ Хозяинбаринов!

Посоветовавшись начистоту с той инстанцией, что держит под контролем — увы, надо прямо сказать, не всегда с должным успехом — мое слабодушие; изо всех сил, чуть ли не до помрачения ума вслушавшись в те гулкие пустоты, которые позволительно назвать моей гражданской совестью, я решился сделать это чистосердечное признание.

Да, я предпринял попытку угнать самолет. Да, я воспользовался с этой целью оружием, хотя и поддельным — немного дерева и много черного гуталина,— но все равно оно должно было послужить средством устрашения. К счастью, у меня его выхватили прежде, чем я сумел бы пустить его в ход. Прошу вас, товарищ Хозяинбаринов, обратить внимание на эту формулировку — «сумел бы пустить в ход» — и не инкриминировать мне ее как формалистические словесные выкрутасы (ибо как, скажите на милость, можно пустить в ход «оружие», изготовленное из куска дерева и гуталина?), поскольку формулировка эта вовсе не означает, будто я и вправду пустил бы его в ход или хотя бы намеревался это сделать. Данное оружие выполняло в моих руках только функцию ключа — впрочем, нет, не хочу оскорблять столь почтенный и мирный домашний инструмент, как ключ,— оно выполняло в моих руках функцию отмычки, ибо я вознамерился совершить взлом и проникнуть в те заповедные кущи, куда имеют доступ лишь иностранцы и наши ответственные товарищи. Можно ли замыслить преступление более тяжкое? Нет. На попытку угнать самолет — а в квалификации моего деяния я не признаю никаких снисхождений и прошу применить ко мне закон во всей его строгости — меня побудило чувство, которое в старину назвали бы тоской по неизведанному, к тому же направленное — и это вдвойне усугубляет мою вину, так что да покарает меня закон с удвоенной силой — на страну несоциалистическую. В то же время справедливости ради должен оговорить и смягчающее мою вину обстоятельство: я стремился в эту страну не потому, что, а несмотря на то, что она несоциалистическая, и в этом зазоре между «не потому, что» и «несмотря на то, что», конечно же, как совершенно справедливо установил товарищ прокурор, кроется моя «идеологическая неустойчивость», моя, как опять-таки совершенно справедливо он установил, «подверженность капиталистической пропаганде». Это все правильно.

Я и вправду недопустимым, можно сказать, нечистоплотным образом завладел туристическим проспектом города Копенгагена, я — простите, что при мысли об этом грязном поступке на глазах у меня наворачиваются слезы, и, прошу, не усматривайте в них жалкого лицемерия — выудил этот проспект на улице Горького из мусорной урны, над которой склонился, чтобы бросить туда мою скомканную, но, прошу учесть, прочитанную, даже зачитанную газету «Правда». Конечно, я прекрасно осознаю, что один этот опрометчивый поступок

уже наводит на меня известные подозрения, но еще раз подчеркиваю: «Правда» была зачитана, изучена вдоль и поперек, я и сейчас, если надо, готов изложить передовицу,— но вот то, что взгляд мой при этом невольно упал на мелькнувший из-под мусора силуэт оголенной женщины и моя правая рука сама потянулась за картинкой в урну, это уж и точно совсем нехорошо.

Сам я, товарищ Хозяинбаринов, человек женатый, ращу троих детей, в семейной жизни у меня полный порядок, так что вы не подумайте, будто в конечном счете именно эта злосчастная цветная картинка с оголенной женщиной толкнула меня на преступный умысел угнать самолет; нет, женщина оказалась лишь ловко подброшенной буржуазно-порнографической приманкой; когда я ее разглядел, она меня, а точнее сказать, темные инстинкты, не до конца искорененные во мне моим социалистическим воспитанием, скорее разочаровала,— раз уж я обещал быть откровенным до конца, товарищ Хозяинбаринов, то буду откровенен, как на духу, в том числе и по этому пункту.

В конце концов у меня тоже имеется кое-какое образование, географию в школе я всегда любил и с тех пор обожаю изучать географические карты, вот и решил проехаться, пусть хоть пальцем по карте, от Ленинграда по Балтийскому морю до самого города Копенгагена, и тут-то, товарищ Хозяинбаринов, во мне и проснулась эта самая злосчастная тоска по неизведанному. Этот прекрасный город меня просто заворожил, и я клянусь вам всем, что должно быть свято каждому советскому человеку,— я стремился туда вовсе не ради порнографических фильмов и непотребных лавчонок, нет, меня притягивали красоты архитектуры: каналы, старые портовые склады, фотографии которых так поразили меня в этом проспекте — уже после того, как броские, но на поверку весьма сомнительные красоты той женщины перестали занимать мое воображение и сразу поблекли. А еще, кроме архитектуры, меня манила философия.

Конечно, я всего лишь простой советский рабочий, но меня почему-то всегда увлекала философия, и не просто увлекала, а даже, можно сказать, захватывала, чем я опять-таки обязан нашему замечательному школьному образованию. И вот однажды у приятеля моей покойной тети я взял почитать маленькую книжонку этого самого Кьеркегора, который, как я слышал, вроде бы приходится современником нашему несравненному Карлу Марксу. Тут, конечно, вы меня спросите и даже, может, с полным правом упрекнете: почему, мол, в таком случае моя тоска по неизведанному не устремилась прямиком в древний и тоже по-своему красивый городишко Трир?

В ответ я вынужден сделать еще одно признание: дело в том, что по национальности я еврей, и определенные — или лучше сказать известные? — исторические события, касающиеся судеб еврейского народа, сильно поубавили мое стремление наведаться в страну, населяемую немцами. Полагаю, не требуется специально пояснять — для всякого советского человека это само собой понятно,— что, говоря о немцах, я вовсе не имею в виду жителей ГДР. Но Трир, увы, находится не в ГДР, а в Дании зато живут не немцы, к тому же в Трире нет моря и нет парка Тиволи, там нет такого замечательного цирка, какой есть в Копенгагене, а я ведь хотел в Копенгаген не только ради Кьеркегора, но и потому, что это такой красивый, веселый, праздничный город, а если я и мечтаю о датских цирках, то это вовсе не означает, будто я с пренебрежением отношусь к нашим советским цирковым коллективам, у нас же лучшие в мире клоуны и вообще артисты замечательные, просто мне захотелось хоть разок посмотреть несоветский цирк и вообще провести отпуск среди несоветских людей.

Я не отрекаюсь ни от красот Крыма, ни от красот Кавказа, к которым имел возможность приобщиться, не отрекаюсь и от красот Прибалтики у наших братских народов, литовцев, эстонцев и латышей — все это я видел, и красоты эти не однажды вызывали у меня слезы умиления и даже восторга. Но мне захотелось хоть разок махнуть в Данию, однако все мои многочисленные попытки посетить эту красивую страну легально, в качестве советского туриста, потерпели неудачу, все мои заявления отклонялись, и тогда я, преступным образом злоупотребив своими способностями и профессиональными навыками — я ведь инструментальщик, причем высшего разряда, имею грамоты и поощрения,— ночами, тайком, покуда домашние спали, под предлогом повышения квалификации вырезал из буковой чурки пистолет в натуральную величину и с помощью нашего бесподобного — в смысле очень хорошего — советского черного гуталина придал этому «оружию» натуральный металлический блеск, после чего съездил — якобы просто так, посмотреть — в аэропорт, переписал время вылета всех рейсов на Копенгаген и только после этого в заранее намеченный день предпринял попытку силой прорваться через кордоны к воздушному лайнеру скандинавской авиакомпании САС; попытка была пресечена благодаря бдительности и решительным действиям нашей милиции, за что я и хотел бы, пользуясь случаем, выразить ей мою искреннюю признательность.

Клянусь вам, товарищ Хозяинбаринов, клянусь жизнью моей жены и детей, жизнью всех дорогих и близких,— я бы всенепременно вернулся и добровольно сдался властям, а по отбытии заслуженного наказания продолжил бы честно трудиться на родном заводе и прожил бы до конца дней на моей любимой Родине, в стране трудящихся, к тому же мне ведь как дважды два ясно, что уже после нескольких суток в Копенгагене я бы по горло был сыт всем этим ихним капиталистическим разложением. В конце концов — и прошу не усматривать тут никаких иронических подвохов — как же здорово поставлено у нас образование, как хорошо обучают у нас в школах географии, как глубоко преподают нам философию, если у простых людей вроде меня возникает такая тоска по неизведанному!

Представитель обвинения отнесся к признанию подсудимого только как к одному из приобщенных к делу документов, изложив его суть вкратце, по пунктам, и, так сказать, приняв его к сведению, но не придав ему (признанию), как он подробно пояснил, ни в коей и ни в малейшей мере значения смягчающего вину обстоятельства. Абсолютно излишне, сказал он, признаваться в том, что и так уже доказано, запротоколировано, подтверждено обвиняемым и скреплено его собственноручной подписью. К тому же настораживают в этом признании ссылки на вещи самоочевидные, как то, к примеру, на преимущества советской системы образования, в частности, в области географии и философии; подобные похвалы нашим самоочевидным и общеизвестным достижениям отдают пресмыкательской лестью и лицемерием. В особой же мере отягчают негативную оценку характера и личности обвиняемого его похвалы советскому гуталину, поскольку всякому — в том числе и руководству партии и правительства и не в последнюю очередь всему советскому народу — известно, что гуталин этот если и не совсем безобразен, то уж, во всяком случае, вовсе не так хорош, как обвиняемый его расписывает. В распоряжении обвинения имеются акты экспертизы — совершенно, кстати, несекретные,— которые изобличают обвиняемого в заведомой и злостной лжи. Ибо в них — тут представитель обвинения извлек из портфеля деревянный пистолет и положил на стол перед судьей — результатами химического анализа доказано — он положил акт

экспертизы рядом с пистолетом,— что изготовленный с преступным умыслом пугач обработан гуталином американского производства, что и придало изделию столь правдоподобный металлический блеск.

В качестве дополнительного доказательства он продемонстрирует — тут обвинитель снова полез в портфель — аналогичный пугач, обработанный советским гуталином. Разница очевидна: дерево просвечивает, цвет не металлически черный, а какой-то тусклый, грязный, вороненого блеска нет и в помине, одна липкая пакость.

Таким образом, обвиняемый полностью изобличен не только тем, что его преступные действия доказаны, и не столько своим абсолютно излишним признанием,— лицемерными похвалами советскому гуталину он вдобавок сам изобличил себя в космополитической иронии и издевательском цинизме. В связи с чем он, обвинитель, призывает суд не принимать на веру притворное раскаяние подсудимого и применить к нему хотя и не высшую, но достаточно суровую меру наказания.

1977

Перевел с немецкого М. Рудницкий

На каком это языке — Шнекенрёдер?

Он-то представлял себе это иначе: в худшем случае белая машина с красной штуковиной — как же она называется? — из белой машины — в белую кровать посреди белых стен, зеленые шапочки, защитные маски в пол-лица, чьи-то одинокие глаза над такой маской, алая кровь в пластмассовых шлангах, сосредоточенный и быстрый шепот команд, прежде чем улетишь куда-то далеко-далеко, совсем далече... Кровать? Белый? Машина? Представлял? Слышать? Ухо — тут ему что-то вспомнилось, он потянулся к уху, не нашел, не достал, но ведь слышит же: смех женщины, стон мужчины, совсем рядом, вон там, за этой, как ее, прямоугольная, голубой покраски, с розовой каемкой, над ней зачем-то синяя лампочка, как в бомбоубежище, ведь вот помнит же — бомбоубежище, и кровать помнит, помнит белый, а эту прямоугольную, голубую, с розовой каемкой забыл, как же она называется? Вход? — Нет, это не совсем то, ведь вот помнит же, что не совсем, вход ведет снаружи внутрь, а эта штука изнутри — но тоже внутрь, из одного внутрь в другое внутрь. Может, она называется внутривход? Там, в другом внутри, сейчас уже мужской смех и стон женщины, а еще, черт возьми, нет, точно, кто-то там прошептал «Патер ностер», отчетливо, совершенно внятно, а теперь вот и «Аве, Мария» — наверно, католики, это уж как пить дать. Католики, протестанты, иудеи — а вот он и уши нашел, уши, значит, на месте, и даже нос, он его нащупал, и уши тоже, только вот эти, которыми хватают, которыми все берешь, как же они называются, их он не чувствует и не помнит, как называется красная штуковина на белой машине.

Машина. Что-то такое было с машиной. А нос, смотри-ка, даже что-то учуял — суп, подливка, он даже слышит аппетитное бульканье, а теперь вот и женский голос, который произнес «лос», только «о» звучит странно, какое-то чужое, где-то он такое «о» уже слыхал, это не русский, и на французский непохоже, и не итальянский, может — как же называется этот язык, который он никак не вспомнит? — не английский, не шведский, не датский, не голландский, все языки помнит, даже арабский, а вот этот, который надо, ну никак, только слово, в котором он такое «о» уже однажды слышал, «олвидос»[1], а язык, ну наконец-то, называется испанский. Он что, в Испании? Прямоугольная штука, которая не вход и все же ведет куда-то, потом еще эти, которыми все берешь, красная штуковина на белой машине и язык — ведь это не тот язык, на котором он сейчас думает, на котором чертыхается — еще и этот язык он никак не может вспомнить; эти, другие, которыми смотришь, он вспомнил сразу — глаза; только вот почему-то они не открываются, он не может поднять — вон даже что упомнил! — веки, веки поднять не может, он их нащупал и тянет, тянет вверх, почти как тяжеленные, будто свинцовые, ворота гаража, это там, дома, где он жил когда-то, там в гараже были чертовски тяжелые ворота. Ворота? Нет, голубая, прямоугольная, с розовой каемкой — это и не ворота, хотя тоже открывается, но не ворота и не вход, а эти, которыми все берешь, тянут веки из последних сил, и смотри-ка, вот они, и вправду, алюминиевые чаны, в которых булькает какое-то острое варево, ложки, тарелки, а рядом всякая холодная снедь — огурцы, помидоры, горчица, ну да, эта желтоватая жижа в стеклянной банке, по стенкам размазалась,— она называется горчица, он все слова помнит — суп, горчица, соус, огурец — все помнит, а вот эти, которыми все берешь, ну никак, и еще красную штуковину на белой машине, куда он так не хотел; а тут вот ложки, вернее, черпаки, и какая-то женщина, симпатичная, не тощая и вовсе не старая, только прическа явно наспех, это она так чудно, на испанский манер, выговаривает «о», а рядом дымится большая кастрюля с макаронами, разве испанцы едят макароны? Может, мексиканцы? Как же они называются, ну, те, которые так любят макароны? Патер ностер, Аве Мария, черт возьми, чем они там за этой голубой прямоугольной штукой занимаются, и при чем тут молитва, или они заодно еще и молятся? Католики, это уж как пить дать. По всей видимости — ишь ты, вон какие обороты он может вспомнить — по всей видимости, это такая забегаловка — ну да, именно так эти заведения и называются,— где при желании можно заниматься и тем, чем сейчас занимаются за этим, как его, входом, который на самом деле не вход, а по-другому. Одного он не может, того, что запросто может женщина, когда тараторит свои «лос» — ну да, это называется говорить, говорить он не может,— или этот смех, стоны, хихиканье и молитвы с тем делом никак не связаны? Может, это у них такой молельный дом или исповедальня? Да, то, что делает женщина, когда тараторит свои «лос», называется говорить, и говорить он не может, а эти, которыми все берешь, придется убрать, веки отяжелели, прямо свинцовые жалюзи, на бутылках и плакатах вокруг все пестрит от этих проклятых «лос». Или «ос»? Но как же он мог видеть эту голубую штуку прежде, чем сумел поднять веки? Значит, он видел ее раньше, а то, чем говоришь, называется рот, а во рту язык, он потрогал — будто вовсе пустота, ничего не чувствуется, но ведь он видит, слышит, чует запахи, а вот говорить не может, а язык, на котором говорят эти, ну, те, что так любят макароны, как же он называется? Ну, конечно, макаронники, итальянцы, хотя и те, на чьем языке он говорил, когда еще мог говорить, они тоже едят макароны, белые макароны, ему их часто давали и дома, белая машина, белая кровать, белые стены, зеленые шапочки, вернее, колпаки, одинокие глаза; синеватый свет за голубым прямоугольником — прежде, чем наступило то, что он представлял себе совсем иначе. Ведь прежде чем сомкнулись, упали веки, прежде чем исчез рот, он в этот голубоватый прямоугольник вошел, синеватые искристые вспышки, лампы в патронах разболтались, мерцающий контакт, ну да, он же помнит, мерцающий контакт, синюшные мертвецкие улыбки в голубоватом мерцании. Лучше всего

[1] «Olvivados» — «Забытые» (исп.), название фильма Луиса Бунюэля.

дома в постели — постель? Желтые простыни, голубая наволочка, оранжевый плафон ночника, а вокруг кровати, кто же это вокруг-то стоит? Женщина какая-то, его жена, что ли? Разве у него есть жена? Вообще-то да, должна быть, была, а еще эти, которые бывают, когда есть жена, ну да, дети, у него жена и дети, а еще у него была эта, как же это называется, то, чем занимаешься, чтобы платили деньги? Так за что ему платили деньги? Разъезды, бесконечные разъезды в своей — он же только что знал, как она называется, эта штука, которая показывалась, когда поднимаешь ворота гаража? — красный крест? Да нет же, белая машина, без всякого красного креста. А как его занесло на машине в Мексику? Как он попал в эту забегаловку? Ворота гаража, гаражная дверь, нет, не дверь, ворота, хотя, постой-те,— ну, конечно же, дверь, наконец-то вспомнил, теперь не надо всякий раз ворочать в мыслях этот неуклюжий «голубой прямоугольник с розовой каемкой»! Дверь, просто дверь, так куда сподручней. «Гаражная дверь» нельзя сказать. А здесь, перед этой дверью — или за этой дверью? — разливают из чанов супы и подливки, и все, что написано на бутылках и плакатах, кончается на «ос». Он что же, испанец? мексиканец? При чем тут тогда макароны, и как зовут ту женщину, от которой у него дети? Как же ее зовут? Ведь они так давно вместе. Одно он знает точно — эти, которыми все берешь, называются пальцы, они на руках, да, пальцы. Дверь, пальцы, руки, красная штуковина на белой машине — это крест, и конечно, он побывал за той дверью, кто-то его туда впихнул, а потом кто-то другой вытащил. Где-то далеко-далеко, будто в межзвездных пространствах, в черной бездонности неба возникло развалившееся слово, осколки которого летели теперь прямо на него: Отта-ли-лез, причем это «лез» вроде бы как-то связано с «лос». Связано? Он поневоле рассмеялся, хотя от смеха стало больно, болел рот и все вокруг рта, хотя рта у него больше нет, ни рта, ни того, что во рту, а все равно больно, и внутри, и снаружи. Больно? Да, у него все болит, все, уши, глаза, нос и эти, как их, ну да, пальцы, только не рот, рта у него нет, он болит, только когда смеешься, смеешься над тем, что что-то с чем-то связано; теперь он даже может это «лез» перевернуть, и тогда получится «зел», Ли-отта-Зел, нет, все крутится, но никак не связывается, крутится-вертится где-то далеко, в бездонной черноте неба, на вселенских перепутьях, в лунном мерцании, в звездной канители, и когда он снова поднял веки, с натугой, из последних сил, словно проклятущие ворота гаража, он увидел, как миловидная женщина, хлопоча над кастрюлями с супами и соусами, запихивает вывалившуюся грудь в вырез голубой блузки. А за дверью не слышно больше ни Патер ностер, ни Аве Мария, тишина, покой, гараж, Отта, дремота, икота,— Шарлотта? — дремота, забота, Шарлотта — и тут, наконец, осколки, как астероиды, слетелись, сцепились воедино, и перед ним вспыхнуло: ЛИЗЕЛОТТА, ну конечно, его жену зовут Лизелотта, имя не испанское и не мексиканское, это из другого языка, в котором окончаний на «ос» почти не бывает. Карлос, Олвивадос.

Так как же все-таки этот язык называется? И как зовут его детей? Лизелотта лучше, чем эта женщина за стойкой, а женщина за стойкой лучше, чем женщина там, за дверью. Но почему он весь вонючий и липкий, он что, обделался? Или у него бред? Бред, блеф — блевотина? Ну ясно, это блевотина, он себя всего облевал, а теперь не может залезть пальцами — это те, которыми все берешь — во внутренний карман своего липкого, вонючего пиджака, это ему не под силу, слишком глубоко, пальцы не ухватывают, не достают досюда, где у него были спрятаны деньги, документы и чековая книжка. Лизелотта, он так себе это представлял, держала бы его за руку, а другая, Лизелотта-младшая, положила бы ладонь ему на лоб; хорошо,

когда у детей имена родителей, удобно, двое Лизелотт, нет, лучше, наверное, две Лизелотты, да, так правильней, у старшей волосы темные, но она не испанка, а у младшей белокурые, да, очень красивые, с настоящим золотистым отливом — одна положила бы ладонь ему на лоб, другая взяла бы его за руку, точнее сказать, не руку, а запястье, да, именно так он себе это и представлял, если бы — но ведь там еще были дети, еще двое. Они стояли у кровати, все четверо, две Лизелотты и мальчишки, да нет, какое там, уже молодые люди. Как же называется этот проклятый язык, в котором тоже есть макароны? И страна, в которой тоже едят макароны, хоть это и не Италия. Нет, сам-то он не итальянец, но и не австриец, австрийцы, кстати, тоже едят макароны.

Значит, так: эти, которыми все берешь, называются пальцы, голубой прямоугольник — это дверь, красная штуковина на белой машине — это крест. А то, что показывалось из гаража, когда он поднимал ворота, это машина. У старшей Лизелотты волосы темные, а у младшей белокурые, чуток длинноватой она вымахала; парни, один стоит слева от старшей Лизелотты, другой справа от Лизелотты-младшей. Желтые простыни, голубые наволочки, оранжевый плафон ночника, а на стене напротив эта штука, как на машине, только на машине она красная, а тут темная, простая, две деревянные перекладины, ну да, крест — и снова они выплыли из лунного сияния и звездной мишуры, откуда-то из космических витков и хитросплетений, имена его сыновей: того, что слева от Лизелотты-старшей, зовут Рихард, того, что справа от младшей,— Генрих. Черт подери, Генрих — на каком это языке? Лунный холод, солнечный зной, круги, нет, пожалуй, виражи, как в самолете, что заходит на посадку. Самолет? Ну да, машину он тоже перевозил на самолете. Каштановые волосы, серьезные глаза — это Рихард, светлая шевелюра и веселый взгляд — это Генрих. Из какого же языка это имя? Прожилки тверди, глубокие, как корни, острые и колкие, как кремень, и месиво лавы, огненное, текучее, все это клокочет у него внутри, внутри и снаружи, а младшая Лизелотта, она еще округлится и нальется, худоба и костлявость пройдут, наполнятся плотью, и в один прекрасный день все увидят, какая она статная красавица блондинка, без малейших изъянов, старшая-то Лизелотта совсем из другого теста, нежная, но при этом плотная, да, она плотная женщина, удивительная наполненность при всей внешней хрупкости, прекрасная жена во всех смыслах и во всех житейских передрягах. Вовсе не оплот добродетели, не крепость, просто плотная, просто женщина, и совсем не атлетка, не спортивный тип, вот уж нет,— за дверью все стихло, и теперь словно кто-то дышит там во всю мощь своей необъятной грудной клетки. Плотная жена, надежный оплот, моя жена — моя крепость, смех всколыхнул боль, боль заметалась молниями, из виска в живот, от глазниц до колен, она перекатывалась по всему телу, сверху вниз, снизу вверх, но ниже колен он ничего не чувствует, там вообще ничего, а что должно быть ниже колен? Колено, слово-то какое чудное, почти как Генрих. Надо снова поднять веки, тяжеленные, тяжелее, чем в прошлый раз, ну-ка, еще немного, совсем чуть-чуть, и вот он снова видит слова на плакатах: сигариллос, лотериллос, лотериллос, Карлос — это вон тот тип, что дразнит быка. Значит, он все-таки в Мексике, он что же — мексиканец? Может, Генрих — мексиканское имя? По воскресеньям, когда он открывал гараж один, ворота были совсем неподъемные, как свинцовая штанга, сколько раз срывались вниз, прежде чем он еле-еле, из последних сил дожимал их до вожделенного щелчка фиксатора. Машина. Сам-то он за рулем редко сидел, обычно сзади, впереди Шнекенрёдер, он почти гений по этой части, водит быстро, но при этом удивительно плавно. На каком же это языке — Шнекенрёдер? Да, во-

дит он гениально, вроде бы и не едет — ползет, а на самом деле мчится. Но Шнекенрёдера за рулем не было, и сам он тоже не вел, сидел, как обычно, сзади. Как же называются эти, ну как их, которые возят за деньги и в которых за рулем не Шнекенрёдер? Нет, не прокатные машины, это все равно, что дверь назвать воротами. Ну, эти, в которых он так редко ездил, только на небольшие расстояния, из аэропорта в гостиницу, из гостиницы в ресторан или в кино, или если надо к кому-то по делам. Тут он невольно снова рассмеялся, припомнив «моя жена — моя крепость», он ее никогда так не называл, хотя надо бы, она ведь и была его крепостью, он только сейчас это понял, а в машине он все-таки ехал, без Шнекенрёдера и сам не за рулем. Такси, вот как это называется, а вовсе не прокатные машины, и тот тип сам вынул у него из кармана плату за проезд. Карман? Пиджак? Бумажник? — Нет, дотуда пальцы не достают. Лотериллос, сигариллос, Карлос, олвивадос — на полдороге к карману пальцы бессильно замерли. Смеяться нестерпимо больно, эта хлюпающая лава внутри начинает перекатываться между острыми кремнистыми прожилками тверди. Ничего белого, и нет оранжевого плафона, нет рядом белокурой девчушки с ее худенькими ключицами, нет нежной жены, его оплота, нет деревянного креста на стене, нет вечно серьезного Рихарда и весельчака Генриха; немножко, хоть чуть-чуть белого было бы сейчас хорошо, не слишком много, а хоть пятнышко, но здесь ничего белого нет, ничего, даже грудь этой милой женщины, которую она прятала в блузку, не была по-настоящему белой; на бутылке над стойкой виднеется еще какое-то слово на «ос», и вдруг очень ясно и совсем близко он услышал, как прямо над ухом у него кто-то прошептал «Патер ностер» и дальше все, что, наверное, полагается, а потом еще и «Аве Мария», и это был не испанский, латынь; но он сызмальства, по крайней мере дома, в своей крепости, не слишком-то много из латыни усвоил, вот уж и вправду тарабарщина церковников, вдобавок напичканная, должно быть, всяким суеверным вздором,— и ничего белого, ни капельки, ни пятнышка настоящей белизны. А где же Шнекенрёдер? Такси, это называется такси, а вовсе не прокатные машины. Эта лава, что колышется в нем и хлюпает, это огненное море боли, укрытое тонюсенькой, как воздушный шарик, оболочкой,— она вот-вот прорвется и все захлестнет болью, огнем, нестерпимостью. Что такое лотериллос? И кто это, кто шепнул только что над самым его ухом:

— Опоздать может врач, священник никогда не опаздывает.

Но ведь это тот самый язык, в котором есть имя Генрих! Конечно, он представлял себе, как это может быть или будет и как это могло бы быть или как это было бы лучше всего, могло бы, но не случилось, не вышло, но чтобы так — нет. Так — нет! Кто-то полез к нему в карман, сделал то, с чем так и не справились его пальцы, и сказал:

— Это мы сейчас выясним.

Да, это тот самый язык, в котором есть фамилии Шнекенрёдер и имя Генрих, ведь его самого зовут Генрих, но говорил на этом языке человек, который произносит «лос» точно так же, как та женщина у стойки. Однако был и еще один, который приподнял ему веки, и теперь он смог ясно прочесть слово на бутылке — Кальвадос, и никак не мог взять в толк, с каких это пор в грязных дешевых забегаловках вроде этой, где голубые двери с розовой каемкой, с каких это пор тут подают кальвадос, и все еще не мог вспомнить, что это за язык такой, в котором есть Шнекенрёдер, а еще Генрих, его собственное имя.

1982

Перевел с немецкого М. Рудницкий

Юрий Арабов

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

* * *

Вот и настали
предпоследние времена.
Друзья к супостату
налаживают стремена.
Отцы вечереют. Их жены
подумывают об аборте
еще до зачатья,
играя на теннисном корте.
Недоношенный мастер
скорбит о Небесном граде,
хоть он сам —
в предпоследней шестерке или плеяде.

В этой самой шестерке
с трудом наступает март.
Тенор Ленского воет
с лицом садиста,
и астролог толкует футбольный матч
с точки зрения Трисмегиста.

А в газете есть несколько пунктов,
достойных вниманья.
Один — об аренде,
другой — за чертой пониманья,
и сыплются буквы, как пуговицы с рубах,
в предпоследнее время,
оплачиваемое в рублях.

Предпоследнее время,
зигзагом меняя курс,
мерцает, как мускул,
когда шевельнешь рукой.
Растворимее соды в воде, герой
не видим, хоть чувствуется на вкус.

Но с высоты уязвленных созвездий
и ангела Часа,
вся эта бодяга, увы,
заурядней матраса.
Кто он, безопасней, чем Троцкий,
и лезвия для бритья,
по записанный будущим
в мальчики для битья?

Заблудился я в клетке, винить же некого.
Я хочу сменить, посмотревши в зеркало,
одежду, руки и эту голову,

загар моих пращуров,
что прилип,
как канифоль прилипает к олову.
В крайнем случае, родину
(у меня их две),
одну любовь — на морской прилив.
Вот и вышел, паскуда,
в своем свитерке,
как писал однажды большой пиит.
Но заменить предпоследнее время
труднее, чем вызубрить теорему.

Отпей же польский одеколон,
чтобы на час превратиться в дуче,
хоть с точки зренья последних времен
предпоследние все-таки много лучше.

1990

Колыбельная для лентяев

Я представляю ее в горбах
с ридикюлем на шее,
как пеликан,
но возьмешь верблюдицу
за бока,
и рука проваливается, как в вулкан.

Спи, моя лень, со стеклянной пилой,
перепиливающей меня
пополам.
Я колено хочу почесать рукой,
но колено оказывается не там.
По Великой стене
моего позвоночника
ходит муха, я чувствую, что босая,
но, чтобы меня не прозвали склочником,
я, не согнав ее, засыпаю.

Дураки вынашивают ученья,
болтают о вечности
с картавостью Ильича,
а не дураки рождены для лени,
не все, но, во всяком случае,
я.

Я проспал бы
десять веков еще,
не раздеваясь, плюя на стыд,
на наждак, вываливающийся из щек,
и на снег,
ложащийся на язык.

Я не терплю муштру,
страшен мне человек.
Он порождает шум
в моей
голове.

И в ней, как старой каменоломне,
остатки оползней и цитат.
Сколько было Ульяновых?
Я не помню,
я не могу сосчитать.

Мне не надо ни ангела,
что рогат,
и ни демона
с ликом гнилой фасоли.
Я чешу... Да это же не нога!
Это ж, черт побери,
что такое...

Пусть пулю выплевывает пистолет,
и ты свое позабудешь имя.
Пусть вода превращается в свой скелет,
и это пусть называют инеем.

И пусть над печью своей Господь
огонь заставит гореть обратно,
и лес, отряхаясь,
отправится на Восток,
и прах усядется вновь за парту.

Я жду, исчезнувший, как в запруде
стекло,
весь собранный из рессор,
покуда лень перейдет в безумье
и в смерть, что зовется ее сестрой.

1989

Размышление о возможности выбора. ч. 1.

Я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал я.
А если б не выучил все же, зато
я был бы похож на коня.

Носился бы в поле, телегу возил
и сани, что шепчут «вжик-вжик»,
покуда меня бы
не охолостил
какой-нибудь сучий мужик.

А если бы, скажем, я не был конем
и сани б с трухой не возил,
то я бы, пожалуй, стал пешим при нем
и сам бы коня оскопил.

Но я не хочу оскоплять ни коней,
ни разных подобных существ.
Я их почитаю как малых детей,
зачатых из странных веществ.

И коль этот выбор, мне данный судьбой,
нельзя без ножа разрешить,
то я не хочу быть конем и собой,
и русский не стану учить.

1990

Размышление о возможности выбора. ч. 2.

Л. З.

О если бы я был еврей,
не дай, конечно, Бог,
я ноги бы унес скорей
от этих гаснущих полей
туда, куда бы мог.

О если бы я русским был,
не приведи Господь,
о как бы я тогда запил
и в крышку отческих могил
забил последний гвоздь.

А если бы я был в сердцах,
допустим, осташом?
То я б уже ходил в отцах
прогресса и в чужих песцах
далеко бы ушел.

А если бы я был арап?
О как бы, надломивши трап,
уполз бы я в кювет!
Я пел бы в пламенном бреду,
я забывался бы в чаду,
как и писал поэт.

Но, скажем, будешь ты француз,
хотя бы иногда,
то, чтобы сирым мерить пульс,
в какой-нибудь Экибастуз
приедешь ты сюда.

И вдруг увидишь ты окрест
средь ровныя долин
консенсус, стынущий асбест
и в клубе, где сгорел насест,
полупустой графин.

Когда, пылая и дрожа,
на брата восстает межа
и врет козырный туз,
то лучше бы я был еврей,
подумаешь, иль лук-порей,
да только б не француз.

Уж лучше девочкой сырой,
уж лучше мальчником с серьгой
на станции Зима.
Я — непонятно, кто такой,
монах, обманутый судьбой.
Мне мать — сыра-земля.

1990

Мелкие прелести жизни

1

Нынче небо — сугубо в штатском:
звезд не видно, но есть луна.
Она в районе
Зеленоградском
встает, как Отечественная война.

Когда луна переходит в пламя,
для дел ночных покидают кров
убийца Флора, насильник Ваня,
маньяк Семашко и бич Петров.

И, подловив от луны вдохновение,
среди котов, что орут, как в Ла-Скала,
они начинают свои преступления,
чтобы Дзержинский упал с пьедестала.

Невесту Ирину
убивают по четвергам,
когда в магазине
кончается чуингам.
Выездное следствие
работает до субботы,
а в воскресенье
она воскресает.
Убийца раскаивается
до рвоты,
и Флору в растерянности
отпускают.

Маньяк Семашко терзает кошку,
нацарапанную
ножом за обоями.
Москит доедает его картошку,
и детн множатся, словно бройлерные.

Бич Петров
перекручен, как будто канат,
но, когда собирается в исполком,
надевает перстень в один карат
и душится импортным коньяком.

Насильник же Ваня
всегда на Москве-реке.
Лежит, прогреваясь
на засвеченном бугорке,
где черные волны,
рвущиеся за борт,
одинокая лодка
расчесывает на пробор.

Имен их не встретишь
на телеэкране —
скромны, как действующие пилоты,
но узнаваемы, как ветераны,
своей неброской земной работой.

Маньяк Семашко смущает сауну.
Когда задышат, хрипя, заводы,
убийца Флора ругает фауну
и, выпив, нетвердо идет к зеленым.

Насильник Ваня не ищет брода,
тайком мечтая о среднем роде.
Они, конечно, враги народа,
но друзья
естественного отбора.

2

Приходит Норд с проливным дождем,
луна раскачивается, как лодка.
Кто гроб забил и каким гвоздем?
Кто вошь убил и ушел вождем?
В тюрьме, как в палате лордов.

Мороз, как булку, крошит резину.
Я сижу на крыше в тоске зеленой:
придется мне тоже убить Ирину,
чтоб не дразнили
белой вороной.

* * *

Я уеду в далекую гать,
в щель забьюсь, как последний комар.
Я не очень Толстого
люблю читать,
а почему, я не знаю.

И вследствие этого недоверия
к Толстому, мне кажется, передо мной
не откроет швейцар в «Метрополе» двери,
в мавзолей не положат
перед войной.

Но если мне не лежать в граните,
то я, пожалуй, уйду туда,
где точит свои стержневые нити
горячая северная вода.

Я не люблю двухэтажных нар,
но уезжаю. Спугнув ворону,
поезд медленно трогается,
и фонарь
на цыпочках пятится по перрону.

А вы лучше Пушкина
перепишите,
на этом и двоечник ловит кайф,
перепишите и назовите хотя бы
«Майн кампф».

Я не стенаю, что я зоил
и что язык мой похож на швабру,
но кто здесь
невинную кровь затворил
и гудящее слово свое закалил?
Лучше ехать в далекую гать, и амба.

А на вопрос, как метать фугаски,
включая свойства астральных сфер,
ответит ансамбль
песни и пляски
внутренних войск МВД СССР.

Семь дней

В день первый, когда ночь, чадя,
ушла, не тронувши рассудок,
я понял,
что со вчерашнего дня
прошло несколько суток.

Работало радио. Где-то в Персии,
где Грибоедов оставил след,
земля тряслася, как в эпилепсии.
Я встал и включил
свет.

С первым днем было кончено.
В день второй
под окном я увидел сырой кумач
и сваленные кирпичи
горой,
как сдутый футбольный мяч.

И, отвлекаясь от кофеварки,
будто споткнувшееся, над домом
я увидел небо
в электросварке,
к тому ж дополненное громом.

Я ни в какой семье не ночевал
и ни в какой траве не кочевал,
я был один. Как железный рубль,
холодный ливень пошел на убыль
в день третий.
Туча, гудящая, как рояль,
ползла на Север, теряя курс,
и посетила сии края
земляника, краснеющая, как укус.

Назавтра я стал различать светила:
луну, что сравнивал
только посредством «как»,
и солнце, что в этот четверг светило
на каждый неразличимый злак.

И тогда я пошел, привыкая
к ходьбе, и видел одних ворон,
и ручей сторонился меня, огибая
со всех четырех сторон.

И решил я эти края кривые
заселить зверьем, как при старой зре,
и лебедь сонно раздвинул крылья,
как свет
из приоткрытой двери.

И путая муху с прищепкою
для белья
я в день шестой создавал себя
тем, что записывал эти даты,
отгородившись от них флажком,
и, будто бы раненый воин, дятел
летал с кровавой своей башкой.

Цвела крапива. У ног порхал
кузнечик на свой удалой вершок.
В седьмой же день
я просто отдыхал
и находил, что это хорошо.

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

30 октября 1974 года, по инициативе многих политзаключенных, впервые состоялся «День политзаключенного», ставший в последующие годы традиционным.

В этот день политзаключенные лагерей и тюрем СССР проводят однодневную голодовку, требуя осуществления своих прав, а правозащитники в Москве устраивают пресс-конференцию, на которой сообщают иностранным корреспондентам факты нарушения прав заключенных, сообщают о репрессиях, голодовках и требованиях политзаключенных.

В 1974 году и всегда потом, может за одним исключением, эта пресс-конференция проходила на нашей квартире (написано в 1983 году). Пресс-конференция 1974 года была организована Сергеем Ковалевым, Таней Ходорович, Таней Великановой, Мальвой Ланда, Сашей Лавутом — все они, кроме змигрировавшей Ходорович, теперь (т. е. в 1983 г.) сами политзаключенные.

Я сделал на конференции вступительное заявление, а также зачитал свое обращение. Затем с сообщениями и документами (многие из них были тайно, с большими трудностями и опасностями переправлены из тюрем и лагерей) выступили Сергей Ковалев и другие инициаторы конференции...

В 1974—1975 гг. вновь имели место угрозы в связи с моей общественной деятельностью моим родным — детям, зятю, внукам. В конце 1974 года в Конгрессе США происходило обсуждение поправки Джексона — Ваника. Примерно 20 декабря в нашем почтовом ящике мы обнаружили письмо. В конверт была вложена вырезка из газеты «Известия» с сообщением об обсуждении поправки в Конгрессе США и следующий напечатанный на машинке текст: «Эти обсуждения связаны с Вашей деятельностью. Если Вы ее не прекратите, мы примем свои меры. Начнем мы, как Вы понимаете, с Янкелевичей — старшего и младшего. ЦК Русской Христианской партии».

Младшему Янкелевичу, моему внуку Матвею, было в это время немногим больше года (15 месяцев)! Не было никакого сомнения, что эта бандитская угроза исходит от КГБ. Мы не могли относиться к ней иначе, как с самой большой серьезностью.

В конце 1974 года Ефрем («старший Янкелевич») взял отпуск и выехал на две недели к матери Томар Фейгин, которая жила и работала в подмосковном поселке Петрово-Дальнее. Таня приезжала к нему по воскресеньям. Однажды, когда Ефрем выносил помойное ведро на помойку, к нему подошли двое, перегородив дорогу. Один из них сказал:

— Имей в виду, если твой тесть не прекратит свою так называемую деятельность, ты и твой сын будете валяться где-нибудь на помойке!

Я сделал заявление об этих угрозах моему зятю в следственный отдел МВД. Через некоторое время меня вызвали к следователю Левченко (вместе со мной пошла Люся). Он был любезен и уклончив и высказал «предположение», что, быть может, мой зять «сам связан с уголовными элементами, которые его шантажируют». Это предположение на самом деле тоже было угрозой, которая вскоре стала реализовываться.

Продолжение. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11, 12 за 1990 г. и №№ 1, 2 за 1991 г.

Вскоре произошли и другие тревожные случаи с Ремой и Алешей. Я расскажу об одном из них, произошедшим с Алешей. Он возвращался из института. На станции метро к нему обратился слепой (или изображавший из себя слепого) с просьбой проводить его в Сокольники. Это Алеше было совсем не по пути, но, имея мать, глазную больную, и вообще по свойствам характера он в таких случаях не мог отказать. На это-то, вероятно, и был расчет. Слепой завел его в глухой переулок и исчез. После этого на Алешу набросилась группа молодых мужчин. Произошла драка, Алеше разбили очки, но он сумел убежать. Несколько часов после этого на него устраивались облавы, ему пришлось прятаться в канавах и кустах. Все это время мы сходили с ума от беспокойства, куда он пропал; в отделениях милиции нам говорили: «Вероятно, зашел выпить к приятелям». Никто нам не верил, что этого не может быть. Алеша с 9 лет дал зарок абсолютного воздержания от спиртного и никогда его не нарушал.

27 декабря арестован Сергей Ковалев, наш друг, замечательный человек, сыгравший очень большую роль в защите прав человека в СССР.

Я встретился с Ковалевым в 1970 году; как я уже писал, он пришел подписать обращение в защиту Жореса Медведева. Люся знала его несколько раньше. В это время он уже был сложившийся ученый-биолог, выполнивший много интересных работ по нервным сетям и смежным биологическим проблемам, стоящим на стыке биологии и кибернетики. Еще больше у него было научных планов. Общее число его опубликованных работ более 60. Но уже тогда по его научной карьере был нанесен удар. Ему, как я уже писал, пришлось уйти из университета и биолого-математической группы в связи с подписанием письма в защиту Есенина-Вольпина. В 1969 году Ковалев в числе членов Инициативной группы. Вместе с другими он стоит у истоков правозащитного движения в его современной форме, участвует в выработке его принципов: принципиального отрицания насилия, использования гласности как единственного оружия, законности, стремления к абсолютной точности, полноте, достоверности информации. Мы встречались с Сережей не каждый день, лишь несколько раз были у него дома. С кем-либо другим при этом могли бы возникнуть поверхностные отношения, или никакие. Но тут все было иначе. Мы узнали в его лице верного друга — и в общественных, и в личных делах, включая медицинские: тут у него было много дружеских связей. Узнали в нем человека, близкого по духу, по убеждениям.

Сережа был почти всегда загорелым (загар не сходил даже зимой), с голубыми ясными и решительными глазами, слегка курчавыми светлыми волосами; на его лице, обычно озабоченном и «деловом», иногда при разговоре появлялась добрая, какая-то мальчишеская улыбка. Отличительная его черта — исключительная внутренняя добросовестность, «дотошность», перенесенная из научных занятий во все, что он делает. В этом — его сила. Однако отсюда же медлительность, повергавшая его в хронический цейтнот, из которого он выходил, не жалея своего времени, отдыха, самого себя. (Потом, в лагере, эта медлительность и добросовестность не облегчала ему жизни — там лучше подхалтурить.)

В мае 1974 года Ковалев вместе с другими объявил, что он принимает на себя ответственность за распространение «Хроники». Власти не простили ему этого смелого шага, судьба его, видимо, была решена еще тогда. Но он успел сделать за оставшиеся ему семь месяцев очень многое, в том числе в деле Кудирки, в организации Дня политзаключенного, в других делах.

После увольнения из университета Ковалев устроился работать на Опытную рыборазводную станцию, где начальником одной из групп был муж моей двоюродной сестры Виталий Рекубратский. Они были друзьями еще по университету. На Станции Ковалев занимался вопросами генетики рыб, пытался продолжать что-то из своих прежних работ. У него появились научные идеи и в некоторых других областях.

Последние годы на той же Станции работал мой зять Ефрем Янкелевич. Ковалев имел большое влияние на него, стал для него образцом (и не зря).

Летом один из сослуживцев Ковалева взял у него книгу «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына, чтобы снять с нее фотокопию в лаборатории, где работал его знакомый. При усиленной активности начальника лаборатории Сережина книга была конфискована, а замешанные в «дело» вызывались на допросы, им угрожали. Одного из них — Маресина — за отказ от дачи показаний присудили к принудительным работам. Нескольких (как потом и Ефрема) уволили. С одним из них мы были очень дружны всей семьей.

Во время допросов следователь говорил:

— У вас там целая антисоветская организация, мы это прекрасно знаем. Но Янкелевича мы вызывать не будем: очень нам надо, чтобы о зяте Сахарова кричал весь мир.

Это, вероятно, была игра с целью выудить новые показания об Ефреме и Сереже; никаких иллюзий относительно неприкосновенности Ефрема мы, конечно, себе не строили.

Осенью 1974 года Сергей Ковалев написал письмо председателю КГБ Андропову, в котором он защищал свое право давать принадлежащую ему книгу, кому он считает нужным, и требовал возвращения своей собственности. Через несколько дней он нашел это письмо подброшенным на задней лестнице в самом неприглядном виде; конверт разорван, письмо измято и испачкано. Так КГБ давал знать, что Ковалев, уже не пользующийся всеми правами гражданин, он — вне закона. КГБ любит подобный язык жестов.

В конце декабря Сергей был вызван на очередной допрос, проходивший в острых, угрожающих тонах. После допроса следователь не вернул ему паспорт, сказав, что Ковалев должен зайти за ним через два дня, утром 27 декабря. Это, по-видимому, означало арест (так и получилось).

Вечер 26 декабря Сережа провел у нас, на улице Чкалова. До него пришли Саша Лавут, Таня Великанова, Рема. Сережа подошел, когда все уже кончили пить чай, голодный. Он попросил Люсю:

— Дай напоследок щец похлебать.

(Случайно вырвавшееся слово «напоследок» оказалось очень многозначительным.)

Люся дала ему щей, еще чего-то, что он любит.

Сидели на кухне, Сережа на своем обычном месте, спиной к балконной двери, остальные — кто на диванчике, кто на стульях вокруг стола. Говорили о разном, иногда полушутливо, иногда вдруг всплывали жизненно важные, принципиальные, даже философские темы. Все чувствовали, что, возможно, этот разговор — последний перед очень долгой разлукой. Часов в 12 Сережа попросил принести бумагу. Его очень волновало полученное нами за несколько дней до этого письмо, о котором я писал выше — с угрозами «старшему и младшему Янкелевичам» от ЦК Русской Христианской партии (от КГБ!). Как всегда, он больше думал о других, чем о себе. Сережа написал проект Обращения по поводу письма; он не очень ему нравился, время шло. Наконец, уже в третьем часу ночи, Сережа сказал:

— Ну, ладно. Я пойду. Надо же и домой попасть.

(Подразумевалось — до завтрашнего ареста.)

Все вышли проводить его в прихожую, поцеловались. Он ушел. На другой день С. Ковалев был арестован.

1975 год. Борьба за Люсину поездку. «О стране и мире». Болезнь Моти. Люся в Италии. Нобелевская премия. Суд в Вильнюсе

Болезнь Люсиных глаз — следствие контузии в октябре 1941 года, сопровождавшейся кровоизлиянием в области глазного дна, временной слепотой и глухотой. Во время войны у нее были еще ранения, но именно контузия послужила началом многолетних разрушительных процессов. В 1945 году Люся была демобилизована по инвалидности. В 1966 году

оперирована на правом глазу с удалением хрусталика по поводу его дрожания (тремуляции). За это же время к хроническому увеиту, от которого она безуспешно лечилась в послевоенные годы, прибавилась глаукома (повышение внутриглазного давления, сопровождающееся отмиранием сетчатки). После операции удаления щитовидной железы глаукома не поддавалась лекарственной коррекции, стала необходимой операция...

После выписки Люси из Глазной больницы мы сделали еще несколько стоивших нам огромных усилий безрезультатных попыток ее лечения. В августе 1974 года мы решили, что ей необходимо добиваться разрешения на поездку за рубеж для лечения и операции. Это решение не было проявлением нашего недоверия к советским врачам, к советской офтальмологической школе. Но в нашем исключительном положении (как это проявилось в Глазной больнице, до нее — в Ленинграде и после в Москве) лечение за рубежом было единственно возможным. Принимая это решение, мы понимали его ответственность. Отступить, отменить его мы уже не могли. Между тем каждый месяц промедления — а их потом было очень много, почти год! — означал новые подъемы внутриглазного давления с отмиранием сетчатки и необратимым уменьшением поля зрения. Погибшие светочувствительные клетки уже не восстанавливаются. Конечным итогом неоперированной и нелечимой глаукомы является слепота. Мы вступили в борьбу, ставкой в которой было Люсино зрение.

В августе Люся позвонила своей итальянской подруге Нине Харкевич с просьбой прислать ей вызов для лечения и операции в Италии (тогда еще, до декабря 1974 года, для нас была возможна международная телефонная связь). Нина и другая Люсина подруга в Италии Мария Михаеллес действовали очень оперативно, и в конце сентября Люся, получив вызов, уже начала оформлять выездные документы.

Люся познакомилась с Марией Васильевной Михаеллес (Олсуфьевой) в первой половине 60-х годов, а через нее, несколько позже, с Ниной Адриановной Харкевич. Поводом для знакомства с Марией Васильевной послужила книжка Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи», составителями которой были мама Севы Багрицкого Лидия Густавовна и Люся. Книга вышла в 1964 году. Мария Васильевна увидела ее на ночном столике рядом с молитвенником у одной старой русской дамы, эмигрировавшей из России и жившей в Париже. Мария Васильевна спросила:

— Что это за красная книжка у вас лежит?

Старая женщина ответила ей:

— Эта маленькая книжечка помогла мне понять, чем русские мальчики, убивавшие немецких во время второй мировой войны, отличались от немецких мальчиков, убивавших русских.

Мария Васильевна заинтересовалась (до этого она не знала не только имени Всеволода, но и Эдуарда Багрицкого), тут же прочла и решила перевести отрывки из книжки для какого-то итальянского журнала. А через несколько месяцев она была в СССР и упомянула о книге Всеволода Багрицкого и всей этой истории в доме Виктора Шкловского, известного писателя. Виктор Борисович сказал:

— Я могу познакомить вас с Люсей Боннэр, одной из составителей книги, если вы хотите.

Мария Васильевна выразила желание, и вскоре Люся познакомилась с ней...

Получив вызов, Люся стала собирать необходимые справки. Оформление зарубежной поездки — весьма сложное дело. В конце сентября Люся принесла в районный ОВИР свое заявление, вызов от Нины (переведенный в специальной официальной конторе за две недели с итальянского на русский), заполненные анкеты с десятками вопросов на 4-х листах в двух экземплярах, справку от мужа (т. е. от меня), что он не возражает (эта справка не без труда была заверена на работе), 6 фотокарточек. Так как Люся была уже на пенсии, с нее не требовалась справка с места работы. Принимая документы, сотрудник районного ОВИРа обратил внимание на то, что не указано точное место работы бывшего мужа. Пришлось срочно ехать домой — довольно далеко — и впечатывать недостающее (от руки не разрешается). Но затем сотрудник заметил, что не указано место смерти отца. За два дня Люся сняла в нотариальной конторе заверенную копию со справки о смерти Геворка Алиханова, выданной Руфи Григорьевне при реабилитации ее мужа. Эта справка является очень страшным документом. Написано: дата смерти — 1939 год, выдано ЗАГСом такого-то района города Москвы в 1954 году, т. е. через 15 лет после смерти, если дата смерти правильна. Не указано место смерти — вместо этого прочерк. У молодого сотрудника ОВИРа глаза полезли на лоб при виде такого документа. Пришлось объяснять ему, что так выглядят справки, выданные при посмертной реабилитации — он лишь краем уха слышал о таком.

Началось многомесячное ожидание, а потом — активная борьба за разрешение. Все это время Люсино зрение непрерывно ухудшалось. В апреле 1975 года Люсю вызвали в городской ОВИР. Я поехал вместе с ней. Заместитель начальника Золотухин сообщил ей об отказе. Основание — что она может лечить свои глаза в СССР; ей предоставлены все возможности. Мы прямо в зале ОВИРа сказали об этом иностранным корреспондентам, приехавшим вместе с нами (к величайшему испугу советских чиновников, ожидавших виз на какие-то заграничные поездки). В ближайшие дни я поехал к президенту Академии наук СССР М. В. Келдышу, предварительно подав ему письменное заявление, но он отказался помочь мне — с той же ссылкой на советскую медицину. Оставался единственный путь — обращение к мировой общественности. 3 мая мы опять собрали пресс-конференцию, на которой раздали корреспондентам заранее составленные обращения (Люсины и мои) к мировой общественности, к участникам второй мировой войны (так как Люсино зрение пострадало на войне). Последнее было подписано Люсей — лейтенант запаса, инвалид Отечественной войны II группы. Было также обращение к государственным деятелям Запада. Мы рассказали медицинскую историю Люси и что лечение в СССР оказалось практически невозможным из-за специфичности нашего положения. На пресс-конференции мы объявили, что в дни 30-летия Победы, 8, 9 и 10 мая, проведем оба голодовку с целью привлечения внимания к возникшему трагическому положению. За несколько часов до начала пресс-конференции неожиданно явился курьер из Министерства здравоохранения. Он принес официальное письмо, не помню за чьей подписью, в котором сообщалось, что гражданке Боннэр Е. Г. может быть предоставлена медицинская помощь в отношении ее глаз в любом специализированном учреждении Министерства. В письме было также упоминание о возможности привлечения для лечения Люси специалистов из-за рубежа с оплатой за счет государства. Это письмо вместе со многими другими документами того времени было похищено при негласном обыске в 1978 году.

Мы в Министерство здравоохранения не обращались. Это явно был очередной шаг КГБ. КГБистским лечением мы уже были сыты по горло. На пресс-конференции мы рассказали и об этом письме. Я до сих пор уверен, что ничего хорошего для Люсиных глаз, если бы мы клюнули на эту удочку, не было бы. Им было важно сбить нас с выбранного пути и ничего более.

На наш призыв откликнулись очень многие. Я не все знаю и не все помню (к сожалению, я пишу по памяти). Очень важными, во всяком случае, были вмешательства Федерации Американских ученых (ФАС), указавшей в письме к Брежневу, что антигуманное отношение к просьбе Сахарова затруднит научные контакты; королевы Нидерландов и канцлера Вилли Брандта при их визитах в СССР, Организаций инвалидов войны многих стран, многих частных лиц, писавших письма советским руководителям.

В течение лета 1975 года периодические проверки Люсиных глаз показывали, что поле зрения уменьшается с каждым месяцем и мертвая зона на сетчатке приближается к желтому пятну — наиболее важной для зрения области с наибольшей частотой рецепторных клеток и, следовательно, с наибольшей разрешающей способностью.

В конце июля раздался неожиданный звонок (на даче, где мы все это время жили). Сотрудница ОВИРа позвала к телефону Люсю. Она сказала, что Люсе окончательно отказано в поездке в Италию, но ей будут предоставлены все возможности для лечения в СССР (как известно, вопросы лечения в компетенцию ОВИРа никак не входят). Люся отвечала в резкой форме (я тут смягчаю ее формулировки):

— Я ослепну по вашей вине, но ни к каким здешним врачам не пойду.

На этом разговор закончился. Руфь Григорьевна упрекнула Люсю за резкость. Через сутки, уже в конце рабочего дня, та же сотрудница позвонила вновь и сказала, что Люся должна немедленно приехать за разрешением на поездку. Предыдущий разговор, видимо, был последней попыткой КГБ сломить Люсю и настоять на своем. Разрешение, наверное, уже было готово, но ведь ничего не стоило его порвать. Люся сказала:

— Ведь уже поздно, я не успею до конца рабочего дня.

— Ничего, вас будут ждать.

Когда Люся подъехала, сотрудница ОВИРа встретила ее в вестибюле и под руку провела на второй этаж. В кабинете начальника ее действительно ждало несколько человек, в том числе начальник Московского ОВИРа Фадеев. Он повторил, что Люсе дано разрешение на поездку в Италию для лечения глаз и что визу она может получить через два дня. В кратком последовавшем затем разговоре некто, сидевший рядом с начальником, вдруг сказал:

— Но вы должны знать, что ваш муж никогда не сможет выехать к вам за границу.

Какова была цель этой явно не случайной фразы, я не знаю. Возможно, цель фразы была просто проверить Люсину реакцию. Люся ответила:

— Да, я это знаю. В прошлом у меня было много возможностей остаться, но я не ваша советская чиновница. Я еду, чтобы лечиться.

Люся позвонила мне о полученном ею разрешении, как только приехала на улицу Чкалова. Но еще до этого мне на дачу позвонили из агентства Рейтер. Им только что звонил кто-то и сообщил, что Елене Боннэр предоставлено разрешение. Сотрудник агентства справлялся, правильно ли это сообщение. Без сомнения, в Рейтер звонили из КГБ.

Всю первую половину 1975 года я работал над брошюрой, названной мною «О стране и мире». История возникновения этой книги такова. В конце 1974 года меня посетил американский сенатор Джеймс Бакли. Это был один из первых крупных политических деятелей, решившихся прийти ко мне. Советская пресса иногда пишет о нем как о человеке крайне правых, реакционных взглядов. На меня он произвел впечатление человека думающего, озабоченного основными проблемами современности и свободного от обычной слабости многих на Западе во что бы то ни стало казаться прогрессивным (может, это и есть «реакционность»?). Вместе с тем я вовсе не думаю, что по всем вопросам наши точки зрения совпадают. Беседа у нас получилась обстоятельной, были затронуты многие принципиальные вопросы — о разоружении и стратегическом равновесии, о проблемах борьбы за открытость общества, в особенности — свободы выбора страны проживания и о поправке Джексона — Ваника. Во время встречи Люся напомнила мне о переданных мне Руппелем и его друзьями списках немцев, желающих эмигрировать (более 6000 человек). Я передал их Бакли. Он взял списки и через некоторое время передал их правительству ФРГ — вероятно, не трудное для сенатора дело, но многие ли берут на себя подобный труд?..

После ухода Бакли я продолжал думать об этом разговоре, о том что было сказано, и наоборот, что я не сумел выразить с достаточной четкостью.

В эти же месяцы у меня произошла встреча с членами делегации американских ученых во главе с профессором Пановским, приехавшими в СССР для обсуждения проблем разоружения. Во время этой очень теплой встречи у нас на чкаловской квартире обсуждались те же волновавшие нас вопросы. Потом мы с Люсей пошли провожать наших гостей до гостиницы, в которой они жили. Мы шли пешком по пустынной по причине ночного времени Москве и продолжали наши обсуждения. Особенно близка оказалась для меня точка зрения руководителя делегации Пановского. Конечно, и после этой встречи осталось много недоговоренного и очень важного.

Люся предложила мне написать большое открытое письмо к Бакли, в котором я мог бы подробно обсудить вопросы, о которых шла речь при обеих встречах. Сначала я сомневался по поводу ее предложения, но она сумела меня убедить в отношении выступления по основным проблемам.

Я начал работать. В ходе работы я решил писать не письмо, а брошюру. Так возникла книга «О стране и мире». Я работал над ней с января по июль, примерно 7 месяцев. Процесс писания для меня всегда бывает трудным и мучительным (но ни одна работа не была такой трудной, как эти «Воспоминания»). Кончал я книгу, лежа в постели. В июне у меня случился сердечный приступ. Врачи, напуганные кардиограммами и анализами, уложили меня со строгим постельным режимом. К середине июля я более или менее оправился, но прежнее состояние моего сердца уже не вернулось — мне стало, например, очень трудно подниматься по лестницам.

Книга «О стране и мире» во многом примыкает к «Размышлениям о прогрессе...», написанным семью годами ранее, развивает их идеи, в особенности о необходимости конвергенции, разоружения, демократизации, открытости общества, плюралистических реформ. Но в ней сильней представлена тема стратегического равновесия (высказаны критические замечания об ОСВ-1 при общей положительной оценке самого факта переговоров, подчеркнута возможная, в определенных условиях, дестабилизирующая роль противоракетной обороны, дестабилизирующая роль разделяющихся боеголовок), тема прав человека и открытости общества, в частности, обсуждается поправка Джексона — Ваника, обсуждается позиция и способ действий леволиберальной интеллигенции Запада (в книге она названа просто «либеральной», но «леволиберальной» — будет точней), эта глава кажется мне одной из удачных в книге. В вопросе о реформах книга ближе всего примыкает к «Памятной записке». Позволю себе привести длинную цитату:

«Какие же внутренние реформы в СССР представляются мне необходимыми?..

1). Углубление экономической реформы 1965 года... — полная экономическая, производственная, кадровая и социальная самостоятельность предприятий.

2). Частичная денационализация всех видов экономической и социальной деятельности, вероятно, за исключением тяжелой промышленности, тяжелого транспорта и связи...

3). Полная амнистия всех политзаключенных...

4). Закон о свободе забастовок.

5). Серия законодательных актов, обеспечивающих реальную свободу убеждений, свободу совести, свободу распространения информации...

6). Законодательное обеспечение гласности и общественного контроля над принятием важнейших решений...

7). Закон о свободе выбора места проживания и работы в пределах страны.

8). Законодательное обеспечение свободы выезда из страны... и возвращения в нее.

9). Запрещение всех форм партийных и служебных привилегий, не обусловленных непосредственной необходимостью выполнения служебных обязанностей. Равноправие всех граждан как основной государственный принцип.

10). Законодательное подтверждение права на отделение союзных республик, права на обсуждение вопроса об отделении.

11). Многопартийная система.

12). Валютная реформа — свободный обмен рубля на иностранную валюту»...

(Дополнение 1988 г. Очень интересно читать эти пункты через 13 лет, в 4-ый год «перестройки». Некоторые из них вошли в число официальных лозунгов перестройки. О включении большинства других мы можем только мечтать. В дополнение (или вместо) пункта 10 я бы включил идею «союзного договора», выдвинутую Народными Фронтами Прибалтийских республик.) В заключение я писал:

«Я считаю необходимым подчеркнуть, что я являюсь убежденным эволюционистом, реформистом и принципиальным противником насильственных изменений социального строя, всегда приводящих к разрушению экономической и правовой системы, массовым страданиям, беззакониям и ужасам».

Книга «О стране и мире» привлекла к себе заметное внимание на

Западе (отчасти потому, что во многих странах она вышла в свет уже после присуждения мне Нобелевской премии или непосредственно до этого). О книге говорила Люся на пресс-конференции 2 октября в Италии; это тоже способствовало вниманию к ней.

Советская пресса ответила нападками. В них особенно часто упоминается моя фраза о Гессе. Поэтому я тут скажу немного об этом. Фраза возникла более или менее случайно. Я писал в книге об осужденных на 25 лет политзаключенных СССР и подумал о Рудольфе Гессе, судьба которого привлекает гораздо больше внимания; я знаю о кампаниях в его защиту. Я назвал его несчастным, и это, конечно, верно. После, когда рукопись уже была за рубежом, Вольпин и Чалидзе передали мне свое мнение, что Гесс и наши политзаключенные не должны стоять рядом. Но я уже не хотел выкидывать написанное и только сделал добавление (что я знаю об его роли в формировании преступного нацизма).

Вместе с фразой о «режиме консолидации» в Чили в письме трех авторов о Неруде упоминание о Гессе стало дежурным блюдом во всех «антисахаровских» кампаниях. Не густо!

Люся, по состоянию ее глаз, опасалась лететь прямо в Италию самолетом. Она оформила транзитную визу во французском консульстве (с помощью корреспондентки Франс-Пресс Анны Ваал; тогда в консульстве еще не знали, кто такие Елена Боннэр и, кажется, Андрей Сахаров). Люся купила железнодорожный билет до Парижа на 9 августа.

Поезд отходил вечером, и мы решили с утра перебраться с дачи, где мы жили все вместе: Руфь Григорьевна, Люся и я, Таня с мужем Ефремом и нашим внуком Мотей. (Алеша в ноябре 1974 года женился на своей однокласснице Оле Левшиной и жил отдельно от нас с женой.) Утром Таня обнаружила, что Мотя заболел. Это была, как она сказала, обычная детская болезнь — повышенная температура и плохое самочувствие ребенка, плаксивость. Но были еще какие-то странные подергивания рук и ног, вроде судорог, очень беспокоившие Люсю. 9 августа 1974 года — суббота, нерабочий день, и я не мог вызвать «Волгу» из гаража Академии. Поэтому Люся позвонила Алеше и попросила его приехать, а по дороге поймать на шоссе какую-нибудь машину, чтобы доехать до города. Через полтора часа Алеша приехал на огромной «Чайке» — водитель какого-то большого начальства согласился заехать и подработать. В эту машину мы поместились все (если бы пришла «Волга», Таня с Ефремом поехали бы поездом; как видно из дальнейшего, это могло бы иметь трагические последствия). Дома Люся попросила приехать врача Веру Федоровну Ливчак (я уже писал, что познакомились мы в связи с голодовкой). Они вместе посмотрели Мотю и вышли посоветоваться в другую комнату. Таня оставалась одна с ребенком. Вдруг мы услышали ее крик. Когда мы вбежали, то увидели страшную картину: Мотя лежал без сознания, вытянувшись, как струна, и как бы окаменевший в жесточайшей судороге; из плотно сжатого рта выступала пена, глаза закатились. Люся схватила его на руки и поднесла к открытому окну.

Вере Федоровне (сохранившей, к счастью, самообладание) удалось ложкой раскрыть Моте рот и прижать язык, избежав тем самым его западания. Таня вызвала детскую «скорую», приехавшую почти сразу; мы с Ефремом встретили ее на улице. Врач детской «скорой» оказалась очень умелой и решительной, быстро стала делать все необходимое. Противосудорожные инъекции помогли, однако, лишь частично (но без них Мотя, по всей вероятности, погиб бы). Через полчаса после безуспешных попыток снять общую судорогу врач детской «скорой» повезла Мотю, все еще без сознания, в детскую больницу. Машина с включенной сиреной развернулась через сплошную линию и уехала. Таня и Ефрем сопровождали Мотю до больницы. Они слышали, как врач детской «скорой» сказала в приемном отделении:

— Позаботьтесь об этом малыше, он этого стоит.

Моте в это время был один год и 11 месяцев. Люсин отъезд, конечно, был отложен, мы с Верой Федоровной съездили на вокзал и вернули билеты. Мы все пережили очень тревожные сутки. Хотя этого и не говорили друг другу, но каждый про себя без слов думал, что, возможно, Мотя погибает.

На другой день, в воскресенье, дежурный врач сказал, что ребенок

Янкелевич пришел в себя и опасность для жизни миновала. Люся, веря и не веря услышанному, каким-то изменившимся голосом спросила его:

— Доктор, вы это точно говорите?

— Да, конечно.

Днем нам разрешили сделать Моте маленькую передачку, в том числе заграничную соску, к которой Мотя привык (советские соски другие по форме). Нянечка, вернувшись, сказала, что Мотя, увидев соску, прошептал:

— Мама...

Люся с облегчением воскликнула:

— Это именно то, что я хотела услышать.

(Это слово показывало, что у ребенка сохранились ассоциации, т. е. его мозг не поврежден, как этого можно было опасаться.)

Что же было у Моти? Известно, что у маленьких детей, ослабленных родовой травмой (а у Моти была асфиксия), при повышенной температуре иногда возникают судорожные явления, похожие на те, которые наблюдались у Моти. Все то, что я рассказывал до сих пор, вполне согласуется с этим объяснением. Но есть и другие обстоятельства, о которых я теперь расскажу дополнительно и которые наводят на совсем иные мысли.

Мы сразу вспомнили, когда увезли Мотю, о странном случае, произошедшем за два дня перед этим, утром 7 августа. Взрослые были на кухне и собирались пить чай, а Мотя играл в прихожей, имеющей прямой выход во двор. Нам Мотю не было видно. Вдруг он неожиданно вскрикнул и с плачем вбежал на кухню. На вопрос, что с тобой, он пальчиком показывал на рот. Мы подумали, что его укусила оса, но никаких следов укуса или опухлости мы не обнаружили. Возможно, мальчик просто чего-то сильно испугался. Но, быть может, человек, проникший в прихожую, насильно ввел в рот ему некое вещество, вызвавшее судороги. Зачем? Чтобы сорвать отъезд Люси, вероятно, без цели убить. Как я уже писал, отъезд Люси действительно был отложен. А относительно «убить»? Вера Федоровна, используя свои связи с больницей имени Русакова, куда привезли Мотю, дозвонилась в реанимационное отделение. Но дежурный врач с раздражением сказал:

— Пожалуйста, не звоните больше в реанимационное отделение. Только что кто-то звонил, тоже назвался врачом и интересовался состоянием Янкелевича.

Так как никто из нас, кроме Веры Федоровны, не звонил, то это, конечно, наводило справки ГБ. О чем? Может, проверяли, не перестарались ли? Тогда хлопот не оберешься. Еще один факт, показывающий, что болезнь Моти по своим симптомам была не совсем обычной. В 12 часов ночи нам неожиданно позвонил врач из реанимационного отделения и спросил, не имел ли Мотя доступа к лекарствам, которые могли бы вызвать судороги (или — к обладающим судорожным действием). Люся сказала, что нет. Но вопрос произвел на нас самое тяжелое впечатление. Вспомнили мы также и об угрозах «ЦК Русской Христианской партии» за восемь месяцев перед этим. Косвенным подтверждением того, что это была попытка ГБ сорвать Люсину поездку, является то, что через неделю, когда Люся все же решилась ехать, вновь имели место уже, несомненно, гебистские попытки запугивания. Вторично отъезд был назначен на 16 августа. А 15-го утром по почте пришло якобы из Норвегии письмо, в которое были вложены устрашающие фотографии (похоже — вырезанные из реклам фильмов-ужасов). Фотографии все были очень специфические — имели прямое или косвенное отношение к глазам — выкалывание глаз кинжалом; череп с ножом, просунутым через глазницы; глаз, на фоне зрачка которого — череп. На конверте письма был обратный адрес. С помощью знакомых корреспондентов в Норвегии нам удалось проверить, кто послал письмо. Это оказался человек из Литвы, у которого там осталась жена. Он обращался с просьбой о воссоединении к Брежневу и послал копию своего обращения мне. Очевидно, ГБ вынуло его письмо и положило в конверт свои ужасы.

С подобной подменой (наглядно демонстрирующей нарушение КГБ тайны переписки) мы потом встречались много раз. В конверты от рождественских поздравлений были вложены фотографии автомобильных катастроф, операций на мозге, обезьян с вживленными в мозг электродами

таких писем за один-два дня пришло много десятков. В научном журнале я обнаружил между страниц статью некоего Тетенова. Тетенов за несколько лет до этого долго и безуспешно добивался разрешения на выезд из СССР, неоднократно обращался за помощью ко мне и к другим диссидентам; наконец, ему удалось уехать с семьей по израильскому вызову, конечно. Полученная сейчас мною его статья «Слепой поводырь» начинается словами: «Мировая еврейская пресса подняла истошный вой по поводу высылки академика Сахарова».

Даже сегодня (май 1981 года) я получил такое подметное письмо — вместо поздравления к моему 60-летию — оттиск статьи из иностранного журнала, который, по мнению КГБ, должен быть мне неприятен.

Одной из особенностей дела Моти является юридическая недоказуемость преступления, если оно имело место (в чем мы тоже не можем быть уверены). С такой ситуацией мы еще не раз будем встречаться — это одно из преимуществ «государственной организации» (конечно, до поры до времени, до «Нюрнбергского процесса»).

Во время событий с Мотей Таня была беременна на последнем месяце. 1 сентября она родила второго ребенка — дочь, названную Анной (Аня). А 6 октября родилась дочь Оли и Алеши Катя. Люся увидела своих внучек лишь в конце декабря.

В первых числах сентября профессор Фреззотти в Сиенской клинике в Италии оперировал Люсю. Разрушительное наступление глаукомы на этот глаз было остановлено, но, конечно, ничего из того, что было потеряно, не восстановилось. Через два дня после операции мне было передано ложное сообщение, якобы переданное из Сиены через Париж, что операция прошла неудачно. Несомненно, это были «шуточки» КГБ.

В сентябре я сделал ряд новых заявлений, по разным текущим делам: в защиту Леонида Плюща и Семена Глузмана в связи с предстоящим митингом в Париже, в защиту Владимира Осипова, в защиту священника Василия Романюка, находившегося тогда в Мордовском лагере — Люся познакомилась с его женой в Потьме.

2 октября Люся, вышедшая к тому времени из больницы, провела во Флоренции (в доме Маши — Марии Васильевны Михаеллес-Олсуфьевой) важную пресс-конференцию с разъяснением моей позиции в связи с выходом книги «О стране и мире». Эта пресс-конференция много способствовала моей популярности на Западе.

9 октября я в Москве, Люся в Италии одновременно узнали о присуждении мне Нобелевской премии мира. Я вместе с Руфью Григорьевной находился в это время в гостях у нашего друга Юры Тувина (вскоре эмигрировавшего в США). Иностранные корреспонденты сумели проследить мой путь и вместе со Львом Зиновьевичем Копелевым нагрянули к Тувину. Они заставили меня сказать несколько слов перед микрофоном; это выступление было также заснято на видеомагнитофон, пленки немедленно доставлены на улетающий на Запад самолет и уже в тот же день демонстрировались по европейскому телевидению вместе с видеофильмом, в котором я был заснят вместе с Таней во время голодовки за полтора года до этого. Я сказал в своем импровизированном выступлении: «Это большая честь не только для меня, но и для всего правозащитного движения. Я считаю, что разделяю эту честь с узниками совести, которые принесли делу защиты других людей гласными ненасильственными методами в жертву самое ценное — свободу. Я надеюсь на облегчение участи политзаключенных в СССР, надеюсь на всемирную политическую амнистию!»

Люся в этот день примеряла контактные линзы. Когда ей сообщили о премии, она, как потом мне рассказывали, сказала почти то же самое, что и я, почти теми же самыми словами. Вскоре она уже видела меня по телевидению и принимала поздравления со всего света — как и я в Москве. Эти события прервали ее по существу почти чисто медицинское пребывание в Италии; на нее обрушилось множество дел — и, наконец, после многих событий, участие от моего имени в Нобелевской церемонии.

Когда мы приехали с Руфью Григорьевной домой, звонки телефона были нам слышны еще с лестницы — это были поздравления от знакомых и незнакомых, из Москвы и других городов СССР; очень много поздравительных звонков из-за рубежа (после Люсиного отъезда телефонная связь с заграницей временно была восстановлена); много звонков иностранных корреспондентов, которым я с ходу делал заявления, повторяющие, в основном, мое первое заявление. Около 3-х или 4-х часов ночи я вдруг услышал голос Саши Галича. Он сказал, что все они испытывают сейчас самую большую радость, счастье. Рядом — Володя (Максимов), он тоже меня поздравляет, тоже безмерно счастлив. Он только что звонил Люсе, поздравил ее, она тоже счастлива и поздравляет меня, у нее все хорошо. Это наша победа, наша общая радость и победа, все будет теперь лучше. Тут все пьют за твое здоровье!!!

Я был очень счастлив этим разговором с Александром Аркадьевичем. После его отъезда летом 1974 года я не слышал его голоса. Я, конечно, не мог знать, что больше уже не услышу его, что это — в последний раз!..

На другой день непрерывно продолжались звонки и визиты с раннего утра до поздней ночи. Пришло много поздравительных телеграмм, в том числе телеграмма от Люси, посланная ею сразу после получения известия о премии (я, к своему стыду, ее тогда куда-то затерял. Недавно Люся ее нашла. В ней даже в телеграфном стиле чувствуется присущее Люсе живое чувство). С этой телеграммой вышла еще одна глупость (моя). Когда Люся, приехав, спросила, пришла ли ее телеграмма с поздравлением, я почему-то сказал: нет. Она огорчилась. После этого я не нашел в себе смелости сказать, что я просто запутался.

Утром пришли с поздравлениями представители Норвежского посольства с первым секретарем во главе, они принесли поздравительное письмо посла и чудесные розы в красивой вазе.

Еще через сутки «безумной жизни» Руфь Григорьевна сказала, что так жить невозможно, и потребовала, чтобы мы все (она, Таня и Рема с детьми и обязательно я) переехали немедленно на дачу. Я не смог противостоять, хотя, конечно, делать этого не следовало — на дачу нельзя было дозвониться из-за рубежа, в том числе Люсе; и вообще мне надо было самому нести груз премии, а не переваливать его на других. Впрочем, два-три раза в день корреспонденты все же приезжали на дачу, в том числе фотокорреспондентка, сделавшая снимок для французского иллюстрированного журнала. Через две недели Люся впервые увидела, как выглядит ее новорожденная внучка. С одним из приехавших на дачу иностранных гостей мне удалось переправить за рубеж важное письмо священника Г. Якунина и Регельсона о положении религии в СССР. Оно было адресовано международному религиозному съезду в Найроби и имело большой резонанс. Письмо принес мне мой друг, случайно за несколько часов до того, как гость уезжал из СССР.

Среди десятков поздравительных писем было одно от Роя Медведева, очень любезное. Получив это письмо, я, грешным делом, не мог не вспомнить о выступлениях его брата Жореса Медведева, развивавшего за год до этого ту мысль, что Сахарову никак нельзя давать Нобелевскую премию мира, так как он делал водородную бомбу. Сам Жорес незадолго до этого выехал на Запад и был вскоре лишен советского гражданства. И еще я вспомнил, что во время своего пребывания в Италии Люся узнала об очень странных письмах, которые рассылал разным людям Жорес. В одном письме, полученном Машей Олсуфьевой в конце августа, Жорес сообщал, что Люся, по-видимому, боится ехать и в качестве предлога задержки гипертрофирует болезнь внука. И вообще ей ехать незачем, с глазами у нее не так плохо, она бывала с мужем в театре (откуда эти сведения у Жореса в Англии — от брата Роя или от ГБ?). И еще — она и ее муж прикреплены к Кремлевской больнице. На самом деле меня открепили от Кремлевской больницы в 1970 году, после моих действий в защиту Жореса! Во втором письме Жорес предупреждал о дурном характере Люси и что она будет изображать из себя «бедную», но давать ей деньги не следует — на самом деле у Сахарова десятки тысяч долларов от издания книг (похоже, что Жорес при этом не знал, что Люся была знакома с Машей задолго до меня; он, видимо, думал, что Маша принимает ее как жену Сахарова). Третье письмо на имя известного общественного деятеля и публициста Николаса Бетелла о том, что Люся на пресс-конференции 2 октября все время врала и лучше было бы обращаться за точной информацией к нему, Жоресу.

Официальная реакция в СССР на присуждение мне Нобелевской премии мира была очень раздраженной, нервной. К сожалению, у меня нет

подборки откликов прессы, собранных Региной, все это пропало при кражах КГБ.

Опять, как это было в 1973 году, появилось много статей, в которых «развенчивалась» моя деятельность, окарикатуривались и высмеивались мои статьи, а решение Нобелевского комитета характеризовалось как враждебный, провокационный акт. В «Известиях» было опубликовано новое коллективное письмо за подписью академиков, членов-корреспондентов и директоров научно-исследовательских институтов АН, аналогичное письму 40 академиков за два года до этого.

В конце октября в газете «Труд» (многотиражной газете, издаваемой формально Советом профсоюзов СССР, но фактически, конечно же, столь же контролируемой, как и все остальные наши газеты) появился злобный и развязный фельетон, посвященный моей жене и мне. Подписанный еврейской фамилией «Азбель» (неслучайный псевдоним какого-нибудь гебиста), фельетон назывался «Хроника великосветской жизни». Вот несколько цитат из него: «Нам сообщили, что... в Италии была проведена успешная операция на правом (на самом деле на левом.— **А. С.**) глазу супруги академика Сахарова Боннэр. Мы рады за госпожу Боннэр, которая, наконец, нашла глазных хирургов, подобающих ее социальному статусу... Приятно и другое — г-жа Боннэр избрала очень уместный момент, чтобы взглянуть на мир просветленным взором — нынешней осенью на Западе высоко взметнулась волна известности супруга». (Момент «избрало» ГБ, теперь кусает локти.— **А. С.**)

„Сахаров решил возместить прогрессирующую научную импотентность лихим ударом в другой области. ...В первых же строках Сахаров согнулся перед Бакли, да так, что нос интеллектуала достиг пола перед «самодовольным коммерсантом»".

Далее следуют искусно подобранные цитаты из «О стране и мире», занимающие около половины фельетона. Цель — показать, что я „забегаю впереди самых реакционных политиков".

„Он настаивает, что Запад в обмен на разрядку должен потребовать всего-навсего: частичной денационализации всех видов экономической и социальной деятельности, частичной деколлективизации, немедленного отделения союзных республик".

Тут фельетонист умышленно смешал вместе разнородные вещи: что я (и не только я) считаю необходимым для нашей страны реформы в экономической и социальной областях, которые я считаю сугубо внутренним делом СССР и ни в коем случае не предметом давления. Вопрос о правах человека, необходимость их международной защиты признана СССР, в частности, в Хельсинкском акте; и вопрос об отделении союзных республик — я нигде не писал, что я считаю необходимым или целесообразным, справедливым отделение. Но я, в соответствии с Конституцией СССР, считаю, что граждане этих республик имеют право решать и обсуждать вопрос об их пребывании в составе СССР, а арестовывать и осуждать людей, считающих, что отделение необходимо, — противозаконно, антиконституционно. Кончается фельетон так: «...подачку провели по графе Нобелевской премии мира. Сахарову обещано более ста тысяч долларов. Трудно сказать, в какой мере это соответствует по курсу 30 сребреникам древней Иудеи. Квалифицированный ответ на этот вопрос может, вероятнее всего, дать г-жа Боннэр, весьма сведущая в этих вопросах». Эта традиционная антисемитская концовка, рассчитанная на возбуждение самых низких чувств — зависти, злобы, инстинктов погромщиков, не случайно связывает 30 сребреников с именем моей жены, с ее нерусской фамилией.

Прекрасный контрфельетон на статью в «Труде» написала Раиса Борисовна Лерт.

Начиная с этого момента, Люся, и раньше, с первых дней нашей совместной жизни, вызывающая ненависть КГБ, становится главным объектом его атак. Давление на нее, клевета и провокации в дальнейшем все усиливаются, достигнув сейчас, когда я пишу эти строки, осенью 1983 года, апогея.

Вскоре после присуждения премии мне позвонил Яков Борисович Зельдович. Он сказал, что я должен отказаться от премии. На мой ответ, что я не собираюсь этого делать, он раздраженно заявил:

— Я вам напишу.

Зельдович, конечно, понимал, что мои телефонные разговоры прослушиваются. Но тем более он должен был быть уверен, что просматривается и почта. На меня телефонный звонок и, тем более, письмо произвели тягостное впечатление нарочитой демонстрации верноподданнических чувств. Я уже рассказывал об этом эпизоде в первой части.

В ноябре произошло большое несчастье. У моей дочери Любы при родах погиб ребенок в результате асфиксии. Как всегда в таких трагедиях, мучает мысль — можно ли было избежать этого исхода.

Я решил подать документы с просьбой разрешить мне поездку в Норвегию на Нобелевскую церемонию. Конечно, отказ был наиболее вероятным результатом, но отказ после того, как я подал заявление, давал возможность проведения Нобелевской церемонии, а если бы я вообще никак не действовал, Нобелевский комитет был бы поставлен в очень трудное положение. А что меня не пустят обратно, я считал исключенным. Я послал заявление в ОВИР 20 октября и стал спокойно ждать результата.

Между тем в Италии разворачивались драматические события, которые, возможно, отражали растерянность властей, что всегда опасно. В первых числах ноября к Н. А. Харкевич, у которой жила Люся, в Люсино отсутствие неожиданно пришел консул СССР в Италии Пахомов. Он специально приехал во Флоренцию из Рима! Пахомов попросил дать ему Люсин заграничный паспорт. Нина Адриановна, хотя и никогда не жила в СССР и не была приучена к коварству советских должностных лиц в таких случаях, но тут почувствовала недоброе и паспорт не отдала.

После этого Люсю вызвали в консульство и тоже потребовали заграничный паспорт, но Люся не отдала и написала заявление о продлении пребывания в Италии по медицинским причинам; через две недели (примерно, точно я не помню) она получила разрешение.

Очевидно, за это время было принято решение пустить Люсю в Норвегию и тем снять накал ситуации настолько, насколько это возможно, а меня, вероятно, еще раньше было решено не пускать. Но какое-то время была опасность, что сгоряча власти лишат Люсю советского гражданства, а потом у них не было бы обратного хода. Люся и Нина хорошо вышли из этого положения. Что же касается меня, то я чуть было не испортил все дело. Об этом несколько позже.

14 ноября я был вызван в Московский ОВИР. В кабинете на первом этаже, где обычно сидит заместитель начальника, имеющий функцию объявлять об отказах, на этот раз находился сам начальник Фадеев. Мне показалось, что он очень волнуется. Он объявил, что мне отказано в поездке в Норвегию, так как я являюсь «лицом, обладающим знанием государственной тайны». Я сказал, что буду оспаривать это решение.

Интересно, что за неделю до этого в английской газете «Ивнинг ньюс» появилась статья Виктора Луи, в которой сообщалось, что мне будет отказано с этой именно аргументацией, со ссылкой на каких-то анонимных ответственных лиц. Очевидно, это была проверка силы реакции общественного мнения. Виктор Луи, гражданин СССР и корреспондент английской газеты (беспрецедентное сочетание), активный и многолетний агент КГБ, выполняющий самые деликатные и провокационные поручения. Говорят, сотрудничать с КГБ он стал в лагере, куда попал много лет назад. КГБ платит ему очень своеобразно: разрешая различные спекулятивные операции с картинами, иконами и валютой, за которые другой давно бы уже жестоко поплатился. Я еще буду иметь случаи писать о нем. До этого, 7 ноября, по итальянскому телевидению было передано сообщение, неизвестно откуда возникшее, что мне разрешено поехать на церемонию. Люся заказала мне фрак. Но этот заказ пришлось отменить.

Выйдя от Фадеева, я тут же сообщил об отказе ожидавшим меня на улице около ОВИРа иностранным корреспондентам.

Как я уже писал, после Люсиного отъезда временно стала опять возможной телефонная связь с заграницей, отсутствовавшая с декабря 1974 года. Очевидно, власти не хотели дополнительного скандала; правда, дозвониться Люсе — в Москву и мне — к ней во Флоренцию или в Рим часто было нелегко.

Для меня было естественно, что представлять меня на Нобелевской церемонии должна теперь Люся — самый близкий мне человек. В день получения отказа (или на следующий) Люся позвонила мне из Рима, и я сообщил ей об этом поручении. Но через несколько дней чуть не сделал большой ошибки, взяв при следующем телефонном разговоре поручение обратно. Я поддался опасениям, что ее не пустят назад в СССР или что она станет объектом мести КГБ. Очень большое давление на меня в эти дни оказывала Руфь Григорьевна. Она также написала очень резкое письмо Люсе. И все же Руфь Григорьевна была не права, а мне не следовало с ней соглашаться. Вероятность того, что Люсю не пустят обратно, конечно, была, но вряд ли власти захотели бы в эти дни еще один общемировой скандал.

Во время злосчастного телефонного разговора в Москве на Чкалова были двое — я и Рема. Руфь Григорьевна с Таней, Мотей и Аней находились на даче. Люся дозвонилась из Флоренции. Я сказал Люсе, что она не должна ехать на церемонию, я поручу это кому-либо другому (я назвал Галича). Я при этом отменял данное ранее Люсе поручение и ломал, фактически, всю церемонию, «смазывал ее значение», т. е. делал нечто ужасное. Люся упавшим голосом сказала:

— Я тебя поняла. Но ты поступаешь неправильно.

Телефонный аппарат стоял на кухне. Рема рядом мыл посуду и слышал весь разговор. Когда я повесил трубку, он сказал:

— Мне кажется, Андрей Дмитриевич, что вы не правы...

Рема говорил тихим голосом, как всегда, чрезвычайно корректно, но очень четко и недвусмысленно, объяснив мне, почему, по его мнению, я не должен поручать представлять меня кому-либо, кроме Люси. Через полчаса я полностью признал его правоту и свою ошибку и схватился за голову. Мне, к счастью, удалось еще через два часа дозвониться до Флоренции (Люся испугалась моего ночного звонка). Страшно подумать, сколь многое я бы погубил, если бы не Рема.

В течение ноября я дал множество интервью. Среди них — интервью японской газете (к сожалению, в последний момент, делая мои ответы формально более соответствующими вопросам, я несколько испортил заранее подготовленный текст — он стал как бы более хвастливым). В этом интервью я употребил формулу: мир, прогресс, права человека, ставшую вскоре заглавной для Нобелевской лекции. Мне кажется, что эти слова действительно хорошо формулируют мою позицию.

Нобелевскую лекцию я писал легко, с подъемом. В ней отражены не только мои общественные взгляды по вопросам сохранения мира, необходимости сближения социалистической и капиталистической систем, разоружения и стратегического равновесия, прогресса, открытости общества и прав человека, но и в какой-то мере — мой внутренний эмоциональный мир.

Рема несколько раз перепечатывал текст лекции. Таким образом он явился ее первым (и требовательным) читателем. В целом, в последних вариантах, она ему нравилась. Другим ранним читателем был Петр Кунин, мой товарищ по университету и аспирантуре, тоже одобривший лекцию. Понравилась лекция и Люсе, когда она ее получила — уже в Осло. Сейчас, перечитывая лекцию, я, в основном, считаю ее удачной.

Хуже получилось с текстом выступления на Нобелевской церемонии — просто мне на него не хватило «пороха». Получив текст выступления за несколько часов до вылета из Италии в Норвегию, Люся отредактировала его. Это почти единственный случай, когда она изменила что-то в моих документах без согласования со мной — тут выхода не было. Выступление стало гораздо ярче, логичней, эмоциональней. Но одно мое существенное упущение Люся не решилась исправить без меня (хотя ей и очень хотелось). Говоря о моих предшественниках — лауреатах Нобелевской премии мира, — я назвал лишь одно имя — Альберта Швейцера. Я действительно очень высоко ставлю Швейцера, его жизненный подвиг и ту философию благоговения перед жизнью, которую он развивает в своих книгах. Его мысли о недопустимости отравления человечества ядерными испытаниями послужили одним из толчков к моей общественной деятельности в 50-х годах. Но мне, безусловно, следовало также отдать дань моего уважения и другим очень достойным людям. Называя только одно имя, я как бы косвенно бросал тень на остальных, чего я ни в коем случае не хотел. В особенности мне нужно было назвать имена Карла Осецкого и Мартина Лютера Кинга, вспомнить их трагическую гибель во имя высоких идеалов. Пусть же хоть это мое запоздалое признание как-то восполнит то, что не прозвучало с Нобелевской трибуны.

Люся вылетела в Осло утром 9 декабря, чтобы участвовать в церемонии 10 декабря. В качестве приглашенных мною гостей в Осло также выехали Александр Галич, Владимир Максимов, Нина Харкевич, Мария Олсуфьева, Виктор Некрасов, профессор Ренато Фреззотти с женой, Боб Бернстайн и Эд Клайн, оба с женами. Кроме того, я «символически» пригласил находившихся в заключении Сергея Ковалева и Андрея Твердохлебова, а также Валентина Турчина и Юрия Орлова, не рассчитывая, конечно, что они смогут приехать.

Несколькими часами раньше Ефрем и я выехали поездом в Вильнюс, где на следующий день в здании Верховного суда Литовской республики начинался суд над Сергеем Адамовичем Ковалевым. Вероятно, это было не случайное совпадение, власти преследовали какие-то цели. Для нас же это совпадение суда и торжественной общемировой церемонии носило волнующий, символический характер.

В поезде вместе с нами ехало еще несколько направляющихся на суд, но кое-кто из тех, кто должен был ехать, отсутствовал. Как выяснилось, их задержали в Москве, заблокировав в квартире. Во дворе дома, где жила Таня Великанова, стоял автобус с гебистами, и при каждой ее попытке выйти дюжина молодцов перегораживала ей дорогу. Примерно таким же образом не пустили Мальву Ланда и, кажется, еще кого-то. Мы всегда удивляемся, как много свободных сотрудников у ГБ для столь маловажного дела. Неужели не все равно, где будет н е присутствовать на суде своего ближайшего друга Таня Великанова — в Москве или в Вильнюсе около суда. Но, оказывается, для КГБ не все равно. Похоже, что КГБ выше оценивает действия правозащитников, их позицию, психологические последствия их деятельности, чем, скажем, некоторые иностранные корреспонденты и органы печати.

На вокзале нас с Ефремом никто не встретил (как потом выяснилось, встречавших нас литовцев задержали и продержали несколько часов в милиции). Мы прошли на квартиру нашего друга Эйтана Финкельштейна (мы познакомились с ним через Веру Федоровну). Это один из самых старых отказников-евреев; его задерживают вот уже 13 лет по поводу секретности (по-видимому, сильно преувеличенной). К сожалению, на Западе фамилию Финкельштейна знают мало, быть может, потому, что он не москвич. (Добавление 1987 г. Несколько лет назад Э. Финкельштейн наконец смог выехать из СССР в Израиль.) Мы оставили там чемоданы и пошли в суд. Конечно, пройти в зал никому из приехавших, кроме родных Сережи, было невозможно. В зале уже находилось множество гебистов и тщательно отобранных представителей учреждений Вильнюса. «Застава» из гебистов и «шныряющая» публика были такими многочисленными, как я никогда не видел до этого. Я все же, больше для формы, сделал попытку получить разрешение пройти в зал от судьи, а потом от прокурора республики. К обоим я прорывался, минуя секретарш, и требовал выполнения закона. Часть этих диалогов, в которых судья и прокурор проявили некоторую растерянность, выявлявшую слабость их позиции, удалось (с помощью Ремы) записать на магнитофон. Весь этот день, первую половину следующего и весь третий день суда мы провели в вестибюле здания Верховного суда Литовской ССР. Кроме приехавших из Москвы друзей Сережи, там было очень много литовцев не только из Вильнюса, но и из других мест республики. Они подходили к нам, знакомились; мы видели, как глубоко они сочувствуют Ковалеву, возмущены судом над ним в их любимом городе. Время от времени в разговор вмешивались гебисты, и с ними происходили короткие перепалки. Особенно они пытались задевать Рему; мы в эти дни не расставались. Таня пришила ему рукавицы к рукавам, чтобы они не потерялись. Гебисты показывали на них пальцами с деланным изумлением и глумливо кричали:

— Отправляйся в Израиль трясти своими перчаточками!..

Это, конечно, была не случайная выходка.

К вечеру от жены и сына Ковалева мы узнали о ходе процесса. Кова-

лев сам вел свою защиту, так как ни один из адвокатов, которых хотели он и его родные (в том числе Софья Калистратова), допущен не был. Ему ставилось в вину редактирование, изготовление и размножение номеров «Хроники текущих событий», вышедших с мая по декабрь 1974 года, якобы содержащих клеветнические измышления. Лишь очень немногие утверждения из примерно 600, содержащихся в этих номерах (по оценке Ковалева), были выбраны обвинением, чтобы продемонстрировать клеветнический характер «Хроники». Впоследствии Ковалев сообщит, что он, имея материалы следствия, нашел небольшие фактические неточности, не имеющие, в основном, принципиального значения, в 7 утверждениях (1%, что поразительно мало вообще, и особенно, если учесть условия работы редакторов «Хроники»). Обвинение нашло еще меньше:

1). В перепечатанном из «Хроники Литовской католической церкви» материале сообщалось об обыске, изъятии молитвенника и избиении одного рабочего-верующего. Но он показал на суде, что избиения не было. Эта единственная, доказанная на суде (если рабочий не лжесвидетельствовал, поддавшись давлению) ошибка «Хроники» не может считаться доказательством ее злонамеренности. Вся первичная информация ведь шла от того же рабочего.

2). «Хроника» несколько раз писала о тяжелых условиях в Днепропетровской специализированной психиатрической больнице. На суде в качестве свидетеля выступала врач этой больницы д-р Любарская. Однако ее опровержения были не очень убедительными, относились лишь к частностям и в основном оставляли неизменной общую страшную картину. Впоследствии Леонид Плющ, проведший в Днепропетровской спецпсихбольнице несколько лет, расскажет многое, подтверждающее и дополняющее описания «Хроники». Тем не менее Любарская еще не раз будет выступать в будущем свидетелем на многих процессах инакомыслящих.

3). Утверждения обвинения, что якобы «Хроника» клеветнически объявляет тяжелыми условия содержания в местах заключения, также остались недоказанными.

Днем я ездил в троллейбусе и мог убедиться, как относятся литовцы к русским (но, конечно, не к таким, как Ковалев). Как только я садился на сиденье рядом с литовцем или литовкой, так они демонстративно отворачивались или пересаживались на другое место. Несомненно, они имеют на это право. Статистика репрессий 40-х годов в Литве ужасающая. Там еще помнят слова Суслова, сказанные на закрытом совещании, кажется, в 1949 году: «Нам нужна Литва, хотя бы и без литовцев».

Мне не удалось ни в этот, ни в следующие дни дозвониться в Осло: то «линия неисправна», то еще какие-то отговорки. Наша связь с Люсей была через сообщения иностранного радио — и духовная, основанная на внутреннем подъеме, порожденная ощущением исключительности того, что происходит.

10 декабря 1975 года, в день вручения Нобелевской премии мира и второй день суда над Сережей Ковалевым, мы с Ремой после перерыва не пошли в суд. Нас пригласили к себе литовцы. В доме одного из них, Виктораса Пяткуса, знакомого Сережи, собрались друзья, чтобы вместе прослушать передачу из Осло и отметить вручение премии. Хозяин — Пяткус — ранее провел в заключении 14 лет за написанные им стихи, признанные националистическими. Викторас — филолог и большой знаток Вильнюса, его истории и замечательных людей. В 1977 году он вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки.

Транзисторы включены. Мы слышим звук фанфар. Госпожу Боннэр-Сахарову, представляющую на церемонии своего мужа, просят пройти на место для участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира. Говорит Председатель Нобелевского комитета Аасе Лионнес. Она оглашает решение Нобелевского комитета о присуждении Премии мира 1975 года Андрею Сахарову. Я слышу звук Люсиных шагов, она поднимается по ступенькам. И вот она начинает говорить. Смысл слов я понимаю уже задним числом, через несколько минут. Сначала же я воспринимаю только тембр ее голоса, такого близкого и родного, и одновременно как бы вознесенного в какой-то иной, торжественный и сияющий мир. Низкий, глубокий голос, какое-то мгновение звенящий от волнения!

По окончании передачи мы все прошли в другую комнату, где был

накрыт праздничный стол. Собралось человек 15, это были литовцы, я уже всех их видел накануне у дверей суда. Были произнесены слова приветствия и тосты в мой адрес, в адрес Люси, тосты за Сережу и всех, кто не с нами... Мы отдали должное литовской кухне, в особенности удивительному, какому-то фантастическому литовскому торту.

Вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Мы вышли в прихожую. Оказалось, это пришла Люся Бойцова, жена Сережи, с ней еще несколько человек — прямо из Верховного суда. Люся была страшно взволнована, вся дрожала от возбуждения. Еще от дверей она крикнула:

— Сережу вывели из зала — он назвал суд сборищем свиней!

Постепенно выясняется, что же произошло.

В начале заседания Ковалев обратился к суду с требованием допустить в зал суда его друзей, специально приехавших для присутствия на суде. Он сказал:

— Я требую допустить Андрея Дмитриевича Сахарова, Татьяну Михайловну Великанову, Александра Павловича Лавута (он назвал еще 5—6 фамилий).

Раньше, чем судья ответил на это требование, в зале начались смешки, выкрики, что-то вроде хрюканья. Судья сказал как бы в шутку:

— Ну вот, сами видите: я не могу удовлетворить вашу просьбу...

Ковалев вспыхнул и закричал:

— Я не буду говорить перед стадом свиней! Я требую вывести меня из зала суда!

Большинство людей, имевших дело с Ковалевым, считают его очень выдержанным, безупречно корректным и вежливым. Так оно и есть. Но Сережа принадлежит к числу тех обычно мягких и вежливых людей, которых очень трудно, но все же можно «вывести из себя», если хамство затрагивает что-то принципиальное.

Председатель суда закричал:

— Подсудимый! Вы оскорбили суд! Конвой, вывести подсудимого из зала!

К Сереже подскочили конвойные и стали выводить его из зала, выполняя то ли его требование, то ли приказ судьи. Сережа успел крикнуть:

— Моя благодарность и любовь всем друзьям! Мои поздравления и любовь Андрею Дмитриевичу Сахарову!

Зал опять начал неистовствовать: хохотать, пищать, выкрикивать что-то оскорбительное и претендующее на иронию.

После вывода Ковалева заседание продолжалось еще с полчаса. Затем председатель объявил десятиминутный перерыв и добавил:

— Свидетели могут быть свободны.

В зале остались только свидетели из «наших»: М. М. Литвинов, Ю. Ф. Орлов, В. Ф. Турчин и другие, остальные давно ушли без «разрешения». Опасаясь (и не без оснований), что после перерыва их не пустят обратно в зал, «наши» решили не выходить на перерыв. Но через несколько минут в зал ворвались «дружинники» (гебисты) и милиционеры и с криками «Освободить помещение!» стали выталкивать и вытаскивать людей в вестибюль. Низкорослого Орлова подхватили под мышки и так вынесли из зала. На нескольких — Орлова, Литвинова, Турчина — составили протокол о нарушении общественного порядка, держали в милиции несколько часов.

Вечером я сумел дозвониться Тане в Москву и рассказал о событиях дня, а через полчаса ей же дозвонилась Люся из Осло. Первые слова, которые она услышала от Тани, были:

— Мамочка, записывай...

Не было даже времени расспросить о детях — двух новорожденных и одном тоже маленьком. Это потрясло присутствовавших при разговоре норвежцев.

Так закончился день 10 декабря 1975 года, день Сергея Ковалева, Елены Боннэр и Андрея Сахарова.

В следующие дни Сережу не привозили в зал заседания, все дальнейшее происходило без него и без адвоката, которого не было, как я рассказывал, с самого начала. Таким образом, суд шел вообще без защиты, что было, конечно, полным беззаконием. Ковалева даже не привезли на чтение

приговора, «забыли» — это особенно серьезное нарушение закона, дающее формальное основание к отмене приговора.

Сергей Ковалев очень сожалел, что не выдержал, «сорвался» и, как ему казалось, дал повод отстранить его от участия в заседании. Он целый год готовился к суду и хотел аргументированно выступить, разоблачить несостоятельность следствия и приговора, защищая не только себя, но и правозащитное движение. На самом деле и без инцидента 10 декабря суд и стоящий за его спиной КГБ нашли бы, конечно, повод и способ не дать осуществиться этим планам. И, пожалуй, не менее разоблачительным, чем несостоявшиеся выступления, было само проведение суда без обвиняемого и без защиты.

В день приговора 12 декабря в вестибюле суда собрались все приехавшие из Москвы друзья Сережи, пришло очень много литовцев, сочувствующих подсудимому; одновременно в зал набилось несколько десятков гебистов, занявших позиции около дверей зала заседания, куда нас, конечно, не пустили, и вдоль стен. Как всегда в напряженные моменты перед приговором, гебисты бросали провоцирующие реплики, насмешки. Мы сдерживались, молчали, иногда отвечали одной-двумя фразами.

За дверью раздались аплодисменты. Очевидно, кончилось чтение приговора, «публика» приветствовала его. Двери распахнулись, и заполнявшие зал стали поспешно выходить, не глядя на нас и не отвечая на наши вопросы о приговоре. Наконец, вышли родные Сережи, и кто-то, кажется, Ваня (сын), сказал:

— Семь плюс три.

Рядом со мной стоял Рема. Я видел сбоку его лицо, какое-то окаменевшее, серое, с глубокими тенями под глазами. С другой стороны от меня стоял один из знакомых литовцев Антанас Терляцкас. До моего сознания дошел голос гебиста, по-видимому, главного, командовавшего всей «операцией». Обращаясь ко мне, он говорил:

— Ну что, теперь вы видели, как литовцы, литовский народ одобряют приговор?

Я закричал:

— Неправда, литовский народ — не в зале!

При этом я повернулся к Антанасу и, обняв его одной рукой за шею (он выше меня), вместе с ним и с Ремой стал пробираться к выходу. Гебисты со всех сторон обступили нас, начали кричать, паясничать, некоторые приседали перед нами на корточки и прыгали, как обезьяны, гримасничали; другие пищали. Это было отвратительно и страшно. Так мы дошли до гардероба. Вдруг стоявшая за загородкой гардеробщица-литовка поклонилась нам и громко сказала, так что это было слышно всем, находившимся в вестибюле — и нашим друзьям, и гебистам:

— Пусть Бог поможет доктору Ковалеву и его друзьям!

Слезы потекли у меня из глаз, я дотронулся рукой до ее рук, лежавших на загородке, и поспешно вышел. Это была уже немолодая женщина, с правильными чертами худого лица. Я не знаю ее имени, не знаю, что повлек для нее ее поступок. Но и сейчас, когда я вспоминаю ее слова, я не могу думать о них без волнения...

Пока в Вильнюсе продолжался суд, чрезвычайно напряженное и незабываемое время переживала Люся в Осло — переживала как бы за двоих, за нас обоих вместе!

11 декабря Люся провела Нобелевскую пресс-конференцию. Это были 3 часа вопросов и ответов экспромтом, без предварительной подготовки. Пресс-конференция непосредственно транслировалась в эфир и передавалась радиостанциями и телевидением многих стран. Люсина необыкновенная способность отмобилизоваться в трудной ситуации помогла ей справиться с этим испытанием не хуже многих предшественников, представляющих в отличие от нее самих себя. Один из вопросов был о позициях Сахарова и Солженицына, в чем их отличие. Люся ответила параллелью с западниками и славянофилами в России XIX века, т. е. вполне точно и корректно, как мне кажется, по отношению к обоим.

В тот же день Люся зачитала Нобелевскую лекцию. Кажется, она тоже передавалась по радио, может, потом.

Кроме того, были приемы-банкеты; тут уж я точно не был бы на высоте. Выступая на одном из банкетов, Люся сказала свою фразу о бабах, на которых в России и пашут, и жнут, и хлеб молотят, а вот теперь и премии принимают. Мария Васильевна Олсуфьева, переводившая Люсю, была в большом затруднении, как перевести эту фразу. Действительно, как по-английски «бабы»?..

Очень сильным переживанием для Люси стало ночное факельное шествие, которое, как ей объяснили, является «стихийным» и происходит далеко не всегда, а только тогда, когда народ одобряет присуждение премии. Люся заплакала, когда ей перевели, что на многих плакатах написано: «Сахаров — хороший человек».

Много потом, узнав об этом, я тоже был глубоко тронут.

12 декабря Люся простилась с приглашенными гостями церемонии. Прощались в кафе. Саша Галич стал снимать с себя разные части одежды, чтобы Люся передала эти подарки оставшимся в СССР:

— Это — маме, а это (кофта) — Андрею, это Реме.

Люся немного боялась в шутку, как бы Саша не разделся при этом чересчур. «Галичевская» кофта до сих пор служит мне, а самого Саши уже нет в живых...

Люся еще несколько дней провела в Норвегии, общалась со многими замечательными людьми, в их числе — с председателем Нобелевского комитета г-жой Аасе Лионнес и секретарем г-ном Тимом Греве, с семьей Фритьофа Нансена, с семьей Виктора Спарре. Потом она выехала в Париж. Позвонила мне оттуда совсем потерявшая голос, видимо это была реакция на сверхнапряжение последних дней, а 20 декабря самолетом вылетела в Москву.

1976 год. Эмнести Интернейшнл. Суд в Омске над Мустафой Джемилевым. Андрей Твердохлебов. Якутия. Тбилиси. Хельсинкская группа. Обмен Буковского. Пожар у Мальвы Ланда

В 1974 году Твердохлебов и Турчин организовали Советскую секцию Эмнести Интернейшнл.

Я уже писал об этой очень важной международной организации. Главная цель Эмнести Интернейшнл — освобождение узников совести во всем мире. Само понятие «узник совести» выработала Эмнести Интернейшнл, оно очень важно принципиально. Узник совести, по терминологии Эмнести, — человек, находящийся в заключении за убеждения, за нонконформизм, за ненасильственные действия в соответствии с убеждениями, не применявший насилия и не призывавший к нему. Таким образом, это понятие значительно у́же понятия «политзаключенный». Эмнести Интернейшнл стремится к политической беспристрастности, она выступает за узников совести во всем мире, в странах с самой различной политической и идеологической структурой, добиваясь их освобождения, оказывая им и их семьям всяческую помощь. Под защитой Эмнести находятся свыше 5000 узников совести во всем мире, из них в СССР и во всех социалистических странах — около 10—20%. Большая часть узников совести — в развивающихся странах, в странах Латинской Америки, в ЮАР. Так что говорить о специально антисоциалистической или антисоветской ориентации Эмнести Интернейшнл просто бессмысленно. Но именно это утверждает советская пропаганда, «прикрывая» таким образом нарушения прав человека в СССР. Параллельно с этим советская пропаганда вполне одобряет деятельность Эмнести, направленную на защиту прав человека вне социалистического лагеря. Валерий Чалидзе часто говорил, что советскому читателю преподносятся две различные организации: хорошая «Международная амнистия» и плохая «Эмнести Интернейшнл».

Эмнести, в основном, ограничивает свою защиту именно узниками

совести, не поддерживая ни тех, кто готовит вооруженные перевороты или ведет вооруженную антиправительственную борьбу, ни террористов — вне зависимости от их целей. Конечно, такое ограничение имеет очень глубокое значение и, на мой взгляд, в значительной степени способствует высокому моральному авторитету Эмнести. Оно находится в полном соответствии с моей позицией стремления к эволюционному мирному развитию, к мирному социальному и научно-техническому прогрессу, находится в соответствии с позицией подавляющего большинства (если не всех) инакомыслящих в СССР.

Важное место в программе и деятельности Эмнести Интернейшнл занимает ее принципиальная борьба против смертной казни и против пыток. Все это мне очень близко.

Турчин и Твердохлебов установили связь с центральными организациями Эмнести (находящимися в Лондоне), привлекли ряд людей. Около года в работе Секции принимала участие Люся.

Большая часть национальных организаций Эмнести организована в западных странах. В каждой из таких организаций создаются ячейки, принимающие шефство над конкретными узниками совести в какой-либо стране, обязательно в другой, чем та, в которой находятся лица, принявшие шефство. По замыслу руководства Эмнести это также должно отражать политическую беспристрастность и способствовать ей. Перенесение всех этих принципов в нашу действительность оказалось очень трудным и противоречивым, быть может, даже не вполне осмысленным. Уже поддержание связи с центральными организациями в наших условиях было трудным, ненадежным, опасным. Материальные возможности помощи узникам в других странах у членов Советской секции Эмнести практически равны нулю. Люся и другие ее товарищи по Советской секции Эмнести Интернейшнл в основном писали открытки иранским, пакистанским и другим узникам совести, писали письма в их защиту.

Я вовсе не хочу сказать, что деятельность Советской секции не имеет смысла. Выход наших правозащитников на международную арену важен. Но, к сожалению, в силу особенностей нашего государства, он все же, в основном, носит символический характер.

После ареста Твердохлебова по инициативе Турчина руководство Советской секцией Эмнести принял на себя Георгий Владимов, известный писатель (сам Турчин в 1977 году эмигрировал).

Владимов, по-моему, один из лучших современных советских писателей. Я очень люблю его роман «Три минуты молчания», опубликованный в СССР в конце 60-х годов. А его повесть «Верный Руслан», вышедшая на Западе, образец литературы неподцензурной. К моему шестидесятилетию Владимов посвятил мне свою пьесу «Шестой солдат», вышедшую на Западе.

Власти все время были очень обеспокоены существованием Советской секции Эмнести, ее члены и руководитель находились под большой и постоянной угрозой. В 1983 году Владимов с женой уехал за рубеж и лишен гражданства.

Твердохлебов был арестован в марте 1975 года, вскоре после обыска в его холостяцкой квартире в Лялином переулке, недалеко от нас; Андрей занимал две комнаты в большой коммунальной квартире. Узнав об обыске, я побежал туда, послав перед собой «на разведку» Таню. В этот раз меня и других друзей Твердохлебова пустили внутрь квартиры, и мы могли на протяжении нескольких часов наблюдать всю удручающую процедуру.

В эти же дни произошел также обыск у Валентина Турчина. Я тоже был у него во время обыска. Турчин пытался спасти рукопись нового варианта своей известной самиздатской книги «Инерция страха» (может, в этом варианте название было изменено). Его сын незаметно выбросил портфель с рукописью в окно во двор, но и там стояли гебисты, они сразу портфель подобрали.

На 6 апреля 1976 года были назначены сразу два суда — над Андреем Твердохлебовым в Москве и над Мустафой Джемилевым в Омске. Несомненно, это не было случайное совпадение: КГБ хотел лишить кого бы то ни было, в том числе и меня, возможности присутствовать на обоих судах. Я решил, что важней поехать в Омск. В Москве в это время еще было много людей, которые придут к зданию суда над одним из известных диссидентов, в Москве есть иностранные корреспонденты. В Омске ничего этого нет. Можно было опасаться, что почти никакая информация о процессе в Омске не станет вообще доступной общественности или станет известна очень нескоро. Я сделал о своем решении заявление, и мы с Люсей вылетели в Омск (3 часа полета, билеты не без труда купили с помощью моей «геройской» книжки).

Мустафа Джемилев, суд над которым предстоял в Омске, один из активистов движения крымских татар за возвращение в Крым. Он родился во время войны. В двухлетнем возрасте вместе со всеми крымскими татарами (женщинами, стариками и детьми — большинство мужчин на фронте) вывезен из Крыма. Конечно, он не помнит ужасов эвакуации и первых лет жизни в Узбекистане. Но рассказы об этом и о далекой и прекрасной земле Крыма — та духовная атмосфера, в которой растут он и его сверстники.

Мустафа с головой окунается в борьбу за права своего народа. И в ответ — безжалостные репрессии. В 1976 году кончался очередной срок заключения, который он отбывал в лагере недалеко от Омска. За полгода до окончания срока против него было возбуждено очередное дело о «заведомой клевете на советский государственный и общественный строй»: якобы он говорил, что «крымские татары насильно вывезены из Крыма, и им не разрешают вернуться». Само по себе это так и есть, и Мустафа много раз писал об этом в подписанных им документах и мог, конечно, говорить, но следствию был нужен свидетель. Приехавшие в Омск следователи КГБ концентрируют свои усилия на заключенном того же лагеря Иване Дворянском, отбывающем 10-летний срок заключения за непреднамеренное (в аффекте) убийство человека, оскорбившего, по его мнению, его сестру. Сначала Дворянский противится усилиям следователей и передает «на волю» записку о том давлении, которому он подвергается, — угрозам и обещаниям. За несколько месяцев до суда Дворянского изолируют от остальных заключенных, помещают в карцер. Мы не знаем, что там с ним делают. Через месяц он дает необходимые показания, которые и ложатся в основу нового дела Мустафы Джемилева. С момента возбуждения дела Мустафа держал голодовку, и это нас очень волновало. На суд приехал адвокат Швейский из Москвы, родные Мустафы (мать, брат, сестры) и крымские татары из Ташкента. Швейский раньше защищал В. Буковского и А. Амальрика, и мы знали, что он умел находить необходимую линию между требованиями адвокатской этики и профессии (а он прекрасный адвокат) и реальными условиями работы советского адвоката на процессе инакомыслящего. Конечно, не все в этой линии нас устраивало, но все же это было кое-что. В первый наш приезд суд был отменен под каким-то нелепым предлогом (кажется, авария водопровода в следственной тюрьме). Очевидно, власти хотели, чтобы мы уехали и не приезжали (это их желание только подтверждало правильность сделанного мною выбора). Отсрочка в особенности волновала нас потому, что мы не знали, в каком состоянии находится голодающий Мустафа. Хотя было утомительно и накладно совершать неблизкий путь вторично (не только нам с Люсей, а и всем приехавшим на суд), мы твердо решили не отступать, и 18 апреля (если я не ошибаюсь в датах) опять вылетели в Омск. При устройстве в гостиницу произошел забавный эпизод. Женщина-администратор, увидев в паспорте мою фамилию, нервным движением отбросила его и воскликнула:

— Такому мерзавцу, как вы, я куска хлеба не подам, не только что номер предоставить.

В холле сзади нас молча стояли крымские татары, у них-то уже были койки. Они привыкли игнорировать подобные оскорбления в свой адрес и теперь смотрели, что будет со мной. Вдруг администраторша засуетилась:

— Ах, ах, я так переволновалась, у меня заболело сердце. Нет ли тут у кого-нибудь валидола?

Татары продолжали молча стоять. Я сказал:

— Валидола нет, но, Люсенька, у нас должен быть нитроглицерин.

— Нет, глицерина я боюсь.

Мы пошли вместе с татарами в их номер, у нас было о чем поговорить. Через полчаса явилась та же администраторша:

— Товарищ Сахаров, вот ваши ключи от номера. Когда вы освободитесь, спуститесь, пожалуйста, вниз, заполните карточку.

Несомненно, номер мне дали по указанию ГБ, не хотели скандала, а предыдущий эпизод был — личная инициатива «истинно советского человека».

В конце дня из Москвы приехал Саша Лавут. На другой день начался суд. В зал, кроме подобранной публики и гебистов, пустили первоначально всех родных Мустафы: мать, брата Асана, сестер. Обстановка в зале суда, а вследствие этого и вовне, сразу же начала стремительно накаляться. Мустафа, который продолжал голодовку, еле стоял на ногах. Судья перебивал его на каждом слове, практически не давал ничего сказать. Но особенно судья пришел в неистовство, когда Дворянский отказался от своих ранее данных, с таким трудом выбитых у него показаний. Рушилось все обвинение! Придравшись к какой-то реплике Асана, судья удалил его из зала. Затем была удалена Васфие (сестра Мустафы), пытавшаяся дать понять ему, что в Омске — Сахаров (она употребила для этого татарское слово, обозначающее сахар). И, наконец, во второй день суда — мать Мустафы. Когда выведенную мать не пустили после перерыва в зал, она заплакала, закрыв лицо руками. Я закричал:

— Пустите мать, ведь суд — над ее сыном!

Стоявшие у дверей гебисты ответили насмешками и стали отталкивать нас от дверей зала. В этот момент Люся сильно ударила по лицу штатского здорового верзилу, распоряжавшегося парадом, а я — его помощника: оба, несомненно, были гебистами. На нас сразу накинулись милиционеры и дружинники; татары закричали, бросились на выручку; возникла общая свалка. Меня и нескольких татар вытащили на улицу, бросили в стоящие наготове воронки. Я оказался рядом с девушкой-татаркой и одним из тащивших меня милиционеров. Он оказался по национальности казанским татарином, и девушка стала его тут же громко укорять. Милиционер смущенно вытирал потное после схватки лицо. Люсю в этот момент затолкали в какую-то комнатушку. Тащили ее очень грубо, толкали, все руки у нее оказались в кровоподтеках и синяках. Меня привезли в отделение милиции, пытались допрашивать; я отказывался, требуя, чтобы мне дали возможность увидеть жену. Через час-полтора меня отпустили, а Люсю в это время привезли в то же отделение, где перед этим находился я. Тут уж Люся стала требовать, чтобы ей предъявили меня, и за мной послали машину (я уже успел дойти до здания суда). Наконец, мы увидели друг друга. Люся стала требовать, чтобы ей прислали врача, освидетельствовать нанесенные ей побои. Привели каких-то двух работников из поликлиники, но те заявили (очевидно, наученные), что могут оказать медицинскую помощь, но не выдавать какие-то справки. Нас с Люсей отпустили, заявив, что против нас может быть возбуждено дело, уже тогда, когда Мустафе Джемилеву был вынесен приговор — 2,5 года заключения. При этом суд постановил, что именно первоначальные — против Джемилева — показания Дворянского истинные, а отказ от этих показаний в суде — результат психологического давления, которое оказывал на него подсудимый. Мы не знаем, какие последствия для Дворянского имел его геройский поступок.

В тот же день появилось сообщение ТАСС на заграницу (переданное по телетайпам), в котором красочно описывалась драка, учиненная в зале Омского суда (где мы никогда не были и куда не пускали даже мать подсудимого) академиком Сахаровым и его супругой. Сообщение это, а также отсутствие известий от нас вызвали очень большое волнение во всем мире. Известия отсутствовали потому, что на время суда междугородная телефонная связь Омска, в частности с Москвой, была выключена. У нас есть выражение: «Фирма не считается с затратами», но в данном случае это, пожалуй, даже слабо сказано. В общем, как мне кажется, наша задача — привлечь внимание мировой общественности к процессу Джемилева — была выполнена.

Из рассказов родных Джемилева о суде. Судья заявил:

— Вот Джемилев утверждает, что крымских татар не прописывают в Крыму. Ну и что? Меня вот не пропишут в Москве — и я не жалуюсь на это.

Такова логика противоправного государства, где представитель закона одно беззаконие оправдывает другим. Я говорил с судьей во время первого приезда в Омск, пытаясь (безрезультатно) выяснить, почему откладывается суд. Судья выглядел как вполне «обыкновенный» человек, с достоинствами и недостатками, в прошлом участник войны, боевой офицер, отец семейства, я уверен, считающий, что делает в жизни нужное и трудное дело. Но какова его роль в деле Джемилева, а, возможно, и в некоторых «обычных» уголовных делах? Я как-то не подберу слов...

На другой день после приговора родные Джемилева решили добиваться свидания с ним. Я написал письмо Мустафе, в котором уговаривал его прекратить голодовку, длившуюся уже 9 месяцев (с насильственным кормлением). Быть может, именно это письмо, о существовании которого было известно начальству, объясняет, почему родным дали свидание. Голодовку Мустафа решил прекратить. Я был этому очень рад.

Из окна нашей гостиницы мы дважды наблюдали жестокие драки между группами каких-то людей; при таких драках убить человека недолго. Но никакой милиции поблизости видно не было. Зато около суда два дня стояла целая толпа милиционеров.

Мы походили по омским магазинам. Люся увидела на полке нечто похожее на масло и спросила:

— У вас есть масло?

На нее посмотрели, как на ненормальную (это был комбижир). Так же посмотрели на нас в ресторане, когда мы попросили рыбы — это в Омске, расположенном на берегу Иртыша. Впрочем, мяса в ресторане тоже не было.

На другой день мы вернулись в Москву. Суд над Твердохлебовым тоже окончился. Андрея приговорили к 5 годам ссылки. Рема провел много вечеров с сестрой Андрея Юлой, записывая подробности суда. Возвращался он уже после полуночи, мы шутили, что у него роман с Юлой.

В июле или начале августа от родителей Андрея, с которыми у нас были прекрасные отношения, мы узнали место ссылки — в Якутии, деревня Нюрбачан. Они показали нам несколько присланных Андреем фотографий. На одной из них устроенная на дворе печь из автомобильного колеса, на другой — сам Андрей. Когда Люся посмотрела на эту фотографию, что-то не понравилось ей в выражении лица Андрея, какая-то жесткая трагическая складка, еще что-то трудно выразимое словами. Люся сказала мне:

— Поедем к нему, это нужно.

(Вернее, она написала эти слова на бумажке: мы опасались, что КГБ, узнав о наших планах поездки, помешает; а что все наши разговоры прослушиваются, мы никогда не сомневались и не сомневаемся.)

Собравшись, без всяких обсуждений вслух, мы поехали на аэродром прямо с дачи (сначала в полупустой вечерней электричке, потом на такси от вокзала, не заезжая домой; наша поездка выглядела как поездка с дачи в гости — если только за нами не велась постоянная слежка при всех передвижениях и в московской квартире!).

По дороге на аэродром произошел случайный, по-видимому, эпизод: наше такси сильно стукнула сзади какая-то машина с дипломатическим номером; у нас сильно болели от толчка шеи и головы, но мы без задержки пересели на другое такси и вскоре, не без трудов, с помощью моей «геройской» книжки купили билеты до Мирного — города в Якутии, откуда должны были лететь на поршневом самолете ИЛ-14 до поселка Нюрбы (600 км) и потом добираться автобусом до Нюрбачана (25 километров). В Мирном вышла первая задержка — около суток не было самолета до Нюрбы. Несомненно, уже в Мирном, а может, и еще раньше нас «засек» КГБ. Мирный — новый город, центр алмазодобывающей промышленности, возникшей в СССР после открытия в Якутии крупных месторождений алмазов.

Во время вынужденного ожидания мы гуляли около аэродрома. Вдали были видны отвалы голубоватой породы — целая гирлянда холмов. Как нам объяснили, это более бедная алмазами порода, чем та, которая сейчас идет на обогатительные фабрики. Ее сняли, чтобы обнажить более богатые слои. Отвалы, однако, тоже содержат алмазы, их охраняют, никого к ним не подпуская; может, со временем дойдет дело и до них. На прогулке мы повстречали одного из представителей «бичей» (так называ-

ют в Сибири «вольных» людей, живущих случайной работой, большей частью тяжелой и неквалифицированной; большинство из них не имеют постоянного места жительства, семьи, часто — документов; некоторые не в ладах с законом; они живут, не думая слишком глубоко о завтрашнем дне, по принципу «то густо — то пусто»). Существование «бичей», почти свободных от всех форм зависимости от государства, является, конечно, парадоксальным в нашем строго регламентированном и жестко устроенном обществе; но до поры до времени, в условиях острой нехватки рабочей силы в восточных районах страны, власти мирятся с этим.

Ночь мы провели на скамьях зала ожидания, а на следующий день все же вылетели в Нюрбу, где нас ждал новый сюрприз — рейс автобуса в Нюрбачан отменен (это уже явно из-за нас). Мы пытались поймать попутную машину сначала в самой Нюрбе, потом за ее пределами, но безуспешно. Один из местных водителей объяснил нам, что за несколько сот метров от нас все машины останавливает милиция и запрещает нас подвозить. Наконец нас взял в свою машину майор милиции, но неожиданно резко развернулся и привез к зданию милиции, мимо которого мы проходили пару часов назад (якобы чтобы что-то взять, но он тут же исчез). В милиции мы разговаривали с дежурным, быть может, просто с гебистом, который был издевательски вежлив, называл нас «Андрей Дмитриевич», «Елена Георгиевна». На мои просьбы дать машину он отвечал, что машин у них вообще нет.

— В таком случае отвезите на мотоцикле (с коляской); вон у вас их сколько стоит...

— Но, Андрей Дмитриевич, вы можете простудиться...

Мы решили идти пешком.

Из впечатлений, которые мы вынесли во время нескольких часов пребывания в Нюрбе, — колоссальное количество милиции в этом сравнительно небольшом якутском поселке. Вообще в провинции, особенно в национальной, районная милиция — главная власть.

Когда мы вышли из Нюрбы, стало темнеть. Но нас это не пугало. Большую часть пути мы шли ночью (к счастью, при луне) по совершенно безлюдной лесной дороге, вдыхая влажный свежий воздух, от которого уже успели отвыкнуть в городе. Иногда мы устраивали короткие привалы, закусывали хлебом с сыром, запивая кофе из термоса. Через плечо я нес сумку с тем, что мы везли Андрею. От этого ночного перехода осталось острое ощущение счастья: мы были вместе, одни в лесу, делали хорошее, как нам казалось, общее дело! К 5 утра мы подошли к Нюрбачану. В каком-то из дворов люди уже не спали. Но они не захотели нам объяснить, где живет ссыльный; видимо, смертельно испугались. Люся нашла дом, где был поселен Твердохлебов, по печи из автомобильного колеса во дворе, которую мы видели на фотографии. Разбуженный стуком в дверь Андрей был радостно удивлен нашим приездом и только и мог повторять:

— Ну и ну!

Весь следующий день (15 августа) мы провели с ним, разговаривали о волновавших нас новостях. Андрей сообщил о некоторых деталях суда над ним, о которых мы не знали.

Я должен, однако, рассказать тут, что за исключением некоторых более «теплых» моментов при этом общении мы, к своему огорчению, почувствовали какое-то непонятное внутреннее отдаление. Потом, после возвращения Андрея из ссылки, оно все больше и больше увеличивалось и углублялось, в конце концов приведя к полной потере контакта. Причины мне не ясны до сих пор. Возвращаясь мысленно к периоду нашей дружбы в 1970—1975 гг., я теперь вижу и в том времени некоторые симптомы последующего. Тем не менее все это, во всяком случае, крайне грустно.

В середине дня Андрей принес нам прекрасного пенистого молока. Мы узнали во время нашей поездки, что важное место в питании якутов занимает конина. Табуны лошадей пасутся круглый год совершенно свободно, без пастухов; умные животные сами находят себе корм.

Еще накануне ночью я слегка подвернул правую ногу. Во время прогулки по берегу озера я провалился в глубокую яму от столба, прикрытую травой; упал и подвернул левую ногу, на этот раз очень сильно. Люся вправила мне образовавшийся желвак. Андрей сходил домой за эластичным бинтом и срезал палку-костыль, на котором я кое-как доковылял до дома. Каждый шаг был мучением. На другой день механик, с которым жил Андрей, на машине отвез нас в Нюрбу (видимо, начальство не хотело, чтобы мы застряли в поселке). На аэродроме я с внезапной болью в сердце прилег на скамейке. Люся сбегала за горячей водой и тут же поставила мне горчичник.

Из Нюрбы мы, на этот раз без задержки, вылетели в Мирный. Под крылом самолета опять проплывала бескрайняя и безлюдная заболоченная тайга, поросшая низкорослым лесом и перемежающаяся пятнами покрытых зеленью озерков. Подумалось: ,,А ведь это тот самый Северо-Восток, который Солженицын рассматривает как неиспользованный резерв развития русского народа, «отстойник русской нации»... Еще очень далеко до того времени, когда можно будет поднять эти места к интенсивной производительной жизни, если, конечно, не положить тут в болотистую землю миллионы подневольных жертв, подобно тому, как это делал когда-то Сталин''.

Подлетая к Мирному, мы увидели под собой алмазный карьер — то, ради чего существует город Мирный с его десятками тысяч жителей. Это было фантастическое, незабываемое зрелище, великолепное творение человеческого труда (это мое восхищение не противоречит убежденности в нецелесообразности и невозможности сейчас сплошного освоения Северо-Востока; добыча алмазов, в которую можно вкладывать гигантские средства, случай исключительный)...

Нам не удалось улететь из Мирного самолетом, летящим прямо в Москву, пришлось лететь до Иркутска.

На аэродроме в Иркутске мы провели несколько часов, и просидели бы много больше, если бы Люся, очень волновавшаяся из-за моей ноги, не устроила большой скандал. Несколько рейсов по какой-то причине было отменено, на аэродроме скопилось множество людей. Но на неотмененный рейс (он шел на Ленинград, но нас и это устраивало) никого не сажали, так как самолет летел с иностранными туристами (занимавшими меньше половины мест). Это обычная практика изоляции иностранцев от советских граждан и предоставления иностранцам привилегированного положения. Во всех курортных местах лучшие гостиницы выделены иностранцам и советских к ним даже не подпускают; то же — с ресторанами; или есть специальные часы, когда кормят только иностранцев. По существу, все это крайне оскорбительно и для советских, и для иностранцев, но и те, и другие переносят это как должное (а что было бы, если бы подобные ограничения были бы установлены, скажем, в Риме или Париже — вероятно, немало витрин было бы разбито!). Люся стала требовать посадки в самолет для нас и всех ожидающих. В выражениях она при этом не стеснялась (много потом в какой-то статье — очередном пасквиле АПН — ей припомнили ,,скандал в Иркутске''; ГБ всегда все слушает и ничего не забывает). Нас и еще человек 30 посадили на рейс с иностранцами — очевидно, начальство испугалось возможности расширения скандала. Прислушивались уже многие. Потом к Люсе подходили, говорили, что без нее бы не улетели, и удивлялись ее смелости:

— Мы бы так не решились...

Мы прилетели в Ленинград, переночевали и отдохнули на Пушкинской у Зои Моисеевны, Наташи и Регины. Зоечка сделала мне ножную ванну, сразу полегчало.

В Москве в академической поликлинике ногу положили в гипс, поставили диагноз: разрыв связок (что Люся считала с самого начала).

Запомнившееся событие 1976 года — поездка в Тбилиси иа международную конференцию по физике элементарных частиц (она была в конце июля, т. е. до поездки в Якутию). Я, конечно, поехал вместе с Люсей. Нас поселили в той же гостинице ,,Сакартвело'', в которой я жил в 1968 году (чуть ли не в ту же комнату). На конференции было много интересных докладов...

Незадолго до закрытия конференции к нам пришли Вейскопф и Дрелл. Они, смущаясь, рассказали, что им передали каждому пакет, в котором были деньги (сумму я не помню). Они не объяснили, под каким благовидным предлогом были вручены эти деньги, но фактически это

был скрытый подкуп. Вейскопф и Дрелл пришли с этими деньгами к нам и попросили передать их преследуемым ученым и их семьям (что мы и выполнили). А сколько людей — ученых, просто туристов, „нужных" людей за рубежом — журналистов и писателей, борцов за мир, бизнесменов, политических деятелей, спортсменов и музыкантов — получают такие „подарки" (быть может, в другой форме), не знают, кому об этом рассказать и стесняются, и незаметно для себя становятся управляемыми? Масштаб этой деятельности известен только КГБ, но я подозреваю, что он очень велик.

Весной (в мае) 1976 года в Москве была организована по инициативе Юрия Федоровича Орлова Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Хельсинкская группа, вероятно, самое известное порождение его беспокойного, активного ума (большую роль тут также, по-видимому, сыграл Андрей Амальрик; см. его воспоминания, посмертно опубликованные на Западе). С первой идеей создания Группы (тогда он называл ее Комитетом) и с предложением быть соорганизатором Юра пришел двумя месяцами раньше, примерно в марте. Ни тогда, ни в мае я не согласился войти в Группу. Я считал, что форма индивидуальных выступлений, в которых я полностью свободен и в содержании, и в способе выражения, наиболее подходящая для меня при моем сильно выделенном положении. Я был также тогда очень рад, что на мне „не висит" больше Комитет прав человека, и не хотел вновь связывать себя какими-либо аналогичными обязательствами.

Я, конечно, оставлял за собой право присоединяться к некоторым документам Группы, наиболее важным и нравящимся мне; в дальнейшем я часто это делал.

Вслед за Московской группой возникли группы в Союзных республиках (на Украине, в Прибалтике, в Армении и Грузии), а также за рубежом (с несколько другими условиями и задачами). Есть определенная внутренняя аналогия с чехословацкой Хартией-77.

По существу Московская Хельсинкская группа, как и аналогичные группы в республиках, делала то же самое дело, что и Инициативная группа, Хроника текущих событий и отдельно выступающие правозащитники, — собирала и предавала гласности факты нарушения прав человека, чтобы привлечь к ним внимание общественности — советской и мировой. Но подчеркнутая Орловым связь с Хельсинкским Актом, выраженная в названии Группы, придавала этой деятельности дополнительное значение, больший вес.

Сама по себе идея создания Хельсинкской группы была хорошей. Удачно использовалось то большое значение, которое имеет Хельсинкский Акт для СССР, точней для его руководства, и провозглашение Актом связи международной безопасности и прав человека. Признание существования этой связи в международном соглашении действительно имеет принципиальное значение. Именно в силу этих причин выступление правозащитников, использующих в качестве опоры Хельсинкский Акт, чувствительно для властей. Это не значит, что они делают из этого положительные выводы. Наоборот! Членство в Группах, особенно в республиканских, ставило людей под особенно сильный удар. В этом я вижу отрицательную, трагическую сторону создания Групп!

После того, как я отказался вступить в Группу, Юра обратился с предложением вступить в Группу к Люсе, считая, что ее членство в Группе в какой-то мере скомпенсирует мое отсутствие. Люся сильно колебалась, но в конце концов согласилась. Ей казалось, что ее участие может быть какой-то защитой для тех членов Группы, которые находятся под ударом, — она, в частности, имела в виду Алика Гинзбурга и самого Юру Орлова. При этом Люся оговорила за собой право чисто формального участия, без конкретной работы. В следующих главах я расскажу о репрессиях, обрушившихся на Хельсинкские группы (конечно, ни Люся, ни кто бы то ни было не смог их предупредить), и о работе Московской Хельсинкской группы. Вопреки Люсиным первоначальным предположениям ей пришлось взять на себя значительную долю работы, особенно после ареста Ю. Орлова...

В середине декабря 1976 года произошли одновременно два события, одно из которых как бы подытоживало некий предыдущий этап защиты прав человека в СССР, в том числе и моих действий; а другое, наоборот, явилось предвестником новых бед, репрессий, противостояния...

Не случайным было, как я думаю, и совпадение этих событий во времени. Одно из них — обмен Владимира Буковского на чилийского коммуниста Луиса Корвалана. Другое — пожар в комнате Мальвы Ланда.

Обмен Буковского стал возможен в результате многолетней международной кампании в его защиту, очень большого и заслуженного его морального авторитета, как одного из стойких представителей правозащитного ненасильственного движения. С другой стороны, была широкая международная кампания за освобождение секретаря компартии Чили Луиса Корвалана, арестованного Пиночетом в 1973 году, в том числе в советской печати. Когда эти две проблемы „столкнулись" в результате инициативы каких-то деятелей Запада, кажется, в их числе из Комитета Сахаровских слушаний в Дании, советские власти пошли на обмен. В создавшейся ситуации они не могли оставить Корвалана в заключении (хотя вообще пропагандистски он им там был, возможно, и выгодней).

Вокруг этого обмена, как и вообще вокруг принципа обмена, происходили потом горячие дискуссии. В частности, руководство Эмнести Интернейшнл из принципиальных соображений высказалось против обменов, считая, что они противоречат принципу всеобщей амнистии узников совести, как бы ложно снимают категорическую моральную необходимость амнистии всех.

Что касается меня, то моя позиция в этом вопросе вполне определенная и иная. Я глубоко и без всяких колебаний рад каждому случаю освобождения людей, страдающих за убеждения! Рад освобождению даже одного человека, одного узника совести, в данном случае Владимира Буковского, и абсолютно не вижу, чем оно повредило судьбе других узников совести. Амнистия узников совести в СССР (и в большинстве других стран, в которых есть узники совести) станет возможной лишь в результате очень глубоких изменений, мощных причин, которым никак не повредят обмены. И освобождению Луиса Корвалана я по-человечески рад! Позиция глубоко уважаемой мной Эмнести Интернейшнл в данном вопросе мне кажется слишком абстрактной, схоластической.

Об обмене и предстоящем вывозе из СССР Буковского мы узнали заранее, за несколько дней (через его мать). Несколько десятков московских инакомыслящих приехали в международный аэропорт Шереметьево, надеясь хотя бы издали увидеть Володю, поприветствовать его. Приехало много иностранных корреспондентов, как всегда — не меньше гебистов. П. Г. Григоренко и я дали инкорам, окружившим нас кольцом, импровизированные интервью, выразили надежду, что гуманный акт обмена не будет единичным, что последуют освобождения других узников совести и что рано или поздно будет осуществлена всеобщая амнистия. Мы оба сказали, что особо срочным является освобождение политзаключенных-женщин, а также больных, назвали много имен. (Во время интервью гебисты стояли чуть поодаль, образуя второе, внешнее кольцо вокруг корреспондентов и диссидентов.)

Мы пробыли в Шереметьево несколько часов и разъехались ни с чем. Буковский был вывезен из СССР на военно-транспортном самолете с какого-то другого аэродрома. Туда же доставили его мать, сестру и больного племянника на носилках. Кажется, до границы Буковского везли в самолете в наручниках, впрочем я не уверен, не путаю ли я тут чего-либо.

В советской печати еще с 1971 года появлялись статьи, в которых Буковского называли „хулиганом". После обмена широкое распространение получил стишок:

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где найти такую б..дь,
Чтоб на Брежнева сменять?..

Мальва Ланда была с нами в Шереметьево, потом она вернулась к себе домой, и там произошел через несколько часов пожар.

Ланда по профессии геолог. В это время она была уже на пенсии, жила одна в комнате коммунальной квартиры в подмосковном городе-спутнике Красногорске. Я считаю Мальву одной из лучших представителей правозащитного мира, безраздельно преданной идее справедливости и гуманности, полной сочувствия к тем, кто страдает, и бескомпромиссного осуждения беззакония и несправедливости. Мало кто, как она, знает так хорошо судебные дела, семейные обстоятельства, трудности, характеры, болезни сотен политзаключенных и вновь арестованных, еще находящихся под следствием. К каждому у нее — живое человеческое сочувствие, понимание...

В мае 1977 года я присутствовал на суде над Мальвой, обвиненной в том, что она по небрежности допустила возникновение пожара, причинившего большой ущерб личному имуществу ее соседей и государственному имуществу. У меня сложилось убеждение (верней, я склонялся к этому и раньше), что это был не пожар по неосторожности, а умышленный поджог. Пожар возник, когда Мальва вышла на минуту в общую кухню поставить чайник, оставив дверь в свою комнату открытой. Когда она пришла, в комнате полыхал огонь, горели разложенные на столе и на полу бумаги, которые она разбирала. Она бросилась в кухню за водой, а когда прибежала, ей преградил дорогу неизвестный ей человек. Несколько минут продолжалась борьба между ними; ей не удалось войти в комнату. Никто из соседей и сама Мальва не знали этого человека. Суд и следствие не сделали никакой попытки его найти. Я уверен, что это был гебист, верней всего — он же и поджигатель. Следствие не выяснило, были ли следы применения зажигающих веществ, хотя картина пожара очень на это похожа. Суд завысил ущерб, причиненный пожаром. На самом деле главным пострадавшим была сама Мальва, у которой сгорело все ее имущество (никаких накоплений у Мальвы, конечно, не было; она жила, как большинство пенсионеров в СССР: от пенсии до пенсии). Еще подробности. Хотя пожарные были вызваны своевременно, но кто-то направил машины по ложному адресу, и они приехали очень поздно. Еще кто-то препятствовал выключению электричества. Все эти детали суд игнорировал. У Мальвы Ланда был хороший адвокат, но, как всегда в процессах диссидентов, он ничего не смог сделать для изменения приговора. Мальва была приговорена к выплате компенсации и к 2 годам ссылки. В конце 1977 года или в начале 1978-го она была освобождена по амнистии, но потеряла право жительства в Красногорске (тем более не могла жить в Москве). Ей пришлось купить полдома за пределами 100-километровой зоны. При кратковременных приездах в Москву ее неоднократно задерживали.

Весной 1980 года Мальву Ланда вновь арестовали, на этот раз по открыто политическому обвинению (ст. 190-1). Она вновь присуждена к ссылке, на этот раз на 5 лет.

1977 год. Взрыв в московском метро. Вызов к Гусеву. Аресты Гинзбурга и Орлова. «Лаборантка-призрак». Дело об обмене квартиры. Арест Щаранского. Аресты на Украине, в Прибалтике, Грузии и Армении

9 января мы узнали о произошедшем накануне, 8 января, трагическом событии — взрыве в вагоне московского метро, сопровождавшемся человеческими жертвами. Зарубежное радио сообщало противоречивые подробности, советская печать в первые дни вообще ничего не публиковала. 11 января мы узнали из передачи западного радио, что московский корреспондент английской газеты «Ивнинг ньюс» Виктор Луи — тот же,

который писал о невозможности моей поездки в Осло в 1975 году, — опубликовал статью, в которой приводит мнение советских официальных лиц об ответственности за это преступление диссидентов. Корреспонденция Виктора Луи явно была пробным шаром, прощупыванием реакции. За ней, при отсутствии отпора, мог последовать удар по диссидентам. Силу его заранее предугадать было нельзя. Кроме того, нельзя было исключать, что сам взрыв был провокацией, быть может, имеющей, а быть может и не имеющей прямого отношения к инакомыслящим.

Я решил, что необходимо выступить. 11—12 января я написал письмо, где сообщал все, что мне было известно об обстоятельствах взрыва и о статье Виктора Луи, напоминая о беззаконных действиях властей и строго лояльных, основанных на гласности и отвержении насилия действиях защитников прав человека в СССР. В числе преступлений, в которых, возможно, замешан КГБ, я упомянул гибель Брунова, Яковлева и Богатырева и ряд других ужасных преступлений, жертвой которых стали инакомыслящие. В конце письма я писал: ,,Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей — это новая и самая опасная за последние годы провокация репрессивных органов. Именно это ощущение и связанные с ним опасения, что эта провокация может привести к изменению всего внутреннего климата страны, явились побудительной причиной для написания этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов — это не государственная, санкционированная свыше новая политика подавления и дискредитации инакомыслящих, создания против них «атмосферы народного гнева», а пока только преступная авантюра определенных кругов репрессивных органов, не способных к честной борьбе идей и рвущихся к власти и влиянию. Я призываю мировую общественность потребовать гласного расследования причин взрыва в московском метро 8 января с привлечением к участию в следствии иностранных экспертов и юристов».

Работая над письмом, я сознавал, и Люся тоже, что оно неизбежно вызовет ответную реакцию КГБ и что жертвой ее можем стать не только мы двое, но и другие члены нашей семьи, в особенности — дети. Но я считал, что у меня нет выбора в создавшейся ситуации, что я обязан, в силу своего положения, сделать попытку противостоять нависшей опасности. Люся понимала мою точку зрения. Аналогичный документ, но в более мягкой форме, независимо от меня подготовила Хельсинкская группа. Оба документа были одновременно переданы западным корреспондентам. Особое внимание привлекло мое письмо...

24 января я получил вызов к заместителю Генерального прокурора СССР Гусеву в Прокуратуру СССР (Пушкинская, 15, т. е. туда же, где за два с половиной года до этого я встречался с другим заместителем — Маляровым). Цель этого вызова — предъявление мне официального предупреждения об уголовной ответственности в связи с моим заявлением о взрыве в московском метро и вообще в связи с моей общественной деятельностью. Я отказался подписать предупреждение. Гусев заявил: ,,Ваш отказ не имеет значения. Все равно предупреждение останется в анналах прокуратуры.''(??)

Я понимал, что предстоит усиление преследований, в особенности я опасался, что их мишенью станут мои близкие. В этот же день на пресс-конференции я сообщил о вызове в Прокуратуру иностранным корреспондентам и передал им запись беседы; сообщения об этом были опубликованы во многих газетах и передавались по радио. Через несколько дней появилось сообщение ТАСС (для заграницы, т. е. по телетайпам), в котором я обвинялся в заведомой клевете, и делалась попытка в ложном свете представить мою позицию. Автором сообщения был все тот же Ю. Корнилов (один из ,,зачинщиков'' антисахаровской кампании 1973 г.). 28 января (дата по памяти) было опубликовано официальное заявление Госдепартамента США, в котором выражалось беспокойство по поводу угроз академику Сахарову. На другой день, когда Картер улетал по какому-то срочному делу из Вашингтона, его ,,поймали'' журналисты и задали вопрос, как он относится к этому заявлению Госдепартамента. Стоя

уже одной ногой на ступеньке готового взлететь вертолета (так это интервью описывалось в какой-то корреспонденции), Картер ответил (текст также по памяти): „Я озабочен преследованиями академика Сахарова. Но считаю, что Госдепартамент не должен делать подобных заявлений без согласования их с канцелярией президента".

Это брошенное почти вскользь замечание президента имело большие последствия. И в СССР, и даже в западных странах в нем видели дезавуирование заявления Госдепартамента. Одна из английских газет опубликовала сообщение под набранным крупным шрифтом заголовком: „Картер накормил Сахарова земляными орешками". Форма этого заголовка — намек на то, что Картер — хозяин фермы по выращиванию арахиса...

3 февраля произошло событие, ознаменовавшее собой начало волны арестов членов Хельсинкской группы, — арест Александра Гинзбурга...

Через неделю после Гинзбурга был арестован Юрий Федорович Орлов. Орлов — член-корреспондент Армянской Академии наук, ученый с большим именем. Была какая-то надежда, что известность защитит его. Но, решившись на арест, власти в дальнейшем действовали в отношении Орлова особенно жестоко.

В первых числах февраля опасность, неожиданная для нас с Люсей, нависла над Таней. Еще осенью 1974 года Танина свекровь Томар Фейгин, мать Ефрема, попросила Таню помочь ей в ее служебных затруднениях. Томар была начальником цеха, в котором производились препараты медицинской диагностики, чрезвычайно нужные, остродефицитные и уникальные. Томар очень гордилась своей работой и старалась вовсю ради важного для людей дела. У нее некому было мыть цеховую посуду, под угрозой был выпуск препаратов. Девушки-лаборантки соглашались мыть посуду за дополнительную плату, но она, при жестких финансовых ограничениях и отсутствии финансовой самостоятельности в советских учреждениях, не могла этого им устроить. Все руководители поступают в таких ситуациях одинаково: они берут фиктивных работников. Конечно, за это может иногда последовать ответственность, но все так делают и обычно на это смотрят сквозь пальцы. (Добавление 1987 г. Я надеюсь, что в результате „перестройки" подобные проблемы будут решаться более прямым способом — без несуществующих работников и формальных нарушений. Финансовая самостоятельность предприятий — важная составная часть программы Горбачева.) Томар попросила Таню согласиться на фиктивное поступление к ней на работу. Таня согласилась; ни она, ни ее муж не сумели противостоять просьбе свекрови и матери, хотя и понимали, что делать этого не следует. Ни Люся, ни я ничего об этой договоренности не знали, пока не „грянул гром". Таня вообще не ходила в цех, причитающуюся ей зарплату получала по доверенности одна из девушек. Томар раздавала деньги девушкам, девушки мыли посуду, и интересы дела торжествовали. Так длилось около года или чуть больше. Однако, как потом выяснилось, КГБ с самого начала взял это дело на заметку и дал ему ход в нужный для него момент. В декабре 1976 года против Томар Фейгин были выдвинуты обвинения в нарушении финансовой дисциплины, и ее уволили с работы.

30 января 1977 года (через пять дней после моего вызова к Гусеву) появилась заметка в газете Московской области „Ленинское знамя" под заголовком „Лаборантка-призрак" о Тане и Томар Фейгин. Весь характер этой очень язвительной заметки свидетельствовал, что она основана на материалах, сообщенных автору КГБ (или написана там). Реальное содержание — то, что я рассказал выше, но, кроме того, много подробностей и сведений, которые могли быть известны только КГБ (сообщалось, когда Таня лежала в больнице; что у нее с Ремой есть машина — такое сообщение всегда вызывает много зависти в СССР; и даже, что Таня и Ефрем однажды ехали в электричке без билетов — они не успели купить их перед отходом поезда). А еще через несколько дней против Томар было возбуждено уголовное дело, Таню много раз вызывали в качестве свидетельницы, а затем — в качестве подозреваемой, и ей, как и Томар, угрожало уголовное преследование, тюрьма до 7 лет. Все это поначалу пустяковое дело было представлено как хищение государственных

средств в особо крупных масштабах. О дальнейшем развитии я расскажу в следующей главе.

3 февраля, в тот же день, когда был арестован Гинзбург, мы узнали, что нам отказано в обмене квартиры. Дело это было для нас очень важным, и я здесь о нем расскажу подробней, тем более что в советской практике квартирного обмена есть много своеобразных деталей, выявляющих истинную степень защиты законных интересов рядового гражданина.

Фактически в это время все мы (7 человек, считая Мотю и Аню) жили в двухкомнатной квартире Руфи Григорьевны, а летом — на даче. Квартиру, которую Люся построила для Тани и Ефрема, мы не могли использовать. Квартира была „на отшибе" , и оставлять там Таню и Рему с маленькими детьми, об угрозе которым мы не забывали ни на минуту, было слишком страшно. (На самом деле — даже одну Таню: Рема работал за городом и возвращался домой очень поздно.) Жить постоянно там нам с Люсей тоже было очень неудобно — слишком далеко от всех, от иностранных корреспондентов в том числе. Нам было крайне тесно на 35 квадратных метрах: это очень тесно даже по советским нормам, а по западным просто непредставимо. Мы решили обменять две квартиры на одну четырехкомнатную.

Около года или даже более того мы, в особенности Люся, подбирали варианты обмена (пользуясь еженедельным бюллетенем обменных объявлений, где было и наше объявление), смотрели квартиры, в свою очередь к нам приходили смотреть две наши. Наконец, был найден вариант многоступенчатого обмена, удовлетворяющий всем формальным требованиям и интересам всех участвующих в обмене (всего 17 семей). Наши заявления в сопровождении большого числа документов были затем представлены жилищной комиссии при райисполкоме, которая вынесла положительное решение. Обычно такого решения бывает достаточно. В нашем случае оказалось не так. 3 февраля нам было сообщено, что райисполком не утвердил решения жилищной комиссии. Формальная причина — одна из участников обмена, одинокая женщина, проживавшая вместе с тремя другими семьями в 4-комнатной квартире в комнате площадью 16 квадратных метров и, согласно варианту обмена, получающая однокомнатную малогабаритную квартиру в кооперативном доме, не имеет якобы права на расширение жилплощади, т. к. 16 кв. метров превосходят норму жилплощади в Москве, равную 9 кв. метрам. Женщина эта — дочь погибшего на фронте; жилищный кооператив, которому принадлежала квартира, утвердил ее вступление в кооператив. Соответствующая справка была приложена к заявлению. Однако райисполком отменил решение жилищного кооператива как якобы незаконное. Поясню, что жилищный кооператив распоряжается жилплощадью, построенной целиком на деньги вкладчиков. Казалось бы, райисполком вообще не должен иметь отношения к его решениям, но у нас это не так! Все участники обмена были совершенно убиты неудачей, некоторые — еще более, чем мы. Среди них — молодой отец, недавно овдовевший, с маленькими детьми на руках: при обмене он оказывался рядом со своими родителями. Мы решили подавать в суд. Наняли адвоката, который немедленно нашел, что решение райисполкома противоречит закону и разъяснениям Верховного суда СССР по аналогичным казусам. Адвокат написал заявление в суд, опротестовывающее решение жилищной комиссии (подразумевалось — райисполкома, но подавать в суд на орган власти формально невозможно!). Районный суд отказался принять дело к рассмотрению, никак не аргументируя. Мы подали иск против решения районного суда в Московский областной суд. В конце февраля все участники обмена пришли на суд. Адвокат чрезвычайно убедительно изложил дело. Но Мособлсуд в своем решении отклонил иск. Когда, уже после суда, одна из женщин, надежды которой избавиться от „коммуналки" рухнули, в отчаянье спросила судью:

— Почему же суд не защищает законные интересы граждан? — судья с достоинством ответила:

— Это в Америке задача суда защищать интересы граждан, а у советского суда другие задачи!

В тот же день появилось заявление ТАСС „О новой провокации академика Сахарова" (только на заграницу). В заявлении в патетических то-

нах расписывается, как академик Сахаров, вольготно проживая на площади 35 квадратных метров, решил многократно расширить ее и устроил вокруг этой затеи судебную провокацию. Если это еще нуждается в доказательствах, из заявления ясно, что наша жилищная неудача — дело рук КГБ.

Примерно через месяц после ареста Орлова, 15 марта 1977 года, был арестован еще один член Московской Хельсинкской группы Анатолий Щаранский, активист еврейского движения за эмиграцию. Его арест, как это было ясно с самого начала, преследовал цель нанести удар по еврейскому движению и по его связям с общим правозащитным движением. Мы хорошо знали Толю еще до его вхождения в Хельсинкскую группу, он бывал у нас по разным общественным делам. После отъезда в Израиль А. Гольдфарба (более года) он был переводчиком на моих пресс-конференциях. Мы уважали и любили его за ум и внутреннюю честность, активный и дружелюбный характер. Могли ли мы предугадать предстоящую ему судьбу?.. Толя был отказником по „студенческой" секретности (автоматически дававшейся некоторым группам в институте, где он учился). О его судебном деле я рассказываю ниже. За несколько недель до ареста Щаранского в газете «Известия» появилась провокационная статья, вызвавшая очень большой ужас и негодование у многих из нас. Автором ее был некто Липавский, молодой человек, несколько лет назад подавший заявление на выезд в Израиль, получивший отказ и находившийся с тех пор в тесных отношениях с евреями-отказниками, в том числе со Щаранским, с которым он снимал вместе комнату. Липавский писал, что он отказался от своего прежнего желания эмигрировать. О других же евреях-отказниках — профессоре Лернере, Щаранском и других — он писал в стиле провокации или доноса, основанного на самой наглой лжи, обвиняя их в шпионаже!.. Липавский, конечно, был самый заурядный провокатор. Но над всеми, упомянутыми им, нависла непосредственная угроза ареста. Таня уговаривала Толю Щаранского временно поехать к нам на дачу, отсидеться. Толя согласился, но сначала хотел закончить неотложные общественные дела в Москве. Одно из них было связано с освобождением Штерна (врача-еврея, желавшего эмигрировать и осужденного двумя годами раньше; в свое время, после ареста Штерна, я, в числе других, выступил в его защиту).

В марте 1977 года под влиянием мировой общественности и протестов в СССР Штерн был освобожден. Толя организовывал пресс-конференцию по этому поводу. 15 марта, когда он вышел из дома позвонить корреспондентам, его арестовали у будки телефона-автомата.

Мы, конечно, не знаем, можно ли было спасти Толю, если бы он сразу принял Танино предложение. Верней всего, это была бы лишь небольшая отсрочка.

Волна арестов членов Хельсинкских групп быстро распространилась на Украину, Грузию, Армению, Прибалтику.

Продолжение следует

Елена Ушакова

СТИХИ

* * *

В это время в апреле, когда нехотя, скрепясь, земля
Обнажает свой возраст, неприглядную прошлогоднюю грусть,
Любой путь устлан мусором, окольный, и только поля
Сохраняют миловидность, — лето шепчет: «Вернусь!»

Я люблю эти дни, как никакие другие, да!
Перспектива — как это важно! Обещание, яснолицый привет
Из будущего! Мы едем в Киев, ветки, ветки, провода,
Гнезд лохматые коммуналки, листвы еще нет...

О, песок, песок, песок, мелкий, гладенький, светел, желт,
Песчаник ласковый, так бы и схватил!
Прилипнет, заискивая, к ладоням и пятки дружески обожжет,
Голые коленки... Пересыпай без мыслей, без сил.

Золотые гребешки и коричневые ямки, след
Остывающих ступней к вечеру подернут синевой,
Шелуха сосен светится, переливаясь, словно перекликаются
гобой и кларнет,
Летняя греза птицей несется над головой.

Пока чего-то ждем — например, чтобы зацвел каштан,
Пока маячит, блещет, сияет что-нибудь впереди,
Пока воображение рисует цель, — длится с жизнью роман, —
Обернулся, задержался — все кончено. Орфей-бедолага, прости!

* * *

Когда сжимает ракетку правая рука, — будто трубят в рог
Все мускулы одновременно, и говорят, что даже
Мышцы век, не только спины, живота и ног,
Легко напрягаются, будто внезапно отбросив тяжесть.

Пока ты смотришь на мяч, смотришь на мяч,
Весь мир исчезает, бледнея, пропадая,
В глубоком сне ты, глух и нем, только зряч:
Маленький шарик мохнатый — пчела золотая.

Пока ты смотришь на мяч, смотришь всем, всем
Телом, существом, душой от кончиков пальцев
До мозга костей, сколько неразрешимых проблем
Повержено, мыслей — угрюмых постояльцев!

Елена УШАКОВА публиковалась в «Радуге» (№ 10, 1989), «Синтаксисе» (№ 27, 1990), в «Неве» (№ 8, 1990), а альманахе «Петрополь». Живет в Ленинграде.

О, меткое лекарство, твердолобая милость, панацея от бед,
Прыжок, толчок, летучее потрясенье!
Не помню, не знаю, кто отец мой и дед.
«Кладовая жизни, — сказал нам Плутарх, — движенье!»

Продлись, продлись, очарованье, чувств упругих пожар;
Что цель ничтожна, смешна — разве важно,
Если сердце — это известно — ударом, глупое, на удар
Всякий раз отзывается сладко, протяжно?

* * *

Друг наш, приятель, сегодня серебряную свадьбу отмечает.
Да ну?! Ведь это позор, ведь это стариковские дела!
А он по-прежнему остер и загар, посмотрите, цвета чая,
И смех, и скороговорочка речи такая же, как была,
И так он быстр, что с трудом, ерзая, слушает, как я отвечаю
На его вопрос медленно, с нерешительностью буриданова осла.

Вот он, смеясь, обнимает свою подругу —
Хотела сказать — верную, но остерегусь, не скажу.
Кто это знает? — и ладонью зажимая рот ей туго,
«Глупая, глупая, — о, какое счастье!» — кричит; подобно ужу
Она извивается на стуле, глотая ругань, —
И хлопая по ее спине, как по недвижимости, по багажу, —

«А вы там что делаете, мещанки, эй вы, мещанки?» —
Обращается к другому концу
Стола, где оживление, сияют глаза: немолодые вакханки
Вспоминают минувшие дни, стершуюся пыльцу
И связанные с ней победы. Интересно, нынешние панки
Что будут вдохновенно, словно боец бойцу,

В нешумном застолье рассказывать спустя лет двадцать?
Не вышло ли так, что над бедными нами судьба
Просто-напросто хотела поиздеваться,
Вручив стремленье вперед, торопливость чувств, а планов гурьба
Привела назад, к истокам, откуда начали рваться
Мечты и надежды? Обман, обман, я и сейчас его раба!

Нет, прошлое не люблю, но жизнь без иллюзий —
Не жизнь, не удалась!
Дайте волшебное преображение, например, увидеть, как Фузий,
Вулкан, в блюдечке перекошенно отражен, всласть
Насладиться хочу всеми видами надувательства, лишь бы не
сузить,
Не ограничить ничем над душой обольщений власть!

* * *

И. Бродскому

Проданный в Египет не мог сильнее тосковать,
Яростнее, настойчивей, упрямей, отчаянней,
Чем вы, Иосиф, или ты, Поэт, — как сказать
Я не знаю лучше. Экономные англичане

Совместили единственное и множественное число
В одном чирикающем словце у них «ты» — ласковое объятье
Нежное, дружеское — не правда ли, нам повезло? —
И добротное «вы» — степенное рукопожатье.

Но я не знаю, как рассказать про золотоносную тень на
Кирочной (Щедрина)
И Пестеля ее далекому обладателю, когда в декабре проезжаю,
И фонарный проливается свет, «мед огней вечерних» на
Марсово поле, Фонтанку — здесь она, вижу, с краю,

Всегда живет молодая сопутствующая нам тоска
Радужная, счастливая, теплое рыданье,
Ранних стихов ленинградских безгрешная река
Подо льдом узорным — позднейшим напластованьем.

Сколько души понадобилось, чтобы освоить чужой язык,
Обуздать, приручить, укротить, войти в него,
Поселиться, прижиться, чтобы в нервную ткань проник,
Чужеродный, нитями лучевидными и ливневыми.

О родительный, дательный, предложный — дом, дому, домой —
О творительный! — очагом домашним, родным, отчим домом,
Шлейфом, темным крылом простершимся через океан за тобой
(За вами), частью речи тянущимся, влекомым.

* * *

Люди делятся не на тех, кто знает и не знает
Живопись, литературу, может или не может что-то здравое
Сказать о Достоевском, видел «Данаю», —
А на тех, кто выискивал лекарственные травы,

Бегал за врачом, получал снимок,
Прятал заключение рентгенолога, достал, бывалый,
Солкосериловую мазь, камфарным пропах спиртом, помимо
Всего прочего добыл «эссенциале форте», а потом — покрывало,

Подушечку и тапки должен был покупать на Кропоткинской
в магазине
Похоронных принадлежностей: «Вам — белые или
Посимпатичнее, советую, в цветочек, вот, сверху, в корзине.
Нужно же какое-то разнообразие», — кого томили

В молчаливой очереди на «опознание тела»
Перед доской-прейскурантом в тусклом полуподвале:
«Кремация трупа взрослого — 20 р. 60 к., — словно пластинку
заело, —
Трупа детского 10 р. 30 к.», про себя еще приборматывая:
«эссенциале, эссенциале»;

На тех, кто, прижавшись к пористым стенам каменного мешка —
Малого зала,
Толпились вокруг противоестественного предмета,
Ни на что не похожего, я бы сказала... —
И тех, кому еще предстоит все это.

* * *

Кормили уточек в осеннем пруду, наблюдали их нравы,
Возле кусочков булки оживленную возню учинили,
Зеленые перышки, белые ободочки у шеи, налетают слева и справа,
Вертлявые головки, твердые клювы, тельца плотные, как автомобили.

Ни один не уступит другому, все себе, все себе хватают,
Чайки морские, тут же затесавшиеся, — самые шустрые, «Вот
хамка», —

Я сказала, глядя, как с налету разогнала селезней стаю
Одна особенно предприимчивая: наверно, самка.

В сущности, мы тоже вот так на пятачке толчемся тесном,
Подачку глотая жадно и неблагодарно.
По туристской путевке в Выборг ездила — интересно:
Неужели я? — Еще не топят, дома холодно, как на псарне.

Дай я кину вот этому нерасторопному, уж больно
Робкий, интеллигентный; вот именно! Интеллигентный
Это тот, думаю, кто место у кормушки уступает невольно,
Пряча страсти под видом индифферентным;

Тот, кто способен предъявить собственное мненье,
На нем не настаивая, кто перед злом отступает потерянно,
Уходя в сторонку, не допуская злоумышленья,
То есть злодейство только с бездарностью совместно, я уверена...

* * *

Старушка-вахтерша сидит, прикорнув у дубовых дверей,
Коричневая телогрейка, седые косицы, — вязанья
Не вижу, ни книжки, ни кубика-рубика нет перед ней,
Входящему — взгляд, выходящему — «до свиданья».

Фигурные стрелки на старых настенных часах,
И маятника неустанное, строгое постоянство,
Вот так, год за годом, как будто рассыпались в прах
Движенье, стремленье, призывная тяга пространства.

Как тихо за этими туго ходящими в петлях дверьми!
Пустой и внимательный взгляд на меня равнодушный.
И сердце, наверно, подобье зубчатых колесиков, что-то пойми
Попробуй, — так тихо, как будто навеки прижато подушкой.

Такая же точно полвека назад беспокоилась здесь о пайке.
Читала ли Пушкина? Ах, ни о чем-то не спросят бедняжку!
Что думает, скажем, о Ельцине и, например, — Собчаке?
Боюсь, ничего; лишь задумчиво в старческих пальцах вращает
бумажку.

Боюсь, стороною Троянская битва прошла.
Из подвигов славных Геракла что-либо известно едва ли.
О жгучем волненье веселом, когда все дела
Отброшены: рифмы струятся, — мне кажется, ей не сказали.

За всех, кто покоя лишен и уюта, спокойна она.
«Так надо зачем-то», — я думаю, с состраданием глядя,
Как жизнь обтекает, обходит, течет, золотого руна
Не ведая и не желая доискиваться, чего ради.

Евгений Попов

РЕСТОРАН «БЕРЕЗКА»

ПОЭМА И РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

В наше дискретное время неспокойного разума многие явления жизни и культуры нуждаются в предуведомлениях, чтобы опередить факты вспышек насилия и нетерпимости как со стороны государства, так и со стороны отдельных личностей, это государство наполняющих.

Поэтому объясню: нижеприведенные тексты принадлежат не мне, сознательному гражданину СССР, охваченному трудами перестройки, а моему персонажу — литератору, герою романа «Мина», который я ввиду быстро уходящей жизненной натуры допишу неизвестно когда, так как пишу его довольно долго, а буду писать еще дольше.

Это роман о людях, ведущих таинственное существование в ясном мире, где все они полагают себя в первую очередь литераторами, а уж потом прилежными работниками, нежными родителями либо общественно-политическими персонами.

Один из них сочиняет художественную историю советско-финской войны, другой увлекся социально-футурологическими проблемами и переписывает на новый лад роман Тургенева, озаглавив свое сочинение «Накануне накануне», третий создал «поэму и рассказы о коммунистах», целиком умещающиеся в мистическую сферу художественного творчества, а отнюдь не распластанные в виде плоскости на карте реальной политики.

Вот почему я прошу власти не преследовать за это сочинение ни меня, ни моего персонажа. Заверяю, что мы оба находимся на позициях конверсии, непротивления злу насилием, консенсуса, верим в светлое будущее и полагаем, что наш идеологический рейтинг достаточно высок.

Евгений ПОПОВ

5 июня 1990 г.

Посвящается очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, состоявшейся 7 ноября (25 октября) 1917 года.

«Призрак бродит по Европе...».
К. Маркс и Ф. Энгельс

Некий философ, проживая на казенной даче и отдыхая вечером в беседке от трудов перестройки, решил под шорох цикад задуматься о коммунистах — кто они такие, куда идут, откуда появились на нашей земле, зачем, за что?..

Пахли пионы, источали благоухание флоксы, зрели яблоки, с дальней дороги доносился еле слышный рев автомобилей, перевозящих туда и обратно советских людей, народнохозяйственные грузы, — там проходила автострада, там вершилась жизнь; под землей росла морковка, на по-

верхности — укропчик, лучок, салатик, чьи-то дети играли в чижика и лапту, чей-то тенор упрямо выводил «Боже, царя храни», и тихие антикоммунистические звуки эти оседали, стлались, низкие, как туман или плавающий дым костра: пес Лорик подошел, ткнулся философу в колени, наглый комар пролетел, прожужжал и скрылся — верно, сел куда-нибудь ночевать, сволочь, и цикады, цикады, а может, просто русские кузнечики, хозяева среднерусской полосы? Вечерело, терпко веяло черносмородиновым листом, зажглись окна и желтые уютные фонари, чей свет так напоминал цвет хорошего сливочного масла, заиграли позывные коммунистической телепрограммы «Время»: забастовки в Кузбассе, Донбассе, землетрясения, поезд, что вез синильную кислоту, сошел с рельс, в акваторию Ялтинского морского порта входит греческий теплоход, тяжело груженный турецким мылом и китайским стиральным порошком, русский язык засоряется словами «инициатива», «алиби», «конфессия», «конверсия», «консенсус», а вот уж и настоящий туман пополз по темной земле над травой... белый, и трава заблестела, как деньги, от свежевыпавшей росы...

Философ и сам не заметил, как вместо беседки, где он отдыхал от трудов перестройки, он вдруг уже оказался под развесистой яблоней, усыпанной зрелыми плодами, где и стоял в протяженной задумчивости ровно до того самого мига, пока с ветки не сорвалось крупное румяное яблоко, со страшной силой, как палкой, ударившее его по лысой голове.

Лишь тогда он очнулся и вновь задал самому себе и тем самым всем нам вопрос: да кто же они все-таки такие, коммунисты, куда идут, откуда появились на нашей земле, зачем, за что?..

Машина быстрая летит
И в глубине ее — начальник.
И он шоферу говорит
Полнощным голосом печальным:

«Вези, вези меня, Никитин!
Туда, в надзвездные края,
Где буду я, как небожитель,
Или кавказский долгожитель,
Или как просто полубог
Играть и петь, не чуя ног...
Красоток где виды просторы,
Опущены нескромно взоры —
Там жизнь и молодость моя...»

Появилась секретарша.

— Иван Иваныч, пройдите, пожалуйста, в кабинет дирекции.

Иван Иваныч, мелкий начальник, шустро вскочил и быстро-быстро ушел в кабинет дирекции, поправляя на ходу очки и узел галстука. Интересуясь наличием носового платка в карманах одежды.

Ушел и уж будет отсутствовать на протяжении всего рассказа.

Ушел, а мелкий служащий Геннадий Палыч Лбов остался один. Лбова охватило необыкновенное чувство свободы.

Геннадий Палыч Лбов родился в 1946 году в семье офицера ГУЛага. В 1963 году он окончил среднюю школу, а в 1968-м — институт черных металлов. Холост. Активно участвует в общественной жизни. На работе проявил себя деятельным и инициативным товарищем. Постоянно заботился о своем творческом росте и о накоплении научно-технических знаний. Красив собою и хорошо сложен. Непонятно только, почему вся шерстка у него на лбу повылазила. Наверное, гены. Его военный отец к пятидесяти годам тоже весь был лысый.

Охватило Лбова необыкновенное чувство свободы, и он запел:

Выпьем за тех, кто командовал ротами
Под пулеметным огнем.

И закончил пение словами:

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем.

Лбов пел, сидя в комнате один, спиной к двери. И не знал, что в начальный момент пения дверь отворилась и в кабинет по вопросу начавшейся учебы в сети партийно-политического просвещения заглянул немолодой усталый человек, парторг товарищ Клюев.

Парторг хотел обратиться к Геннадию Палычу, но, заслышав пение, обращаться не стал.

Он выслушал пение все, от начала и до конца, до последних строчек, после чего попятился и закрыл за собой дверь.

Затем он ушел в свой кабинет и сел за стол, крытый красной скатертью с кистями.

Парторг вертел кисти и думал о том, что Лбов пел тихо. Не орал, не шумел, но казалось, что будто бы это и не Лбов поет, а поет какой-либо краснознаменный ансамбль в сопровождении сводного духового оркестра в тысячу труб. Однако не кривлялся ли он? Не было ли это актом ерничанья и глумления над всем тем, что так дорого нам? Ведь парень, говорят, увлекается философией, наверняка слушает «Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкую волну», радио «Свобода». Нет, прочь такие мысли! Мы должны верить нашим людям так же, как и они должны верить нам...

Тов. Клюев посмотрел в окно. Там, мягко шурша шинами, плыли легковые автомобили. Некоторые — «Чайки», некоторые — «Волги», некоторые — «Москвичи», «Запорожцы».

На перекрестке стоял розовощекий здоровяк-милиционер. Он лихо махал жезлом, и все автомобили плыли куда надо.

Парторг думал, смотрел в окно и тихо, светло улыбался.

Шофер же, профсоюза член
Его не переносит скотства,
Поскольку видит в нем он тлен
И старый метод руководства.
Но — едут...

Вот какую сказку рассказал мне один коммунист, когда мы с ним ловили на удочку ершей в канале Москва — Волга, построенном заключенными по приказу коммунистов, чтоб Москва стала портом пяти морей неизвестно для чего.

...Однажды одни игроки направились в картежный дом, чтобы там играть в «подкидного дурака». Были они ребята не то чтобы умные, но очень ушлые и нахальные. Общество, которое собралось в картежном доме, чтобы немного поиграть в «подкидного дурака», встретило их не слишком дружелюбно. Но все-таки сразу их не выкинули, потому что раздались слова, что, дескать, раз свобода, то пусть и эти молодчики поиграют, так и быть, в «подкидного дурака», потому что если им не разрешить поиграть в «подкидного дурака», то они сразу могут сильно озлобиться и наделают бо́льших бед, чем если просто поиграют немножко и уйдут.

Однако когда им стало слишком сильно везти, то к ним немного попристально присматривались и сразу же обнаружили, что играют они из рук вон, как жулики: «восьмерку» «семеркой» кроют, подглядывают в чужие карты и так далее. Когда им вежливо сказали, что нельзя себя так вести, коли уж их приняли поиграть с порядочными людьми в «подкидного дурака», то жулики для начала страшно сделали вид, что рассердились, стали всех брать на горло, что у них, дескать, было тяжелое детство и они тоже за свободу, а что, дескать, если иной раз они и ходят неправильно, то в этом нету большой беды: играем-то ведь не из денег...

Как ни странно, у них нашлись защитники из числа порядочных картежников, и игра продолжилась дальше, а они все наглели и наглели. Уж и стали появляться в игре карты, которые перед этим были в «отбое», то есть жулики их крадче тянули из колоды, ими же и отбивались, козырными картами. При громких криках возмущения, что это уже совсем ни в какие ворота не лезет, они делали круглые глаза, прижимали пальцы к губам...

В общем, вели себя столь вызывающе, что один картежник не вы-

держал и воскликнул густым басом: доколе мы, товарищи, будем терпеть это нахальство? Надо их выкинуть к е... матери, и дело с концом! Но его опять успокоили, и игра продолжилась до того самого момента, когда одного из чужаков не схватили пальцами за нос, когда он настолько нагло «зырил» в чужие карты, что этого не выдержал бы уже никто. Оскорбленный жулик скорее инстинктивно, чем в целях самозащиты, махнул схватившему его за нос картами по глазам, а тот ему в ответ, разжав пальцы и сжав их в кулак, съездил кулаком по морде, да так славно, что пустил из упомянутого носа юшку. Тут поднялися страшный гвалт и шум. Одни кричали, что нельзя бить живого человека по лицу, Достоевский не велит, а другие — что нарушены права человека, что скажет просвещенный, гуманный мир? Неизвестно, чем бы все это закончилось, но в пылу потасовки как бы сам собой опрокинулся громадный шандал со свечами. Стеарин потек по картам, пламя жадно лизало зеленое сукно скатерти.

Картежный дом весь с разных концов загорелся и в одночасье сгорел, как свечка, несмотря на то, что все присутствующие, включая приезжих нечестных игроков, приняли посильное участие в тушении пожара. Причем жулики суетились больше всех, мобилизовали всех присутствующих на «борьбу с несчастным случаем», устроили живую цепочку с ведрами от водоразборной колонки, чтобы «спасти хотя бы здание»... Хотя чего уж там было спасать, все совсем сгорело...

Пожар затих только под утро, потому что под утро пошел дождь и зашипели головешки. Под дождем и паром, в косых струях рассвета стояли на пепелище измазаиные сажей люди.

Все картежники погрузились в глубокое молчание, а один из глубокомысленных наглецов, без приглашения явившихся играть в «подкидного дурака», вдруг сказал, еле сдерживая слезы:

— Да, товарищи! Вот видите, что случилось! Из этого все мы должны извлечь самые серьезные уроки. Баловаться с огнем нельзя! Запомните это! Зарубите себе на носу! А раз вы не сумели уберечь наш дом, то мы теперь на пепелище разведем стройку, и вам, конечно же, придется иемало потрудиться, чтобы загладить свою вину. За работу, товарищи! Складируйте уцелевшие балки, и мы построим картежный дом еще лучше прежнего. Но только не трусить, не хныкать и не увиливать! Все сами во всем виноваты, товарищи, и нечего искать каких-либо иных причин. Вы можете сказать, что виноваты мы, как причина, но мы вам на это возразим, что вы сами нас пустили с вами нечестно играть в карты. Кто мешал вам съездить нам по морде еще на пороге игорного дома, а?

Вот такую историю рассказал мне один коммунист, когда мы с ним удили ершей на бетонных плитах канала Москва — Волга, построенного заключенными по приказу коммунистов, чтоб Москва стала портом пяти морей неизвестно для чего. Коммуиист этот недавно вышел из партии, но это, как говорится, «уже совсем другая история». И это их докука — выходить, заходить, реорганизовываться. Мне до этого нет ровным счетом никакого дела.

Посколь «Березка» ресторан
Всегда открыт по вечерам,
То наша наглая персона
Сидит уже, конечно, там.

Один водопроводный слесарь был не в ладах со своей профессией, и его не выгоняли с работы только потому, что у нас, в Советском Союзе, некому больше работать. Однажды слесарь шел ранним утром по улице, опустивши голову и сжимая в потной руке фибровый чемоданчик со своим иехитрым инструментом. Внезапно он вздрогнул. Хлопнула дверца, и из автомобиля «Запорожец» вышел толстый лысый человек с кожаной индийской сумкой через левое плечо.

— Простите, вы не слесарь-сантехник? — спросил он.

— Да, это я, — ответил водопроводный слесарь.

— Не могли бы вы мне помочь? У меня течет кран на кухне и плохо работает смеситель в ванной. Я вам, конечно же, хорошо заплачу.

— Что ж, попробуй, — согласился рабочий.

Они шагнули в однокомнатную квартиру толстяка, расположенную

на первом этаже девятиэтажного блочного дома в Теплом Стане (местность на Юго-Западе г. Москвы).

Слесарь заметил только длинное зеркало в прихожей, а в полуоткрытую дверь комнаты — серый ковер-палас на полу да большой черный телевизор с надписью, выполненной металлическими немецкими буквами «ГРЮНДИГ». Потому что его сразу же провели на кухню, где он мгновенно определил — течь крана происходит не из-за прокладочек (чего он сильно опасался, потому что их, резиновых, у него не было), а просто из-за того, что разболталась стопорная гайка. Он ее и подтянул. А в ванной было и того проще — смеситель чуть-чуть «ушел»... Слесарь помедлил и вежливо попросил половую тряпку, но ему никто не ответил, потому что хозяин «Запорожца», однокомнатной квартиры и «Грюндига» уже смотрел, открыв рот, выступление будущего Президента М. С. Горбачева на одном из Съездов народных депутатов СССР.

— Хозяин! — заорал слесарь. — Дай тряпку!

— А?.. — Толстяк оторвался от телевизора и выдал слесарю требуемое.

— Тут просто надо хомуты перетянуть... — начал было слесарь, но хозяин, уже не слушая его, вновь вернулся к телевизору, и рабочий заметил, что остекленные стеллажи книжных полок были наполнены значительным количеством красивых книг с красивыми корешками.

Сердясь, он быстро, буквально за 30 секунд сделал свою незамысловатую работу и собрался уходить, складывая в свой фибровый чемоданчик незамысловатый инструмент.

Кончилась речь М. С. Горбачева. Хозяин вышел проводить слесаря и дал ему 5 рублей одной синей бумажкой.

— Во дает! — сказал он (хозяин) об увиденном (о М. С. Горбачеве).

— Товарищ, а вы случайно не коммунист? — вдруг озарило слесаря.

— Да, я коммунист. А что? — удивился хозяин.

— Да так, ничего, — сказал слесарь, с благодарностью принимая деньги.

То музыкантов одобряет
Блатную, наглую игру,
То с апельсинов обдирает
Их свеженькую кожуру.

Однажды один муж приехал из командировки раньше времени, а любовник спрятался от него в платяном шкафу, которых в квартире было ровно три:

— Здесь его нет! — в бешенстве воскликнул муж, открывая первый шкаф.

— Здесь его нет! — в бешенстве воскликнул он, открывая второй шкаф.

Он открыл третий шкаф. Прямо на него глядело дуло револьвера.

— И здесь его нет! — в бешенстве воскликнул муж, закрывая третий шкаф.

Философ всегда вспоминал этот старый одесский анекдот, когда в годы так называемого «застоя» различные прогрессивные люди, в рамках коммунистической идеологии, страшно удивлялись на страницах отдельно взятых журналов и газет, что у нас в стране ну буквально ничего не получается, кроме вреда и глупости, и все искали, искали, искали причину такого аномального явления...

И все какую-то красотку
К себе манит, чтоб сесть за стол,
Ногтем ей отмеряет водку
И лезет пальцем под подол.

Один богатый купец, любящий Оскара Уайльда, стиль модерн, постимпрессионистов и Стравинского, решил с целью декаданса доверить свою дочь коммунистам. Но дочери у него пока не было, и тогда он пошел в рабочие кварталы, чтобы зачать ее у какой-нибудь бедной вдовы, перебивающейся с хлеба на квас.

Его мерзкая, извращенная натура взяла свое и вскоре, отобрав за большие деньги ребенка у несчастной Дуси, негодяй отбыл в Париж, а рабочая женщина вскоре спилась и погибла в своем новом доме, который злобные враги коммунизма вроде Троцкого позднее клеветнически назвали «публичным».

Так что его родившаяся дочь купца сначала воспитывалась в XIX аронднсмане Парижа близ русской церкви, которая всегда вызывала у купца неприязнь, потому что он был уверен — Бога нет, отчего и решил доверить свою дочь коммунистам.

Жизнь блестяще доказала ему, как он ошибался в своем атеизме. Доверив свою дочь коммунистам, он окончательно погрузился в разврат, что и привело его в белую армию генерала Деникина, которую он снабжал сапогами и нижним бельем. Если бы тогда был СПИД, то купец непременно бы им заболел, но СПИДа тогда не было, а купца в Новороссийске ударили пустой шампанской бутылкой по голове, отчего он и не смог отступить с белой армией в любезный его сердцу развратный Париж, где его дожидалась уютная квартирка рядом с тем самым домом, где жила чета Мережковских.

...Отгремели бои гражданской войны, коммунисты восстанавливали разрушенное военными действиями хозяйство, поля, но потом все снова разрушилось ввиду тоталитаризма. Купец уже ничего не видел на один глаз, он побирался по дорогам, не имея документов, но его не трогали, потому что он вдобавок оказался еще и одноногим, весь был во вшах и блохах, а также зарос седым грязным волосом до неузнаваемости. На плече у него обычно сидело маленькое желтое животное, которое пронзительно верещало, когда его хозяин с кем-нибудь заговаривал, прося денег. Мрачная картина!

И вот случилось так, что судьба занесла его в бывшие рабочие кварталы. Он ощупью нашел знакомые ступеньки якобы «публичного» дома и, толкнув привычную дверь, очутился среди гула звонких молодых голосов рабочих, красноармейцев и нераскулаченных колхозников, молитвенно твердивших имя его дочери. Маленькое желтое животное пронзительно верещало и угрожающе махало розовым кулачком, а купец упал бездыханным, потому что это был музей его дочери, которую он некогда доверил коммунистам и которая погибла на баррикадах, не дожив до массовых репрессий 1937-го и других годов.

Усталая, она улыбалась с многочисленных портретов в своей английской кожаной куртке с тяжелым маузером на боку. Зазвучала торжественная музыка, запели горны, ударили барабаны. Купца унесли в морг и выварили из его трупа скелет для наглядных пособий 1-го Медицинского института, а маленькое желтое животное забрали в Московский зоопарк, где оно тоже умерло, так как никто, кроме купца, не знал, чем и как его нужно кормить.

А та красотка понимает,
Вертится, будто стрекоза,
И поминутно накладает
Тушь и помаду на глаза.

Один юный пионер очень красиво поздравлял видных коммунистических деятелей партии и правительства, часто собиравшихся в Кремле по случаю различных праздников или просто мероприятий, направленных на укрепление всего того, что было завоевано коммунистами 7 ноября (25 октября) 1917 года, давал убедительную клятву от имени детей продолжать их коммунистическое дело до самого конца, до полной и окончательной победы коммунизма везде, где только можно, то есть во всем мире.

Пионер относился к своему делу весьма ответственно. По утрам он делал гимнастику, чистил зубы толченым мелом, ходил в школу, играл в спортивные игры, а затем до самой глубокой ночи читал, перечитывал и конспектировал произведения классиков коммунизма, из которых ему больше всего нравились труды В. И. Ульянова-Ленина, и это неудивительно — ведь В. И. Ульянов-Ленин общепризнанно является самым лучшим из коммунистов всех времен и народов, если не считать К. Маркса и Ф. Энгельса, которые жили раньше, чем он.

Шли годы. И вот однажды комиссия коммунистов, отбиравшая пионеров для указанной процедуры поздравления и клятв, вдруг отметила краем глаза, что пионер, пожалуй что, чуть-чуть вырос и вряд ли теперь сможет полностью и убедительно производить впечатление розовощекого бутуза, бескрайне наполненного идеалами коммунизма. Возникла заминка, и малыш был отпущен под честное слово домой, с тем, чтобы комиссия могла немного подумать и правильно сориентироваться в своем выборе.

Пионер был в недоумении. Но и в этот решающий час к нему на помощь пришел Ленин. Ленин строго и вместе с тем ласково глядел на пионера. Пионер вздрогнул, как бы пронизанный неведомым током, и на следующий день он уже вновь, покоряя комиссию, бил в барабан, читал стихи и даже прошелся вдоль рядов коммунистического президиума, осыпаемый поцелуями и аплодисментами коммунистов всех стран.

К сожалению, в дальнейшем он все-таки вырос — ведь число человеческих клеток пока еще не зависит от коммунистической идеологии. У него была сложная судьба, но даже и в сырой, холодной камере, лишь стоило ему чуточку прикрыть глаза, как перед его мысленным взором тут же появлялось родное лицо В. И. Ульянова-Ленина, и бывшему пионеру становилось не так холодно, голодно и больно.

Он умер в возрасте ста лет, когда коммунисты находились в напряженнейшем положении и различные трусы, маловеры и дезертиры клеветнически искажали действительность, идейно разоружали партию, размывали идеалы, обезличенно шельмовали коммунистов, пытались стереть в порошок идею, растранжирить и разбазарить все, что было завоевано 7 ноября (25 октября) 1917 года.

Он умер как герой. В день своей смерти он чисто вымылся в Селезневских банях, надел пионерский галстук и умер, твердо веря, что дело, которое он поздравлял и которому клялся, будет, по-видимому, жить все равно всегда и вечно, в чем не должно быть никаких сомнений ни у кого. Мир праху твоему, мальчик!..

То задницу отставит нежно,
То тихо ею шевельнет,
И грудь ее настоль безбрежна,
Что плоть у шефа восстает.

Страшная эта история! Леденят душу подробности! Некто двадцати лет от роду напился вина с товарищем, который был его старше на пять лет, и конечно же, принялись бранить коммунистов, что все, дескать, плохо — зачем возводят плотины, атомные станции, зачем пускают в небо космические корабли, распахали целинные земли, помогают Кубе, Китаю, Албании, Венгрии, Польше, Чехословакии, ГДР, Болгарии, Монголии, Вьетнаму, борющимся народам Зимбабве, императору Бокассе, зачем провели сплошную коллективизацию, ликвидировали кулака как класс — он, дескать, всех кормил, прокормил бы и Кубу с Монголией; химизацию зачем экологически вредную объявили, и вообще — зачем-де была революция 7 ноября (25 октября) 1917 года?

Товарищу, который был старше (звали его Р. С.), нет чтобы остановить распоясавшегося молодого человека, так он, напротив, подливал масла в огонь, подливая ему вина, потчевал, умывая руки, хихикал, как враг, а когда настала все же глубокая полночь и все вино кончилось, вызвался проводить молодого человека до конечной остановки троллейбуса, потому что это постыдное действие происходило в Академгородке сибирского города К., что стоит на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан. Эх, люди!..

В Академгородке... Поэтому, когда шли эти идейно-ущербные собутыльники по пустынной улице вдоль домов, где ученые уже легли спать и только из редких окошек неслись позывные «Голоса Америки», «Би-би-си», «Немецкой волны» и радио «Свобода», молодой человек вдруг страшно вскрикнул, обратившись к окошкам — в своей распахнутой шубе, расстегнутой до пупа рубахе, с крестом на груди и в сапогах, будто бы он был из будущего общества «Память», крикнул мерзким от пьянства, животным от безумия, хриплым от подлой страсти голосом:

— А ну, коммунисты! Выходи на бой! Выходи на диалог! Покой нам только снится!

Но никто не принял его вызова, однако кое-где вдруг засвистали милицейские свистки, завыли милицейские и просто сирены, и испуганный Р. С. поспешил усадить младшего товарища в такси, щедро оплатив его отъезд угрюмому водителю.

Молодой человек укатил, а его старший товарищ, хорошенько подумав, вскоре после этого случая поступил в коммунисты, и недавно его выбрали в Верховный Совет СССР, где он блокируется с левой стороны вместе с другими честными коммунистами, чтобы все обновить, и тогда окончательно расцветет родная земля.

А у молодого человека прошло десять лет. Уже тридцатилетним он решил жениться на порядочной женщине, искренне желавшей ему добра, и они с Тамарой пошли в гости к ее родственнику, старшему троюродному брату, видному коммунисту и сотруднику КГБ. Сначала молодой человек был осторожен, потому что к тому времени прочитал уже много книг идейно-ущербного и клеветнического содержания. Сначала он отделывался общими замечаниями, что у нас, дескать, много недостатков, но мы сами их должны все исправить, сами во многом виноваты, но потом, конечно же, опять распоясался, потому что выпили-то ведь на троих, считая Тамару, четыре бутылки; загукал, заехидничал, обозвал старшего троюродного брата, зачем он — коммунист, служит в КГБ, нарушает права человека, выслал Солженицына, посадил Синявского и Даниэля... Переколотил дорогую посуду, помочился на стену, украшенную ковром, и старший троюродный брат его совершенно справедливо выкинул на лестницу, немножко побив, отчего молодой человек, в разорванной на этот раз рубахе, снова с крестом, вновь бежал в сапогах по улице вдоль темных окошек, откуда тоже изредка неслись позывные перечисленных выше радиостанций. И, конечно же, опять завопил:

— А ну, коммунисты! Выходи на бой! Выходи на диалог! Покой нам только снится!

Глупо! И никто снова не принял его вызова, а жена на следующий день сказала, что разводится с ним, еще не зарегистрировавшись. Вскоре после этого она тоже поступила в коммунисты, но недавно стало известно, что ее оттуда выгнали, потому что она работала в гостинице «Космос», где одновременно занималась валютной проституцией. Все в жизни бывает...

И еще десять лет минуло. Тут молодому человеку стукнуло как раз сорок лет. Он, конечно же, опять где-то напился, шлялся по городу со вздыбленными редкими волосами и, наконец, оказался в каком-то неизвестном месте на горё, снова перед каким-то необъятным на этот раз домом с темными окошками, откуда тоже тихонько слышались радиоголоса чужих стран.

И бывший молодой человек вновь тогда вскричал в своих сапогах, с крестом и в рубахе, вскричал прежнее:

— А ну, коммунисты! Выходи на бой! Выходи на диалог! Покой нам только снится!

Мгновенно зажглись окна многомиллионного здания, прекратились звуки «Голоса Америки», «Би-би-си», «Немецкой волны», радио «Свобода» и даже «Радио и телевидения Франции».

И в наступившей мертвой тишине прямо в глаза парню смотрели миллионы пар глаз различных коммунистов, которые, коммунисты эти, были одеты в рубашки с галстуками, пиджаки, а женщины — в красивые, но строгие платья, жакеты.

— Что ж, мы принимаем вызов! Выходим на бой! Выходим на диалог! Действительно, покой нам только снится, и мы теперь ищем новые, более демократические методы работы с населением. А что ты *сам* можешь сказать? Чем попытаешься оправдать *собственное* существование? Ведь ты только пьянствовал, хулиганил, читал и нес антисоветчину, вместо того чтобы доходчиво и корректно указать нам на наши ошибки, связанные с детской болезнью роста, ведущей к левизне, правизне, центризму и дисгармонии. Ведь мы *первыми* идем по неизведанному пути и сами не скрываем, что чем больше пройдено дорог, тем больше сделано ошибок. Ответь! Но ответь так же четко и ясно, как мы, каясь, спрашиваем тебя!..

Миллионы глаз сверлили его. Казалось, что взгляд этот был похож на военный прожектор или на гиперболоид, изобретенный инженером Гариным, персонажем Алексея Н. Толстого. Казалось, еще секунда и молодой человек будет испепелен этими горькими, но справедливыми мерами коммунистов.

Он зашатался, судорожно глотнув воздуху, отступил, щурясь от невыносимого идеологического света коммунистических идей. Звенели колокола по всей Руси. Оркестры играли «Интернационал» на слова Э. Потье в переводе А. Коца и «Гимн Советского Союза» на слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. С угрожающим ревом взмывали в небо бомбардировщики и истребители, расчехлялись ракетные установки с атомным боезарядом. Казалось, вся Земля напряглась и в знак сочувствия нелегкому делу коммунистов готова выплеснуть наверх свою огненную магму и лучше погибнуть самой, чем допустить поражение идей светлого будущего.

Молодой человек закрыл ладонями глаза, и наваждение кончилось. Ему вновь было двадцать лет. Он вновь стоял у подъезда обшарпанного пятиэтажного «хрущевского» дома без лифта в Академгородке сибирского города К., что стоит на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан... Вновь прижимал к груди 2 бутылки по 0.75 л молдавского сладкого вина «Лидия»...

А сверху, с балкона 5-го этажа пятиэтажного «хрущевского» дома без лифта, уже делал ему зазывные знаки, кривлялся его старше на пять лет товарищ Р. С., пока еще не ставший коммунистом и не выбранный в Верховный Совет СССР, где он блокируется с левой стороны вместе с другими честными коммунистами, некоторые из которых, в том числе и Р. С., уже даже вышли из партии по политическим причинам, чтобы все обновить, и тогда окончательно расцветет родная земля.

И он хрипит: «Никитин, душка!
Свези ты нас, где можно спать,
Где есть перина и подушка,
Бидэ, надежная кровать...»

Ему казалось, что наступил конец всему. Официально он еще был артистом, но на кой черт ему нужна была эта запись в трудовой книжке, когда он узнал, что дирекция решила устроить ему прощальный бенефис в связи с уходом на пенсию.

Он шел по новым улицам большого сибирского города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, и вспоминал всю свою долгую и нелегкую жизнь, отданную коммунистам.

Первые годы революции он, сын адвоката, закончивший театральную студию, вначале не понял, что произошло в стране. Борьба против разрухи, построение коммунизма в отдельно взятой стране не интересовали его. Он очутился в окружении личностей, фабриковавших слова и мысли и преподносящих все это рабочим, крестьянам, только что бросившим винтовку и взявшим соху и молоток.

Недавним бойцам, жадно потянувшимся к знаниям и культуре, преподносил он чепуху под видом «нового искусства», сметающего с пути все старое, сам того не сознавая, какую опасную глупость он делает.

Но недолго был актер в этом мире паутины. Как-то он попал на диспут Маяковского. Великий поэт поразил его и заставил строже, даже, можно сказать, с пристрастием взглянуть на себя и свое окружение. Вскоре он с ужасом убедился, что не имеет с такими людьми, как его «друзья», ничего общего, и порвал с ними. Несколько месяцев он мучительно раздумывал. Он ненавидел свою старую жизнь, но не знал, как правильно построить новую, чтобы его не посадили, ведь коммунисты — строгие люди, они не позволят шарлатанам дурачить себя.

И он решился. Актер пошел в новое, по-настоящему народное искусство!

На первых порах ему было трудно, но он работал и был счастлив оттого, что теперь заплатит долг народу за время, проведенное без пользы и даже с некоторым вредом для коммунизма.

...Годы войны с немецко-фашистскими захватчиками... Он вместе

с концертной бригадой ездит по позициям. Никогда не забыть ему теплые, радостные глаза бойцов. Однажды автобус обстреляли, и он, единственный из артистов, получил ранение. Около года пролежал он в госпитале далеко в тылу, в большом сибирском городе К. Тогда он впервые полюбил этот город, его не очень прекрасные улицы, старинную казачью часовню на Караульной горе, которая, словно маяк, высилась на холмах, окружающих город, стальную красоту великой сибирской реки Е., впадающей в Ледовитый океан, изумруд тайги, лазурь неба.

Он приехал в этот город, когда кончилась война, но не узнал его. Везде шла стройка, весело переговаривались заключенные, сносились старые деревянные домишки, на их месте вырастали многоэтажные громадины.

Артист тоже начал строить. Он строил величественное здание культуры в душе нового человека, созидателя коммунизма. И вот теперь — конец всему. Он будет доживать свой век добреньким дедушкой. Будет поздно вставать, изнывая от ничегонеделания...

Думая так, он вошел в подъезд нового дома, в котором он жил, получив отличную комнату в малонаселенной, благоустроенной коммунальной квартире со всеми удобствами. Ему показалось, что кто-то быстро взбежал наверх, и его острый слух вдруг различил неразличимый шепот.

Недоумевая, артист съежился, ожидая, что его сейчас ударят палкой по голове, но все же поднялся наверх, превозмогая беспочвенный страх, над которым впоследствии он часто смеялся, пока не умер и его не похоронили на кладбище Бадалык, где роют могилы бульдозером и по-разбойничьи свистит ветер пустых пространств.

Около его квартиры № 168 стояла группа подростков в характерных городских костюмах начала 60-х годов.

— Александр Николаевич,— несмело начал один из них, известный всему дому озорник Эдька,— мы слышали, что вы уходите на пенсию, не поможете ли вы организовать у нас во дворе драмкружок. Мы хотим разыграть в лицах произведение Николая Островского «Как закалялась сталь». Александр Николаевич! Что с вами? — тихо спросил он.

— Ничего,— ответил артист, улыбаясь и вытирая слезы.— Идемте! — Он открыл дверь квартиры своим ключом.— Идемте, обсудим, как нам лучше организовать работу.

И он весело, лукаво посмотрел на ребят.

«Напился, будто клоп постельный! —
Ворчал Никитин за рулем. —
Ну погоди, билет партейный
Ты скоро положишь на стол!»

Один коммунист, живя на казенной даче, пошел вечерком купаться на пруд, да и встретил вдруг по дороге отвратительную девочку лет 12 14, которую он не знал, хотя знал практически каждого в этом дачном поселке — ведь там жили сплошь одни коммунисты.

Девочка была зеленоглазая, все лицо ее было изукрашено какой-то мерзкой западной перламутрово-синей гадостью, каковую употребляют проститутки, на шее у нее висела серебряная цепочка, на груди — серебряный крест, и она была практически голая в этот летний, душный день, под вечер, на дороге к пруду. То есть на ней были такие трусы, что их как бы и не было совсем. То же самое должно было бы сказать и о ее лифчике (бюстгальтере).

Она вопросительно посмотрела на коммуниста, и он сначала хотел спросить ее, чья она, затем ему сильно захотелось отшлепать ее офицерским кожаным ремнем с пряжкой, а потом он просто отвернулся от «девочки», собираясь идти дальше купаться на пруд... вечерком... живя на казенной даче... один коммунист.

— Сколько время? — неожиданно спросила девочка, но он ей ничего не ответил и ушел.

К сожалению, купание вполне могло бы не состояться. Пруд зацвел. Весь он был затянут отвратительной желто-зеленой, цвета детского поноса, сальной ряской, а в центре водоема плавала отвратительная на вид громадная деревянная катушка из-под кабеля, поставляемого нашей бедной стране финской фирмой «Нокиа».

Но не в привычках коммунистов отступать от задуманного! Коммунист снял штаны (джинсы), разбежался да и ухнул в воду так, что брызги до небес полетели!..

И как в спецдачу их завез,
То вскорости мотор завел
И тут же сразу укатил,
Но ключ от дачи прихватил.

— Для меня совершенно очевидно, что человеческий организм на определенной стадии своего развития начинает что-то все уж слишком объединять, делать выводы, копить опыт и усматривать тайные знаки там, где их нет и быть не может. Пример: вот у меня из пишущей машинки вылетела моль. Это что-то значит.

— Но ведь действительно... иногда... бывает так... что думаешь о ком-то... о чем-то... и вот... встречаешь иногда того человека, о котором думаешь.

— Да я не о том. Это — вещи очевидные. Я не о том, я о том, что не нужно объединять. Все — разрывно. Все мнг. Все исчезает, исчезает, исчезает...

«В таком-то, коммунист Матвеев,
Вы стали виде, как говно.
Таких подобных прохиндеев
Пора из партии давно...»

На 8-м километре В-ского шоссе расположена значительная дубовая роща, с которой связано множество древних и более современных сказаний, легенд и былей.

В частности, известны три из них. Первая, что царь Петр I ехал освящать православную церковь XVII века, расположенную в селении Д., и по дороге остановился здесь покушать. Он ел дубовые голландские желуди и случайно выронил на землю 2 или 3 из них. Вторая, что здесь во времена Ягоды, Ежова и Берии расстреляли ни за что ни про что многих честных коммунистов, и коммунизм, возможно, был бы уже сейчас совсем окончательно построен в нашей отдельно взятой стране, если бы их не расстреливали, привозя сюда по ночам из зловещей тюрьмы Сухановки, и не закапывали под дубами, отчего пышно зеленеют деревья, но, мощные, жалобно стонут и раскачиваются они в знак скорби в непогоду, как сионисты на поминках. И третья, что здесь, в лесу, живет голый человек, который тоже, как Петр I, питается желудями, но время от времени выбегает на шоссе и, демонстрируя свои половые органы людям разного пола, проезжающим по этому шоссе на юг нашей коммунистической Родины, вновь затем скрывается в лесной чащобе, хрустя валежником, как кабан.

И вот однажды один неизвестный коммунист шел ранним туманным утром с партийного собрания через рощу к себе домой, на дачу, которую он снимал для поправки здоровья, ухудшенного двумя годами мордовских лагерей, где суждено было быть ему в так называемые «застойные времена» за исповедание тех идей, которые нынче ведут страну к свету, а раньше подпадали под соответствующие пункты статей Уголовного кодекса РСФСР — 70 и 190-прим. (антисоветская агитация и пропаганда, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй). Неизвестный коммунист думал о том, что не все еще поверили в перестройку, что политические методы работы КПСС должны строиться не на командах, а на убеждении. Не путем подмены или присвоения административных и хозяйственных функций, а через своих единомышленников, будь они коммунисты или беспартийные. И не путем назначения, а демократическими методами! Нужно идти в народ, объяснять людям сложившиеся ситуации, дабы кто-то не воспользовался нашими слабостями, как это было в других регионах страны. Сейчас время действовать на всех направлениях! Как говорил В. И. Ульянов-Ленин, промедление смерти подобно! Слабых, неспособных руководить, вести за собой народ, надо изгонять из партии! Вон их! — думал коммунист. — А то ведь иной раз приезжают к нам руководители

н тоже уходят от конкретностей, ищут недостатки в первую очередь у нас. Для чего они приезжают? Нас отчитывать? А сами почему уходят от решения вопросов?..

...Внезапно он насторожился и в два прыжка пересек туманное пространство, где двое хулиганов раздевали женщину, молчащую со страху. Увидев, что они пойманы с поличным, хулиганы оставили прежнюю жертву и бросились на коммуниста, избивая его и молча срывая с него одежду тоже. Их было двое, высокого роста, один в синем, а другой в желтом шерстяных свитерах, испещренных подлыми буквами. Их вражеские лица были обезображены водкой, наркотиками, неверием во все те благодатные перемены, что происходят в стране по инициативе коммунистов. Женщина, оправившись, закурила папиросу «Беломорканал» и время от времени разражалась хриплым хохотом, которому вторило карканье черного воронья, что в больших количествах скопилось в развесистых кронах дубов дубовой рощи.

Негодяи скрутили одежду коммуниста в комок, обильно полили ее мочой, измазали калом. Точно так же они хотели поступить и с партийным билетом коммуниста. С грязным смехом они взяли билет в руки, глумясь над фотографическим изображением своей, как им казалось, беззащитной жертвы.

И вдруг... О, это вдруг! Партийный билет засветился красным светом, и свечение это все увеличивалось и увеличивалось.

— Осторожно! — предупреждающе крикнул коммунист, пожалев этих непотребных парней и женщину.

Но было уже поздно. Раздался свистящий нарастающий звук. Лица подонков исказились ужасом. И, как бы втянутые в неведомую воронку, засосанные неизвестным гигантским пылесосом, с перекошенными ртами, выпученными глазами, отрывающимися конечностями, обидчики неизвестного коммуниста начисто исчезли из пространства и времени.

Эффект свечения партийного билета тут же прекратился. Голый седой человек шел ранним туманным утром через рощу к себе домой, на дачу, которую он снимал для поправки здоровья, ухудшенного так называемыми «застойными временами», и плакал, и плакал, и плакал.

Матвеев очи подымает
И видит — перед ним стоит,
А кто — от пьянства он не знает,—
Но речь такую говорит:

Я страшно рассердился! Я — философ, а у нас на дачах живет один ответственный коммунист, который содержит собаку — овчарка немецкая сторожевая. А у нас собаки нет, за исключением старого пса Лорика, которого нам оставили соседи, временно, сроком на два месяца, уехавшие в Америку. Я в Америке пока не был, хотя и тоже посетил Чехословакию, Финляндию, ФРГ и Францию. Дача у нас маленькая, в одну доску, и мы ее будем перестраивать. Моя жена и племянница Маня решили выйти и прогуляться с собакой, несмотря на жару. Я сидел и думал о коммунистах, но что-то вдруг заставило меня тоже подняться и выйти за калитку. В нарастающей тревоге прошелся я по тенистым просекам этого дачного поселка, но не встретил никого, кроме детей, игравших в многосерийный итальянский фильм «Спрут», рассказывающий о борьбе итальянских комиссаров с итальянской же мафией. Пахло сеном, яблоками, и я хотел было уже совсем повернуть обратно, как вдруг увидел напряженное и суровое шествие. Впереди шел старый пес Лорик со слегка окровавленной пастью, за ним, держа его на поводке, — племянница Маня, чьи детские голубые глаза потемнели от гнева, а в некотором отдалении — моя жена, с губами, ставшими сжатыми и неулыбчивыми за время этой их прогулки, оказавшейся не такой удачной, как было задумано.

Оказалось, что они шли мимо дачи ответственного коммуниста, который стоял с наружной стороны своего забора без рубашки, в синих «тренировочных» штанах и белой панаме «Банана репаблик».

— Ох, какая славная у вас собачка, какая спокойная, хорошая, — сказал ответственный коммунист, но ему никто не ответил. Моя жена не станет разговаривать с мужчинами, говорящими такие слова таким тоном,

так она мною воспитана, племянница Маня вообще не любит отвечать, а старый пес Лорик, предчувствуя по-видимому, что стрясется дальше, даже отвернулся и тоскливо высунул длинный розовый язык. Собака овчарка немецкая сторожевая тоже молчала, по-видимому, составляя в голове план своих дальнейших гнусных действий.

Женщина, девочка и собака проследовали дальше, беседуя о всяческой чепухе — да в основном все про того же итальянского «Спрута». Дескать, как мог комиссар, такой умный человек, не догадаться, что мафия украдет у него дочку, говорила племянница Маня, а моя жена резонно возражала ей, что комиссар Катанья не мог знать всей глубины мафиозной подлости: ведь раньше мафия никогда не трогала женщин и детей, как сказала одна преступная банкирша из их же мафиозной компании, — так кто же мог подумать, что они на этот раз сделают именно это?

Внезапно они сразу же испугались. Потому что их вдруг внезапно догнала гигантскими шагами эта самая овчарка немецкая сторожевая. Сначала она немедленно обнюхала бедного и смирного старого пса Лорика, после чего вдруг вцепилась ему в глотку, и две собаки, рыча и оскалившись, покатились по пыли, увлекая за собой и женщину, и ребенка.

Ленивой трусцой бежал к ним ответственный коммунист, виляя задницей, с двумя своими товарищами-коммунистами и неизвестной женщиной, которая, очевидно, являлась женой ответственного коммуниста.

Собак растащили. Ответственный коммунист пробормотал все необходимые слова извинения, объяснив, что собака с л у ч а й н о вырвалась, они ее не удержали, ее зовут Чук, а еще у них была собака Гек, как у Аркадия Гайдара, но они ее «отдали».

Племянница Маня рыдала. Первый товарищ ответственного коммуниста расхохотался, и моя жена сказала ему:

— Смешно, да? Очень смешно? Если вы знаете, что собака у вас такая, почему вы не держите в наморднике? А если бы девочка была одна?

Первый товарищ ответственного товарища дернулся, чтобы что-нибудь ответить, но его другой товарищ сделал своему товарищу знак «Молчать!», после чего три коммуниста, их женщина и собака овчарка немецкая сторожевая удалились, рассыпаясь в прежних извинениях.

Я страшно рассердился! Я сделал замечание жене, что в ее положении не следовало бы отправляться гулять с девочкой в сопровождении старого пса, даже пускай и очень смирного, чему доказательством случившийся случай. Но моя жена настолько испугалась, что даже не стала мне возражать, что всех случаев предугадать невозможно. Я страшно рассердился! Я хотел идти на дачу к ответственному коммунисту и если что, вступить с ним в борьбу, невзирая на двух его товарищей, женщину и собаку! Я кричал, что когда же это кончится, все это безобразие и лагерные овчарки будут продолжать омрачать нам жизнь в период зрелой перестройки, которая и так идет нелегко. Я вспомнил историю нашей страны, историю КПСС, все унижения, выпавшие на долю народа и лично на мою долю как микроскопического представителя этого народа, и продолжал кричать, что я предчувствовал, да, я предчувствовал, что этим все и кончится, такие прогулки мимо дачи ответственного коммуниста!

Уж и старый пес Лорик зализал свои раны, и моя жена с племянницей ушли в дом есть мороженое с красной смородиной и пить ананасный компот, а я все бранился и бранился. Вот до чего я рассердился!

«Вы только портите идею,
И беспартийный ваш шофер
Гораздо будет вас честнее,
А вы — паскуда, бл... и вор!

Однажды один кулак шел вдоль ржаного поля, размышляя, что бы ему еще сделать против коммунизма: может, кого убить, отравить или чего поджечь, раз хлеб все равно отобрали коммунисты.

С этими мыслями он присел в глубокой борозде и предался своим кулацким воспоминаниям о прошлом.

Как якобы хорошо жил весь народ, а в первую очередь, конечно же,

он сам, кулак, до того как началась сплошная коллективизация и ликвидация всего кулачества как класса. В воспоминаниях фигурировали блины, пышки, парная говядина, лошади, батраки, мельница и тяжелые подводы, нагруженные мешками. Молоко, желтая сметана в глиняной кринке, бесчеловечная эксплуатация семьи и сыромятные вожжи, которыми он «учил» жену, детей, а дедушке лишь давали на ужин немного моченых корок в глиняной миске — знамо дело, кулаки!..

Кулак скрипнул зубами и достал из кармана нанковых штанов трут и кресало.

— Ленин, Троцкий, дай огня. Не курил четыре дня,— злобно пробормотал он и тут же насторожился, обнаружив присутствие в воздухе чужих, а вернее, чуждых ему голосов.

Это шли по ржаному полю коммунисты. Их было двенадцать человек. Одетые в пропыленные бедные одежды, все они держали в руках садовые лейки, из которых обильно поливали начавшие желтеть растения, чтобы тем самым бороться с засухой и получить небывалый урожай зерновых культур.

Кулак был ни жив ни мертв, а коммунисты тихо переговаривались.

— Товарищ, посмотри, как с каждым днем хорошеет наша советская земля!..

— Да, но только бы хватило воды, этой живительной влаги, чтобы нам полить все посевы в округе...

— Жалко, что мы встали довольно поздно, потому что увлеклись заполночь обсуждением замечательной статьи товарища Сталина «Головокружение от успехов».

— Только бы хватило воды! А впрочем, наша коммунистическая лошадь Хохлатка крепка, вынослива, здорова и способна привезти еще не одну бочку этой не только живительной, но и целебной влаги...

Тут-то кулака и осенило! Зачем же поджигать поле, где можно сгореть самому и тем самым оставить улики, когда гораздо проще взять да и каким-нибудь аналогичным мерзким способом поступить так же с Хохлаткой, смирной, доброй деревенской кобылой, которую он, кулак, знал с детства.

Кулак полз, как змея, по направлению к лошади, что прядая ушами и отгоняя черным блестящим хвостом полуденных слепней была запряжена в тачанку, где вместо пулемета стояла громадная деревянная бочка, наполненная водой.

«Тихонечко распрягу Хохлатку, вскочу на нее и умчусь прочь! Коммунисты окажутся без воды, и все их усилия по сохранению ржаного поля от засухи останутся втуне»,— лихорадочно размышлял кулак, понимая уже краем оставшегося после коллективизации ума, что и этот его план столь же глуп, нереален, как и бешеное желание поджечь ржаное поле.

Между тем коммунисты все работали и работали. Если бы не было перегибов, если бы кулак столь не закоренел в грехе, то ему стало бы стыдно, что они трудятся, как Мичурин, а он — нет, как капиталист. Однако ему было уже все равно, он уже совсем опустился и в последней бессильной, бешеной злобе решил отрезать у Хохлатки ее красивый хвост, чтоб хоть этим нелепым поступком, но все-таки насолить коммунистам.

Однако он не учел того, что Хохлатка уже тоже стала идеологически совсем не та, потому что коммунисты обращались с ней очень хорошо: вдосталь кормили ее мягким сеном, задавали ей овса, вплетали в гриву красные ленты и однажды даже взяли на парад, надеясь, что вдруг ее увидят Михаил Калинин, Семен Буденный или, на худой конец, Клим Ворошилов. Лошадь ударила кулака в лицо стальным копытом и тем самым раздробила его голову до неузнаваемости. Кулак умирал, глядя в синее небо. Над ним, как 12 цифр на циферблате, склонились 12 коммунистических голов. Ему показалось, что головы эти источают неведомое сиянье, но это стало последней ошибкой в его вражеской жизни.

И что на свете перестройка,
Вы и не знаете, подлец!
Товарищ следователь Бойко!
Бери его ты, наконец!

Один молодой человек под влиянием книг антисоветского, идейно-ущербного, клеветнического содержания решил бороться с коммунистами.

Однако он толком не знал, как это делается, и счел необходимым для начала потренироваться, победить кого-нибудь более малозначительного, чем коммунисты, с тем, чтоб окрепнуть духом перед главным сражением, а также чтобы приобрести необходимые навыки.

Поэтому, имея в виду свои дальние антикоммунистические планы, он надумал первым делом победить почтальонов, которые весьма неаккуратно доставляли ему периодическую печать, состоящую из двадцати перестроечных названий. Его не остановило, что на двери было написано: «Почта временно работает с 14 часов», не остановило, что на часах фигурировало 13 часов 49 минут. Он зашел с заднего хода, увидел почтовых людей и просто сказал, что ему сегодня не принесли газету «Правда», орган коммунистов. В ответ на него страшно закричали, но он был готов к испытаниям и в ответ тоже страшно закричал. Крики эти собрали весь наличный персонал почты, отчего еще больше усилились. Молодой человек был даже красив, как какой-нибудь коммунистический герой, когда, зажатый в углу, отражал нападение почтовых служащих, повествующих криками о своей нелегкой доле, что получают мало денег, у всех малые дети, некому много работать. Уже на улице, вытесненный, перед запертой дверью молодой человек завопил: «Жалобную книгу»,— но лишь зловещий хохот раздался из-за этой двери, окованной железным листом. Молодой человек содрогнулся: ведь он и раньше неоднократно скандалил на почте, но бесцельно и просто, а теперь... теперь вот была битва, и он вот ее проиграл. И, страшно ругаясь, отправился молодой человек прочь.

А именно: он пошел в прачечную, куда месяц назад отдал стирать свое белье, которое до сих пор не постирали. Он там тоже открыл рот, чтобы ругаться, но миловидная, вся в золоте служащая баба чуть не заплакала, как дитя, объясняя, что не она же во всем этом бардаке виновата, а белье не привозят «с фабрики», некому стирать, во всем виноваты коммунисты...

Да что там говорить! Что писать! Зачем писать что-то осмысленное, когда и так все всем понятно! Молодой человек, конечно же, позвонил на фабрику, где его так славно облаяли, что он пошел домой, напился — сначала валерьянки, потом вина, водки, пива и в пьяном виде был вынужден честно признать перед самим собой полное свое поражение в грядущей своей борьбе с коммунистами. «Раз уж я не смог победить простых почтальонов и работников фабрики-прачечной, куда уж мне тягаться с коммунистами»,— самокритично подумал молодой человек.

Опохмелился наутро да и зажил с той поры счастливо, весело, отнюдь не опасаясь тех преследований со стороны КГБ или других компетентных вроде психушки и Мордовии органов, которые могли бы на него обрушиться, коли он взялся бы бороться с коммунистами.

Читатель вправе спросить, почему он, как в сказке, не попытал счастья в третий раз. Просим прощения за тривиальный, пошловатый ответ, но коммунисты сказку уже давным-давно сделали былью, и пытать тут какого-то там счастья мог бы только круглый дурак, идиот от рождения, а таковым молодой человек отнюдь и никогда не являлся.

Снова засел он за книжки идейно-ущербного, клеветнического, антисоветского содержания, да только что в них толку? Хоть сто раз скажи «изюм», слаще во рту у тебя не станет, если нету карточек на сахар.

Бери его, т. Бойко

Одного нищего крестьянина обманули коммунисты, продав ему саженцы яблок, которые привились, но очень долго не давали никакого приплода, тогда как кругом уже вовсю буйствовали отдельные яблоневые сорта: штрифель, голд стар, чиинхе. Озлобленный крестьянин стал тогда сильно ругать коммунистов, а значит, тем самым и всю советскую власть, не делая между ними по малосознательности ровным счетом никаких различий.

Как же стыдно стало ему, когда осенью ветви его яблонь, подаренных ему коммунистами, наполнились зимним сортом яблок «антоновка», что источают терпкий, вязкий, благотворный аромат, дорого стоят на рын-

ке и способны храниться до весны! Продав яблоки и получив значительный барыш именно к 7 ноября (25 октября по старому стилю), празднику всех коммунистов всего мира, к тому дню, когда они взяли власть в России, ставшей первой ласточкой неведомого полета в будущее, крестьянин очень сильно обрадовался. Радостный, со слезами на глазах, пришел крестьянин в местный райком партии и, выложив на стол пачки денег (взносы), попросил тоже его записать в коммунисты.

А ведь его вполне могли арестовать за прошлые злобные высказывания. Имели право направить в мордовское исправительно-трудовое учреждение, институт судебной психиатрии им. Сербского, и тогда, вследствие непростых условий содержания в этих и других аналогичных местах, он наверняка остался бы противником коммунистов, и плодоносящие деревья достались бы другому, более сознательному человеку.

Вот как мудро поступили коммунисты, не посадив нищего крестьянина в тюрьму! Тем самым они спасли для коммунизма еще одну заблудшую душу, заработали много денег для ускорения темпов строительства коммунизма на земле, а также вернули запаршивевшую овцу в материнское лоно общего здорового стада.

Бери ты его, т. Бойко!
Нет сил, бля, смотреть на
Эту совершенно разложившуюся
Отрыжку застойных времен...

— Ты, сынок, зря пренебрегал в процессе получения высшего образования «Историей КПСС», ведь в этой науке есть много интересного и поучительного.

Например — как известно, при царизме положение у коммунистов было такое, что им необходимо требовались крупные суммы денег для агитации, политической борьбы и вообще просто для того, чтобы кушать. А где их взять, эти деньги? Где их брать — не у кайзера же в самом деле Вильгельма, а Григорий Распутин, царь Николай II и Петр Столыпин уж точно этих денег не дадут, не те для этого люди. Рабочие, крестьяне — сами нищие, а коммунисты, кто богатые, так все время сидят по тюрьмам или вынуждены жить за границей — в Лондоне, Париже, Цюрихе, других городах и странах. Откуда уж тут деньги, если сам В. И. Ульянов-Ленин зачастую был вынужден очень плохо питаться, буквально на последние гроши, отчего и болезни шли косяком, и где уж тут сделать Великую Октябрьскую социалистическую революцию 25 октября (7 ноября) 1917 года? Без денег и февральской не сделаешь! А зачем коммунистам февральская революция, когда она буржуазная? Совершенно она им ни к чему, сынок...

Конечно, конечно, да... Помогали хорошие люди. Максим Горький, например, и сам давал, и других хороших людей склонял к этому. Савва Морозов. Был Савва миллионщик, а все же тоже пришел наконец к мысли устроить обывателям родной страны правильную жизнь. Бессчетно давал и умер тоже вполне правильно — застраховался на 100 000, съехал в Канны (Франция), поселился в Королевском отеле, где и застрелился из револьвера в один печальный день. А все деньги по страховке кому? Да коммунистам же, кому еще?

Ну, про юношу Шмита ты, сынок, конечно же знаешь. Юноша Шмит был племянником Саввы, но, несмотря на молодость, давал, пожалуй, еще поболе дядюшки. Сел в том же 1905 году и у тюремном замке неясно умер — по одной версии сам расстался с жизнью (подобно дяде, но перерезав горло куском оконного стекла), по другой — его зарезали внешние люди. Да и кто теперь в этой крови разберется, когда с той поры ее на Руси пролилось в миллионы раз больше? Важно, что и юноша Шмит свои деньги завещал коммунистам.

А еще был один совсем малоизвестный, но тоже очень хороший человек, капиталист по фамилии Ерамасов. Тот, можно сказать, сызмальства держал для коммунистов бумажник открытым, а лишь отобрали они у него после революции фабрику, тут же сам записался в коммунисты, и, представь себе, сынок, коммунисты его в коммунисты приняли, не побрезговали чуждой костью. Ерамасов жил, как все, работал, умер в нище-

те, но по скромности все равно не хотел лишний раз напоминать Ленину, Сталину или еще кому о себе, этот честный новый коммунист, чтобы они дали бы ему чего-нибудь лишнего покушать. Вот же какие замечательные люди все-таки жили в России! Даже удивительно, что так и не устроилась до сих пор правильная жизнь и мы с тобой, сынок, вместо того, чтобы питаться коммунистическим киселем, сплавляясь по молочным рекам, сидим с тобой обои у тюремном замке, как те два сокола из одноименной песни.

Ну и, конечно же, «эксы», то есть экспроприации экспроприаторов. Ты, конечно же, слышал о героических подвигах т. Камо, скажу тебе по секрету, что и сам т. Сталин не гнушался пограбить Тифлисское казначейство, но вот с этим-то как раз и вышла осечка. Денег-то взяли, и много взяли, однако вдруг выяснилось, что делать с ними практически ничего нельзя. Слишком крупна купюра — 500 рублей, попробуй ее разменяй, когда царские сатрапы, протянувшие свои щупальца от Петербурга до самых окраин всего мира, переписали номера экспроприированных купюр. И вот результат: Максима Литвинова, будущего наркома иностранных дел замели с этими деньгами в Париже, а будущего наркома здравоохранения Семашку по аналогичному делу — в Женеве. И, чтоб не разводить дальнейшего скандала, пришлось большую часть этих денег просто-напросто утопить, а какова была эта утопшая сумма, не знает никто, а кто знал, тот уже не скажет. Полагаю, руководствуясь здравым смыслом, что сумма была большая — действительно, много ли наменяешь краденых купюр при таких нелепых условиях существования?

И вот здесь у меня, сынок, как у человека, неоднократно видевшего в 1989—1990 годах по телевизору Съезды народных депутатов СССР и РСФСР, возникает следующий экономический вопрос.

Он связан с тем, что один из депутатов, видный экономист и, наверное, тоже коммунист убедительно предложил способ бороться с нынешней инфляцией, возникшей в СССР на 73-м году правления коммунистов, которые в 1909 году утопили 500-рублевые экспроприированные деньги, чтобы не быть скомпрометированными перед мировой общественностью и другими коммунистами.

Этот депутат предложил собрать деньги у населения путем продажи советскому народу дешевых и хороших товаров, после чего эти деньги чтобы все сжечь, чтобы курс рубля стал устойчивым, и рублем можно было бы гордиться, как Маяковский когда-то гордился советским паспортом.

Значит — следи, сынок, за моей мыслью — получается, что коммунисты, утопив кучу денег в 1909 году, тем самым воленс-ноленс укрепляли царский режим и его золотой запас? И не исключено, что если бы не это небольшое укрепление, то Октябрьская революция имела бы возможность свершиться чуть раньше, чем 25 октября (7 ноября)... Пусть на день-другой, но все-таки раньше, и мы бы все тогда праздновали праздник революции, выпивали и закусывали не 7-го ноября, а числа 3—5-го того же месяца.

Вот что могло бы быть, если следовать логике, экономике и словам депутата, экономиста-коммуниста. И пусть все это послужит тебе хорошим жизненным уроком, ибо теперь ты наконец-то видишь, как удивительна, сложна и загадочна жизнь, коли такая мелочь, как сумма утопших денег, смогла бы изменить эпохальную историческую дату дня, который потряс весь мир. Помни, что в жизни вообще много случайностей, сынок. Вот мы с тобой сидим у тюремном замке. Вот В. И. Ульянов-Ленин шел в 1907 году по льду Финского залива, а лед был очень тонкий. И что бы, например, было бы, если бы он тогда утонул? Царство ему Небесное. Вечный покой...

Такие люди чуть было
Не привели нашу страну
К катастрофе!

«Кривляясь, Фетисов напоминал собою яркую луну, светящую в начищенный офицерский сапог».

Эту фразу написал литератор-декадент, весьма довольный тем, что он ее написал.

Источником радости декадента, оторвавшегося от реальной жизни, дум и чаяний советского народа, являлось то, что эта фраза была вполне абсолютно бессмысленна и тем самым как бы выступала, по его мнению, против того постулата В. И. Ульянова-Ленина, который он блестяще сформулировал в своей видной работе «Партийная организация и партийная литература». Вот этот замечательный постулат:

«Литература должна стать партийной... Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса...

Найдутся даже, пожалуй, истеричные интеллигенты, которые поднимут вопль по поводу такого сравнения, принижающего, омертвляющего, «бюрократизирующего» свободную идейную борьбу, свободу критики, свободу литературного творчества и т. д., и т. д.» [1]

Вот. И написав такую фразу про Фетисова, луну и сапог, безыдейный, беспартийный декадент даже запфукал от удовольствия, наивно полагая, что подобная сочиненная им бредятина способна хоть в какой-то степени немножко ущемить коммунистов, к которым этот эстет испытывал чисто эстетическую, ирреальную неприязнь.

Весьма довольный произведенным на себя впечатлением от этой явно бредовой фразы, он решил было продолжить свое сочинение в подобном же духе. То есть развить, прописать образы Фетисова, луны и сапога, связав их в триединое глумливое целое. Тоном недоброжелательности и ехидства веяло бы от его сочинения... Да это и неудивительно! Понятно, что начатый столь паскудно и посредственно этот грязный опус таким же паскудством и закончится! Ведь уже с первых же букв понятно, что Фетисов — это какой-то явно ущербный тип, просто сволочь какая-то, до поры до времени затаившаяся, недоброжелательно относящаяся к коммунистам, ко всему тому хорошему, что они принесли с собой из мира теории в мир практики, на советскую землю... Так что же от такого персонажа дальше можно ждать положительного? Да ничего. Персонаж Фетисов «хорош»! Он наверняка либо пьяница, либо идиот, либо циник, либо просто-напросто замаскировавшийся враг, поплевывающий на все то святое, что еще осталось в жизни честных советских людей после перестройки. И история с ним произойдет в пространстве и времени сочиняемого декадентом «произведения», несомненно, какая-нибудь дикая, явно надуманная, высосанная из пальца с клеветническими, идейно-ущербными целями. Тут ведь, конечно же, не случайны образы Луны и Сапога — ведь Фетисов, конечно же, отнюдь не астроном, не военный человек и сапог да еще «офицерский» явно, конечно же, поставлен здесь для «оживляжа», для того, чтобы поиграть на нервах обывателя плюс для похабнейшего дешевого мистицизма. Луна светит в сапог... Мочится она в него, что ли, в этот сапог эта луна, как шутник?.. То есть идейная ущербность порождает на глазах и художественную несостоятельность: это какое-то серое изображение чего-то несущественного, несуществующего, но клеветнического, это — серая пена, подобная той, что образуется в кастрюле при варке мяса — курятины ли, иль говядины — не суть важно, и которую хорошая хозяйка собирает шумовкой и удаляет из кастрюли, а плохая — так и оставляет в кастрюле, где пена концентрируется по стенкам, подобно пятнам от нефтепродуктов во всех экологически зараженных реках СССР. Дескать, сварим борщок — и все будет в порядке! Дураки!

И литератор-декадент тоже дурак, если не сказать большего. Да ведь и чисто же художественно все это совершенно несостоятельно! Все это мелкотемье, вся эта сытая ухмылка окончательно оторвавшегося от народа нечеловека — да ведь все это давным-давно пройденные этапы не только большого пути нашей литературы, но и столбовых дорог нашей напряженной жизни, не только советской, не только коммунистической, но и вообще нашей напряженной жизни всего мира, когда весь мир стоит на грани «быть или не быть» перед угрозой ядерной зимы, когда в воздухе явно сгустились атом, ядохимикаты, нитраты, пестициды, насилие. Спасибо коммунистам, низкий им поклон, что настроили атомных электростанций, оседлали, как коня, «большую химию», подняли на своих руках

[1] В. И. Ленин. ПСС, т. XII, стр. 100—101.

сельское хозяйство!.. А про литератора-декадента можно и еще сказать — как можно столь безответственно относиться к своему хоть и небольшому, но все же какому-то таланту? И это глумление — зачем оно, что оно созидает, с чем его можно кушать? Ведь главная задача коммунистов на сегодняшний день — накормить страну, а декадентство всех марок уж давным-давно нашло свое место на кладбище идей, успокоилось, как засохшее дерьмо, на исторической свалке литературы, истории, общества...

Так вдруг с внезапной трезвостью подумал о себе литератор-декадент, но его извращенная, закаленная годами застоя натура, привыкшая десятилетиями писать «в стол», все же непременно взяла бы «свое», и он — к сожалению, нет в том сомнений! — непременно бы продолжил свое грязное сочинение: к элементам порнографии, цинизма, наплевательского отношения к традициям непременно бы добавил, по всей видимости, и некрофилически-фрейдистские мотивы — конечно же, не случайна здесь луна, чей свет, как известно, бледен, лимонно-, мертвенно-желт, и слово «яркая», трусливо поставленное автором, чтобы замести следы, конечно же, никого не обманет. Глумление! И сапог здесь, конечно же, тоже совершенно не случаен — ведь он всегда черный, мрачный, даже если сильно начищен. И потом, не хотелось бы заниматься домыслами, но здесь явно сквозит какое-то с трудом скрываемое пренебрежение к Советской Армии, вообще к советскому народу, нерушимость границ которого охраняет эта армия. Поиграть на низменных чувствах читателей! Поэпатировать эту неразборчивую, жаждущую всего «нового», «запретного» публику, состоящую из зеленоротых юнцов и во всем изверившихся подонков, забывших, что новое — это лишь хорошо забытое старое. Что угодно, только бы не участвовать в общественной жизни и не вступать в КПСС, партию, которая начала перестройку, она же ее и закончит, членство в которой явно не по зубам подобным горе-писакам, им бы лишь прокукарекать, а там хоть и не свети заря коммунизма над страной, не озаряйтесь розовым коммунистическим сиянием красные кремлевские стены!

Непременно бы продолжил литератор-декадент свое грязное сочинение, кабы не вспомнил вдруг, что день сегодня — понедельник и ему следует съездить на улицу Партизана Щетинкина, потому что он писатель, член Союза писателей, откуда его любезно не исключили, несмотря на то, что он подписал в 60-е годы два письма протеста, а третье подписал, но затем снял свою подпись. На улицу Партизана Щетинкина, потому что ему, как писателю, члену Союза писателей, положен продуктовый заказ.

Он и поехал на улицу Партизана Щетинкина. Там, проведя около полутора часов в тесном очередном общении с ветеранами ВОВ, КПСС и коллегами-писателями, он озлобился окончательно, хоть и получил индийского чаю 2 пачки, китайской свиной тушенки, сыру, гречи. Запихав гору таких вкусных и дефицитных продуктов в объемистый дерматиновый портфель, он направился в Центральный Дом литераторов им. А. Фадеева. Там как раз происходило очередное собрание неформального объединения писателей в поддержку перестройки, где гневно выступали различные писатели, недовольные порядками, сложившимися в недрах официальной структуры Союза писателей, косностью, отставанием от широкого, поступательного шага прогресса в то время, когда партия снова ведет весь советский народ вперед семимильными шагами. Дескать, одним все, другим ничего. Почему?.. Особенно запомнилось ему яркое убедительное выступление знаменитого поэта Александра, который, как коммунист, выразил недоумение, почему это чин Московской писательской организации, знаменитый прозаик, тоже Александр и тоже коммунист, выразил в своей речи скептицизм по поводу Великой Октябрьской социалистической революции, состоявшейся 7 ноября (25 декабря) 1917 года. Собрание зашумело...

Однако и здесь литератору-декаденту не понравилось. Декадент он и есть декадент, что с него взять!.. Декадент тогда спустился в нижний буфет Дома литераторов и там напился принесенного с собой коньяку. Пил, естественно, не один, для такого дела всегда товарищи найдутся. Один из них, тоже писатель, назовем его В. П., предложил ему бороться рукой, оперевшись локтем о столешницу, и декадент его победил.

Выпили еще. Заговорили об искусстве. А ведь дома декадента ждали жена и сынок, которые верили в мужа и отца все эти долгие годы

застоя. Завязался длинный пьяный разговор о В. Розанове, Н. Бердяеве, об о. П. Флоренском и отце А. Т. Твардовского, тов. Ф. Кузнецов был упомянут в длинном пьяном разговоре, товарищи Г. Марков, Ю. Бондарев, С. Михалков.

Потеряв весь свой облик солидного, умного, утонченного человека, литератор-декадент вывалился на улицу с расстегнутой ширинкой и расстегнутым дерматиновым портфелем, откуда сыпались и падали на асфальтовый тротуар конфетки «Малина со сливками», сушеные бананы. Ужас!

Ужас! На миг он увидел ослепительный свет. То шел ему навстречу до боли в глазах родной, знакомый человек, укоризненно покачивающий лысой головкой, клиновидной бородушкой и приговаривающий своей характерной басовитой скороговоркой:

— Успокойтесь, господа! Во-первых, речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю... Это вовсе не означает отмену свободы творчества и поиска новых форм. Только нужно чаще ходить на занятие кружка марксистско-ленинской эстетики и больше доверять коммунистам, а не хихикать обывательски, не корчить злобные рожи, не держать фигу в кармане либо камень за пазухой...

— То есть как так? — пролепетал литератор-декадент, уже совершенно ничего не соображая.

Бездыханный, упал он в такси и отдал за проезд до Теплого Стана 10 рублей (вместо положенных 4 руб. 32 копейки) плюс 10 руб. за то, что облевал сиденье.

Все случившееся послужило ему хорошим жизненным уроком.

Слава Богу, что здоровые
Силы в партии одержали
Победу, и теперь у нас
Наконец-то будет хороший
Коммунизм!

Странная печаль томила моего героя. За всю свою жизнь он ни разу не видел ни одного живого коммуниста, хотя, конечно же, слышал о том, что их только в СССР более 20 миллионов человек, а ведь это немалая цифра, немалая, и хотя бы одного-то из них, но мог бы увидеть он за свое почти сорокапятилетнее пребывание на родной земле! Однако факт есть факт, потому что «факты — упрямая вещь», как говорил коммунист В. И. Ульянов-Ленин, который умер в 1924 году, и его поэтому мой герой тоже не видел, а в Мавзолей не достоишься.

В самом деле... Не считать же было коммунистом директора школы № X, что в городе К., стоящем на берегу великой сибирской реки Е., впадающей в Ледовитый океан, который (директор) 5 марта 1953 года размазывал слезы по бритым щекам по случаю смерти усатого извращенца (дела Маркса, Энгельса, Ленина) И. В. Сталина, долгие годы успешно выдававшего себя за коммуниста, но затем все же (после смерти) разоблаченного коммунистом Н. С. Хрущевым, тем самым, что в 1964 году оказался волюнтаристом и был за это тоже совсем смещен со своего высокого поста по случаю состояния здоровья. Какие же они тогда коммунисты — и Сталин, и Хрущев, а в особенности директор школы № X, что в городе К.? Ведь последний из них (директор) через неделю после смерти бывшего вождя Сталина сел в тюрягу за многолетние покражи казенных дров, угля, вообще школьного инвентаря, отпущенных сумм, кроликов. Какой же он тогда коммунист? Коммунист разве может чего воровать? Коммунист ведь явился на землю, чтобы, наоборот, чего-нибудь дать людям, а не тырить дрова, уголь, школьный инвентарь, отпущенные суммы, кроликов... Воровать всякий советский человек умеет, а вот ты будь коммунистом и не воруй, если ты настоящий коммунист, а не говно!

Или взять, к примеру, персонажа Николайчука (см. рассказ Евг. Попова «Во времена моей молодости», альманах «Зеркала», изд-во «Московский рабочий», 1989, сост. А. Лаврин, ред. М. Холмогоров), который в 1962 году издавал в городе К. подпольный литературно-художественный журнал «Свежесть», а нынче сделал большую партийную карьеру по линии фанеры и служит нынче по этой линии леса, древесины в каком-то коммунистическом центре управления северо-восточным регионом страны. Типа горкома, райкома или обкома. Разве ж так может быть, чтобы человек был сознательным коммунистом, беззаветным борцом за дело Маркса — Энгельса — Ленина, а сам напился пьяный с распутными девками, полез по крыше производственного склада и упал оттуда с большой высоты в стекловату и пролежал там до утра, отчего тело человека распухает и становится красным, как советский флаг?

Какой же он коммунист, если в своем журнале «Свежесть» высказывал идейно-порочные по идеологическому индексу 1962 года ернические мыслишки, а потом, уже после разгрома журнала и угрозы исключения из института, резко сменил окраску, явно снюхавшись с чертями из Конторы Глубокого Бурения. (Прототипом его, кстати, был мелкий служащий Г. П. Лбов. См. стр. 134).

А ведь герой же не идиот, он же помнит, как катили они в пьяном виде на мотоцикле по лунной дорожке в городе Б., что на великом сибирском озере Б., и новоявленный «коммунист» вопил, как резаный: «Ненавижу! Ненавижу их всех! И свою работу ненавижу. Мы с товарищами отравляем великое сибирское озеро Б., строя на нем самый мощный в мире комбинат фанеры, и этого нам никогда не простят наши сверстники во главе с Валентином Распутиным и наши потомки во главе с нашими детьми...»

Ну... И он после этого коммунист, когда прошло 25 лет с тех пор, и нету больше ни фанеры, ни озера Б., ни вообще ничего? Ответ дайте сами, если хочется. Моему герою этот ответ совершенно ясен: персонаж Николайчук совершенно никакой не коммунист, и непонятно даже, как совесть позволяет ему петь в конце собраний «Интернационал» в переводе Коца? Потому что для его репертуара гораздо уместнее была бы другая песня, а именно: «С одесского кичмана бежали два уркана...» Или на худой конец что-нибудь романтическое, что он не за деньгами уехал отравлять озеро Б., а повинуясь влечению сердца и манящим запахам тайги. Говнюк он, а не коммунист!

Или вот доцент Глинюк, преподаватель марксизма-ленинизма в том московском институте, где наш герой учился с 1963 по 1968 год, по тот самый год, когда коммунист Дубчек оказался совсем не тем, за кого он себя выдавал, а самым натуральным ревизионистом, таким же, как и его партайгеноссе Зденек Млынарж, известный ныне тем, что живет в Инсбруке, а получал образование в одной группе с М. Горбачевым, недавно выступал в рамках программы «Взгляд» Центрального телевидения СССР...

...которую ведут трое ребят, несколько раз нахально утверждавших, что они якобы тоже коммунисты и даже платят членские взносы. Хорошие коммунисты! Послушать только ихнюю передачу, посмотреть на оборванцев с гитарами, исполняющих песню «У наших бокалов сидят комиссары»...

...а если вспомнить коммуниста Егора Кузьмича Лигачева...

Эх! Я один! Все тонет в фарисействе, и чего там еще рассусоливать, коли и так понятно, что я хочу сказать: коммунистов мой герой не видел... Никогда! И боюсь, что на его веку ему их уже и не увидеть больше.

...Хороший коммунизм! Как
Учили Маркс, Энгельс и Ленин!»

Иван Карлыч заглянул в наши пьяные лица и строго, но вместе с тем ласково, до боли душевно сказал:

— Как все у вас просто получается, молодежь! На всем готовеньком привыкнувши это мы, товарищи, недалеко пойдем. Вот у нас, первого поколения, зачастую не было не только самого необходимого, но и вообще ничего не было. Однако мы и не хныкали, а бодро с песнями и огоньком шли вперед! Намек понят? — ласково пошутил Иван Карлыч.

Но ему ответить никто не успел, потому что наша лодка тут же и затонула. Кто умел плавать — тихо поплыли к берегу. А кто не умел — те просто пошли ко дну. Иван Карлыч, как коммунист, как всегда, был среди первых...

Сказал парторг такую речь...
Матвеев, как завороженный,
Поднялся, вместо чтобы лечь,
И вышел вон, как прокаженный.

Тоже ведь — и революционные праздники следует понять. Гражданин СССР живет черт те знает как на улице Достоевского, ходит за водой «на колонку», топит плиту бурым углем... сортир на улице в сорокаградусный мороз, баня — по пятницам мужской день, по субботам — женский, номер очереди химическим карандашом на ладони — 357, а тут — праздник, например 1 Мая, «в честь чикагских рабочих» либо 7 ноября (25 октября), в честь кого — сами понимаете.

Вот и вспоминаю я это 1 Мая 1957 года. Когда, будучи отличником и одновременно ребенком, я удостоился чести участвовать в демонстрации представителей трудящихся перед трибунами, где стояло городское коммунистическое начальство.

Кумачовые лозунги вздымались! Рей, красный май! Колонна завода телевизоров, комбайновый завод, фабрика имени Звиргздыня... Нас, отличных детей, везли в специально подготовленной и тоже разукрашенной трехтонке, где в кузове были сделаны крепкие деревянные скамейки, чтобы мы, дети, имели возможность свободно махать алыми флажками лучшим представителям партии и правительства, оказавшимся на трибунах, чтоб радостно сжимались их коммунистические сердца при виде наших смышленых лиц будущих строителей будущего, коммунизма, лиц школьников, уже сейчас ударной учебой заслуживших свое нелегкое право участвовать во всенародном ликовании.

А следует непременно сказать, что флажки нам не выдали казенные, а велели принести с собой свои, изготовив их дома по специально приведенному образцу, размером с лист писчей бумаги.

Ну, с кумачом тогда проблем не было, если в размерах листа писчей бумаги, а вот древко для флажка — оно ведь тоже должно было быть отменным, а то как же! И я вынужден был тогда пожертвовать для этих идеологических целей одной из длинных тонких палок любимой игрушки, которую незадолго перед тем купили мне нежные, ныне покойные родители. Игрушка эта называлась «дзига».

Да, «дзига». Я стар, лыс, сед. От перманентного пьянства в течение десятков лет у меня наконец слабеет память, трясутся руки, но это название, эту чушь я помню точно. Дзига... Это называлось «дзига».

(То есть гораздо позже после описываемого я, конечно же, узнал, что был такой деятель кино, основатель кинодокументализма в СССР, несправедливо отодвинутый на задний план административно-командной системой казарменного социализма режиссер Дзига Вертов, автор фильма «3 песни о Ленине» и других подобных фильмов...)

Но разве я виноват, что эта детская игрушка тоже называлась «дзига»? Так и написано было на коробке «Дзига»... А в коробке содержался комплект: две длинные, тонкие ошкуренные палки, шелковый шнур, который нужно было привязать к двум концам этих двух палок, для чего там имелись две специальные фасочки, а посередине шнура должна была крутиться и чудесно удерживаться в пространстве на натянутом шнуре резиновая какая-то ш т у к а, похожая на искусственно созданную из резины жабу (прошу прощения за неуклюжие описания — сед, лыс, стар, ничего о п и с ы в а т ь не желаю, желаю г о в о р и т ь, раз гласность, пусть невнятно, пусть с кашею во рту). Обе палки брались в детские руки и сучащими движениями «вверх-вниз» создавалась некая кинетика, позволявшая резиновой лягушке (чушке) чудесно удерживаться в пространстве на натянутом шнуре. Я обожал «дзигу».

Я обожал «дзигу», и я был решительно против того, чтобы одна из палок «дзиги» стала древком для флажка.

Однако нежные, ныне покойные родители не менее решительно настаивали на своем, гордясь оказанной мне честью быть на демонстрации в качестве передового ребенка, а я, признаюсь, не любил с ними спорить, я их любил и, кроме того, ведь и сам же понимал умом октябренка, будущего пионера, что идеология есть идеология, флаг есть флаг, и если

коммунистам непременно нужна палка от моей «дзиги», то пусть они ею подавятся.

Вот. И мы ехали в грузовике. Весь народ радовался, приветствовал коммунистов, кричал им «ура» за все то хорошее, что они сделали народу. Мы тоже не отставали, и наши детские неокрепшие голоса, как желтые речные лилии, вплетались в величественный венок, сплетаемый всем миром во славу коммунизма.

И еще одна деталь, имеющая, пожалуй что, и символическое значение. Наш город К. стоит на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, и до того, как в сорока километрах выше города не построили самую крупную в мире ГЭС, чье водохранилище затопило тысячи гектаров пахотных земель и зерно теперь положено покупать у Канады, на реке Е. обыкновенно был славный, веселый ледоход, и это мощное, как музыка Вагнера, оптимистическое зрелище-явление почти всегда совпадало с описываемым весенним революционным праздником 1 Мая. Казалось, что природа, как и весь советский народ, тоже была в полном согласии с коммунистами, пока ее окончательно не обезобразили.

Как только оживала великая река Е. и льдины с хрустом, ревом вздымались скрежещущие, весь город К. стремился на берег в восторге, что еще одна зима кончилась. И — жизнь! Жизнь удало играла, голубыми ледяными плоскостями ослепляя! Гудели городские гудки всех заводов, люди бросали вверх шапки, выпивали на берегу, и расхристанный пьяный смельчак уже лез в страшную рычащую воду, удерживаемый плачущей женой и голосящими детками. Эх, да неужели же действительно все пропало? Не верю! Не верю! Не хочу верить!

Дети. Трехтонка. Коммунистическая площадь. И вот, в тот самый момент, когда трехтонка наша уже проехала трибуну, где стояли местные вожди, и мы уже махали им, и орали до хрипоты «ура», и они тоже, не чинясь, подавали нам ободряющие знаки, когда мы уже выворачивали шеи, пытаясь удержать в памяти родные коммунистические лица

как раз тут и

ТРОНУЛСЯ ЛЕД!

Раздались вышеупомянутые гудки.
И народ чуть не тронулся, на радостях, что

ТРОНУЛСЯ ЛЕД!

Мгновенно вскипела, заволновалась улица, мгновенно побежали, засуетились, и снова прокатилось громкое «ура», но уже в честь временно освободившейся стихии. Трехтонка остановилась.

Трехтонка остановилась, и я с тоской увидел хулигана-подростка, который ловко и лениво пробирался сквозь толпу.

Описывать хулигана — чего уж там его описывать, чего о нем говорить... Ну, естественно, на ногах — сапоги-прахоря, кепка-шестиклинка черная надвинута на глаза, белый блатной шарфик на шее. Он ловко и лениво пробирался сквозь толпу, и я, раскрыв рот, забыв обо всем на свете, наблюдал за ним, свеся флаг за борт грузовика. Я что-то чувствовал. Я чувствовал, что мы с ним связаны. Мы с ним связаны некой единой нитью.

Хулиган поравнялся с машиной, молниеносно выдернул флаг из моих несопротивляющихся пальцев и, отнюдь никуда не спеша, стал медленно скрываться в толпе, хлопая древком флага по голенищу сапога, как эсэсовец стеком (из кинофильма).

— Дзига! — шептал я, нахмурившись. — Пропала, канула дзига! Как играть, как жить, когда нету второй палки, когда нету основы, и разве что-либо способно заменить дзигу?

— Сегодня самый несчастливый день моей жизни, — объявил я, возвратившись с демонстрации и рассказав о пропаже.

— Ты ошибаешься, сынок, — мягко возразили нежные, ныне покойные родители.

Что ж, что ж, что ж! Время доказало, как правы были они. Товарищи, товарищи, товарищи! Где все? Где тысячи гектаров пахотных земель? Почему зерно положено покупать у Канады да им же еще и попрекать, что хлеб слишком дешево стоит? Где Арал? Где Сахаров и Солженицын? Зачем Чернобыль? Где детство, дзига? Где коммунизм, товарищи?

Тут гром ударил в небесах,
И все уехали в машинах.
Осталась в шелковых трусах
Красотка спать одна в перинах.

Один неуступчивый, не от мира сего философ решил, когда настал его очередной, оплачиваемый отпуск, не проживать на казенной даче, а немного попутешествовать по родной советской земле с целью еще лучше изучить ее, еще больше понять и полюбить, если можно.

Сел философ в автобус № 666 и приехал на 8-й километр В-ского шоссе, где до сих пор экологически сохранилась значительная и уникальная реликтовая дубовая роща, оставшаяся от Петра I, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненки.

Философ шел по роще. Он курил кубинскую коммунистическую сигарету «Лигерос», подаренную советскому народу товарищем Фиделем Кастро, и много размышлял о том, что жизнь ныне все больше и больше кажет свою черную изнанку: разрушаются реки, дымят ненужные заводы, зерно закупается у Канады, пестициды и нитраты заполонили все вокруг, успешно развиваются проституция, коррупция, рэкет. Страна неудержимо катится в пропасть.

Философ вспомнил, как однажды был в Чехословакии, поглядев вверх, на сомкнувшиеся величественные дубовые кроны, еще раз подумал об этой чудесной стране и ее бывшем руководителе, коммунисте Дубчеке, который, по слухам, ходившим в той среде, где подвизался философ, все годы своей опалы работал на лесопилке.

Солнце уходило за горизонт. Жужжали неведомые жуки, зеленые мошки судорожно парили над куском застывающего коровьего дерьма, терпко пахло травами, сладко зажилось философу в эту данную ему Богом секунду.

Замечтавшись, он чуть было не уткнулся головой в высокий красный забор с пущенными по его верху двумя рядами колючей проволоки. Философ закашлялся, отпрянул, огляделся по сторонам. Нет! Ничто не нарушало очарования этого вечернего времени. Так же светило солнце, и даже какие-то птицы запели, заухали...

И философ решился. Он пошел вдоль красного забора, считая шаги. В одну сторону он насчитал около 1500 шагов и увидел, что забор поворачивает направо под прямым углом 90°.

И ни души! Упрямый философ вновь пошел вдоль забора до следующего угла, и на этот раз шагов оказалось около 2000.

Солнце село. Сыростью потянуло от кустов. Забор вновь повернул на 90°, а шагов было опять 1500. Как ни упрям, ни неуступчив был философ, но и он вынужден был признать, что идти далее ему не следует, ибо забор представляет собой ровный прямоугольник размером 1500 на 2000 шагов. То есть, если принять, что размер одного шага составляет около 1 метра, ну пускай 90 см, то размер малой стороны прямоугольника равнялся 1350—1500 метрам, большой стороны — 1800—2000 метрам, а общая площадь его составляла 2 430 000 — 3 000 000 квадратных метров.

Философ сначала страшно удивился, зачем такой длинный забор, но потом понял, притих и, сопя, полез на дуб. Но он уже много лет не занимался физкультурой, не бегал по утрам в кроссовках и трусах, не поднимал гантелей, гирь, штанг, поэтому залезть на дуб не смог — сказались годы застоя. Повис, как мешок, на первой же мощной ветви и тут же рухнул в траву, примяв ее, но все же успев заметить, что за забором ничего нету, кроме таких же отдельных дубов и другой зелени, среди которой краешек его глаза успел поймать нечто алое, очевидно, гроздья красной, зреющей рябины.

Любопытство жгло философа... А темнело, но он вдруг заметил в длинном заборе маленькую калиточку, тоже всю украшенную ржавой колючей проволокой, а в калиточке — такой крупный глазок, изнутри чернеющий черненьким. И натоптанная тропиночка вела к калиточке.

Философ немного поколебался, а потом прильнул своим глазом к заборному глазку, но поскольку там было черно, то ничего не было видно.

Он тогда толкнул черненькое пальцем, потому что черненькое это оказалось куском автомобильной резины.

Философ заерзал, чтобы лучше все видеть, а затем молча, но быстро побежал вдоль забора обратно, сопровождаемый из-за забора лаем собак и хриплым человечьим криком:

— Я тебе поподглядываю, гаунюк!

Значительно позже, успокоившись, придя в себя, он узнал, что здесь было то самое место, обнаруженное следопытами перестройки, о чем говорили в программе «Мемориал». Что здесь была расстрельная зона, и немало честных коммунистов полегло под этими дубами — так сказали в этой телевизионной программе. Что коммунисты были честные и их расстреляли, но что были там и некоммунисты и даже антикоммунисты, но их все равно расстреляли, и эти страшные факты до сих пор все равно скрывают от советского народа...

Успокоившись, придя в себя, философ решил продолжить свои исследования и размышления. С этой целью, купив авиабилет, он оказался на своей исторической малой родине в Сибири, в северном секторе великой сибирской реки Е., впадающей в Ледовитый океан.

Была ранняя весна, совпавшая с его очередным, оплачиваемым отпуском. Философ переправился на лодке через Ангару. Тихо такал подвесной мотор, лодка шла медленно. Рулевой — кряжистый сибирский мужик в болоньевой телогрейке, с сизой щетиной на несвежих щеках, зорко, как медведь, приглядывал, чтобы не уткнуться носом в губительную льдину. Прикусив фильтр сигареты «Тройка», которой угостил его философ, старожил рассказал приезжему, что 35 лет назад, в такую же пору, он вез через только что вскрывшуюся реку бесстрашного офицера ГУЛага и тот дал ему за храбрость 25 рублей «старых денег». Философ занес эту и еще множество нелепых историй из жизни простого советского народа в свою записную книжечку, оснащенную сафьяновым переплетом. Затем он дождался рейсового автобуса, который поехал, трясясь на ухабах и буксуя в серьезной, жидкой, объемной грязи.

Девственные просторы! Сумрачная тайга! Покой, воля, но философ внезапно увидел в лесу высокий металлический шпиль — ажурное сооружение из бетона и стали.

— Шпиль... Зачем же здесь, в тайге, может быть шпиль? — размышлял он, направляясь к шпилю.

Внезапно в грудь ему снова вонзилась колючая проволока. Философ поднял глаза и снова увидел, что перед ним снова красный забор, который он на этот раз не успел измерить шагами.

Потому что снова раздался лай собак и хриплый невидимый голос гаркнул:

— Ты кто такой? А ну подойди на контрольно-пропускной пункт или беги отседова, гаунюк!

Пораженный до всех глубин своего существования, философ бросился вверх по дороге. Хорошо, что у автобуса как раз спустило колесо и путешественник смог вскоре занять свое законное место в нем, согласно купленному билету.

И лишь успокоившись, придя в себя, значительно позже он узнал, что его снова могли свободно застрелить, потому что это был тайный ракетный полигон, который не только рассекретили недавно ввиду перестройки, но даже пригласили туда на экскурсию — кого бы вы думали — коммунистов Чаушеску, Гусака, Хонеккера и Живкова? Как бы не так! Американцев туда пригласили, чтобы весь мир понял открытость нашей внешней и внутренней политики. Смотри, любуйся, дядя Сэм, у нас нет больше секретов, общечеловеческие ценности превалируют над классовыми!..

— Тьфу, — сплюнул философ. — Даже противно! Зачем же все-таки совсем забывать, что это ведь империализм — высшая стадия капитализма, всегда издевавшаяся над коммунистами. Достаточно вспомнить времена Маккарти, Чарли Чаплина, Поля Робсона, Анджелы Дэвис и многих других! Пускать бывших «потенциальных врагов» в святая святых, где чуть было не замели меня? Правильно ли это в идеологическом плане?

И тоскливо стало ему и противно, до того, что он даже сделал по-

пытку уговорить меня, с одной стороны, автора, с другой — персонажа, не писать больше «рассказы о коммунистах» и поэму, но я резко возразил ему, что выполняю свой писательский долг, ибо эти рассказы уже обещаны, и не какому-нибудь одиозному изданию, а журналу «Знамя», некогда органу Союза писателей СССР, ежемесячному литературно-художественному и общественно-политическому изданию, выходящему с 1931 года.

— Да только вряд ли они всю эту белиберду напечатают, — сказал философ, и мы с ним достигли консенсуса.

Ибо он понял, что я в интересах истины и справедливости просто обязан скупо описать, как в сказке, третью и, скорей всего, наиболее значительную из его попыток еще лучше изучить, еще больше понять и полюбить, если можно, родную советскую землю.

Что я и делаю. Деидеологизированный перестройкой, обозленный свободой, данной на территории СССР империалистам, подумывающий о том, не вступить ли ему в общество «Память» либо в партию анархо-синдикалистов, философ пошел к красной Кремлевской стене со стороны Александровского сада и поднялся на цыпочки.

Но велика красная Кремлевская стена, и акт этот — «поднимания на цыпочках», акт априорно бессмысленный, с «достоевщинкой», был очередной вехой философа на его пути в геенну нигилизма, экстремизма и безверия.

И он тогда, подсмеиваясь и бормоча себе под нос матерные русские слова, прильнул к имеющейся в красной Кремлевской стене со стороны Александровского сада дырочке и принялся жадно подглядывать, что это там теперь творится в Кремле, кто победит — Ельцин? Лигачев? Горбачев? Да и воюют ли они? Может, они наоборот, друзья не разлей вода?

И — вздрогнул внезапно, ибо на плечо ему легла тяжелая, крепкая, сильная, но одновременно добрая длань.

Философ вздрогнул и даже тихонечко пукнул, полагая, что на этот-то раз ему уже точно придет окончательный конец — поражение в правах, исправительно-трудовое учреждение в Мордовской АССР, а жена найдет себе другого...

И Голос он вдруг услышал, философ, человек, чуть было не поглощенный хладной пучиной безверия, энтропии и денудации! Голос, показавшийся ему знакомым с детства:

— Не волнуйтесь и не пукайте, товарищи! Мы, коммунисты, теперь доверяем всем нашим советским людям. Мрачные времена Сталина, Берии, волюнтаризма и брежневщины безвозвратно канули в прошлое! Советский народ, избавившись от тоталитаризма, теперь уверенно глядит в будущее! Обернитесь, товарищ, и мы обсудим с Вами все Ваши проблемы по лучшему изучению родной советской земли с целью еще большего ее понимания и более крепкой любви к ней, если можно!

Философ, весь белый от ужаса, боялся разворачиваться, но потом все же решился и сделал это.

И лицо его озарилось тихим, неземным сиянием. Я знаю, я читал: кажется, такой конец рассказа называется «открытым финалом».

Она пьяна, бесстыжа, смята.
Во сне бормочет: «Мужнка!»
Ее лицо по-детски свято.
Душв печальна и легка.

Дорогой друг!

Что-то решил написать тебе письмо. Что-то не так легко сочиняется, как прежде, в годы застоя, когда страна катилась вниз по наклонной плоскости, намазанной идеологическим мылом. Что есть ТО, что заставляет вообще что-то писать?.. Перестройка уже пятый год, и все в стране совершенно изменилось, за исключением прежней тоски, сосущей сердце... Читаю ли журналы «Новый мир», «Наш современник», или слушаю выступления В. Распутина, Ю. Афанасьева, Собчака, Ельцина, Лигачева, Горбачева, а все что-то точит, точит, и я боюсь, что уже неспособен буду жить в том новом обществе, которое все они обещаются построить...

Отравленный многолетними миазмами идеологии, необратимо повлиявшей на мой слабый организм какого-никакого, а все-таки художника.

Вот свежий пример — сейчас вот, неизвестно для чего сочинил эту «поэму и рассказы о коммунистах», хотя какое мне собственно дело до указанного предмета темы? Славы эти рассказы мне не прибавят и не убавят, но полагаю, что и не доставят на сей раз хлопот через казенный дом, что на площади Дзержинского. Не те времена, говорят коммунисты, а я привык им верить, какую бы чепуху они ни плели. Верить в смысле некой охранной грамоты на неопределенный отрезок времени, который может закончиться в любой момент, а может, и закончился уже, да только мы с тобой об этом не знаем, хотя и надо бы... Сочиняю «рассказы», а думаю о другом, а именно: что мне уже перевалило с четвертого на пятый десяток, что я теперь стар, сед и лыс, что память моя слабеет с каждым днем, и я уже плохо помню вкус молдавского портвейна «Лидия», который мы с тобой любили пить в детстве.

И я — философ, и я живу на казенной даче, и у меня нежная любящая жена, деточки, и я обременен любимой работой, и я был в Чехословакии, Финляндии, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польше, США, но отчего же такая тоска сосет сердце, особенно сейчас, летним вечером, когда погасло светило и тьма за окном, лишь яблоки белеют на черном да глухо бормочет за стеной чужой телевизор.

Лечь в постель, взяв в руки свежий номер прогрессивного журнала, газеты, послушать «Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкую волну», радио «Свобода» — как там они оценивают изгибы и перспективы перестройки, что нового написал Юрий Кублановский, когда вернутся Аксенов, Бродский, Солженицын? Заснуть. Увидеть сон — чистое пространство, не обезображенное идеологией, изумрудного цвета траву, фонтан с писающим мальчиком — так ведь все это и наяву есть, и нужно не лениться, а просто-напросто оторвать задницу от кресла и куда-нибудь недалеко поехать, туда, где все это есть наяву, а не во сне. Или, засучив рукава, взяться всем миром и все это построить для всех?

Или пить чай с малиновым вареньем, смотреть по телевизору то, что раньше смотреть нельзя было нигде.

Свобода?

Можно наконец куда-нибудь «махнуть»... У-у, мерзкое слово! О, разоренная наша земля!

Так отчего же такая тоска?

Отвечаю: наверное, в этом виноваты коммунисты.

А может быть, наверное, и не виноваты. Бог знает...

Лицо... по-детски свято...
Душа печальна, легка...

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Ольга Берггольц

ИЗ ДНЕВНИКОВ
(май, октябрь 1949)

«И я Тобой становлюсь, Эпоха, и Ты через сердце мое говоришь» — эти строки Ольги Берггольц могут служить эпиграфом ко всему ее литературному наследию, в том числе к дневникам. Читая дневники Берггольц сегодня, видишь: это уникальная книга, по крупицам впитывавшая в себя факты, события, судьбы, что постепенно складывалось в целостную панораму многострадальной жизни народа, страны.

Надо ли объяснять, какое высокое гражданское мужество требовалось для того, чтобы вести и хранить т а к и е дневники?..

По свидетельству Марии Федоровны Берггольц, сестры поэта, бескорыстному самоотвержению которой мы обязаны ныне большинством публикаций из поэтического и прозаического, публицистического и эпистолярного наследия Ольги Берггольц, дневники Ольга Федоровна вела периодически в довоенные, военные и послевоенные годы.

Записи 1939—1940 гг. связаны с трагедией, о которой говорят тюремные стихи: «Дни проводила в диком молчании, зубы сцепив, обхватив колени. Сердце мое сторожило отчаяние, разум — безумия цепкие тени». Первым из этих дней стал день ареста 13 декабря 1938 года. Последним, на счастье последним,— 3 июля 1939 года. Почти через две недели — 15 июля — в дневнике появляется запись: «Я е щ е н е в е р н у л а с ь о т т у д а, очевидно, еще не поняла всего...» Слово в слово о том же 5 октября: «Да, я е щ е н е в е р н у л а с ь о т т у д а». И лишь время — какое время! — спустя приходит признание, зафиксированное записью от 28 октября 1942 года: «Ленинград. За окном артиллерийские залпы. Осада — уже 15 мес. блокады. <...> Тюрьма простилась — т. е. перестала болеть, т. к. заменилась другой, новой, острейшей и тоже общенародной болью. Рубец же от нее, конечно, остался на всю жизнь. Сейчас, во время войны, особенно ясно видишь, какого громадного размера достигало ежовское преступление, как расплачиваемся мы за те дикие годы теперь. Что будет дальше — увидим. Лелею надежду, мечту, что после войны не повторится пережитого ужаса 35—39 гг.».

Рубец, судя по всему — да и могло ли быть иначе? — саднил непрестанно, а надежда тлела не самым жарким угольком. «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?» Тревожный вопрос-раздумье, ни на день не оставлявший Ольгу Берггольц, приводит Илья Эренбург, вспоминая в книге «Люди, годы, жизнь» их встречу в послеблокадном Ленинграде.

В войну возможность повторения массового террора, новых повальных репрессий Берггольц не исключала. После войны допускала уверенно. Дневники, зарытые в землю в отчаянные дни 1941 года, когда блокированный город жил под угрозой вражеского штурма, перепрятывались заново. Куда как наивным, право же, способом: плотно исписанные тетради «в линейку» прибивались снизу к сиденьям стульев,— ох уж эта простодушная конспирация российских интеллигентов!

Архив Ольги Берггольц, как свидетельствует М. Ф. Берггольц, «не однажды подвергался конфискации,— официально — в 1938 году, при аресте, и неофициально — после ее смерти». Нынешние журнальные публикации — те именно материалы, которые удалось обнаружить и собрать.

Дневниковые записи, предлагаемые читателям «Знамени», относятся к маю и октябрю 1949 года. Весной этого года Ольга Федоровна поехала в село Старое Рахино Крестецкого района Новгородской области. Что повело ее туда?

В 1944 году в соавторстве с Г. П. Макогоненко, мужем Ольги Берггольц (в дневнике — Юрий, Юра, Юрка), были написаны опубликованные в «Известиях» очерки «Русская строчка» (1944, 13 августа) — об искусстве народной вышивки — и «Русская женщина» (1944, 19 августа). Как явствует из дневника, томило чувство неудовлетворенности. С расстояния времени эти очерки стали видеться непомерно бодряческими и патетичными. И даже понимание, что тогда, в предпобедном 1944 году, «иначе все воспринималось», утешения, очевидно, не приносило.

В самом деле: в обоих очерках увлеченно живописалось не реальное, а желаемое, воображаемое благоденствие села, которое будто бы и не затронуто, обойдено войной. Не по войне празднична олеография, в роскошных красках которой выдержаны портреты и судьбы людей. «Солдатка!.. Стоит вымолвить это слово, и в представлении возникает издавна сложившийся образ женщины-солдатки,— сгорбленной горем и нуждой женщины, покорной горькой своей судьбе... Нет, нету таких солдаток в нынешней деревне. Не видели мы их и в Старом Рахине».

И вот встреча с этими же людьми весной 1949 года. Дневник, который вела Ольга Берггольц в Старом Рахине, поражает беспощадной жесткостью описания безысходных драм послевоенной деревни. При этом суровый, словно в укор прежним очеркам, рассказ о них сопровождается столь смелыми и резкими политическими суждениями, оценками, выводами, что позволяет видеть в авторе человека, чья нестесненная, раскованная мысль была способна опережать общественное сознание, превосходить его уровень.

Не будет поэтому преувеличением признать, что двумя десятками страниц дневника Ольга Берггольц по-своему предвосхитила очерки Овечкина и повести Тендрякова, «Братья и сестры» Абрамова и «Рычаги» Яшина.

Вчитаемся, вдумаемся. Мало того, что женщина, впряженная в плуг вместо лошади — «Репинские бурлаки — детский сон» — никак не вписывалась в послевоенные, от Семена Бабаевского до Галины Николаевой, деревенские одописи. Редко кто и из самых честных, совестливых, знавших всю подноготную, тяжкую правду деревни, отважился на диагноз, к которому бесстрашно пришла, опираясь на собственные наблюдения, Ольга Берггольц: «Колхоз все более отчуждается от крестьян», и в этом проявляется «общее отчуждение государства и общества». Не желая считаться с человеком, государство подчиняет его себе, «раскатывает» собой — всесокрушающей силой своей «цепной, огромной, страшной системы».

Сегодня мы называем ее административно-командной системой казарменного социализма. Не зная таких понятий, Ольга Берггольц распознавала их сущность, проницательно угадывая в ней первопричину «угнетенно-покорного состояния людей и чуть ли не примирения с состоянием бесперспективности».

Предназначив своей музе «О т с е р д ц а к с е р д ц у. Только этот путь», Ольга Берггольц не оставила на собственном сердце ничего утаенного, невысказанного. Оттого столь редкостно откровенны ее признания и в глубоко личном, интимном, что томило и мучило предчувствием семейной драмы, когда сбудется «последнее, самое страшное горе». Таков второй мотив дневника.

Дневник полон раздумий поэта о своем творчестве. Раздумья эти резко полемичны. Адресаты полемики, как правило, конкретны. Николай Грибачев — персонифицированный знак чуждого Ольге Берггольц, неприемлемого для нее парадно-лозунгового, лубочно-лакировочного, катужливо-бодряческого стихотворства. Бронислав Кежун, Валерий Друзин, Александр Дементьев — увы, и Дементьев тоже! — «проработчики», чьей «критике» она обязана необходимостью «обелиться» на партбюро. Сегодняшний читатель вправе недоумевать и негодовать, гневно повторяя вслед за поэтом: «Это мне-то, за мою блокаду, каяться и «исправляться»!». Но шел 1949 год, когда блокадные стихи Берггольц, особенно поэму «Февральский дневник» иные ратоборцы за оптимистический соцреализм метили жупелом пессимизма и дегероизации, клеймили за якобы искусственную драматизацию и нарочитое сгущение мрачных красок. Не во власти таких «теоретиков» было скрыть трагедию блокадного Ленинграда. Но сделать ее задним числом посытнее и потеплее, поубавить смертей, ох, как хотелось!..

Что же противопоставляла Ольга Берггольц беспардонным атакам на свое творчество, какие проповедовала эстетические принципы? Дневник убеждает: идеи «самовыражения», провозглашенные Ольгой Берггольц в преддверии Второго всесоюзного съезда писателей, вызревали еще в первые послевоенные годы. Оттого так напористы суждения о самоценности собственной судьбы поэта и яростно неприятие писательского самоумаления. «...Надо знать «жизнь народа», но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь — тоже что-то значит... Баба, умирающая в сохе,— ужасно, а со мною — не то же ли самое!»

Преувеличение? Ничуть. Сравнение оправдано тем, что Ольга Берггольц, как и другие писатели, не пользовавшиеся опекой власти, жила под прицелом и видела себя впряженной в соху отчужденного государства, его всесокрушающей системы насилия, которая не оставляет личности никаких прав и свобод. В том числе — неоспоримого права поэта на свободу творчества, ибо на ней только и может покоиться «самовыражение», хрестоматийную «формулу» которого Ольга Берггольц даст в «Дневных звездах»: предельная правда «н а ш е г о о б щ е г о б ы т и я, прошедшего через м о е сердце». Тем острее боязнь не суметь или не успеть выявить, реализовать свои возможности. «Я могла бы быть истинно народным поэтом, если б не этот гнет,— и я была им во время войны, и я могу — могу писать».

Не просто житейских неурядиц гнет. И не только пережитых или предугаданных, ожидаемых семейных драм. «Отвратительные сны... с арестами, с потерей друг друга, с бегством», мелькнувшие в мартовских записях о Старом Рахине, разрастаются в кошмар одного ленинградского дня, описанного в дневнике 31 ок-

тября. Сопоставляя эту запись с трагедийным «Триптихом 1949 года», нетрудно убедиться, что она о том же, о чем и стихи. Об Идущих Следом, чей бдительный присмотр отнюдь не мерещился поэту по причине крайней мнительности, а подтвержден пухлым томом «дела», по сей день, возможно, пылящимся в подвальных недрах так называемого «Большого дома» на Литейном.

То был год «ленинградского дела», о котором пишет Ольга Берггольц в дневнике, не без оснований страшась, что, как признанный поэт блокады, может быть объявлена его «идеологом». Год постыдной «борьбы» с «космополитами-антипатриотами» в литературе и искусстве. Год расправ и погромов в биологии, философии. Год... да мало ли чего еще, что было брошено в раскаленные топки. Ольга Берггольц чувствовала их всеистребляющий жар острее многих. По тяжко обретенному и высокой ценой оплаченному «праву разделенного страданья», которым рождены лучшие строки ее поэзии и прозы. И, как ясно теперь, и страницы дневников, этой летописи страдающей и страждущей души.

В. ОСКОЦКИЙ

ЗАПИСИ О СТАРОМ РАХИНЕ
КОЛХОЗ. 1949 г.

20/V—49.

Нахожусь в селе Старое Рахино, у женщины, о которой когда-то, в 44 году писала по рассказам Юрки, бывшего здесь после выборгской истории.

Он, конечно, 99% придумал тогда, мой Юра. А, может, тогда было иначе, и иначе все воспринималось, в дни, когда сломали Финляндию и шли по Европе.

Первый день моих наблюдений принес только лишнее доказательство к тому же, все к тому же: полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы.

Весенний сев т. о. превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности: государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем: нет лошадей (14 штук на колхоз в 240 дворов) и два в общем трактора... И вот бабы вручную, мотыгами и заступами поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об огородах. Запчастей к тракторам нет. Рабочих мужских рук—почти нет. В этом селе—400 убитых мужчин, до войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора—где сын, где муж и отец. Живут чуть не впроголодь.

Вот все в этом селе—победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну, хорошо, послевоенные трудности, пиррова победа (по крайней мере для этого села)—но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности.

Хозяин мой говорил—«конечно, если б не новая подготовка к новой войне,—мы бы встали на ноги, но ведь все же силы брошены на нее»... И в самом деле, все тракторные заводы продолжают ожесточенно выпускать танки.

Вырастить лошадей—тяжело, да и много лет пройдет, пока они будут работоспособны, а ждать, чтоб их дали,—не ждут.

Но больше всего поразила меня сама Земскова. Ничего общего с тем обликом, который мы, видимо, просто сочинили. Милая, обаятельная, умная и — страшно уставшая женщина. Она сказала вчера, почти рыдая: «Понимаете, жить не хочется, ну не хочется больше жить».—и несколько раз повторила это в течение дня.

И сама же указала одну из причин: вчера, например, приезжали двое — секретарь обкома и секретарь райкома и ругали ее за отставание с севом. Советы—пахать на рогатом скоте, вскапывать землю вручную, мобилизовать всех строчильщиц.

Мужики, верней бабы, жалеют коров, и пахать можно не на всякой.

Поэтому в качестве основной меры для выполнения плана вспашки применяется... женский ручной труд. Старик, отец хозяина, сказал—«да ведь тут львиная сила нужна, а не женская».

Конечно, жалко «конягу» Салтыкова-Щедрина, ну а представить себе на месте этого надрывающегося коняги на том же пейзаже—бабу с мотыгой или—уж куда «натуралистичнее»—бабу, впряженную в плуг, а и это—вспашка на себе—практиковалось в прошлом году, да и в этом—вовсю, на своих огородах—там исключительно.

Земскова с горечью и слезами в голосе говорила, что дом у нее заброшен,— еще сегодня — «а я и обед-то не варю; вот сегодня щей сварила,—так, пожарю немного рыбы, молока похлебаем... Маленькая семья, что ли, так потому и не естся».

Если б эта женщина занималась только домом,—он процветал бы. В общем, они живут неплохо—корова, свинья с поросятами, поросенок, 0,5 огорода.* Но она отрывает для дома время от общественно-партийной нагрузки—она секретарь (нелепой по идее, по-моему)—территориальной парторганизации, и вот бесконечные «пустоплясы» дергают ее, «руководят» и т. д. Вчера только их было тут двое, и один из них дико накричал на нее за то, что она разрешила колхозной лошадью одной больной вдове вспахать огород. «Нельзя,—весенний сев, колхозу надо пахать». Для колхоза. Вдова — колхозница, и у нее трое сирот, дети убитого солдата...

Колхоз все более отчуждается от крестьян. Они говорят—«это работа для колхоза». Земскова говорит, что «придется итти работать на колхоз». И это у тех, которые с верой и энтузиазмом отдали колхозному строительству силы, жизнь, нервы... Это—общее отчуждение государства и общества.

Нет, первоначально было не то, и задумано это было не только для выкачки хлеба... Да они и сами понимают это.

Третьего дня покончил самоубийством тракторист П. Сухов. Лет за 30 с небольшим. Не пил. За несколько дней до этого жаловался товарищам, что «тоска на сердце, и с головой что-то делается». Написал предсмертную записку—«больше не могу жить, потерял сам себя». «У него, правда, что-то все не ладилось,— говорила Земскова,— но человек был неплохой. С женой неважно жили, она его слишком пилила, чтоб и в МТС работал, и тут норму выжимал».

Он повесился на полдороге от Ст. Рахино до станции, невдалеке от дороги. Путь к себе заметил,— пучками черемухи и сломленными верхами ели,— «партизанская манера путь указывать»,— заметил Земсков.

Говорила вчера с председателем колхоза—Качаловым. Потерял на войне трех сыновей, один имел высшее образование, историк. Жаловался на сердце,— у всех неврозы, неврастения, все очень мало и плохо едят, — «больше молоко».

Земскова вчера говорила: «После войны мне труднее стало. Из-за мужа. Очень трудно с мужчинами стало—они на войне к водке привыкли, от дома отвыкли. Споримся часто: сначала из-за водки начнется, а там и пойдет. И я его, и он меня всяко обругает. Так — неделю мирно, а три недели—ругань. Поэтому и трудней, чем одной. Никакого облегченья, новое расстройство—и все».

Ответ бойцов из части т. Земскова на наш очерк был, как и следовало ожидать, подсказан политруком и явился результатом проработки. «Поклонись своей жене»,—писали мы, и они отвечали в том же патетическом тоне. И вот—жизнь. А разве не все мы были тогда искренни? Или сами не замечаем фальши, привыкнув обращаться с массивными категориями фамильярно?

23/V—49.

Позавчера и вчера (явно схожу с ума, забываю и путаю дни) на экзаменах в 4, 5 и 6 классах сельской семилетки. Тут много отрадного. «Есть горячее солнце, наивные дети...» Есть и позиция: осознать себя в тюрьме и так спокойно жить. Ведь и там смеются и учатся—я знаю...

* Два патефона и два велосипеда! Плащ из пластиката, часы, сандалии, крем ноч. **(Сноска — автора).**

Осознать и пропагандировать, что это — единственный принцип жизни и общежития.

Вечер у директора школы.

Его рассказы о колхозе: негласное постановление правительства о выселении (с арестом) «лиц, разлагающих колхоз», — не желающих подчиняться дисциплине, и суд над двумя семьями, и их увоз с милиционерами, без захода домой *.

«Сразу появилось 80 рабочих рук, очень повлияло».

Рассказ о женщине, которая умерла в сохе. «Некрасиво получилось». Коняги. Вчера многие женщины, по 4—6 человек, впряглись в плуг, пахали свои огороды, столь ненавидимые государством. Но это — наиболее реальный источник жизни и питания. На колхоз — надежда неполная, тем более что пашут и сеют «от горя», кое-как.

И чудные, молодые девки — учительницы, некоторые — моложе Ирки [1], — мои дочери.

Глядя на них, впервые ощутила зависть к их физической свежести и привлекательности, — наверное, начало старости, и очень ясно почувствовала, что Юра, все еще молодой и очень красивый, захочет таких, а может, уже и имеет...

Всю зиму я, как намеренно, старила себя, не занималась собой. <...>

Вчера, сидя на экзаменах, взглядывала на озеро, вспоминала 44 г., и вдруг слезы кидались на глаза, и чувство горечи и одиночества захлестывало.

Зачем мне это все? Ну, они милые, эти ребята, эти учителя, эта Земскова, — а я? А Юрка? О них почему-то надо мне писать, они интересны, они — народ, — а мы? Почему счетовод Земсков интересней, чем Юра? Почему судьба Земсковой грустнее или значительнее моей? Зачем я сижу здесь, ем отвратительную пищу, от которой уже явно ослабла и похудела, дрожу от отвращения перед девушкой с волчанкой? Ну, да, я довольна, что все это повидала, надо знать «жизнь народа», но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь — тоже что-то значит. Но нет, она ни для кого — ничего не значит, и сами мы все время самоумаляемся.

Баба, умирающая в сохе, — ужасно, а со мною — не то же ли самое! И могу ли я быть, при этом-то родстве (конечно, «негласном», «неопубликованном», «секретном»), — могу ли я быть при этой бабе — «пустопляcом», как Грибачев и К°.

Приступы эгоизма очень одолевали вчера. Не знаю даже, так ли они постыдны, м. б. в них есть что-то зрелое.

И вот опять — милые ребятишки, старательно отвечающие, а я опять взгляну на озеро — и тоска об Юре. Пришедши домой, в чужую, и, собственно говоря, чуждую семью, — ревела в одиночку все время, еле оглушила себя валерьянкой, — оттого, что старею, оттого, что он не любит и — не понимает и я одна, и только одна знаю, что все со мной кончено.

Удивительное безмолвие в душе.

Даже запахи берез, полей и земли — запахи молодости и детства, запахи Глушина [2] — волнуют как-то глухо, не певчески. Ощущение «всей жизни» — то ощущение, которое дало мне в 42 г. «Ленинградскую поэму» и в итоге «Твой путь», — томит... Только раз или два прошелся по душе творческий трепет и тотчас же угас.

Внутренняя несвобода — обязанность написать то-то и то-то, — видимо, больше всего сковывает меня. Надо плюнуть на это, но должно «само плюнуться».

А ведь мне «необходимо обелиться», — в чем, е.т.м.?! Меня будут слушать на бюро, — как я «исправилась после критики моего творчества» — Кежуном, Друзиным и Дементьевым. Это мне-то, за мою блокаду, каяться и «исправляться». Эх, эх, эх... Соха!

Сейчас иду в школу — там у меня встреча с учителями. Сама, фак-

---

* О том же рассказ Земсковой. (**Сноска автора**).

Спросить — у П. П., как выселяли людей, разлагавших колхоз, и кто они были, и что делали. (**Запись автора на полях страницы**).

[1] Дочь Ольги Берггольц (1928—1936 гг.). (**Здесь и далее примечания редакции.**)

[2] Хутор в Новгородской области.

тически, навязалась — «чтоб знали», — (меня тут вообще никто не знает, кроме какого-то доктора, да знают еще «Жену патриота» [1], но без имени), а сейчас что-то неохота... Но все же — пойду...

23/V — 49.

Оказывается, то, что написано выше, я писала сегодня, а у меня уже слилось все в голове: может быть, от резкой перегрузки впечатлениями, — «барометр перестал падать». Первое, наверное, в том, что учителя очень хорошо слушали и очень понравилось, хоть сами ничего не говорили о себе. Но больное самолюбие успокоено... Нет, всерьез, дело не в «славочке». Просто среди работающих людей мне не хотелось прослыть бездельником.

Потом была у одного старика-строчильщика. Он очень мил, но мы уже об этом писали и больше навряд ли что выжмешь... Надо еще одного такого же навестить.

Потом была у одной женщины, Марии Васильевны Сочихиной, — «сочиняет стихи». Кажется, в общем — графомания, хотя отдельные строчки вдруг настораживают какой-то предельной буквальностью, тоже свойственной только графоманам. Но жизнь ее чудовищно тяжка. А мальчик ее Коля — очарователен до слез...

А в общем — я хочу домой.

Неужели Юрка больше не влюбится в меня, совершенно заново, неужели я не услышу его — того — бурного, почти рыдающего стона, за который могу тут же погибнуть?!

Отвратительные сны снились мне сегодня — с арестами, с потерей друг друга, с бегством... <...>

Вот только что опять поговорила с Земсковой. Она заявила, что Коля — вредный мальчик: «От него учителя даже плакали. Стали разбирать крепостное право, а потом — как теперь вольно живут, а он говорит — и теперь как крепостное. Все в колхоз, а оттуда государству, а нам остатки... Мать тоже политически вредная, мы б ее поставили на работу получше, да она властью недовольная...» Два брата у нее — оба были в заключении, по 58 ст., в 37—38 гг. попали... Второй сын Сухова, работающий в войсках охраны заключенных, был в плену, потом в лагере и теперь отбывает там службу, уже после заключения. До 50 г. подписку дал.

Так-так... Чуть копни — и сразу — заключение, или до, или после...

Почти в каждой избе — убитые или заключенные.

24/V — 49.

Сижу на пригорочке среди сосен, и такой простор кругом, такой голубой, пологий, русский, добрый, — такой только снился, да и то давно, — когда еще снилась «та полянка» [2], тоже новгородская, открывшая этот простор в детстве.

Дивной красоты сосна стоит рядом, со зрелой, широкой, архитектурной кроной, темно-зеленая, вся в золотых свечках. И все сосенки — в свечках, самые крохотные. Белые звездочки цветущей земляники, ярко-голубые с сиреневым фиалки — умиления бескрайнего.

И этот голубой окоем, и холмы то в нежно-зеленых, то в желтовато-кирпичных красках, и синее-синее озеро среди холмов и леса. Жаворонки наполняют воздух упоительным, ликующим щебетанием, томно, глухо восклицает где-то в лесу кукушка.

«Господи, люблю тебя и верю радости твоей, без которой нельзя жить и быть».

Господи! Господи...

И правда, — молиться хочется и плакать.

Вчера, когда вечером бродила по дороге среди холмов, встретилась женщина — щуплая, маленькая.

— Не попутчицей будете?

---

[1] Стихотворение «Песня о жене патриота» (1943 г.).

[2] См. рассказ «Та самая полянка», включенный в «Дневные звезды».

— Нет.

— А то идем в Кашино. У нас хорошо, люди приветливые.

— Я уж по вас вижу.

— Это верно, я приветливая, человека сразу в сердце принимаю.

Пошла с ней рядом, она рассказала сложную историю — идет из Крестец, — там дочь в заключении (ну, конечно, — в заключении).

— Молодая девчонка; только кончивши семилетку, пошла в магазин работать, там у нее недостача в 1700 руб... Ну, теперь-то я недостачу покрыла, но она второй месяц в заключении сидит, — за то, что уехавши была, пока дело не разобрали, — а мы и не знали, что уезжать нельзя... Прокурор говорит, — защитника брать нужно. А защитник, говорят, 700 руб. берет, а казенного теперь не дают.

И поплакала, и все рассказала (муж убит), и так сердечно приглашала к себе, точно знает меня много лет. — «Живем хорошо, очень хорошо». Куда лучше.

Наверно, об ней все уже все знают, захотелось поплакаться незнакомому человеку на дороге, — да еще этот человек явно городской, — вдруг что-то скажет, поможет.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах ты,
И вот, она не запятнала
Первоначальной чистоты.

И сегодня, когда брела, нагнала меня тоже баба, но старорахинская, Евгения Фед. Савельева. И тоже плакала, и тоже рассказывала всю свою жизнь и про жизнь в колхозе.

Муж убит в эту войну, на Ладоге.

— Наши мужики старорахинские какие-то несчастные. Всех скопом взяли да в одно место и отправили, под Ленинград, там они, под Лугой, говорят, скопом и полегли...

Жить тяжело, «питание очень плохое», «все женщины стали увечные, все маточные больные, рожать не могут, скидывают; одного-двух родит, уж матка выпадает. Так ведь потому, что работа вся на женщине, разве можно это?»

Сама — калека, вывихнула руку, ездив на бычке, потом «залечили». Под гипсом завелись черви и клопы.

— Нет, мы теперь, может, и выберемся, с госсудой разочлись... Да ведь что, главное, обидно? Зачем начальство (чинарство) так кричит на людей? Ведь разве мы не до крови, пота убиваемся? Что ж оно кричит-то на нас...

И заплакала... Громко-громко, как дети на экзаменах, выкладывала она мне это среди неоглядных, дивно прекрасных древнерусских просторов; после нее я вот взобралась на пригорок и сижу...

...Так нагоняли меня на дорогах бабы, плакали и рассказывали о своей судьбе, а Русь вокруг зеленела и голубела, и кукушка далеко-далеко в темном лесу отсчитывала годы... Уходящие, невозвратимые годы, их и мои.

А все же хорошо, вдохновенно-хорошо кругом. Покурю сейчас и пойду бродить и напевать тихонько...

Нет! Еще будут, будут стихи...

25/V — 49.

Вчера на холме так сожгла себе лицо, что боюсь сейчас на солнце высунуться. Подглазники отекли и старые-старые, как у 50-летней старухи. Я здесь уже 7 дней, а от Юрки ни открыточки, ни телеграммки... Ох, будет мне еще от него последнее, самое страшное горе — бросит, уйдет к другой.

Но мне уж, наверное, к тому времени будет пора «подбираться», — так и совпадут концы жизни.

Все равно, жизненной миссии своей выполнить мне не удастся — не удастся даже написать того, что хочу: и за эту-то несчастную тетрадчонку дрожу — даже здесь.

Выла вчера у дяди Саши Кондрашова, о котором тоже писали и напечатали очерк. Старик очаровательный; Юрик все время твердил — «ты, главное, судьбы, судьбы людей узнавай».

Старший его сын погиб на войне, два других вернулись инвалидами. У обоих — по 6—7 человек ребят, живут плохо, хотя один — пастух, хорошо зарабатывает, — «да как-то все у него не клеится», — говорил мне вчера предколхоза. Старуха его умерла в прошлом году. Живет с сыном Володей (25 лет, бывший кузнец, теперь «библиотекарь») и женой его, «агрономкой». Никаких работ этого замечательного мастера не сохранилось, — ни у него, нигде.

Еще запомнить чаепитие у фельдшера Влад. Францевича Бурака, его жены Алекс. Петровны и дочери Кати. Их рассказ об убитом сыне Андрее, — как она прощалась с ним в день войны, в лесу, около куста можжевельника. «Он ушел, а я руками рву можжевельник, полными объятиями, думаю — на память, на память».

Попрощалась — не задрожала,
А ушел от того куста,
Можжевеловый куст прижала
Прямо к сердцу [к телу], к лицу, к устам
Холодеющими руками,
Наломав объятье [охапку] ветвей,
Бормоча — «на память... на память».

. . . .

Хочу домой. Хочу сидеть и вслушиваться в себя — нет, нет, там есть стихи, хотя каждая фраза сейчас, которую пишу, и не только стихотворная, — любая, даже здесь, — кажется мне совершенно не тем, совершенно не выражающей мысль, — ни на йоту. Никогда такого не было: ощущение, что все слова не те.

Вроде как вкус не тот, — или пересолено, или переслащено, или непропеченное, что-то вязнущее в зубах, противно...

Все нужно снова: слова, ритм — внутренний, дыхание. Дыхания в стихе нет, вот что, воздуху нет. Дыхания души, дыхания внутренней гармонии...

И «первых слов» нет, — тех, с которых начинается стих, тех таинственных первых слов, которые потом, м. б., отомрут или будут в самом конце, в которых зародыш и главный звук-мысль.

Очень звучат зато внутри Блок и Есенин, которого по-новому слышу...

А «декадент» Блок писал о России так, что и сейчас эти стихи живее, созвучнее и глубже миллиона Грибачевых.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званый,
И земля да будет мне легка...

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Все ли благополучно дома? Наверно, пришло решение о моем проигранном деле [1] — не описали бы мебель. Как-то Андрюшка, Кузька. Я полюбила эту глупую собачонку — она так беззащитна, трогательна, доверчиво-оптимистична и глупа: ребенок!

Ох, скорей бы домой! Работать надо. Юрка, бедняга, замаялся один. Тоже — баба в сохе. Ему, с его крылатым умом и дарованием, — нужен досуг, нужен достаток, нужно спокойствие... (Вот чего не даю я ему — это правда.) Это варварство — так работать, как он, спеша и задыхаясь...

[1] Имеется в виду издательский иск по расторгнутому договору.

А у меня — экзамены по истории партии[1]. О, мерзотина... только, «размозолившись», садиться бы за работу — так на, сдавай эту муру, рви себе нервы.

26/V.

А вышезаписанное — перебил приход хозяев вечером.

Короче говоря, в этой тетрадке с той стороны, под рубрикой «Земскова» уже совсем собралась написать итог личных наблюдений: «колхозный вариант Кетлинской или, м. б. даже Кривошеевой[2]». Размышляя о бездельниках, изобилующих в сих местах, я несколько раз думала, — а П. П. — не бездельница ли уж тоже?» Вчерашние и сегодняшние разговоры с завдетдомом и учителями полностью, даже сверх меры подтвердили мои догадки, которые я всячески проверяла и обставляла разными объективными «но». Но на самом деле все сложней, страшней и занятней.

В том очерке мы писали вообще не о ней, а о том, что сочинил Юра, как я и подумала.

Да, это государственный деятель, но деятель именно того типа... Ее называют «хозяйкой села». Ее боятся. Боятся, и, конечно, не любят. В ее распоряжении строчка, — она любого может уволить, отправить на сплав, в лес и т. д. Т. к. все в основном держится на страхе, — а она проводник этого страха, его материализация, ей подчиняются. Она ограниченна и узка, и совершенно малограмотна. Усвоенные ее ограниченным, малограмотным умом догмы низшей политграмоты — т. с. база «идейная» ее деятельности. Она употребляет разные термины и слова без точного понимания их значения. Но это бы полбеды. Как все чиновники, держащиеся за эту систему и смутно понимающие, что она — основа их личного благополучия, — она бессердечна, черства, глуха к людям.

Об этом говорили решительно все, начиная от Сочихиной, простой бабы, кончая директором школы.

Сочихина сказала: «Она властвовать очень любит. Я бы вот властелином не согласилась быть. По-моему, у кого совесть, тот никогда себе властелином быть не позволит, совесть и власть — это врозь идет». (Очень интересная, кстати, думающая, хоть и хитроватая баба.)

Да, у П. П. властный характер и умение властвовать, т. к. она совершенно не любит людей.

Ее отзыв о повесившемся Сухове: «Его не в гробу везти, а на веревке тащить надо».

Ее отзывы о Сочихиной и Коле, — выше уже писала: «Мы ей не даем ходу как недовольной».

Спокойствие, с которым она говорила о «заключении», недобрая усмешка при моем упоминании, что я говорила с Краевой, недоброжелательство по отношению к учителям, врачам и т. д.

Ее история с Федоровой (завдетсадом) — чуть не выгнала ее из партии за то, что та отказалась устроить пункт голосования во вновь отремонтированном детсаде. Оперирование терминами — «не партийный поступок», «не наш коммунист» — трижды знакомый набор! Слова, отделенные от смысла и человека.

И эта страшная «установка»: «Не вооружать паспортами»! Оказывается, колхозники не имеют паспортов. Молодежи они тоже не выдаются, — чтоб никто не уезжал из колхоза. Федорова взяла к себе «техничками» двух молодых колхозниц и выправила им паспорта. Земскова рвала и метала:

— Зачем ты вооружила их паспортами?

То же самое говорили мне и учителя:

— Земскова чинит всяческие препятствия к тому, чтоб молодежь, даже ушедшая от нас в район, получила паспорта. Это ужасно действует на ребят. Они говорят — зачем нам кончать, нас отсюда все равно никуда не выпустят, а еще говорят, что молодым везде у нас дорога...

Итак, баба умирает в сохе, не вооруженная паспортом...

---

[1] Экзамен в системе партийно-политического просвещения.

[2] А. И. Кривошеева — критик, литературовед официального толка, издательский работник.

Вчера, идучи к фельдшеру Бураку, видела своими глазами, как на женщинах пашут.

Репинские бурлаки — детский сон.

Итак, Земскова не дает людям «вооружаться паспортами».

— Она каждый раз выступает, страшно неграмотно, но обязательно кого-нибудь обидит, изругает, и так грубо.

О том, что она обижает, «навешивает на человека», «собирает материал» — говорят решительно все. Тоже понятно. Она, видимо, полагает, что это — парт. критика и самокритика.

А я чуть было не умилилась, когда она бранила избачку Любу, телушку совершенную: «— Где доска показателей?» Выше писала, что это — ерунда.

И вот со всем этим сочетается в этой женщине — темное, языческое суверие, причем этому поверить странно.

Приехала весной 48 г. сюда молоденькая врачиха, — глав. врачом в больницу — и через два дня исчезла.

Искали ее упорно. Настроение у всех было подавленное. Бурака заподозрили в том, что он ее... убил.

П. П. тогда подает мысль (сам Бурак сейчас говорил), что она «попала в худой след». В след, оставленный нечистой силой. Если попадешь в этот след, нечистая сила тебя закружит, толкнет на смерть, иногда на злодеяние — в общем, на гибель.

Она говорила ему об этом с той же непоколебимой самоуверенностью, как в райкоме о чем-либо. «Надо поворожить, спросить у одной женщины». «Дали задание» этой женщине, — колдунье, живущей рядом с Бураком. Она вообще каждый вечер ходит под мост и там ворожит. Вот она под мостом поворожила, «доложила» Земсковой о результатах. Земскова сообщила фельдшеру: «Я знаю, — она здесь и отыщется». Затем нашли врачиху: повесилась в лесу, около озера.

«— Вот видите, — сказал парторг села, — я говорила! Отыскалась... А что задавилась, в худой след попала».

В худой след верят здесь твердо.

Мы писали — со слов Юрки! — о том, как она любит мужа, а оказывается — он женился на ней по принуждению, бивал ее, уходил от нее и т. д.

Тогда она сходила к бабке, поворожила, «взяла у нее средств». Это было уже после войны. Сейчас живут лучше, по крайней мере он перестал рыпаться.

Смешно, в общем.

Все, вместе взятое, — почти неправдоподобно.

Вообще минутами мысль, что все это похоже на сон. В особенности — оттого, что никак не могу поверить, что наяву вижу эти снившиеся, волшебные русские просторы, и обрыв сегодня точь-в-точь такой, как в Глубине, на мельнице в Запольске, где мы ловили стрижей... И девочка, беленькая Зоя Алексеевна, учительница 22 лет, на год старше Ирки, водила меня на точь-в-точь такой же обрыв над омутом, окруженный курчаво-зелеными и сине-голубыми просторами, и прыгала по краю обрыва, засовывала руку в стрижовые норки и кричала с детским восторгом:

— Ой, О. Ф., рука по локоть ушла, а ни до чего не добраться! Вы подумайте, как глубоко, а?

Господи, верю радости твоей... Верю радости твоей и хочу жить и быть...

Завтра еду. Слава богу, — ссылка кончилась. Жаль только уходить от просторов этих, холмов, озер и омутов...

27/V — 49.

Земскова говорит — рассказывая о вчерашнем заседании в Крестц<ах>: «Она ставила вопрос в сторону Ив. Мих. по части производства, а у него получился вопрос больше в сторону ее выступления»... «Она не ставила вопрос в продолжительности данного момента времени».

Выражение — А героизм, что ж, пожалуйста. Героизма не жалко, — не лошадь. **(Запись автора на полях страницы).**

Инвалид (кот. ее слушает): А-а! Все понятно!

Несчастные люди!

Этот инвалид-бухгалтер в строчке. Алексей Михайлович Митькин. Кореиной старорахинский, образование низшее, но потом как-то поднаторел на бухгалтерии. Воевал, сыновья тоже.

— Мы все впятером воевали. Под старшим сыном 13 танков сгорело, в Сталинграде.

Они с Земсковым выпили за завтраком, он пошел говорить...

Ногу ему оторвало в 41 году в Пушкине. Лежал всю блокаду в ленинградском госпитале, в университете. В общем, как и все, все понимает, только говорить боится.

Однако сказал, например:

— Я за что правительство ругаю? Почему от меня пенсию забрали? Мне ее, может, и не нужно в денежном выражении, пусть она мне как воспоминание будет, — что вот, тов. Митькин, участвовал ты в Великой Отечественной войне, пролил кровь, — мы это помним, и ты помни... Нет, отобрали... Так вот иногда идешь на озеро по рыбу, растянешься на своих костылях, и тут уж все как-то сразу вспомнишь, — ну и почнешь и в родину, и в правительство...

О Сочихиной сказал:

— Сочинения у нее с некрасовским духом. Она это больше всего Некрасова обожает. Ну так оно и верно, жизнь такая... некрасовская... А вам, извиняюсь, наверно, тоже рамки ставят? Правды-то ведь не пишут. Не думаю, чтоб сами писатели к неправде стремились...

Я была очень выдержанна, хотя две-три либеральных фразы сказала, — а он все понял — очень остался доволен беседой.

Женщина идет,
и все темнее
Вслед за ней ложится борозда,
И звезда, звезда горит над нею,
Ржавый Марс, тяжелая [неженская] звезда...
Несытый [Голодный] [Кровавый] Марс горит над полем...

И видно все ясней, все боле
(Когда померкнешь ты, когда?) труда
Багровый [Бесплодный] Марс горит над полем
Всегда несытая звезда
Еще голодная.

И вот все явственней, все доле
Стоит [Горит] [Встает] несытый навсегда
Багровый Марс над синим [русским] полем,
Давно бесплодная звезда.

Валдай — родина знаменитых бубенцов.

Колыбель бубенцов знаменитых
Тех, поющих [звенящих] по-русски, навзрыд,
Тех, что могут и петь и рыдать
Валдай — рыдай.

Тот же Митькин говорил:

— Мы все же думаем, что при Ленине было б иначе... Он, конечно, говорил, что можно в одной стране. А вот Бисмарк, кажется, говорил: если уж надо строить социализм, то надо взять страну маленькую, с небольшим народом, — в общем, такую, которой не жалко... н-да... а мы размахнулись на одну шестую часть мира, ну, где ж тут... н-да... Конечно, кто ж против этого строя возражает, ио ведь жить-то хочется... и-да... Ну, это верно Миша Калинин говорил, — на ошибках учимся, а может, в маленькой стране и ошибки были бы помене, иу и народу меньше пострадало бы... н-да...

Совершенно просоветский инвалид.

Коля[1] быстро сказал: «Про войну читать люблю».

[1] Кто-то из читателей сельской библиотеки.

— Что ж ты, не навоевался? Ведь сам был на войне.

— Ну, кака это война. Я люблю про настоящую, где героизм и подвиги.

[И пока не наступит] конец
Расступись-ка, дорога, раздайся,
Снова в сердце звучит бубенец
Бубенец серебристый валдайский.

Плачет в сердце [песне] моем бубенец
Плачь же в песне моей, бубенец.
Бубенец, бубенец, бубенец.

[ЗАПИСИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ ОКТЯБРЬ 1949 г.]

Председсельсовета Елена Михайловна читает «Говорит Ленинград», — какими словами говорит она мне о нем, — простая женщина, далекая от лит-ры. Я могла бы быть истинно народным поэтом, если б не этот гнет, — и я была им во время войны, и я могу, — могу писать.

Свободы! Свободы от ревности, от любви, от него...

31/X—49.

Были неск. дней в Ленинграде. Уезжала туда на большом подъеме: по-настоящему, по-настоящему пошли стихи, чудесно было с Юрой, — «чудовище» вдруг притихло, и северное сияние полыхало.

В Ленинграде было много суеты, и жизнь текла бессодержательно и в общем мучительно для сердца. Наш день, 26/X, мы провели хорошо и любовно. На другую ночь вдруг вспыхнул скандал, — я перечла переписанное мною письмо Бычкова[1], все залило внутри ядом, опять подозрения, опять одна боль. Ночь была ужасной, наговорили друг другу бог знает чего, встали разбитые, измученные, с ясным ощущением трещины, но все же решили поехать сюда.

Перед скандалом приходил Волька[2], — сказал, что ПБ получила задание — доставить компрометирующие материалы на «Говорит Л-д». Дело в том, что все наше бывшее партрук-во во главе с Кузнецовым, Вознесенским и т. д — посажено. Сначала сняли (это произошло вскоре после смерти Жданова), нам объявили — противопоставление Л-да Москве, без спросу организовали оптовую ярмарку, подделали перевыборы, обогащались за народный счет и т. д. В общем, «отец» выразился — «вроде зиновьевской оппозиции». (?) Отправили их на учебу, — а недавно пересажали всех, решительно всех — «антипартийная группа, связанная с Югославией». Теперь в Л-де массовые исключения из партии, аресты (много у нас в Союзе) — директива — ликвидировать все, связанное с этой группой, в особенности по части идеологии.

И хотя у меня нет ни единого имени из этой группы в моих книгах, а не то что «восхваления» их, хотя красной нитью через все мои стихи проходит идея единения Л-да с Родиной, помощи Родины Л-ду, хотя «Лен. поэма» посвящена только этой идее — не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать «идеологом» ленинградского противопоставления» со всеми вытекающими отсюда выводами вплоть до тюрьмы. Такой «идеолог» должен быть, и его «сделают». Видимо, уже идет работа.

В день отъезда Юра прибежал из из-тва дико взволнованный и сказал, чтобы я уничтожила всякие черновики, кое-какие книжонки из «трофейных», дневник и т. д. Он был в совершенном трансе — говорит, что будто бы услышал, что сейчас ходят по домам, проверяя, «что читает коммунист», т. е. с обыском. Кроме того, откуда-то запрашивали изд-во, — какие из моих книг, Саянова и Прокофьева — изданы.

[1] Один из фронтовых корреспондентов Ольги Берггольц.

[2] Всеволод Марин — директор Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, затем пониженный в должности в связи с репрессиями в семье жены.

Меня сразу начала бить дрожь, но вскоре мы поехали. Ощущение погони не покидало меня. Шофер, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор,—а мне показалось,— он ждет «ту» машину, кот. должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись,—«вот эта... Нет, проехала... Ну, значит,—эта?».

Уже за Териоками, в полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. «Эта». Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась—идет сзади. «Она». Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это—луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой... Дорога идет прямо, и она — все время за нами. Я чуть не зарыдала в голос,—от всего.

Так мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник. Лесной царь—сказка. Наконец мотор отказал совсем — ночью, в 50 км от дома! Идиот-шофер опустил руки. Помогло чистейшее чудо,— Юрка за бешеную сумму уговорил шоферов автобуса, идущего в другую сторону. И вот ночью, одни, в огромном пустом автобусе мчимся среди леса,— сказали им—35 км, обманули со временем,—едем, и мне все время кажется— не та дорога! Ни я, ни Юрка ночью тут не ездили. Она тянется бесконечно и адски долго. Нервы—как струны. Почти в 2 ч. ночи все же добрались, угостили шоферов, затопили печь в моей комнате, сели перед огнем. Добежали! Навряд ли «они» приедут сюда, если не схватили по дороге. Но ведь может быть!..

Юрка сказал,—«никогда у меня не было такого физического ощущения удушья, смыкающегося кольца вокруг нас».

Легли поздно, спали тяжко,—от всех этих событий, сведений, этой кошмарной поездки, водки,—было ощущение нереальности жизни.

Утром я собрала завтрак, нарядилась,—выхожу к столу, говорю— «здравствуй, Юрик»,—и вдруг вижу, что он, глядя в окно,—плачет, навзрыд, тяжко, истерически, и катятся огромные слезы,—и губы дергаются—первый раз в жизни вижу, чтоб так плакал мужчина,—так горько, обильными такими слезами, с такой беспомощностью и отчаянием.

У меня ноги подкосились,—думаю, сейчас скажет, что будет ребенок от Ю., или что-нибудь такое.

А он обнимает меня и плачет, плачет отчаянно.

— Я не могу, не могу, у меня чувство, что тебя уже отобрали от меня, уже разлучили нас. Вот уже руки к тебе протянуты, уже не вырвать тебя. Господи! Все, все, только не это, только не разлука— а я третий день хожу сам не свой и чувствую,—вот она, вот...

Я утешаю его (сразу откуда-то твердость и гордость в душе), а он цепляется за меня, целует мне руки и рыдает, рыдает в голос, страшно, истерически.

Публикация М. Ф. Берггольц

Наталья Думова

ИМЕНИ БАХРУШИНА

1

Что в Москве есть Центральный государственный театральный музей имени А. А. Бахрушина, знают многие. А вот о его основателе и о всем семействе Бахрушиных мало кому известно.

Семья эта была одной из самых уважаемых в купеческой Москве. Дальний предок Бахрушиных, татарин из Касимова, принявший православие, в конце XVI века переселился в город Зарайск Рязанской губернии. Как гласит семейное предание, он подал прошение царю с просьбой разрешить называться Бахрушиным (по мусульманскому имени отца — Бахруш), и потому однофамильцев у его потомков нет.

В Зарайске Бахрушины прожили более двух столетий. Занимались прасольством — скупали скот и перегоняли гуртом на продажу в большие города. Если скот по дороге падал, шкуры сдирали и продавали кожевникам. Так зачиналась традиция семейного дела.

В 1821 году Алексей Федорович Бахрушин перебрался с семьей в Москву. Прошли весь неблизкий путь пешком, следом за подводой с нехитрым домашним скарбом. Сверху была привязана корзина для перевозки кур. В ней прибыл в Москву единственный тогда сын — двухлетний Петр. В старости, обладая миллионным состоянием, он любил рассказывать об этом путешествии.

Поселился Бахрушин сперва на Таганке, на Зарайском подворье. Торговал скотом и сырыми кожами. Прошло четыре года, и предприимчивый Алексей Федорович начал поставлять в казну сырую кожу, в том числе особый ее вид, опоек,— он шел на изготовление солдатских ранцев. Товар брали с отбором, и у поставщиков скапливалось много непринятого опойка. Алексей Федорович придумал, как пустить его в дело: с 1830 года стал посылать опоек в Санкт-Петербург, на кожевенный завод немецкого купца Мейницигера, где выделывали лайку для перчаток.

Немец оказался не особенно добросовестным партнером: из столицы доходили слухи, что он перепродает бахрушинский товар. И Алексей Федорович решил сам заняться выделкой лайки — наняв дом в Кожевниках, завел малое перчаточное дело; в том же доме обосновался с женой и детьми.

На первых порах доход был невелик, на счету каждая копейка, и старший сын Бахрушиных, Петр, промышлял тем, что сопровождал с Мытного двора, где помещался сенной торг, купленные там возы с сеном до дома покупателя, чтобы не разворовали по дороге.

Вскоре скопили столько, что смогли прикупить маленькую кожевенную фабрику по соседству. Приобрели небольшой участок земли, который, постепенно расширяясь, превратился со временем в громадное земельное владение. В 1835 году Бахрушин был занесен в списки московского купечества.

Алексей Федорович был человеком находчивым, оборотистым. Ему не довелось получить образование, зато ума, наблюдательности, решительности природа отпустила с достатком. Он тянулся ко всему новому — в деле, в быту, даже

Из цикла «Московские меценаты». См. «Знамя», № 8 за 1990 г.

в одежде. Для себя и для троих сыновей Алексей Федорович заказывал новомодные короткополые сюртуки. Сыну Александру нанял учителя французского языка, чем удивил всех своих соседей и приятелей.

Правнук А. Ф. Бахрушина, Юрий Алексеевич, рассказывает в своих неопубликованных мемуарах такую историю. Алексею Федоровичу давно хотелось последовать дворянской моде — обрить бороду. Долго думал, как быть: купцу ходить безбородым считалось зазорным,— и нашел выход. Как-то в трактире после нескольких чарок побился с друзьями об заклад на сто рублей, что срежет бороду. Послали за цирюльником, но тот, увидев подвыпившую компанию, побоялся, что купец расправится с ним, когда протрезвеет.

— Не могу, ваше степенство, хотите — режьте сами,— сказал он.

— Давай ножницы! — воскликнул Бахрушин и разом отхватил свою пышную рыжеватую бороду.

Так же решительно он вводил новшества на производстве. Первым из российских кожевенных фабрикантов для выделки шерсти вместо портящей ее обработки известью применил промывку. В 1844—1845 годах полностью переоборудовал свой завод, провел воду из Москвы-реки, заменил тяжелую ручную работу машинной. Приобретенная им паровая двенадцатисильная машина была невиданной тогда диковиной в кожевенной промышленности. Над заводом поднялась высокая — много выше соседних — труба. Бахрушин очень ею гордился. Когда через много лет труба выбыла из строя, ее продолжали сохранять на заводе как реликвию.

За реконструкцию завода (она обошлась в 100 тысяч рублей) его владелец был награжден золотой медалью на анненской ленте (для ношения на шее).

22 декабря 1845 года состоялось торжество по случаю пуска заново оснащенного бахрушинского сафьяново-кожевенного завода. После молебна гости с любопытством осматривали новые машины, инструменты для выделки кожи. Удивляясь непривычно высокой заводской трубе, шептались: «В такую трубу легче всего вылететь!»

Завистливые толки оказались не без почвы. Когда через три года Алексей Федорович, заразившись холерой, умер, выяснилось, что касса его пуста, а завод и дом в Кожевниках заложены. Долги превышали стоимость движимого и недвижимого имущества семьи Бахрушиных, осаждаемой кредиторами. Опытные в коммерческих делах советчики рекомендовали отказаться от наследства и начать все сызнова.

Вдова и три ее сына — Петр, Александр и Василий — собрались на семейный совет. Судили, рядили и приняли решение: чтобы не порочить памяти покойного, принять все долги на себя и полностью их выплатить; в дальнейшем раз и навсегда отказаться от сделок в кредит, а тем более от долговых обязательств и производить любые расчеты наличными (этого правила все Бахрушины придерживались затем неукоснительно).

Семейное дело взяла в свои руки Наталья Ивановна Бахрушина — женщина грамотная (что среди купчих было тогда редкостью), практичная и здравомыслящая. Ей по мере сил помогали сыновья.

Принесло, наконец, плоды и мудрое предвидение покойного Алексея Федоровича: модернизированный завод начал приносить доходы, с каждым годом увеличивавшиеся. Новый способ обработки шерсти обеспечивал ее более высокое качество и делал пригодной для выделки сукна. В 1864 году братья пристроили к заводу суконно-ткацкую фабрику. Потом открыли торговлю сукном в Харькове и Ростове-на-Дону. Семья богатела, репутация ее упрочивалась,— уже в 1851 году Бахрушины получили звание потомственных почетных граждан.

Трудности, пережитые после смерти отца, наложили заметный отпечаток на характеры сыновей. Их бережливость доходила до скупости: отчаянно торговались с извозчиками за лишний пятак, в перечень расходов записывали: «Подано нищему Христа ради две копейки». Жили в свое удовольствие, но скромно. Купеческую похвальбу капиталами, кутежи, мотовство презирали и строго карали за это своих детей.

Обстановка в семье была самая патриархальная. Старший брат Петр Алексеевич, переняв бразды правления у постаревшей матери, самодержавно распоряжался всем домом. Братья долго жили вместе с его многочисленным семейством (из восемнадцати детей девять умерли в раннем возрасте, осталось четыре сына и пять дочерей). Ткань на одежду покупали штуками — для всех. Касса также была общая. Младшие братья обращались к старшему: «Вы, батюшка-братец Петр Алексеевич». До того, как он появлялся в столовой, никто из семьи не смел сесть за стол. Потом младшая дочь читала молитву и начинался обед, после которого все подходили к руке хозяина.

Бахрушины преуспевали. Большую выгоду принесли им как поставщикам армии военные заказы во время Крымской войны. Полученную прибыль решили по примеру отца обратить на модернизацию производства.

В 1861 году Александр Алексеевич на два с лишним месяца отправился во Францию, Англию и Германию, чтобы ознакомиться с тамошней кожевенной промышленностью (вот когда пригодилось знание французского языка!). После этой поездки бахрушинское предприятие подверглось значительным усовершенствованиям. Все необходимое для производства стали изготовлять на самом заводе, здесь же перерабатывали отходы.

Руководил Бахрушинским кожевенным заводом (после Октября — Московский фурнитурный завод) Александр. Петр управлял мощной суконно-ткацкой фабрикой (получившей при Советской власти название «Красное веретено»), которая выпускала лучшие сорта сукна, шерсть, шерстяную вату и т. д.

Василий Алексеевич ведал амбарами и обширной кожевенной и суконной торговлей, разъезжал по делам семейной фирмы по России и зарубежным странам.

В 1875 году был утвержден «Устав Товарищества кожевенной и суконной мануфактур Алексея Бахрушина сыновей в Москве». Основной капитал товарищества составлял два миллиона рублей (400 паев по 5 тысяч рублей каждый). Вместе с этим документом в архиве сохранился другой: «Расценки работ на кожевенном заводе Товарищества Алексея Бахрушина сыновей в Москве». Из многих его параграфов возьмем наугад:

«Мездрить, дернуть, чистить и гладить кожи разных сортов — от 10 до 17½ коп. за штуку». При этом рабочие обязаны безвозмездно «доставить кожи из склада в завод и взять для работы из зольника и исполнить все промывки».

«Размачивать в шайках кожи бычьи для полувала, выдерживать на хлеб, выстилать на козел, отвешивать и доставлять в дубную, включая все промежуточные перемещения и переборки — 06½ коп. за штуку».

За любое упущение на рабочих накладывали штрафы, особенно суровые за испорченный товар. И все же отношения Бахрушиных с рабочими складывались лучше, чем на многих других предприятиях Москвы. Они носили отпечаток патриархальности: на бахрушинских фабриках трудились из поколения в поколение, отсюда же хозяева набирали прислугу в свои городские дома, подмосковные имения и на дачи. На предприятиях братьев Бахрушиных, где к концу века работало до 400 человек, волнений и забастовок не было.

Еще более разбогатели Бахрушины на поставках для армии во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Но образ их жизни изменился мало, никаких роскошеств в семье не было и в помине. Деньги вкладывали в земельные владения в Москве, некоторые из них застраивали многоэтажными доходными домами — в районе Чистопрудного бульвара, в Большом Златоустинском (теперешнем Большом Комсомольском) переулке, в Козицком переулке у Тверской, в Богословском переулке (ныне улица Москвина), на Софийской набережной (теперь набережная Мориса Тореза) и др.

Братья были членами Московского биржевого общества, состояли в правлениях и советах московских Купеческого и Учетного банков.

Широко и щедро жертвовали Бахрушины на благотворительные цели, их даже называли «профессиональными благотворителями». В семье был обычай: к началу нового года, если предыдущий оказался в финансовом отношении бла-

гоприятным, выделять определенную сумму на помощь бедным, больным, престарелым, учащимся.

В делах благотворительных Бахрушины были столь же основательны и предусмотрительны, как в делах производственных. Не рекламировали свою деятельность, не выставляли ее напоказ. Но каждому новому благотворительному учреждению неизменно присваивали имя братьев Бахрушиных, надеясь сохранить его в памяти будущих поколений.

Еще в 1869 году на родине предков — посадских людей города Зарайска — Бахрушины построили церковь, богадельню и училище. В октябре 1882 года братья передали московскому городскому голове письмо, где высказали желание пожертвовать 450 тысяч рублей на строительство больницы. К осени 1887 года на Сокольничьем поле была построена большая по тем временам — на 200 кроватей — Бахрушинская больница для страдающих неизлечимыми заболеваниями (теперь она называется Остроумовской — по имени главного врача А. А. Остроумова, который был и домашним врачом Бахрушиных). Из сохранившихся в архиве документов следует, что на возведение больничных зданий было ассигновано 240 тысяч рублей, а 210 тысяч составили неприкосновенный основной фонд, проценты с которого шли на содержание больных, медицинского персонала, на нужды великолепного больничного храма во имя Божьей Матери Всех скорбящих радости.

И в дальнейшем Бахрушины не только строили медицинское или просветительское учреждение, но и обеспечивали его функционирование, страхуя тем самым от печальной судьбы многих благотворительных заведений, зачахших после смерти устроителей.

Лечение было бесплатным; больные именовались пенсионерами братьев Бахрушиных. Благотворители поставили единственное условие: при совершении литургии в больничной церкви «должно быть поминаемо о здравии учредителей больницы Петра, Александра и Василия с чадами и об упокоении их родителей Алексея и Наталии».

В 1890 году при Бахрушинской больнице был построен дом призрения для неизлечимых больных (кажется, единственный тогда в Москве) на 150, а впоследствии на 200 человек. 100 тысяч рублей пошло на постройку здания и 300 тысяч было положено в банк на содержание дома.

В 1895 году Бахрушины обратились в Московское городское самоуправление с просьбой отвести участок земли и обеспечить там устройство водопровода, чтобы они могли основать убежище для детей, покинутых родителями. На выделенные ими 150 тысяч рублей в Сокольничьей роще был построен городской сиротский приют. Его жизнедеятельность обеспечивали проценты с неприкосновенного капитала в 450 тысяч рублей. Приют был иного типа, чем существовавшие ранее в Москве заведения такого рода: мальчики-сироты воспитывались там до совершеннолетия, до «выхода в люди». Они жили в небольших домиках группами по 25 человек (сначала было пять таких групп, позже Бахрушины добавили 50 тысяч рублей на организацию шестой); рядом располагались школа и мастерские для обучения ремеслам — электротехническая и художественно-слесарная.

В честь открытия приюта 25 ноября 1901 года был дан завтрак. В архиве сохранилось приглашение-меню. Какие названия блюд! Едва ли кто из наших современников слышал такое, уж не говорю пробовал: «Консоме из ершей. Лонж из телятины Ренессанс. Бомба понаше с дюше»!

В 1898 году Бахрушины построили на Болотной площади (теперь площадь Репина) дом бесплатных квартир для нуждающихся вдов с детьми и учащихся девушек. Два года спустя отдали для расширения этого дома свое земельное владение на Софийской набережной и выстроили еще одно здание, потом между ними — третье. В общей сложности на дом бесплатных квартир Бахрушины пожертвовали 1 257 тысяч рублей. В 1912 году в нем было 456 однокомнатных квартир площадью от 13,2 до 30,4 квадратного метра и жили там 631 взрослый и 1378 детей. При доме действовали два детских сада, начальное училище для детей обоего пола, мужское ремесленное училище и профессиональная школа для

девочек. В общих рабочих комнатах можно было бесплатно пользоваться швейными машинами. Столовая тоже была бесплатной. На первом этаже размещалось общежитие для 160 курсисток.

Полмиллиона рублей Бахрушины пожертвовали на приют-колонию для беспризорных детей в Тихвинском городском имении в Москве. В 1913 году предоставили Зарайскому городскому управлению крупную сумму денег на строительство больницы, родильного дома и амбулатории.

В 1915 году Александр Алексеевич Бахрушин продал городу Москве большое земельное владение в Серпуховской части по очень низкой цене — за 422 250 рублей и, добавив 77 750 рублей, принес сложившийся в итоге полумиллионный капитал в дар городскому общественному управлению. 300 тысяч предназначались для строительства на этом участке городского Народного дома с помещением для досуга детей и подростков, библиотекой и читальней, столовой-чайной (где «за минимальную цену беднейший класс населения мог бы получить здоровую пищу») и, наконец, зрительным залом-театром на 1 200—1 500 человек. По замыслу Бахрушина, здание Народного дома должен был окружать сад для летних и зимних развлечений и детских подвижных игр.

Оставшиеся 200 тысяч рублей ассигновались на постройку учебно-ремесленной мастерской для беднейших мальчиков, окончивших начальные городские школы, и общежития на 50 человек для наиболее нуждающихся. Предполагалось организовать здесь же вечерние общеобразовательные классы для рабочих, выделить помещение «для чтений и лекций», устроить площадку для игр и физических упражнений подростков.

По подсчетам Юрия Алексеевича Бахрушина, только эти крупные пожертвования семьи (не считая многочисленных более мелких) составили свыше 3,5 миллиона рублей. Кроме того, перед самой Февральской революцией Бахрушины подарили Московскому городскому самоуправлению свое имение Ивановское, в трех верстах от Подольска, под приют-колонию для беспризорных детей. Ю. А. Бахрушин подробно рассказывает в своих мемуарах о том, как досталось его деду Александру Алексеевичу это богатейшее имение с домом в 200 комнат, когда-то принадлежавшее воспетой Пушкиным московской генерал-губернаторше Аграфене Федоровне Закревской.

Последняя владелица Ивановского, графиня Келлер, увязла в долгах. Множество ее векселей скопилось у Бахрушиных, и после многочисленных отсрочек платежей суд вынес решение: за долги имение переходит к ним.

В старинной усадьбе была такая масса мебели и различной утвари, что вывезти все это Келлер не смогла. Однако она не хотела ни оставить, ни продать новым владельцам ничего, решительно ничего! Поскольку по постановлению суда Бахрушины имели право только на недвижимое имущество, графиня приказала своему управляющему объявить по окрестным деревням: разрешается брать из барского дома все, что пожелаешь. И вот крестьяне на телегах подъезжали к парадному подъезду, грузили навалом старинные столы с крышками из цельного малахита, огромные, в человеческий рост, фарфоровые вазы, музейную мебель красного дерева и карельской березы. По дороге многие вещи сваливались под колеса, разбивались, ломались...

В Ивановском были знаменитые на всю Москву оранжереи, где выращивали персики, ананасы, бананы. Накануне приезда новых хозяев графиня приказала на всю ночь оставить раскрытыми двери оранжереи, и ноябрьский крепкий мороз уничтожил плоды трудов нескольких поколений искуснейших садовников. Выжили лишь четыре персиковых деревца.

Имение стало летней резиденцией Александра Алексеевича Бахрушина (его жена к тому времени умерла). Туда же съезжалась многочисленная бахрушинская молодежь с друзьями. Танцевали, ставили шарады, заводили шумные игры. Верховодил во всех затеях внук Александра Алексеевича — Сергей Владимирович, впоследствии историк, член-корреспондент Академии наук СССР.

С именем Бахрушиных связана и история популярного на рубеже веков театра Корша (теперь МХАТ имени Горького). Присяжный поверенный, драма-

тург и переводчик Федор Корш основал драматическую труппу, дебютировавшую в 1882 году гоголевским «Ревизором». В 1885 году Бахрушины сдали ему в аренду под строительство театра лучшую часть своего земельного владения на самых выгодных для арендатора условиях.

В фантастически короткий срок — менее чем за 100 дней, как гласит легенда,— по проекту архитектора М. Н. Чичагова было возведено театральное здание в псевдорусском стиле. Построить театр Коршу помогли друзья, и в их числе Александр Алексеевич Бахрушин, пожертвовавший 50 тысяч рублей.

А. А. Бахрушин принял финансовое участие в создании Московского коммерческого института, материально поддерживал работы, связанные со становлением отечественного воздухоплавания, различные медицинские эксперименты.

Ю. А. Бахрушин описывает такой случай. Будучи шести недель от роду, он перенес дифтерию в крайне тяжелой форме. Однажды вечером наступил кризис. Доктора признали себя бессильными, и тут кто-то посоветовал обратиться к молодому врачу Г. Н. Габричевскому, недавно начавшему эксперименты с противодифтерийной вакциной. В первом часу ночи обеспамятевший от тревоги за ребенка Алексей Александрович приехал к Габричевскому. Тот уже лег спать и через прислугу передал, что ни за какие деньги никуда не поедет. Бахрушин продолжал умолять, настаивать. Возмущенный врач велел узнать фамилию неотвязного просителя и, услышав ее, тут же оделся. «К вам-то я обязан ехать»,— сказал он.

Выяснилось, что, когда Габричевский начал свои эксперименты и ему понадобились деньги для этого, единственным человеком, который пришел ему на помощь, был дед больного ребенка — Александр Алексеевич Бахрушин.

В 1901 году Александр и Василий Бахрушины (Петр к тому времени уже умер) за благотворительную деятельность были удостоены звания «почетный гражданин Москвы». Такую честь заслужил до них лишь один представитель купеческого сословия, П. М. Третьяков, за создание художественной галереи. Газета «Русское слово» по этому поводу писала: гласный Думы мануфактур-советник А. А. Бахрушин «никогда не говорит в Думе, но совместно с братьями сделал для города столько, сколько не сделают десятки говорящих гласных».

Во время первой мировой войны прибыли пайщиков бахрушинских предприятий, как и всегда в военные периоды, значительно возросли. По словам Ю. А. Бахрушина, правление Товарищества постановило выделить значительные средства для материального поощрения рабочих (в зависимости от стажа). Некоторые старики получили довольно крупные суммы.

Александр Алексеевич скончался от крупозного воспаления легких в 1916 году в возрасте 92 лет. После смерти его недвижимое имущество было оценено в 1 681 164 рубля. Он завещал его детям. Около 800 тысяч рублей предназначалось по завещанию на благотворительные цели: 425 тысяч рублей — на расширение приюта братьев Бахрушиных, 200 тысяч — на создание под Москвой колонии для беспризорных детей, 90 тысяч — московским городским попечительствам о бедных, 11 тысяч — в пользу бедных города Зарайска (в том числе ежегодно на приданое — по жребию — для двух бедных невест). 5 тысяч рублей отводилось на улучшение питания обитателей Бахрушинского дома бесплатных квартир. Крупные суммы были завещаны церкви.

Александр Алексеевич оставил детям завет «жить в мире и согласии, помогать бедным, жить по правде». В продолжение отцовских традиций дети вместо устройства поминок по покойному для родственников и знакомых пожертвовали 10 тысяч рублей в городское попечительство о бедных. На поминальный обед пригласили только персонал бахрушинских предприятий. Всем служащим было выдано месячное жалованье: рабочим — по 25 рублей, работницам — по 15, а прослужившим свыше десяти лет — в два раза больше. В память об умершем каждый рабочий получил сорочку, работница — шерстяной платок.

За заслуги А. А. Бахрушина перед родным городом, за неизменное на протяжении всей жизни стремление творить благо для бедных, больных, осиротевших Московская Городская Дума, гласным которой он состоял 29 лет — с 1872 по 1901 год,— приняла решение в память о нем поместить его портрет в зале заседаний. Тогда это была большая и редко кому выпадавшая честь.

2

У Александра Алексеевича было три сына: Владимир, Алексей и Сергей. Отец надеялся, что сыновья будут его преемниками в деле, и не поощрял развития их художественных наклонностей. Когда он уходил на завод, мать тайком учила детей играть на рояле. Позднее отец сменил гнев на милость, и Владимир стал брать уроки живописи, Сергей — игры на скрипке, а Алексей увлекся игрой на арфе и пением, у него был хороший голос (во взрослые годы приятного тембра баритон).

Учились мальчики Бахрушины, как и многие дети из семей московского купечества, в частной гимназии Креймана на Петровке. Алексей успевал в учебе неважно. Сохранился его аттестат за 4-й класс — по большинству предметов тройки. Из 7-го класса гимназии (а может быть, и раньше) он ушел, объявив, что хочет работать на заводе. Для отца, фанатика промышленной деятельности, это был достаточно веский аргумент. Впоследствии Алексей Александрович всю жизнь жалел, что недоучился.

С раннего утра до пяти часов дня молодой Бахрушин постигал на заводе отцовскую премудрость, а вечера посвящал светским развлечениям. Одевался по моде, с некоторым налетом эксцентричности: котелок носил чуть меньшего размера, чем другие, променадную трость — чуть потолще. Играл в любительских спектаклях в кружке молодых Перловых — детей известного чаеторговца (двоюродные братья Бахрушины — Владимир Александрович и Николай Петрович — женились вскоре на дочерях Перлова). Был завсегдатаем балов, но чаще всего по вечерам отправлялся в театр. Алексей с юных лет увлекался оперой, интересовался балетом и испытывал восторженное (пронесенное через всю жизнь) преклонение перед мастерами Малого театра — Ермоловой, Федотовой, Никулиной, Михаилом Садовским, Ленским.

Однажды в компании молодежи двоюродный брат Алексея Александровича С. В. Куприянов стал хвастать собранными им разного рода театральными реликвиями — афишами, фотографиями, случайными сувенирами, купленными у антикваров, и т. д. Бахрушин отнесся скептически к этим приобретениям. Чтобы собрание имело ценность, сказал он, надо не просто скупать вещи у продавцов, а выискивать их обязательно самому, испытывая глубокий интерес к искусству и обладая специальными знаниями о нем. Иначе это будет пустое занятие.

Куприянов вспылил, принялся расхваливать свои сокровища, Бахрушин тоже раскипятился. Слово за слово...

— Да я и за месяц больше твоего соберу! — объявил Алексей Александрович.

Оскорбленный кузен предложил пари. Оно было заключено при многочисленных свидетелях и в положенный срок выиграно. Так слепой случай побудил Бахрушина заняться тем, что стало главным делом его жизни.

Опыт коллекционирования у него уже был, правда, небольшой. Пробовал собирать японские сувениры, потом все, что имело отношение к Наполеону. Но это не всерьез, лишь дань моде. Теперь было затронуто самолюбие, не хотелось оказаться побежденным в споре.

Бахрушин ринулся к букинистам, антикварам, каждое воскресенье ездил на Сухаревку. Там его ждали удивительные находки.

Москва в конце прошлого века была землей обетованной для любителей и собирателей всяческой старины. В самом центре города, в замшелую, поросшую травой Китайскую стену упирался узкий — шириной в несколько шагов — Никольский тупик. В полуподвалах здесь сплошь теснились лавочки букинистов. Книг бывало столько, что не только покупателю — продавцу негде повернуться. У Варварских ворот размещались старокнижные лавки. Вдоль Китайской стены

до самых Ильинских ворот тянулся знаменитый книжный развал. Здесь можно было купить все, что вышло из-под печатного станка. Какое раздолье для историка, библиофила, коллекционера, да просто книголюба!

А легендарная Сухаревка! Каждую ночь с субботы на воскресенье на большой площади вырастали тысячи складных палаток и ларей. С 5 часов утра и до 5 вечера кипела бойкая торговля. Продавали съестное, одежду, обувь, посуду — да что хочешь! Если кого в Москве обкрадывали, первым делом бежал на Сухаревку разыскивать свое добро у перекупщиков.

На воскресной барахолке можно было сделать любую, самую фантастическую покупку: от старинных редких книг, картин знаменитых художников до рваных опорок и воровского набора для взятия касс. К концу века многие дворянские гнезда оскудели, пошли с аукциона, и на Сухаревке часто за бесценок продавались прекрасные старинные вещи: мебель, люстры, статуи, севрский фарфор, гобелены, ковры, ювелирные изделия... Часами рылись в сухаревских развалах антиквары и коллекционеры (среди них можно было встретить известных, уважаемых в городе богачей — Перлова, Фирсанова, Иванова), за гроши покупали шедевры, оценивавшиеся потом знатоками в сотни тысяч рублей.

Здесь, на Сухаревке, которую Алексей Александрович впоследствии называл «главным поставщиком» своего музея, он и сделал покупку, положившую начало его коллекции. В захудалой антикварной лавчонке за 50 рублей приобрел двадцать два грязных, запыленных маленьких портрета. На них были изображены люди в театральных костюмах. Бахрушин предположил, что его находка относится к XVIII веку. В тот же день он поехал в художественный магазин Аванцо на Кузнецком мосту, просил промыть портреты, отреставрировать и вставить в общую дубовую раму.

Когда приехал за своим приобретением, оно было неузнаваемо. Бахрушин залюбовался ожившими красками. Вдруг кто-то за его спиной сказал:

— Продайте!

Оказалось, это был режиссер Малого театра Алексей Михайлович Кондратьев. Продать свою находку Бахрушин отказался, но пригласил нового знакомого к себе домой, чтобы тот получше рассмотрел портреты.

Кондратьев высказал предположение, что это портреты крепостных актеров Шереметевского театра в Кускове. Его слова подтвердились много лет спустя, когда потомок владельца кусковского театра граф П. С. Шереметев, осматривая бахрушинское собрание, пораженный остановился у «сухаревской находки».

— Откуда это у вас? — спросил он Бахрушина и, узнав историю приобретения, рассказал: — Эти портреты очень давно украдены из Кускова. Я помню их с детства. Портретики были сделаны в Париже, и по ним шились костюмы для актеров шереметевской труппы.

Вскоре граф прислал еще несколько портретов, случайно не попавших в число похищенных. «Чтобы не разрозннивать коллекцию»,— объяснил он Бахрушину.

Алексей Александрович очень любил эту серию портретов — первенца своей коллекции. Потом уже, став знатоком истории театра, он пришел к мысли, что это не портреты актеров, а эскизы костюмов и даже высказал предположение, что их сделала художница Марианна Курцингер, работавшая в парижской Гранд-Опера. Доказать эту гипотезу удалось уже после смерти А. А. Бахрушина, когда на эскизах была обнаружена подпись автора.

Бахрушин и Кондратьев стали друзьями. Режиссер с большим сочувствием отнесся к замыслу коллекционера. Он «поддержал во мне веру в пользу моего намерения,— писал впоследствии Алексей Александрович,— и убеждал продолжать поиски документов истории театра на Руси».

В первое же свое посещение Кондратьев спросил Бахрушина, почему в его коллекции нет актерских автографов.

— Да где же взять их? Этот товар ведь не продается...

Назавтра режиссер прислал объемистый пакет — записки к нему артистов Малого театра. В общем-то пустячные: извещение о болезни, о невозможности

присутствовать на репетиции, о потере текста роли. Зато какие имена! Кондратьев передавал Бахрушину различные театральные мелочи, принадлежавшие некогда известным актерам, советовал, где заполучить ту или иную реликвию.

И сам Алексей Александрович все больше и больше сближался с театральным миром, всеми правдами и неправдами добывал для своей коллекции программы спектаклей, юбилейные адреса, фотографии с автографами, тетрадки с текстами ролей, балетные туфельки, перчатки актрис... Разыскивал все это и сам, и с помощью друзей, стал завсегдатаем букинистических и антикварных лавок.

Коллекционирование превратилось в страсть — Алексей Александрович думал только о своем собрании, только о нем мог говорить. Знакомые удивлялись, посмеивались над его чудачеством, пожимали плечами — ну кто мог вообразить, что «театральная чепуха», усердно собираемая Бахрушиным, станет ценнейшим подспорьем для изучения истории отечественного и зарубежного театра?

Кто мог, например, подумать, что пристрастие Бахрушина к балетным туфелькам (сколько по этому поводу отпускалось острот!) даст в будущем возможность наглядно проследить, как развивалась техника балета. Тонкие туфельки Фанни Эльслер и Марии Тальони плотно облегали ножку балерины и делали танец воздушным. Потом в туфельке появился пробочный носок — он помогал проделывать сложнейшие танцевальные па. Начало XX века принесло удивительное новшество — стальной носок, позволивший довести технику балета до совершенства.

Поначалу Бахрушину не хватало чутья, знаний, умения по достоинству оценить, отобрать для коллекции действительно стоящие вещи. Он не раз рассказывал, как однажды пришел незнакомый художник и предложил купить у него театральные эскизы. Алексей Александрович в то время в произведениях подобного рода не разбирался и их не покупал.

— А что вы хотели бы? — спросил художник.

— Ну, какую-нибудь женскую головку.

— Я обязательно сделаю. Но не могли бы вы дать мне денег авансом?

Бахрушин дал 100 рублей. Примерно через год, придя домой, узнал от слуги, что какой-то художник просил передать свой долг. Алексей Александрович развернул оставленный сверток и ахнул. Это был акварельный портрет «Голова украинки» работы Врубеля (он хранился потом в семье Бахрушиных много лет).

— Будь я поумнее,— сетовал обычно Алексей Александрович,— какие врубелевские работы мог тогда купить!

Наставником и руководителем в собирательстве был для Бахрушина двоюродный брат Алексей, сын покойного дяди Петра. Непременный посетитель Сухаревки, коллекционировавший русскую старину, главным образом книги, он был знаменит своей невероятной толщиной и скупостью, а кроме того, привычкой бесконечно торговаться.

Один из старых московских коллекционеров, Н. М. Ежов, рассказывал в мемуарах, как приглядел однажды на Сухаревке изящно сделанный миниатюрный портрет митрополита Филарета, но его смутила цена — 25 рублей.

«Вдруг я увидел круглую, как маленький аэростат, фигуру А. П. Бахрушина, медленно шагающую в нашу сторону.

— Вот,— сказал я торговцу,— вот кому предложите. У него музей редкостей и масса миниатюр...

— Это Бахрушин-то? — с явным пренебрежением спросил, поглядев, торговец.— Я ему и показывать ничего не стану.

— Почему же?

— Дело известное. Ему надо на грош пятаков купить. Он у меня этого Филарета года два торгует. С полтинника начал и теперь до десяти рублей дошел».

Особый шик для коллекционера — не просто заполучить нужную для его собрания вещь, но заполучить за бесценок, распознать в продающемся по дешевке и на вид неприглядном предмете старинную, дорогую, редкостную вещь. Этому умению Алексей Петрович учил своего родственника.

30 октября 1894 года Бахрушин организовал в родительском доме в Кожевниках выставку своей коллекции для всех желающих. Этот день он считал официальной датой основания музея.

Ему посчастливилось найти жену, которая относилась к коллекции с таким же рвением и увлечением, как и он сам. Встретились они в январе 1895 года на святочном костюмированном балу. Вере Васильевне, дочери миллионера-суконщика В. Д. Носова, было тогда 19 лет, Бахрушину — на 10 лет больше.

В семейной летописи Носовых и Бахрушиных многое перекликается. Дед Веры Васильевны работал простым ткачом; в 1829 году они вместе с братом открыли маленькую фабричку, выделывавшую драдедамовые платки (именно такой платок был в семье Мармеладовых в романе Достоевского «Преступление и наказание»; он запоминается читателю как горький символ бедности и унижения). Братья сами ткали, сами промывали и красили платки, их мать и жены «обсучали» бахрому. В 50-х годах фабрику переоборудовали, в 1857-м — перестроили и увеличили вдвое. С 1863 года Носовы стали поставщиками сукна для армии и флота. Второе поколение семьи — братья Василий и Дмитрий — организовали «Промышленно-торговое товарищество мануфактур бр. Носовых», владели амбаром в Черкасском переулке и магазином в Лубянском пассаже.

Отец Веры Васильевны В. Д. Носов рано овдовел; на руках у него осталось шесть дочерей и сын. Семья жила в старинном особняке с конюшнями и псарней, окруженном обширным садом. Рядом с домом текла река Синичка, в ней удили рыбу.

Две старшие дочери вскоре вышли замуж, одна из них за князя Енгалычева. Эта свадьба сладилась с большим трудом. Вера Васильевна написала своей гимназической подруге: «Сестра полтора месяца проплакала, прежде чем ей позволили выйти за ее князя. А отчего? Именно оттого, что он — князь. Папа — купец, всякий гордится своим, и он не желал, чтобы его дочь выходила замуж за князя».

С замужеством сестер Вера осталась в доме за старшую. Учась в гимназии, она увлекалась техникой, фотографией, кулинарным искусством.

17 апреля 1895 года отпраздновали свадьбу, и сразу же молодые уехали в Петербург, а оттуда за границу. Во время путешествия Вера Васильевна еще раз после стремительного ухаживания убедилась в нетерпеливом характере мужа: за медовый месяц они побывали в двадцати пяти городах!

У молодой Бахрушиной запас терпения, выдержки и преданности оказался неистощимым. Его с лихвой хватило на почти тридцатипятилетнюю дружную, но вовсе не легкую для нее совместную жизнь.

3

В качестве свадебного подарка Бахрушин-отец преподнес сыну с невесткой участок земли на углу Лужниковской улицы (теперь улица Бахрушина) и Зацепского вала. На этом участке начали строить по проекту архитектора Гиппиуса двухэтажный особняк из красного кирпича. Пока шло строительство, жили в соседнем доме, который принадлежал раньше купцу Михаилу Леонтьевичу Королеву — московскому городскому голове в 60-х годах.

Королев был знаменит по Москве своими развлечениями. Вместе с приятелями-купцами он отправлялся в винный погребок близ Биржи на Карунинской (теперь Куйбышевской) площади. Там ставил на стол свою шляпу-цилиндр, и друзья распивали шампанское, пока она не наполнялась доверху пробками от выпитых бутылок.

Особняк Королева на Лужниковской был в своем роде историческим. О нем ходил такой рассказ. В 1862 году Александр II прибыл с высочайшим двором в Москву. В Кремле городской голова Королев от купечества поднес царю хлеб-соль на роскошном серебряном блюде. Царь, поблагодарив, осведомился:

— Как твоя фамилия?

— Благодарение богу, благополучно, ваше величество,— степенно ответил Королев.— Только хозяйка малость занедужила.

Возникло некоторое замешательство — купец восприиял слово «фамилия» в значении «семья», царь же хотел знать фамилию городского головы. Однако Александр не растерялся:

— Ну, кланяйся ей, да скажи, что я со своей хозяйкой приду ее навестить.

Присутствовавшие при этом московские Кит Китычи пришли в восторг. Еще бы — никогда прежде нога царя не ступала на порог купеческого дома. И вот 4 декабря 1862 года весь цвет городского купечества собрался в особняке Королева, чтобы встретить государя-императора. Вместе с императрицей он посетил только что отделанный храм Святой Троицы в Лужниках, где Королев был церковным старостой. Потом пожаловал к столу в доме городского головы и долго беседовал с купцами. «Нас маленьких нянька водила вечером смотреть на съезд, и мы видели страшно загроможденную улицу и ярко освещенные окна дома М. Л. Королева,— вспоминал Алексей Петрович Бахрушин.— Народу было массы... То была честь Москве, честь московскому купечеству, честь русскому человеку!»

Здесь нужно сделать небольшое отступление. Через пятьдесят лет, в 1913-м, во время празднования в Москве 300-летия дома Романовых в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная встреча Николая II с «сословными представителями страны». Как в старину, представители дворянства и купечества должны были приветствовать царя в разных залах. Когда на заседании Московского биржевого комитета его председатель Г. А. Крестовников сообщил о получении от министра двора распорядке проведения церемониала, поднялась буря возмущения. Члены комитета (П. П. Рябушинский, А. И. Коновалов, С. М. Третьяков и другие) пришли в негодование:

— Негоже нам, хозяевам Москвы, встречать государя во втором зале дворца!

Они поручили председателю немедленно ехать в Кремль и уведомить министра двора, что предложенный им церемониал неприемлем. Крестовникова уполномочили также в ультимативной форме заявить, что если представителям промышленности и торговли не дадут места в первом зале, они на царском выходе присутствовать не будут.

Министр двора граф Фредерикс не осмелился принять самостоятельное решение по этому поводу и после долгих препирательств с Крестовниковым отправился со срочным докладом к царю. В итоге члены двора и дворянские делегаты встречали самодержца, стоя по одну сторону первого зала Кремлевского дворца, а представители торговли и промышленности — по другую.

Но вернемся к особняку на Лужниковской. Перед смертью Королев разорился, дом его был продан и в конце века стал собственностью Александра Алексеевича Бахрушина. Здесь в 1897 году родился его внук Юрий, а вскоре молодая семья перебралась в построенный по соседству особняк. Вокруг него шумел огромный зеленый сад, в саду били фонтаны.

Молодые Бахрушины решили отвести под коллекцию три комнаты в полуподвальном этаже нового здания. Но куда там! Собрание театральных реликвий разрасталось неудержимо. Алексей Александрович разыскивал их сам, и не только приобретал, но и получал в подарок от многочисленных друзей-актеров.

В 1899 году в Ярославле торжественно праздновалось 150-летие основания русского театра. С помощью Бахрушина была подготовлена обширная выставка. Добрая треть экспонатов была снабжена этикетками: «Из собрания А. А. Бахрушина». Выставку встретили с интересом, о коллекции заговорили, и это вызвало поток пожертвований.

Алексей Александрович ни от чего не отказывался, приговаривал: «Доброму вору все впору. Там разберемся!». Старинные музыкальные инструменты и ноты, автографы и рукописи актеров, писателей, драматургов, портреты, картины и театральные эскизы работы Кипренского, Тропинина, Головина, братьев Васнецовых, Репина, Врубеля, Добужинского, Коровина, Кустодиева, собрания театральных биноклей, дамских вееров, личные вещи актеров, предметы театрального быта — чего только не вобрала в себя за долгие годы бахрушинская коллекция! С каждым днем пополняясь, она требовала все новых помещений.

Был занят весь полуподвальный этаж дома, потом часть жилого верха — детская, буфетная и коридор наверху, наконец, конюшня и каретный сарай во дворе.

В московском «большом свете» к коллекционеру относились с иронией. На вечерах и званых обедах задавали ехидные вопросы: правда ли, что он приобрел пуговицы от брюк Мочалова и помочи Щепкина? Алексея Александровича не смущали насмешки. После театрального праздника в Ярославле он особенно ясно понял, что делает нужное, полезное дело.

Жена была его единомышленницей и верной помощницей. За короткое время она научилась машинописи, переплетному делу, тиснению на коже, резьбе по дереву, была отличным фотографом, ведала фонографом. В ее обязанности входили оформление коллекции, сбор афиш премьерных спектаклей, а также материалов прессы, посвященных театральным событиям. В архиве музея сохранилось множество картонных листов с аккуратно наклеенными с двух сторон газетными вырезками. Каждая надписана мелким, убористым почерком Веры Васильевны — из какой газеты, за какое число.

Характер у мужа был далеко не сахар — вспыльчивый, упрямый. Очень разборчив и привередлив был он в еде, за столом постоянно раздражался, все ему казалось то пережаренным, то недоваренным. Ю. А. Бахрушин вспоминает, что получить у отца деньги на хозяйственные расходы было для матери мукой — траты на хозяйство представлялись ему безрассудно отторгнутыми от коллекции. К концу жизни Алексей Александрович не раз восклицал: «Ах, если бы собрать все деньги, которые я в свое время истратил на обеды, ужины и другие глупости, сколько бы я смог на них приобрести замечательных вещей для музея!»

Бахрушинский дом был известен своим гостеприимством. Два раза в год давались званые обеды для купеческой знати. Обед начинался в 8 часов вечера, потом играли в карты, пили чай и вино; разъезжались в 3—4 часа утра. «Весело на этих вечерах,— пишет Ю. А. Бахрушин,— никогда особенно не бывало».

Полной противоположностью скучным официальным трапезам были еженедельные бахрушинские субботы, когда дом на Лужниковской был открыт для всех, кто имел какое-либо отношение к искусству. Приезжали званые и незваные, знакомые и незнакомые. В эти дни никаких карт не полагалось. Гости осматривали коллекцию, затем в кабинете хозяина беседовали, спорили, писали и рисовали в домашнем альбоме. Часа в два ночи подавался простой домашний ужин.

Гости чувствовали себя непринужденно, веселились от души; часто устраивались импровизированные выступления актеров, певцов, поэтов. Кого тут только не было — композитор Цезарь Кюи, художник Суриков, владелец театра «Эрмитаж» Лентовский, директор императорских театров Теляковский, певицы Варя Панина и Анастасия Вяльцева, многие актеры Малого театра, петербургская актриса Савина, Гиляровский, Собинов (в музее хранится его автограф: «Милому, старому другу Алеше Бахрушину. Любящий его Леонид Собинов»). Ф. И. Шаляпина Бахрушин никогда не приглашал. «Присутствие Шаляпина,— говорил он, как вспоминает сын,— чересчур жестокое испытание для нервов».

Не любил Бахрушин и Художественный театр, всю душу отдал Малому (правда, позднее отношение его к МХТ изменилось). В 1899 году Немирович-Данченко писал Станиславскому в связи с финансовыми затруднениями театра: «...Двигаюсь... к Бахрушину, у которого, может быть, смотря по его тону, попрошу взаймы. Но только может быть». Ни тогда, ни в другие разы на просьбы руководителей МХТ Алексей Александрович не откликнулся. Это не мешало, однако, Немировичу-Данченко быть частым гостем на Лужниковской.

Особенно многолюдны бывали субботние вечера у Бахрушиных в великий пост, когда на Москву волной накатывалась театральная провинция. Среди гостей можно было увидеть крупнейших антрепренеров — Собольщикова-Самарина, Синельникова, Соловцова. Приходило и множество артистов — кто посмотреть коллекцию, кто повидаться со знакомыми, а кто и поужинать на дармовщинку.

По воскресеньям к завтраку, на традиционную кулебяку с гречневой кашей, собирались самые близкие — артисты Малого театра Н. И. Музиль и В. А. Макшеев, режиссеры А. М. Кондратьев и Н. А. Попов, историк театра и литературы С. Н. Опочинин, знаменитый в Москве коллекционер И. А. Морозов, писатель-народник С. В. Максимов, хранитель Московской оружейной палаты В. К. Трутовский, журналисты Н. Е. Эфрос, К. А. Скальковский и А. А. Плещеев — сын поэта.

Все они дружили с хозяином, с искренней симпатией относились к хозяйке. Алексей Александрович гордился женой — ее красотой, тактом, ее способностями и умениями. Он мечтал заказать Валентину Серову ее портрет, но Вера Васильевна воспротивилась: художник был известен деспотичным обращением со своими моделями, а Бахрушина хотела позировать в той позе и в той одежде, какие ей нравились. Портрет был написан К. Маковским — очень похожий на оригинал, он казался копией с фотографии.

Вера Васильевна занималась домом и детьми (в 1902 году родился второй сын, Александр, но не дожил до трех лет; в 1907 году — дочь Кира). Мужу было постоянно некогда, он всегда спешил. Глубоко религиозный, как все Бахрушины, Алексей Александрович каждое утро начинал с долгой молитвы перед иконой. В 10 часов уходил на завод. Возвращался около часу дня, завтракал и уезжал по своим многочисленным делам. В 1897 году Бахрушин, избранный членом совета Российского театрального общества, возглавил Московское театральное бюро. Многие годы вел большую полезную работу в ВТО. Тогда же, в 1897 году, выставил свою кандидатуру в городскую Думу.

Алексей и Владимир Александровичи, а затем и Сергей Владимирович Бахрушины, как и Петр, Александр и Василий Алексеевичи, в течение многих лет избирались гласными Московской Думы (вплоть до ее роспуска после Октября 1917 года), всегда пользовались там большим авторитетом; Алексей Александрович был бессменным докладчиком по всем вопросам, связанным с театром.

Домой Бахрушин приходил около шести вечера, переодевался и ехал либо в театр вместе с женой, либо на какое-нибудь заседание. Он был постоянным устроителем различных общественно-развлекательных мероприятий. Ежегодно организовывал благотворительные вербные базары в залах Благородного собрания (теперь Дом союзов), доходы от которых шли в пользу детского попечительства Московской городской думы.

Он же был главным распорядителем ежегодных маскарадов, которые устраивало Театральное общество в пользу ветеранов сцены. Там ставили шуточные сцены из оперных и балетных спектаклей, и Алексею Александровичу удавалось убедить театрального режиссера Н. А. Попова исполнить фанданго в костюме испанки, Нежданову — первое колоратурное сопрано страны — партию графа Альмавивы в отрывке из оперы «Севильский цирюльник», знаменитое меццо-сопрано Збруеву — выступить в роли дона Базилио, а Собинова — в роли Розины!

Бахрушин участвовал в многочисленных комиссиях и выставочных комитетах, связанных с театром, искусством, историей. «На него колоссальный спрос,— писала газета «Новости сезона».— Нет такой комиссии, куда бы его не приглашали».

В начале 1907 года Московская Городская Дума поручила Алексею Александровичу заведовать Введенским народным домом (теперь в его перестроенном здании на площади Журавлева Дом культуры Московского электролампового завода). Бахрушин хотел создать там театр, который на рабочей окраине стал бы «храмом настоящего искусства». Удалось подобрать хорошую труппу (премьером несколько лет был Иван Мозжухин, в будущем звезда зарождающегося русского кинематографа). В Народном доме рабочий зритель мог увидеть те же пьесы, что шли на центральных сценах. В 1909 году здесь ставили «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Горячее сердце» и «Грозу» Островского, «Иванова» и «Вишневый сад» Чехова; в 1913-м — «Месяц в деревне» Тургенева, «Потонувший колокол» Гауптмана, «Северных богатырей» Ибсена. Летом труппа Введенского народного дома играла в Сокольническом парке.

«Далекой и густо населенной окраине повезло,— писала в январе 1912 года газета «Театр и искусство».— Там вырос театр-друг, театр-учитель... Всем этим зритель Введенского народного дома обязан А. А. Бахрушину. Он не только не дал театру упасть до шаблона, но поднял его на ту высоту, которая заставляет и москвича из центра нет-нет заглянуть в маленький Народный театр на Введенской площади».

В архиве музея имени А. А. Бахрушина сохранилось множество материалов, связанных с Введенским народным домом. Они показывают, сколько времени, внимания, сил отдавал Алексей Александрович театру для рабочих. И все же важнейшее место в его жизни продолжала занимать любимая коллекция.

В некрологе, посвященном А. А. Бахрушину и опубликованном 25 июня 1929 года в «Литературной газете», отмечался его «необычайный дар собирательства»: «Вещи шли к нему как ручные. У него был зоркий глаз и цепкие руки. Он умел добиваться облюбованного им предмета настойчиво и неотступно».

У Бахрушина были свои, особые приемы и методы пополнения коллекции. Если он узнавал, что кто-либо из известных театральных деятелей собирается ее осмотреть, сразу же выставлял на витринах экспонаты, связанные с посетителем, причем только пустяковые; все, что было о нем интересного и ценного, прятал. Подведя гостя к витрине, Алексей Александрович вздыхал:

— Вот, к сожалению, все, что я имею о вас. Даже обидно, что такой крупный деятель театра, как вы, так слабо отражен в музее. Но что ж поделаешь!

Это действовало безотказно: вскоре посетитель передавал музею какой-либо дар. Так, итальянскому трагику Томмазо Сальвини была показана пустая витрина с единственным экспонатом — длинной белой перчаткой великой Ермоловой, на которой отпечатался грим Сальвини в роли Отелло (когда Ермолова поздравляла артиста после спектакля и он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, она другую руку положила на его загримированный лоб). Сальвини был растроган и прислал Бахрушину из Италии свой бюст, а Вере Васильевне майоликовый письменный прибор завода, владельцем которого он был.

Хороший психолог, Бахрушин, чтобы польстить актерскому тщеславию, заказал специальные картонные этикетки «Дар такого-то». На многих этикетках значилось имя Марии Гавриловны Савиной.

Если кто-либо из людей театра умирал, Алексей Александрович обязательно приезжал на панихиду и заводил со вдовой и детьми разговор о передаче памятных вещей покойного в свою коллекцию. По этому поводу даже шутили: «Вслед за гробовщиком сейчас же приходит Бахрушин».

Шутки шутками, а его упорство вознаграждалось. Знаменитый артист Александринского театра К. А. Варламов отказал Бахрушину по завещанию все свои театральные костюмы и часть вещей из своей артистической уборной. Когда известный антрепренер Н. Н. Соловцов скончался в Киеве накануне своего юбилея, через некоторое время оттуда прибыло несколько ящиков, набитых приветствиями, адресами, подарками, которые готовили для юбиляра.

В 1908 году умер замечательный артист и режиссер Малого театра Александр Павлович Ленский. Бахрушин поспешил в театр и, не имея на то никакого права, опечатал собственной печатью его актерскую уборную. На другой день, с согласия вдовы, забрал все театральные вещи покойного. Они заняли почетное место в музее.

Ленский славился искусством грима. Недоброжелатели утверждали даже, что свою внешность он меняет при помощи каких-то необыкновенных красок. Среди вещей покойного Бахрушин увидел зарисовки сценических образов и гримировальный прибор, в котором не оказалось никаких особых красок — только тушь, белила и румяна. Ленский обладал талантом не только актера, но и художника: простейшими средствами умел в каждой роли придавать своему лицу яркую и неповторимую характерность.

Большую часть своего архива завещал Бахрушинскому музею Савва Иванович Мамонтов. Крупнейший московский меценат, богач, он был обвинен в незаконном использовании денег, находившихся в казне возглавляемого им акционерного общества. Тюрьма, суд... Мамонтов был оправдан, но полностью разорен. Когда он вышел из тюрьмы, Алексей Александрович решил устроить в его честь званый вечер. Мамонтов долго отнекивался, просил, чтобы не было никого посторонних. Придя в дом на Лужниковской, долго стоял перед роялем, который Бахрушин купил на распродаже мамонтовского имущества. На этом рояле когда-то играл Шаляпин...

В 1913 году прославленная актриса Малого театра Г. Н. Федотова передала Бахрушину все свои театральные реликвии и полученные за годы сценической деятельности подарки. Парализованную, ее привезли в дом на Лужниковской в инвалидном кресле. После смерти Федотовой в 1925 году в Бахрушинский музей поступил весь ее архив и это кресло, в котором дожившая до глубокой старости актриса провела долгие годы.

Бахрушин собирал не только личные вещи деятелей театра, но и предметы, отражающие его историю. Например, долго мечтал приобрести старинные народные кукольные театры — вертеп и Петрушку, но владельцы ни за какие деньги не соглашались их уступить.

31 января 1908 года Бахрушин писал своему петербургскому корреспонденту и постоянному помощнику в пополнении коллекции В. А. Рышкову: «Я давно уже и очень тщетно ищу вертеп... Он давно уже не попадался в руки антиквариев, так что уже бросили попытку найти мне его... Если явится возможность получить настоящий, старинный вертеп, хотя бы и попорченный, то я с восторгом приобрету их столько, сколько найдется, тем более, что трудно допустить, чтобы внутреннее содержание их было одинаковым». Прошло полгода, и газета «Рампа» сообщила о пополнении бахрушинской коллекции: «На днях в Виленской губернии приобретен случайно вертеп — прообраз театра... В вертепе 35 кукол». А вскоре Рышков купил для Бахрушина и Петрушку.

В 1909 году Алексей Александрович заинтересовался зрительскими трубками — предтечей театральных биноклей. С детства многие помнят строчки из «Евгения Онегина» про «трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов». Но что они собой представляли, как выглядели? «Я даже не имею понятия, какой формы вещь ходила под этим названием»,— писал Бахрушин Рышкову. Настойчивые поиски позволили ему стать обладателем целой коллекции зрительских трубок.

Было у него и большое собрание театральных биноклей. «Вчера со всей семьей ездили по-провинциальному на трамвае в Монте-Карло,— писал он Рышкову в декабре 1911 года из Франции,— где я нашел очень интересный бинокль, на обеих трубках которого нарисованы две танцовщицы, Камарго и Сюлли, работа очень ценящаяся сейчас за границей и потому цена ему основательная — 600 франков; я называл ему 300 франков, он и слышать не хочет... Надеюсь, что бинокль не уйдет, и на будущей неделе придется дать ему, сколько он захочет».

«Дать, сколько он захочет» — решение для Бахрушина удивительное. Обычно он отчаянно торговался, делал вид, что желанная вещь его вовсе не интересует. Какие длительные и упорные переговоры вел, к примеру, Алексей Александрович по поводу приобретения уникального документа — дворянской грамоты, пожалованной создателю первого русского профессионального театра Федору Волкову!

24 марта 1908 года он писал Рышкову, через которого шли эти переговоры: «Относительно грамоты Волкова, мне думается, надо оставить сейчас без движения. Вы сказали свою цену, теперь дело за владельцем, и если он пойдет навстречу, тогда можно говорить, а лезть теперь самим — только портить дело».

Ожесточенная торговля продолжалась полтора месяца. 9 мая в письме к Рышкову Бахрушин как бы сам себя уговаривал, что «зелен виноград»: «Сегодня утром я телеграфировал Вам, что грамоту Волкова я ценю в 150 рублей, и во всяком случае дороже 200 руб. давать за нее не следует. Дело в том, что я пришел к заключению, что сама грамота, как совершенно испорченная, ничего не стоит; таких грамот, совсем свежих, можно найти еще достаточное количество, единственный интерес, что в ней упоминается актер Волков, но кому же она нужна, кроме ярых поклонников старины, а где они?..»

Ох, лукавил Алексей Александрович! Ему страсть как хотелось завладеть грамотой. И когда это, наконец, случилось — еще через полтора года,— газеты писали, что приобретенный уникум «будет служить одним из лучших украшений этого редкостного музея».

Прижимистость, даже скаредность собирателя раздражала многих. В архиве сохранилось дышащее еле сдерживаемым возмущением письмо С. П. Дягилева, порекомендовавшего Бахрушину приобрести предложенный кем-то для продажи старинный портрет издателя журнала «Московский телеграф» Н. А. Полевого: «Ввиду того, что назначенная Вами цена за портрет Полевого далеко не сходится с оценкой владельца, желающего получить 200 руб. за эту вещь, прошу Вас не отказать прислать мне с подателем этой записки портрет, который, думаю, не представляет для Вас большого интереса».

Бывая за границей, Бахрушин за версту обходил фешенебельные антикварные магазины на главных торговых улицах. Зато с владельцами грошовых антикварных лавочек в Париже и Берлине, Ницце и Каннах, Ментоне и Монте-Карло сразу заводил дружбу. В Париже часами пропадал на набережной Сены, копаясь в развалах, и находил удивительные вещи, например, французскую книгу «Королевский балет» 1635 года издания, портрет легендарной артистки мадемуазель Жорж. В Ницце у вдовы старьевщика раскопал стеклянный стакан с монограммой актрисы мадемуазель Марс. Заинтересовался, откуда эта вещь. Оказалось, покойный старьевщик — разорившийся антиквар — приходился актрисе дальним родственником. Вдова вытащила ленты от похоронных венков, веер, автографы и свидетельство о смерти мадемуазель Марс, а еще портрет ее учителя Лекэна работы художника Ван-Лоо. И за все это Бахрушин заплатил совсем недорого — 300 франков. Когда директор парижской Гранд-Опера Деии Рош, будучи в Москве, увидел столь драгоценные для истории французского театра реликвии в коллекции Бахрушина, он был поражен.

Во время заграничных поездок Алексей Александрович разыскивал и собирал также то, что могло способствовать изучению истории отечественного искусства, например, скупал и систематизировал европейские газеты и журналы с отзывами об успехах русского балета за рубежом. Нигде больше такого свода рецензий нет.

Коллекция все росла. Дом разбухал от вещей, книг, бумаг. В 1913 году отец отдал в распоряжение Алексея Александровича бывший особняк Королева, но и этого оказалось мало. Бахрушин постоянно перебирал, раскладывал свои сокровища, сортировал по отделам, а отделов было много — театральный, литературный, этнографический, музыкальных инструментов и т. д.

«Когда во мне утвердилось убеждение, что собрание мое достигло тех пределов, при которых распоряжаться его материалами я уже не счел себя вправе, я задумался над вопросом, не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на пользу этого народа» — эти слова А. А. Бахрушин произнес, передавая свою коллекцию Российской Академии наук.

Решение созревало постепенно, но стимулом для него послужила судьба коллекции Алексея Петровича Бахрушина — двоюродного брата и наставника в собирательской деятельности. Тот не раз повторял и в своей записной книжке, опубликованной посмертно под названием «Кто что собирает», особо подчеркнул необходимость «пристраивать свои собрания еще при жизни, назначая их в тот или другой музей, в то или другое учреждение, но никоим образом не оставлять их в наследие даже самым ближайшим родственникам, например, детям,— потому что все это пойдет прахом, в продажу розницей, за что попало». И хотя А. П. Бахрушин завещал свое обширнейшее собрание русской старины Историческому музею, оно разошлось по другим хранилищам и перестало существовать как единая, любовно и тщательно отобранная и систематизированная коллекция.

Алексей Александрович встревожился. Он не мог допустить, чтобы такая же судьба постигла его детище — театральный музей. Немаловажным было и другое обстоятельство. Коллекция настолько разрослась, что требовала особого штата сотрудников. Содержание их и музея в целом стоило дорого, эти расходы должно было, как считал Бахрушин, взять на себя какое-либо государственное учреждение.

Справедливости ради нужно сказать, что и в тратах на собственную семью он был крайне расчетлив. В начале 1910-х годов Бахрушины решили приобрести подмосковное имение (до тех пор они обычно летом снимали дачу в Малаховке). Долго искали и наконец нашли отличную усадьбу. Однако, по мнению Алексея Александровича, просили за нее слишком дорого, и он начал долгие переговоры. Пока вел их, усадьба уплыла — вдова Саввы Морозова Зинаида Григорьевна Рейнбот купила ее, не торгуясь. Это были теперешние Горки Ленинские.

В 1913 году подвернулось другое имение — в селе Финеево, в 40 верстах от станции Апрелевка, с 350 десятинами земли к леса. Купец Власов продавал свой добротный каменный дом в стиле русского ампира со всей утварью — столовым и постельным бельем, посудой, иконами в серебряных окладах и даже с заготовленными на зиму вареньями и наливками. Бахрушин опять стал торговаться, хотел было уже отступиться — слишком дорого. Но тут вмешался отец. Девяностолетний Александр Алексеевич рассудил, что покупка имения — дело выгодное, и добавил сыну сумму, которую тот пытался выторговать.

В тот же год решилась и судьба музея. Переговоры о ней велись давно. Еще в 1901 году, когда в Петербурге задумали создать музей при императорских театрах, Бахрушин предложил включить туда собранные им материалы. Однако для этого коллекцию потребовали перевезти в Петербург. Алексей Александрович не мог на такое согласиться, хотя бы потому, что многие дарители ставили условием, чтобы переданные ему вещи и документы остались навечно в Москве.

Московская Городская Дума и городская управа также отказались принять дар Бахрушина. Возникали сомнения, нужен ли вообще такой музей, смущали расходы на его содержание.

Как-то на одной из бахрушинских суббот Алексей Александрович в шутку спросил приехавшего из Петербурга В. А. Рышкова, секретаря отделения русского языка и словесности Академии наук:

— А что, Академия наук не возьмет себе мой музей? Только с условием, что он останется в Москве.

Рышков обещал навести справки. Он был искренне озабочен будущностью музея и начал энергичные хлопоты. Академики П. В. Никитин, С. Ф. Ольденбург, Н. А. Котляревский очень заинтересовались предложением Бахрушина и дали делу ход. Началась оживленная переписка, и тут одно за другим стали возникать самые неожиданные препятствия: то невозможно оставить музей в Москве, то трудно найти деньги, чтобы его финансировать, то пятое, то десятое...

Наконец, из Петербурга приехал академик Н. А. Котляревский. Он осмотрел дом Бахрушина, ознакомился с его коллекцией и, вернувшись, подробно доложил обо всем, что увидел, тогдашнему президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу. Дядя царя в отличие от многих своих родственников был мягким, интеллигентным человеком, поэтом (стихи подписывал начальными буквами имени и фамилии — «К. Р.», Константин Романов). Великий князь поддержал идею о том, чтобы Академия наук взяла театральный музей под свое крыло. Теперь дела пошли гораздо успешнее.

Президент Академии наук принял у Бахрушина прошение, в котором тот писал: «Имея в виду, что такое собрание, какое представляет в настоящее время мой Литературно-театральный музей, должно служить научным пособием для лиц, занимающихся историей литературы вообще и историей театра в частности, а также оно должно быть доступно всему русскому образованному обществу, я не считаю возможным оставлять свой музей в своем единоличном пользовании и нахожу, что он должен составлять государственное достояние».

23 ноября 1913 года состоялся торжественный акт передачи музея Академии наук. В полдень в особняк на Лужниковской стали съезжаться приглашенные. Собрался весь цвет театральной Москвы: М. Н. Ермолова, А. И. Сумбатов-Южин, А. А. Яблочкина, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко,

певица Большого театра Н. А. Салина, режиссер Малого театра Н. А. Попов, владельцы московских театров Ф. А. Корш, К. Н. Незлобин, С. И. Зимин. Приехали И. А. Бунин, академик А. Н. Веселовский, известный меценат князь С. А. Щербатов, В. А. Рышков. Все они, а также отсутствовавший в тот день С. И. Мамонтов, вошли в состав совета Театрального музея, председателем которого был назначен А. А. Бахрушин, именовавшийся также «почетным попечителем».

Торжественное собрание в большой столовой бахрушинского дома открыл специально приехавший из Петербурга великий князь Константин Константинович. Хозяину было предоставлено слово. Он волновался необычайно: лист с текстом речи дрожал в его руках. За передачу Академии наук коллекции Бахрушину был пожалован орден Владимира 4-й степени (он надевал его впоследствии всего два раза).

Академия наук выделила средства на содержание музея, в его штат были зачислены трое служащих и хранитель В. А. Михайловский. Коллекция продолжала пополняться, и Бахрушины вынуждены были уступать для нее одну жилую комнату за другой.

4

После революции Алексей Александрович не покинул родину. Думается, он и представить себе не мог разлуки со своим созданием, детищем, делом всей жизни. Из многочисленной бахрушинской родни вообще мало кто эмигрировал. Ю. А. Бахрушин пишет, что добрая слава семьи, известной своей благотворительностью, сказалась на судьбах ее членов после Октября: «Будучи одними из крупнейших русских дореволюционных капиталистов, мы сравнительно не подвергались никаким репрессиям, так как всюду встречались люди, готовые замолвить доброе слово за носителей нашей фамилии».

Внучка двоюродного брата А. А. Бахрушина Вера Николаевна Орлова в неопубликованных воспоминаниях, любезно предоставленных ею автору, рассказывает, как ее дядя Константин Петрович ходил объясняться с новой властью по поводу назначенного ему — бывшему домовладельцу — крупного налогообложения.

— Здравствуйте, Константин Петрович! — приветствовал его ответственный работник местного Совета.

— Откуда вы меня знаете? — удивился К. П. Бахрушин.

— А как же, когда я был студентом и сильно бедствовал, то обратился к вам, и вы дали мне 100 рублей.

Налог с Константина Петровича взыскали полностью, но обращались с ним уважительно.

Видимо, репутация семьи сыграла роль и в том, что племянник А. А. Бахрушина Сергей Владимирович, приват-доцент Московского университета, смог продолжать преподавательскую работу, хотя до революции был активным деятелем кадетской партии. Правда, в конце 20—30-х годов многие из Бахрушиных подверглись репрессиям (в том числе Сергей Владимирович, отправленный в 1928 году в ссылку как участник мифического «монархического заговора» академиков С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле и других).

Что касается самого А. А. Бахрушина, то в конце 1917 — начале 1918 года ему и его музею пришлось пережить трудное время. Оторванный от Петрограда, музей месяцами не получал никакой помощи от Академии наук. Не было ни денег, ни дров; в сырых, нетопленых помещениях коллекциям грозила гибель. Алексей Александрович и его семья вместе с немногочисленными сотрудниками, глубоко любящими театральное дело, самоотверженно оберегали экспонаты музея, добывали средства на его содержание. В. В. Бахрушина научилась сапожничать, и ее заработок очень помогал семье. В. Н. Орлова, девочкой навещавшая в те тяжелые годы дом на Лужниковской, помнит, как Вера Васильевна показывала ей свои руки — с темной загрубевшей и растрескавшейся кожей.

О дальнейшем развитии событий читаем в статье Ю. А. Бахрушина:

«В 1918 году из Петрограда в Москву переезжает Тео (Театральный отдел Наркомата просвещения.— **Н. Д.**) во главе с О. Д. Каменевой. Каменева живо заинтересовалась музеем, осмотрела и взяла его в свое ведение. Картина переменилась. У музея появились средства, возможность приобретать предметы театральной старины — словом, возможность существовать». Тогда же А. А. Бахрушин вошел в состав бюро Историко-театральной секции Тео.

А. В. Луначарский вспоминал, что в Театральном отделе обсуждалось, можно ли оставить за музеем имя Бахрушина — «конечно, очень симпатичного человека и создателя этого музея, но тем не менее бывшего капиталиста». С этим вопросом Луначарский обратился к Ленину. Внимательно выслушав рассказ о Бахрушине и его музее, Ленин спросил:

— А как вы думаете, в один прекрасный день он от нас не убежит и не затешется в какую-нибудь контрреволюционную компанию?

— Бахрушин никогда не уйдет от своего детища,— ответил Луначарский,— и никогда не окажется нелояльным по отношению к Советской власти.

— Тогда,— сказал Ленин,— назначайте его пожизненным директором музея и оставьте за музеем его имя.

30 января 1919 года нарком просвещения Луначарский издал распоряжение: «Театральный музей имени А. Бахрушина в Москве, находящийся в ведении Академии наук при Народном Комиссариате по Просвещению, ввиду своего специально-театрального характера, переходит на основании п. 2 «Положения о Театральном отделе» в ведение Театрального отдела Народного Комиссариата по Просвещению».

Через два дня, 1 февраля, О. Д. Каменева подписала приказ: «Назначаю члена Бюро Историко-Театральной Секции Алексея Александровича Бахрушина заведующим Театральным музеем Театрального отдела Народного Комиссариата по Просвещению имени А. Бахрушина».

Бахрушин был одним из очень немногих московских собирателей, чья деятельность продолжилась и при Советской власти. Директором музея он оставался до последнего своего часа.

Алексей Александрович спокойно принял перемены. Не озлобился, не питал надежд на возвращение прошлого. Музей продолжал жить, оказался нужен — это было главное. В течение четырех лет Бахрушин работал в Театральном отделе Наркомпроса, несколько раз его избирали в ежегодно менявшийся состав существовавшей в 20-х годах Государственной Академии художественных наук.

Музей на Лужниковской был в то время одним из важных очагов культуры, хранителем традиций. Здесь постоянно проводились экскурсии, появился новый, массовый посетитель. Коллекции музея изучались, исследовались, его собрание пополнялось и расширялось самыми разными способами.

Как-то в начале 20-х годов Алексей Александрович узнал, что на следующее утро назначен снос полуразвалившегося дома, который принадлежал раньше знаменитой театральной чете — Михаилу Провычу и Ольге Осиповне Садовским. В нем уже никто не жил. Бахрушин взял большую корзину и ночью отправился туда. Путь был неблизкий — от Лужниковской до Мамоновского переулка (теперь улица Садовских). В развалинах оказалось множество ценнейших материалов — письма и записки Михаила Садовского, письма Аполлона Григорьева, Писемского, рисунки, гравюры. Но какова же была радость, когда там удалось найти бумаги великого русского драматурга А. Н. Островского — записные книжки, дневники, письма, автографы! С трудом доволок Бахрушин наполненную доверху корзину на Лужниковскую и снова отправился в Мамоновский.

В 20-х годах, когда умерла Мария Николаевна Ермолова, музей обогатился ее архивом, вещами из ее особняка на Тверском бульваре. Посетители музея почтительно рассматривали скромное черное платье великой артистки, бережно хранимый ею кусок доски от старого пола сцены Малого театра, по которой ступали Щепкин, Мочалов. Эту дорогую сердцу Ермоловой реликвию подарили ей рабочие сцены.

Среди поступлений были не только такие, которые отражали историю теат-

ра, но и связанные с современностью, с возникновением нового искусства: многочисленные афиши времен гражданской войны и первых лет Советской власти, эскизы декораций новых спектаклей, программы, газетные рецензии, фотографии... Продолжали скапливаться материалы о русском искусстве за рубежом. Близкий друг Бахрушина, журналист Александр Плещеев, живший в Париже, каждый месяц присылал в музей увесистые бандероли с вырезками из газет, журналами, афишами и программами русских драматических и балетных представлений за границей.

Бахрушин тщательно сортировал, систематизировал эти материалы. С годами он не изменился. Все с той же страстью занимался поисками театральных реликвий, стремился не только сберечь, но и приумножить богатства музея. К казенной копейке Алексей Александрович относился с такой же бережливостью, как раньше к собственной. В опубликованном «Литературной газетой» некрологе говорилось: «Он считал каждый советский грош и умел на скудные средства бюджета пополнять беспрерывно и без того полные музейные сундуки».

В поисках экспонатов Бахрушину помогали сотрудники музея, помогал и сын Юрий, в будущем специалист по истории русского и советского балета (с 1924 по 1935 год заведовал постановочной частью Оперной студии и театра им. К. С. Станиславского). Свои мемуары он не успел довести до послеоктябрьского периода, но некоторые памятные эпизоды первых лет Советской власти описал. В их числе — рассказ о судьбе семейного склепа Бахрушиных, помещавшегося под алтарем храма при Сокольнической больнице. Когда Совнарком издал декрет о ликвидации всех домовых церквей и семейных склепов, Алексей Александрович ужаснулся: нужно разрушить гробницы родителей, родственников, умершего в детстве сына Александра... Пользуясь добрым знакомством с О. Д. Каменевой, обратился к ее мужу — председателю Моссовета Л. Б. Каменеву. Тот сказал:

— Изменить распоряжение правительства или не подчиниться ему я не могу. Единственный выход — ликвидировать помещение склепа, точно его и не существовало вовсе.

«В хмурый зимний день,— пишет Ю. А. Бахрушин,— мы в последний раз вошли в склеп проститься с нашими стариками. У входа стояли каменщики с разведенным цементом к готовыми кирпичами... Как только мы вышли, каменщики взялись за дело. Скоро на месте, где был склеп, высилась общая больничная стена. Так и спят до сих пор мои деды в своем нерушимом уже никем покое, под своими мраморными гробницами, н быть может, не перегорели еще все лампады их неугасимых светильников...».

А жизнь продолжалась. Бахрушин, как и прежде, был одним из самых заметных представителей культурного мира Москвы, активно участвовал в деятельности Российского театрального общества. Без него не обходилось ни одно театральное событие. «Мы видели его с лицом радостным на торжественных юбилеях отдельных театров, на торжествах по случаю получения высокого звания тем или другим артистом, на премьерах и т. д.,— вспоминал Луначарский.— И если хотелось поздравить тех, кого непосредственно эти торжества касались, то хотелось вместе с тем поздравить и «театрального дедушку» А. А. Бахрушина. Это всегда был его праздник».

Все так же он оставался ходячей театральной энциклопедией. Хорошо знал почерк известных артистов и писателей, по одной строке мог определить подлинность рукописи даже XVIII—XIX веков. Обладал удивительной памятью на имена и события, связанные с историей театра, мог ответить на любой вопрос, будь то дата премьеры спектакля, фамилия исполнителя той или иной роли или факт из жизни актера, драматурга, композитора.

Бахрушин издавна был непревзойденным мастером организации выставок. Несть числа экспозициям, в создании которых он участвовал, начиная с той, первой — в Ярославле в 1899 году. Но, наверное, самой представительной, удачной, яркой стала развернутая в музее выставка, посвященная десятилетней годовщине революции. Она так и называлась — «Десять лет Октября». «Это на-

чинание,— писала «Литературная газета»,— могло быть осуществлено во всем блеске лишь потому, что Бахрушин не спал дней и ночей, организуя — и опять-таки на гроши — этот торжественный парад советского театра». О выставке как о большом успехе Бахрушина вспоминал и Луначарский: «Каким именинником выглядел он, когда показывал свой музей, расцвеченный превосходной коллекцией макетов, характеризовавших наше театрально-декоративное искусство за десять лет! Своим глуховатым басом он говорил мне, и глаза его добродушно блестели из-за очков: «Вы знаете, Анатолий Васильевич, нет десятилетия в истории нашего театра,— а я ведь эту историю немного знаю,— которое бы так богато было разнообразной изобретательностью по части театрально-декоративного мастерства».

Но вот два документа из архива, которые показывают, что не все было так радужно в жизни Алексея Александровича. Об этих документах ни словом не упоминается в статьях и некрологах, посвященных Бахрушину, хотя они датированы как раз годом его смерти.

Документ первый — заявление директора Государственного театрального музея А. А. Бахрушина в Замоскворецкую избирательную комиссию (январь 1929 года):

«Считая неправильным лишение меня избирательных прав в текущую избирательную сессию, прошу Замоскворецкую районную комиссию пересмотреть вопрос и восстановить меня в правах, которыми я пользовался за все время существования Советской власти. Причины, побуждающие меня к изложенной просьбе, таковы:

1. Всю жизнь отдав на дело собирания основанного мной Театрального музея, носящего мое имя, я еще в 1913 году принес его в дар Государству, передал всю коллекцию и трехэтажный каменный дом Всероссийской Академии наук.

2. Советское правительство, оценив мою деятельность, в 1919 г. присвоило Музею мое имя, включив его в состав научных государственных учреждений.

3. Будучи абсолютно лояльным по отношению к Советской власти, я с первых дней революции встал в ряды лиц, активно содействовавших ее укреплению.

4. За все 11 лет, состоя на Государственной службе и неся ряд общественных должностей, я ни разу не подвергался ни административным, ни дисциплинарным взысканиям.

5. Лишение прав является опорочиванием не только лично меня, но и учреждения, носящего мое имя».

Документ второй — выписка из протокола заседания Замоскворецкой избирательной комиссии от 30 января 1929 года:

«Слушали: заявление гр-на Бахрушина А. А. с просьбой о восстановлении в избирательных правах.

Постановили: лишить».

Представителям «бывших эксплуататорских классов» было отказано в праве принимать участие в общественной жизни страны, даже если они, подобно Бахрушину, с энтузиазмом работали и приносили реальную пользу. Думаешь о том времени и на память приходят строки Бориса Пастернака:

Грядущее на все изменит взгляд,
И странностям, на выдумки похожим,
Оглядываясь издали назад,
Когда-нибудь поверить мы не сможем.

«...А я стал прихварывать,— писал Алексей Александрович весной 1929 года в Париж Плещееву.— Вот уже скоро два месяца, как я заболел гриппом, после которого никак не могу отделаться от общей слабости и какой-то апатии ко всему происходящему кругом меня». Но он продолжал работать — в том же письме сообщал, что вчера закрыл выставку Грибоедова, которую посетило около трех тысяч человек, и проследил, чтобы в его присутствии ее разобрали и разослали чужие экспонаты по принадлежности.

«Никуда не выезжаю,— сообщал он Плещееву в следующем письме,— и почти вовсе не выхожу из кабинета и спальни, делю время между письмен-

ным столом, когда в силах что-либо делать, и кроватью. Дохожу даже до того, что это стало действовать на мою психику... На днях собираюсь ехать в деревню, где сын имеет в избе для меня комнатку, быть может, перемена воздуха и временное отрешение от дел музея мне помогут».

Имение Бахрушиных национализировали, и Юрий Алексеевич снимал избу поблизости, в Апрелевке. Деревня не помогла, состояние Алексея Александровича становилось все хуже. «Когда нет болей,— писал он сыну за два дня до смерти,— я лежу в постели вполне здоровым человеком, но стоит мне приподняться, не говоря уже дойти до конца комнаты, я — живой труп».

Как вспоминал Луначарский, Бахрушин «с обычной своей скрупулезностью, уже в бреду пользовался моментами прояснения мысли, чтобы давать распоряжения, касающиеся блага музея». 7 июня его не стало.

Хоронили Бахрушина торжественно. В состав общественного комитета по организации похорон и увековечению памяти покойного вошли виднейшие представители советского театрального искусства: Берсенев, Блюменталь-Тамарина, Гельцер, Игумнов, Ипполитов-Иванов, Качалов, Книппер-Чехова, Мейерхольд, Москвин, Нежданова, Немирович-Данченко, Собинов, Таиров, Яблочкина, а также государственные, партийные деятели — Енукидзе, Луначарский, Лядов, Свидерский, Семашко.

Над гробом у раскрытой могилы на Новодевичьем кладбище было сказано много высоких слов о значении личности покойного, о его вкладе в отечественную культуру. Так бывает часто: человеку нужно умереть, чтобы вспомнили о его заслугах и клялись их не забыть. А когда он был жив, никто не позаботился оградить его от горестей и несправедливых обид.

С Театральным музеем после кончины его пожизненного директора случалось всякое. Так, в 1937 году было принято постановление о закрытии музея. Вдова Бахрушина Вера Васильевна написала Сталину. Копия ее письма сохранилась в архиве: «9 ноября с. г. Комиссией Советского Контроля было вынесено решение свернуть музей в кратчайший срок и перевести в подвальные помещения Политехнического музея. И то и другое грозит тяжелыми последствиями для всех ценнейших коллекций музея... Ни показывать посетителям, ни продолжать научную работу будет невозможно».

Помогло ли это письмо или что другое, но музей был оставлен на Лужниковской. За долгие годы от окружавшего его сада ничего не осталось, уже после войны у музея отобрали соседние бахрушинские дома, в 60-х годах намеревались снести и главное здание — сказочный московский теремок, и только энергичное вмешательство театральной общественности помешало этому. А в 1984 году при сносе дома, стоявшего впритык к музею, чуть-чуть не завалилось и бахрушинское фондохранилище — его лишили опорной стены.

Но рассказ о Бахрушине не хочется заканчивать на пессимистической ноте. Да для этого, в общем, и нет резона. Его жизнь была наполнена большим общественным смыслом. Как писал Луначарский, он «великолепно послужил бессмертию театра, театр обязан ему благодарностью и обязан хранить о нем дорогую память». Созданный Бахрушиным Театральный музей, которому в 1994 году исполнится сто лет, несмотря на все сложности, постоянно пополняется, ведет огромную исследовательскую и просветительскую работу, часто (по бахрушинской традиции) организует прекрасные выставки.

И музей, и бывшая Лужниковская улица названы именем Бахрушина — в знак уважения и благодарности семье, обычаем которой было делать добро. Вернется ли когда-нибудь в нашу жизнь этот почти уже позабытый обычай?

Публицистика

Давид Гай, Владимир Снегирев

ВТОРЖЕНИЕ

ОПЫТ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ОБЕД ВО ДВОРЦЕ

Двадцать седьмого декабря 1979 года новый правитель Афганистана Хафизулла Амин пригласил к себе гостей. На обед вместе с женами съехались его ближайшие соратники — члены Политбюро, министры. Формальным поводом, чтобы собрать всех, стало возвращение из Москвы секретаря ЦК НДПА Панджшери. Но имелась и еще одна существенная причина, по которой Амин пригласил к себе гостей. Недавно он переехал в специально отремонтированный для него роскошный дворец, расположенный на холме в конце проспекта Дар-уль-аман. Раньше здесь размещался штаб кабульского гарнизона, теперь же этот величественный замок стал принадлежать генеральному секретарю ЦК НДПА, председателю Революционного Совета, вождю всех афганских трудящихся. Амину не терпелось показать гостям роскошные покои, богатую роспись стен, отделанные деревом и камнем личные апартаменты, бар, столовую, залы для торжественных приемов.

Вокруг дворца были разбиты цветники, а на соседнем холме отстроен ресторан в стиле модерн. Получивший образование в США, Амин был не чужд «светских забав».

Обед проходил в легкой, непринужденной обстановке, тон задавал радушный хозяин. Когда Панджшери, сославшись на предписание врачей следовать диете, отказался от супа, Амин пошутил: «Наверное, в Москве тебя избаловали кремлевской кухней». Панджшери кротко улыбнулся, приняв шутку. Он вытер салфеткой губы и еще раз повторил для всех то, что уже рассказывал Амину: советское руководство удовлетворено изложенной им версией смерти Тараки и смены руководства страной. Его, Панджшери, визит еще укрепил отношения с Москвой, там ему подтвердили, что СССР окажет Афганистану широкую военную помощь.

Амин торжествующе обвел глазами присутствующих: «Советские дивизии уже на пути сюда. Я вам всегда говорил, что великий сосед не оставит нас в беде. Все идет прекрасно. Я постоянно связываюсь по телефону с товарищем Громыко, и мы сообща обсуждаем вопрос: как лучше сформулировать для мира информацию об оказании нам советской военной помощи».

После вторых блюд гости перешли в соседний зал, где был накрыт чайный стол. Некоторые, сославшись на срочные дела, уехали. И тут случилось необъяснимое. Почти одновременно все почувствовали себя худо: их одолевала чудовищная сонливость. Люди падали в кресла и буквально отключались. Напуганная прислуга бросилась вызывать докторов — из советского посольства и центрального военного госпиталя.

Странная болезнь в одночасье поразила всех, кроме Панджшери. Амин не был исключением: охранники, поддерживая обмякшее тело генсека, помогли ему добраться до кушетки, и хозяин дворца провалился в глубокий сон.

Когда приехавшие из советского посольства врачи промыли ему желудок и привели в чувство, он, едва открыв глаза, удивленно спросил: «Почему это случилось в моем доме? Кто это сделал?»

День катился к закату. Амин еще не знал, что главное потрясение впереди. Почти все гости, придя в себя, разъехались. В 19 часов 30 минут — стало уже темно — несколько страшных взрывов потрясли здание. С потолков посыпалась штукатурка, послышались звон разбитого стекла, испуганные крики прислуги и охранников. И почти сразу вслед за этим тьму разорвали светлые нити трассирующих пуль — они тянулись ко дворцу со всех сторон, а грохот взрывов стал беспрерывным. На дворец был обрушен такой шквал огня, что нечего было и думать о каких-то отдельных террористах. Но что это? Бунт? Измена?

Амин оторвал от подушки тяжелую голову: «Дайте мне автомат». «В кого ты хочешь стрелять? — спросила жена.— В советских?»

Вскоре все было кончено. Осколки гранаты настигли Амина за стойкой того самого бара, который он с гордостью показывал своим гостям. Через несколько минут к уже бездыханному телу подошел вооруженный человек в военной форме, но без знаков различия, перевернул Амина на спину, достал из своего кармана фотографию и сверил ее. Убедившись, что не ошибся, он выстрелил в упор.

Поздно вечером по радио было объявлено: «Революционный суд приговорил предателя Хафизуллу Амина к смертной казни. Приговор приведен в исполнение». Было также объявлено, что сейчас к народу Афганистана обратится новый генеральный секретарь ЦК НДПА товарищ Бабрак Кармаль.

Мир еще ни о чем не ведал. Мир жил надеждами разрядки, которая ненадолго уступила место жесточайшей конфронтации между двумя сверхдержавами. Выстрелы во дворце на проспекте Дар-уль-аман стали сигналом к началу новой глобальной вражды, на многие годы похоронившей надежды.

ПЯТНАДЦАТЬЮ ГОДАМИ РАНЕЕ

Убийство Амина вечером 27 декабря 1979 года увенчало серию политических убийств, стало звеном в цепи переворотов и преступлений. Как не вспомнить классическую формулу: насилие подобно цепной реакции — оно само порождает насилие. И может быть, есть глубинный смысл в том, что запятнавший свои руки кровью невинных жертв Хафизулла Амин сам пал жертвой преступления?

...1 января 1965 года в скромном глиняном доме на окраине афганской столицы собрались двадцать семь молодых мужчин. Дом принадлежал писателю Нур Мухаммаду Тараки, а гостями его были делегаты первого (учредительного) съезда Народно-демократической партии Афганистана.

Т. Бадахши представил собравшимся Н. М. Тараки, показал написанную им книгу «Новая жизнь», рассказал о его революционной деятельности. Тараки выступил с большой речью об историческом развитии страны, значении создания прогрессивной партии, о пагубности империалистического влияния в Афганистане. Затем представили Б. Кармаля, который сделал акцент на внутренней ситуации в стране и международной обстановке. В перерыве, разбившись на группы, пили чай, толпились в коридоре и гостиной, спорили. Вспоминают, что Г. М. Зурмати спросил Н. М. Тараки: «Кто тебя уполномочил нас собрать? Кто тебя поддерживает?» Тот ответил: «Собственная воля и народ Афганистана».

После перерыва много спорили о будущем названии партии. Принимали устав и программу. Генеральной линией партии было провозглашено «построение общества, свободного от эксплуатации человека человеком», идейно-теоретической основой — марксизм-ленинизм.

Выборы были тайными. Каждый голосовал за кого хотел. В итоге семь человек стали членами ЦК, четверо — кандидатами. Состоявшийся сразу после этого пленум большинством голосов избрал Нур Мухаммада Тараки первым секретарем ЦК НДПА, а Бабрака Кармаля — его заместителем.

Известно, что впоследствии партию будут раздирать междоусобицы, яростная борьба за власть, но мало кто знает, что первые трещинки появились уже тогда — на учредительном съезде. Так, А. Х. Джаджи, не обнаружив себя в числе членов ЦК, настолько обиделся, что на другой день покинул ряды НДПА. Тараки, Кармаля и Бадахши делегаты заподозрили в том, что они голосовали дважды — не только за других, но и за себя.

В два часа ночи съезд закончил свою работу, и делегаты, радуясь благополучному завершению, разошлись по домам.

Уже в 1966 году расхождения руководителей НДПА в тактике и борьбе за лидерство приводят к расколу: Б. Кармаль и его сторонники выходят из состава ЦК и формируют фракцию «парчам» («знамя»), провозглашенную «авангардом всех трудящихся». Другая группировка «хальк» («народ»), руководимая Н. М. Тараки, называла себя и всю партию «авангардом рабочего класса». В 1968 году партия насчитывала полторы тысячи членов в основном из интеллигенции, чиновников госаппарата, офицеров, студентов и учащихся. Четыре представителя НДПА (разумеется, не раскрывая своей принадлежности к партии) прошли в парламент (созыв 1965—1969 годов). Вплоть до 1977 года «хальк» и «парчам», признавая программные документы, принятые первым съездом, действовали как две самостоятельные фракции. Среди халькистов преобладали представители средних имущих слоев, по национальности в основном пуштуны из юго-восточных и южных провинций. А парчамистами чаще были выходцы из богатых семей — помещиков, крупных торговцев, влиятельного духовенства, высшего офицерства, интеллигенты; значительна прослойка таджиков и представителей других непуштунских национальностей.

Надо сказать, что раскол с самого начала принял очень болезненные формы. Оба лагеря не жалели брани, обмениваясь взаимными обвинениями; сторонники Тараки называли парчамистов «продажными слугами аристократии», а со стороны Кармаля и его людей звучали другие оскорбления: «шовинистические националисты», «полуграмотные лавочники» и т. п.

1968 год. По рядам партии проходит новая трещина, вызванная выходом из НДПА представителей некоторых национальных меньшинств. Тут на политической сцене впервые возникает Хафизулла Амин. Вернувшись из США после учебы и вступив в партию, он стал проповедовать пуштунский национализм, что, как считают некоторые историки, и послужило основной причиной кризиса 1968 года. Тогда пленум ЦК «за отход от принципов интернационализма» перевел Х. Амина из числа основных членов партии в кандидаты, охарактеризовав его как человека с «фашистскими чертами и шовинистическими взглядами». Однако несмотря на трудности, вызванные фракционной борьбой, партия продолжала свое «двуединое» существование и к 1973 году стала заметной политической силой.

1973 год, июль. Группа армейских офицеров, руководимая членом королевской семьи бывшим премьер-министром М. Даудом, совершает в Кабуле бескровный переворот. Король М. Захир-шах свергнут, провозглашена республика. Исламские экстремисты воспринимают это как сигнал к активизации своих действий. Руководители «Мусульманской молодежи», пройдя трехмесячную военную подготовку в Пакистане, в 1975 году поднимают антиправительственные мятежи вначале в Панджшерской долине, а затем в ряде других афганских провинций. По оценкам западной печати, Пакистан в середине 70-х годов тайно подготовил и обучил методам ведения повстанческих операций до пяти тысяч исламских фундаменталистов из Афганистана. Вскоре эти люди составят ядро джихада — священной войны, объявленной вначале против Саурской (апрельской) революции, а затем и против «советских оккупантов». С этого момента режим М. Дауда стал подвергаться атакам с двух сторон: справа его расшатывали исламские фанатики, а слева беспрерывно критиковали члены НДПА...

В июне 1977 года Н. М. Тараки и Б. Кармаль подписали «Заявление о единстве НДПА», согласившись воссоединить фракции на принципе равного представительства халькнстов и парчамистов в руководящих органах партии. Генеральным секретарем стал Тараки, а Кармаля избрали одним из трех секретарей ЦК. Важно отметить, что стало с Амином. На его избраиии в Политбюро иастаивал генсек, и по этому поводу возникли ожесточенные споры. После жарких дебатов Амин остался только членом ЦК. Тогда же было принято решеиие разработать план действий по свержению режима М. Дауда. По некоторым источникам численность партии к началу 1978 года выросла до двадцати тысяч человек, причем около трех тысяч (включая сочувствующих) было в рядах вооруженных сил.

17 апреля 1978 года агентами службы безопасности был убит видный парчамист Мир Акбар Хайбар. Это вызвало взрыв негодования. Многотысячная толпа, выплеснувшись на кабульские улицы, в течение трех дней скандировала антнправительственные лозунги. Президент Дауд после консультаций с членами кабинета и встреч с послом США решает пойти на крутые меры. В ночь с 25 на 26 апреля ои приказывает арестовать всех видных руководителей НДПА, в том числе Тараки и Кармаля.

27 апреля Военный революционный Совет во главе с начальником штаба ВВС и ПВО полковником А. Кадыром объявил о начале национально-демократической революции. Арестованные руководители партии были освобождены восставшими. К центру Кабула двинулись танковые колонны, ведомые революционно настроенными офицерами.

«ЭТО БЫЛА ПОЛНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ»

События 27—28 апреля были вполне неожиданными для советского посольства в Кабуле. Тогдашний посол А. М. Пузаиов уверял нас, что с руководителями НДПА Тараки, Кармалем, Амином познакомился лишь после захвата ими власти. «До этого всякие встречи были исключены,— пояснил посол.— Мы не имели права давать хоть малейшие основания для обвинений в инспирировании антиправительственной деятельности».

Но ведь в Афганистане задолго до революции действовал многочисленный отряд советских граждан, и каких! В середине 70-х годов около трехсот наших офицеров были советниками в афганских вооруженных силах. Может, Москва на них возложила обязанность раздуть пламя борьбы против режима?

По свидетельству генерал-лейтенанта в отставке Л. Н. Горелова, который с 1975 по 1979 год возглавлял военный советнический аппарат в Афганистане, никаких контактов с подпольными партийными организациями у его офицеров не было и быть не могло. Большинство советников пребывали в неведении даже относительно самого существования Народно-демократической партии. Зато отношения с Дауд-ханом складывались самым превосходным образом. «Если хоть один волос упадет с головы советского офицера, виновный поплатится своей жизнью»,— говаривал афганский президент. По словам Горелова, до декабря 79-го офицеры передвигались по Афганистану без охраны, безоружными и всюду встречали радушный прием.

— 27 апреля,— рассказывает Л. Н. Горелов,— я с утра уехал из своего штаба, размещавшегося в жилом микрорайоне, в посольство. Посла не было, ои отправился на аэродром провожать какую-то делегацию. В полдень из центра города поступило сообщение: стреляет танк. Но что это за танк и в кого ои стреляет — иикто сказать не мог. Потом посол появился. С трудом, говорит, проехал по городу, что-то непонятное происходит, танки какие-то, стрельба... Я по телефону разыскал советника при 4-й танковой бригаде. Он мне докладывает: «Товарищ генерал, танковый батальон во главе со старшим капитаном Ватанджаром вышел на Кабул, блокировал президентский дворец, министерство обороны, захвачен также аэродром». Затем наш советник из 15-й танковой бригады звонит: оттуда тоже танки пошли.

Как стало известно впоследствии, сначала восставшие нанесли удар по министерству обороны. А ведь там на своих обычных рабочих местах находились тогда тридцать наших советников. Министр обороны генерал-полковник Хайдар собрал их всех: «Господа, обстановка у нас сложная. Вот вам автобус — он отвезет всех домой». Советники благополучно уехали. В 14.00 здание министерства было захвачено. Сам Хайдар отбыл в расположение 8-й дивизии, которая дислоцировалась в местечке Пагман аблизи Кабула.

Начиная с 15 часов 20 минут 27 апреля дворец Дауда подвергался почти непрерывным бомбардировкам. В бомбоштурмовых ударах были задействованы самолеты афганских ВВС «СУ-7б» и«МиГ-21», вылетавшие с авиабазы Баграм...

Раио утром 28 апреля восставшие ворвались ао дворец. М. Дауд, члены его семьи, часть приближенных, по одной аерсии, были убиты в ходе штурма, а по другой — расстреляны сразу после пленения. По телефону я связался с иашими советниками в других городах Афганистана. Из Кандагара, Гардеза, Герата мне сообщили, что командиры расположенных там корпусов и дивизий сняты и арестованы. По-моему, дня через три их всех свезли в Кабул и с миром отпустили по домам. На этом, можно считать, переворот закончился. Да, я называю случившееся в Кабуле военным переворотом.

Впрочем, серьезные исследователи иа Западе также скептически относятся к версии о «руке Москвы». Марк Урбан, военный корреспондент английской газеты «Индепендент», пишет, что Советский Союз знал очень немногое о готовящемся перевороте. «В отличие от других братских партий,— замечает М. Урбан,— НДПА никогда не получала приглашений направить официальную делегацию на съезд КПСС в Москву. Вне сомнения, это делалось для поддержания хороших отношений с режимами Захир-шаха и Мухаммада Дауда».

Советский Союз признал новую власть 30 апреля 1978 года. В тот же день Революционный Совет публикует декрет № 1, которым Нур Мухаммад Тараки объявлен председателем Ревсовета и премьер-министром. Провозглашено создание Демократической Республики Афганистан (ДРА).

Биографическая справка. Нур Мухаммад Тараки. Выходец из пуштуиского племени тараки. «У него душа крестьянина»,— говорили люди, близко знавшие этого человека, имея в виду его мягкий, покладистый характер. В 1952 году был направлеи в Вашингтон на должность пресс-атташе афганского посольства, однако год спустя за критику, высказанную в адрес премьер-министра, был отозван домой и уволен с государственной службы. Автор теории «народной» революцни. Известный писатель.

Лица, близко наблюдавшие Тараки после революции, отмечают, что приобщение к верховной власти отрицательно сказалось на его натуре. Вольготио расположившись во дворце Арк, еще недавно служившем резиденцией короля, а затем М. Дауда, иовый правитель очень быстро почувствовал сладость благ, которыми его окружили. Стал охотно принимать откровенную лесть, неумереиные восхваления. Приближенные, и в особенности Х. Амин, сразу заметили эту слабость и принялись изо всех сил ее эксплуатировать,— дело известное: короля создает его свита. Появились деньги с изображением Тараки. На газетных фотографиях его умудрялись печатать крупнее всех, кто стоял рядом. В домах, где он родился и жил, устроили музеи. На собраниях и торжественных заседаниях вывешивалось не менее пяти его портретов.

А Тараки и вправду поверил в то, что все его обожают, считают «отцом народов».

УЧИТЕЛЬ И «УЧЕНИК»

Главные действующие лица периода, который согласно теперешней официальной терминологии зовется первым этапом апрельской революции,— Нур Мухаммад Тараки и Хафизулла Амин. Учитель и «ученик». Первый, возглавляя партию и государство, правил в Афганистане с 30 апреля 1978-го по 16 сентября 1979-го. Второй сменил его у руля на сто последующих дней — пока граната не оборвала его жизнь.

О том, как развивались их отношения, многое рассказали бывший генеральный секретарь ЦК НДПА и председатель Ревсовета ДРА Б. Кармаль; вдова Тараки; ветераны НДПА, бывшие члены правительственного кабинета А. К. Мисак, Ш. Вали, Ш. Джауэджани; бывший кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС (1961—1986 гг.) Б. Н. Пономарев; посол СССР в Афганистане (1972—1979 гг.) А. М. Пузанов; посол СССР в Афганистане (1979—1986 гг.) Ф. А. Табеев; бывший посол Афганистана в СССР (1987—1990 гг.), а до этого министр при Тараки, Кармале, Наджибулле — С. М. Гулябзой; начальник центрального военного госпиталя в Кабуле генерал В. Хабиби; бывший главный военный советник в ДРА, генерал-лейтенант Л. Н. Горелов; бывший помощник четырех Генеральных секретарей ЦК КПСС А. М. Александров-Агентов... А также дипломаты, чекисты, ученые, наши и афганские граждане, чьи имена по тем или иным причинам мы не называем.

Говорит А. М. Пузанов:

— Амин... Это, я вам скажу, умный был человек. Энергичный и исключительно работоспособный. Когда ему поручили заниматься военными вопросами, он попросил нашего советника генерала Горелова полтора-два часа ежедневно читать ему курс лекций по организации вооруженных сил, тактике и стратегии, действиям различных родов войск. Во все вникал. Бывало, вечером прихожу к нему в министерство — у него в приемной генералы томятся: «Товарищ Амин велел нам подождать, сейчас с советником занимается». А когда он стал премьер-министром, то ко мне обратился: «Дайте умного наставника по экономике».

Я Амина знал и как военного, и как государственного, и как политического деятеля. С мая 1978 года до ноября 1979-го практически дня не проходило, чтобы мы не виделись.

— А при прежнем режиме, при Дауде, вы были знакомы?

— Нет, нет! — категорически отвергает Александр Михайлович.— До этого нам встречаться не приходилось. Ну, разве на каком-нибудь приеме издалека видели друг друга. Нет, это было исключено.— Александр Михайлович зорко следит за тем, чтобы мы записали его слова.— Так вот, про Амина. Вышел он из среднего сословия. Знал английский язык. Русским не владел. Занимаясь в партии военными вопросами, еще до революции хорошо изучил армейские кадры. Тараки считал его самым способным и преданным учеником, был влюблен в него — это истинная правда. И доверял ему полностью, доверял, может быть, даже больше, чем самому себе. Мне рассказывали такой случай. Во время какого-то заседания на высшем уровне вдруг поступает сообщение о том, что в центре города совершено террористическое нападение на патруль царандоя — местной милиции. Тараки растерялся. А Амин мгновенно проявил инициативу: «Давайте прервем наше заседание, поручите мне разобраться в ситуации и принять меры».

Да, у него были качества, заслуживающие уважения. Но при всем при этом Амин — жестокий палач. Палач! Сам он никого не убивал и не пытал, но сколько же душ было загублено по его приказам, с его ведома! Людей расстреливали и хоронили неподалеку от тюрьмы Пули-Чархи, в районе дислокации танковой бригады. Вы спрашиваете, что это были за люди? Самые разные. Лидеры и активисты других политических партий. Религиозные деятели. Купцы. Представители

интеллигенции. Иногда достаточно было элементарного доноса, чтобы человека тут же отправили на тот свет.

Однажды мне доложили, что минувшей ночью арестована большая группа преподавателей Кабульского политехнического института, в их числе трое, женатых на советских гражданках. Я — к Амину: «Какие основания для ареста? Нельзя ли избежать возможного произвола?» Через некоторое время он перезванивает: «К сожалению, они уже расстреляны». В другой раз приходит ко мне торгпред и докладывает: ночью арестованы известные купцы. Иду к Амину: «Купцов взяли?» — «Да, товарищ посол» — «Надо их освободить» — «Вы понимаете, товарищ Пузанов, ошибки, конечно, возможны, но ведь нас окружают враги и потому надо быть очень бдительным».

Волны репрессий против парчамистов захлестнули страну уже летом 1978 года. Судя по нашим разговорам с советскими дипломатами, работавшими тогда в Кабуле, мало кто из них верил в сказку о заговоре, распространяемую официальной пропагандой. Воспринимали происходящее как жестокую борьбу за власть. Все видели, как таинственно и бесследно исчезают люди: чиновники из госаппарата, торговцы, офицеры, священнослужители, студенты. В кабульских учреждениях, если речь заходила о репрессированном, употребляли выражение из уголовного жаргона: «Ему купили билет». «Обилетили» таким вот образом тысячи людей — и не только членов партии, принадлежавших к другому «крылу». К стенке ставили по малейшему подозрению в нелояльности, по элементарному доносу. Охранка, случалось, просто хватала на улице любого прилично одетого человека и требовала за его освобождение выкуп. За отказ убивали.

Дважды, в 1978-м и в 1979-м годах, Афганистан неофициально навещал секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарев. Он не скрывал своей озабоченности по поводу раскола в партии и репрессий, беседовал об этом с руководителями НДПА, призывал их к единству, к более разумной политике. Но все было тщетно. Афганские руководители ссылались на сложную обстановку в стране, на заговоры, которые будто бы повсюду плетут против них, давали туманные обещания «исправить», «учесть» и т. д.

— Так ли это? — спросили мы самого Бориса Николаевича Пономарева, придя в его кабинет на 5-м этаже здания ЦК КПСС: 85-летний пенсионер ходит на работу в ЦК по полувековой привычке.

— Да,— подтвердил Пономарев,— я действительно дважды по заданию ЦК выезжал в Афганистан — для примирения враждующих группировок внутри НДПА. Нас тревожила эта конфронтация. Было ясно, что ни к чему хорошему она не приведет. Мы знали, Тараки находится под сильным влиянием Амина, которого наши чекисты подозревали в связях с американской разведкой. Он учился в США — может быть, этот факт их настораживал, не знаю. И вот Амин стал руками Тараки расправляться с парчамистами и вообще со всеми неугодными ему людьми. Возможно, у него и были основания кого-то наказать, но не так же круто... Сама революция из-за этого представала в каком-то неприглядном свете. Наше руководство считало, что так нельзя. Прибыв в Кабул, я откровенно говорил с Тараки. Он соглашался с тем, что мои упреки справедливы, благодарил за советы. Но все там продолжалось по-прежнему. Второй визит, состоявшийся летом 1979 года, также был связан с разногласиями в НДПА. Тут мне памятен разговор с Тараки по поводу его предстоящей поездки на Кубу. Я говорил о том, что сейчас не время покидать Кабул, что обстановка требует его ежедневного присутствия в стране. А он мне: «Но ведь сам Фидель Кастро приглашает». Я — опять его уговаривать. Он покивал головой, будто согласился с моими доводами. А вернувшись в Москву, я узнал, что Тараки все же едет на Кубу.

— Скажите, Борис Николаевич, можно ли считать, что наше высшее руководство внимательно относилось к поступающей из Афганистана информации и адекватно на нее реагировало?

— Нет. Руководство занималось этой проблемой поверхностно. Брежнев вообще мало интересовался Афганистаном. Пережив к тому времени два инфаркта, он был очень слаб. Устинов стал уделять внимание этому региону только тогда, когда решился вопрос о вводе войск.

52-летний хазареец Абдул Карим Мисак, один из основателей партии, в августе 89-го был назначен мэром Кабула. До этого почти десять лет не имел никакой работы. «Вообще никакой?» — не веря, уточнили мы. Ни один мускул не дрогнул на его усталом лице: «Иногда я писал кое-что для себя без всякой надежды когда-нибудь опубликовать». — «Вы что же, все десять лет просидели в своей квартире?» — «Но это было лучше, чем сидеть в тюрьме Пули-Чархи». Столь затянувшийся домашний арест связан с прошлым Мисака. На первом съезде НДПА он стал кандидатом в члены ЦК, потом его избрали в Политбюро, в «эпоху Амина» — министр финансов, лицо приближенное к трону.

С приходом советских войск две недели отсидел в тюрьме. Утверждает, что всегда в открытую выступал против нашего военного присутствия в Афганистане. Если это так, то Мисаку, можно сказать, повезло, ибо некоторые видные халькисты все еще (а наш разговор происходил в конце 1989 года) прозябали в тюрьме. Это, например, министры высшего образования, энергетики, сельского хозяйства, начальник Главпура... А наш собеседник стал не только мэром, но и членом ЦК, то есть прямо из-под домашнего ареста угодил в руководящую элиту страны. «Хотя все десять лет я не знал, считаюсь ли членом партии. Никто не мог ответить на этот вопрос».

Мы говорили с кабульским мэром несколько часов кряду.

— Вы спрашиваете об Амине? Тогда записывайте. Первое: Амин никогда не был агентом ЦРУ. Он был коммунистом. Но он был таким коммунистом, как Сталин, он очень любил Сталина и даже старался кое в чем ему подражать. Он также был пуштунским националистом. Всячески раздувал собственный культ, причем жаждал известности не только в Афганистане, но и во всем мире — эти его амбиции в буквальном смысле не знали границ. Не могу отказать ему в таланте крупного организатора, правда, оговорюсь, что прогресса во всем он стремился добиться очень быстро, сию минуту.

Иногда Амин с восторгом начинал рассказывать о Фиделе Кастро, было заметно, что он завидует его огромной популярности, авторитету, его героическому прошлому. Будучи министром иностранных дел, он дважды побывал на Кубе и там, судя по его словам, Кастро очень гостеприимно принимал Амина, даже позволил ему присутствовать на заседаниях Политбюро, о чем Амин рассказывал с особым воодушевлением.

Был тщеславен, имел склонность к театральным эффектам. Снимался в художественном фильме, играя в нем роль героя подполья, вождя апрельской революции, то есть самого себя. Причем делал это с увлечением: придумывал разные сцены, заставлял переделывать сценарий — часто в ущерб исторической правде, но зато с пользой для самого себя. Он хотел появиться на экране в образе храброго, благородного и мудрого революционера, который постоянно печется о благе народном и при этом страшно рискует жизнью.

После апрельского переворота, освободившись из тюрьмы, он захотел въехать в центр города на танке. Танк встал на площади, Амин поднялся на башню и высоко поднял правую руку, на которой болтались наручники. Толпа от нахлынувших чувств взревела. Уже один только этот жест сразу сделал Амина чрезвычайно популярным. Похожий эпизод он требовал включить и в фильм.

И вот еще что запишите ради объективности. Я никогда не слышал от него ни одного плохого слова в адрес СССР. Если кто-то в присутствии Амина позволял себе даже вскользь упомянуть об отдельных недостатках Советского Союза, он тут же прерывал: «Никогда больше не говорите так». Хотя в повседневной жизни он предпочитал американский стиль: сказывались годы учебы в США.

Именно этот американский период в биографии Хафизуллы Амина впоследствии стал основанием для обвинения его в принадлежности к ЦРУ. Это пытался утверждать, став «первым лицом», Б. Кармаль, но ему мало кто верил. Когда нам представился случай спросить самого Б. Кармаля, зачем он объявил Амина агентом ЦРУ, бывший афганский руководитель горько усмехнулся: «Вы лучше задайте этот вопрос сотрудникам ваших спецслужб, которые тогда работали в Кабуле».

Шараи Джауздждани вел заседания первого съезда партии в январе 1965 года. Он узбек. Закончил богословский факультет Кабульского университета, где изучал ислам и право, затем, спустя десять лет, примкнул к одному из кружков, тяготевших к марксизму. При Тараки был генеральным прокурором республики, председателем Верховного суда, при Амине стал членом Политбюро, что впоследствии обошлось ему годами тюрьмы.

— Ваша перестройка освободила меня,— говорил Джауздждани, которого президент Наджибулла в середине 1989 года опять ввел в состав ЦК и назначил первым заместителем председателя Верховного суда.— Какие ошибки совершены в нашей партии за 25 лет?.. Многое крылось в субъективном факторе, то есть в личных взаимоотношениях руководителей партии. И Тараки, и Кармаль претендовали на главенствующую роль, и каждый твердил, что у него на это больше прав. К примеру, Тараки обвинял Кармаля в знатном происхождении, а тот бросал ему упреки в пуштунском национализме. Вот так — слово за слово — и доходило до открытой вражды... Интересуетесь Хафизуллой Амином? Что ж, вы пришли по верному адресу. Я хорошо знал его. Его портрет не напишешь только одной краской. Он был человеком, безусловно, мужественным, полным энергии, весьма общительным, и все это способствовало его популярности. В политике занимал крайне левые позиции. Догматик. Был абсолютно нетерпим к инакомыслию, любое сопротивление искоренял беспощадно. Да, верно, любил Тараки и преклонялся перед ним, но как только «учитель» оказался препятствием, уничтожил его без промедления.

Он не лукавил, когда клялся в вечной дружбе с СССР. Выступая однажды перед какой-то вашей делегацией, Амин сказал: «Я более советский, чем вы». Вряд ли он хорошо представлял себе, что означает быть советским, но в определенном смысле действительно был коммунистом — сталинского толка. Когда мы работали над созданием Конституции, предлагал устроить Афганистан по советскому образцу, то есть организовать ряд республик — пуштунскую, таджикскую, белуджскую и т. д. Настаивал также на включении в Основной закон тезиса о диктатуре пролетариата. От такой очевидной глупости его сумели отговорить три советника, специально приглашенные из СССР для помощи в разработке Конституции.

Вот что рассказывает А. М. Пузанов:

— Во времена Тараки, но при деятельном участии Амина, были арестованы, брошены в тюрьму, подвергнуты жестоким пыткам многие видные деятели партии — члены Политбюро и ЦК. Я дал телеграмму в Москву с просьбой официально высказать озабоченность по этому поводу. Москва отреагировала соответствующим образом, о чем я и проинформировал Тараки. Но он отнесся к этому в высшей степени индифферентно: «Ревтрибунал решит, виноваты они или нет».

Мы-то уже хорошо знали, что невиновных не бывает.

Когда Амин стал первым лицом, мои ребята мне докладывают: через неделю бывший министр планирования Кештманд будет расстрелян. Этого нельзя было допустить. Опять я попросил аудиенции у Амина. Как положено, поговорили мы вначале о всяких пустяках, потом я ему говорю: «Это верно, что Кештманд будет расстрелян?» — «Верно».— «Но ведь вы в своих выступлениях, осудив злоупотребления, которые имели место при Тараки, пообещали впредь руководствоваться гуманными принципами».— «Да, обещал».— «Теперь вы руко-

водитель партии и государства — так не пора ли эти обещания выполнять?» — «Хорошо,— после некоторого раздумья сказал Амин,— я заменю казнь длительным тюремным заключением».— «Я могу сообщить об этом советскому руководству?» — «Да, конечно».

К тому времени я уже знал, что он контролирует наши городские телефоны. Нужно было соблюдать особую осторожность. А тут вечером мне докладывают: «Звонит Бабрак Кармаль и просит о немедленной аудиенции». Я знал, что Кармаль и пять его товарищей, которых внезапно, помимо их воли, отправили на «ответственную работу послами в ряд стран», в тот вечер участвовали в прощальной пирушке на вилле одного нашего корреспондента. Помощнику говорю: «Ответьте товарищу Кармалю, что посла на месте нет, будет только утром». Я понимал, что содержание нашего телефонного разговора — если он состоится — станет немедленно известно Амину.

Утром при встрече с Амином я сказал ему о вчерашнем звонке Кармаля. «Благодарю вас. Мне это уже известно»,— ответил он.

А. К. Мисак. Бабрак Кармаль некоторое время Амина не слишком волновал. Амин считал, что политическая карьера того завершена. Тем не менее, позволив ему какой-то срок поработать в Чехословакии, Амин затем велел Кармалю возвратиться, якобы для назначения на другую должность. Это было, по-моему, еще летом. Однако Кармаль, заподозрив худшее, не подчинился вызову, что очень рассердило обоих тогдашних руководителей ДРА, а затем даже отразилось на отношениях между Афганистаном и ЧССР. Приехала к нам тогда высокая делегация под руководством секретаря ЦК КПЧ Васила Биляка. Тараки и Амин настаивали на выдаче Кармаля. «Если вы не сделаете этого, то мы не сможем считать вас своими друзьями»,— говорили они. Но Биляк в ответ только вежливо улыбался — видимо, так инструктировали в Москве.

Б. Кармаль. Это не вся правда. Когда официальная часть встречи с Биляком завершилась и Тараки ушел, Амин сказал чехословацкому гостю: «Если нам удастся напасть на след Кармаля, мы привезем его в Афганистан и здесь расстреляем как агента ЦРУ». Конечно, после такой угрозы чехословацкие товарищи позаботились о мерах безопасности для меня и моей семьи. Вначале мы, покинув Прагу, месяца два жили в одном укромном месте, потом нас укрыли в другом глухом уголке.

КАК УБИВАЛИ ТАРАКИ

А. М. Пузанов. В конце августа 1979-го Тараки отправился на Кубу — на совещание руководителей государств — участников Движения неприсоединения. Мы отговаривали его от поездки. Амин к тому времени уже обложил своего «учителя» красными флажками, ситуация для Тараки не по дням, а по часам становилась все более угрожающей. Ему ни в коем случае нельзя было покидать Кабул. Но Тараки был по-прежнему беспечен...

На обратном пути из Гаваны, во время встречи в Кремле, Брежнев в общих чертах нарисовал афганскому руководителю картину грозящей ему опасности. И что вы думаете! Вернувшись на родину, Тараки не принял никаких мер. Никаких! Трудно теперь сказать, чем это было продиктовано. Либо Амин сумел убедить его, что опасения не имеют под собой почвы, либо он просто-напросто не придал значения нашим предупреждениям... Одним словом, все продолжалось, как прежде. А между тем Тараки ничего не стоило цивилизованным путем «укоротить» Амина: скажем, снять с высоких п[illegible]тов — хотя бы за организованные им репрессии.

Москва проявляла все большую озабоченность. В ДРА уже около месяца

находился главком Сухопутных войск генерал армии Павловский. Он помогал афганцам разрабатывать военные операции против оппозиционных сил. В Москве была создана рабочая группа по Афганистану: Громыко, Андропов, Устинов, Пономарев. Они систематически, а если того требовала обстановка, то ежедневно собирались, изучали поступающую информацию, отдавали необходимые распоряжения.

Когда мы поняли, что Амина уже не остановить, дали об этом предельно откровенную шифротелеграмму в Центр.

Уже за полночь поехали в Арк — вместе со мной были Павловский, Горелов, Иванов из КГБ и переводчик Рюриков. Заявили: «Мы имеем поручение сообщить точку зрения советского руководства, но хотим, чтобы при разговоре присутствовал и товарищ Амин» — «Он здесь, во дворце, сейчас его позовут». Приходит Амин — в халате и шлепанцах, словно мы его с постели подняли. Я довел до сведения афганских руководителей депешу из Москвы. «Да, в нашем руководстве существует немало разногласий,— ответил Тараки.— Но где их нет? Доложите советским друзьям, что мы благодарим их за участие и твердо заверяем: все будет в порядке». Амин во время этой встречи выглядел абсолютно невозмутимым, уверенным в себе, будто не о его происках шла речь. Он тоже взял слово: «Я согласен со всем, что сказал здесь дорогой товарищ Тараки, хочу только добавить: если мне вдруг придется уйти на тот свет, я умру со словом «Тараки» на устах. Если же судьба распорядится так, что Тараки покинет этот мир раньше меня, то я свято буду выполнять все заветы вождя и учителя».

Хочу обратить ваше внимание на то, что до развязки оставались считанные часы.

Важная подробность. Когда мы глубокой ночью приехали в посольство, я обратил внимание на несколько лимузинов с афганскими номерами. Афганцы ночью в советском посольстве, да еще, судя по всему, высокопоставленные особы! Спрашиваю у коменданта, в чем дело? Докладывает: четыре министра — Сарвари (служба безопасности), Маздурьяр (по делам границ), Ватанджар (МВД) и Гулябзой (министерство связи) — приехали к полковнику О. Был у нас один полковник, который впоследствии работал личным советником Кармаля. С министрами этими такая история приключилась. Все они были халькистами, людьми, близкими к Тараки, но откровенно не симпатизировали Амину, видимо, ощущая, какая опасность исходит от него. Амин, в свою очередь, заподозрив, что эти люди могут оказаться на его пути к вершинам власти, стал настаивать на их смещении с важных постов. Тараки не соглашался, на этой почве между учителем и «учеником» возникло напряжение. Ночью эти министры приехали в посольство, видимо, искать у нас защиты. Но ведь это наверняка тут же станет известно Амину, а наши отношения уже и так накалены до предела. Я попросил полковника О. немедленно распрощаться с гостями.

С. М. Гулябзой. Советские товарищи были против поездки Тараки на Кубу. Я тоже был против. Сам Тараки сомневался: ехать или нет? Но тут Амин пошел на хитрость. На собрании партактива в присутствии 500 или 600 человек он взял да и объявил: «Наш великий вождь едет на Кубу, чтобы участвовать в совещании руководителей Движения неприсоединения». Ну, тут, конечно, бурная овация, крики «Ура!» Тараки мне говорит: «Как теперь не ехать, раз этот болтун уже на весь свет натрезвонил?» Я ему посоветовал прикинуться больным. Отказался. «Тогда отправляйтесь, но не на две недели, а дней на пять». Тараки согласился с этим, пообещал вернуться побыстрее, но слова своего не сдержал, пробыл в этой поездке ровно 14 дней, которые Амин использовал для подготовки к завершающему удару.

Во вторник 11 сентября 1979 года Тараки вернулся в Кабул. На аэродроме он внимательно осмотрел шеренгу встречающих, спросил: «Все здесь?» — «Все». Сразу после встречи началось крупное совещание. Тараки опять спросил, все ли руководители за время его отсутствия остались на своих постах? Амин подтвердил: да, все. И тут Тараки произнес роковую фразу: «Я обнаружил в

партии раковую опухоль. Будем ее лечить». Думаю, что Амин воспринял эту угрозу на свой счет и сделал выводы.

Вторник вождь провел в резиденции — отдыхал, а в среду к нему явился Амин и они долго говорили с глазу на глаз. Только к ночи я и Сарвари смогли попасть к Тараки. Мы предупредили, что Амин хочет уничтожить его, и предложили свой план: как устранить самого Амина. Тараки, выслушав меня, грустно произнес: «Сынок, я всю жизнь оберегал Амина и всю жизнь за это били по рукам. Вот посмотри на мои руки, они даже опухли от ударов. Может, вы и правы».

Получив таким образом одобрение своего замысла, в четверг мы должны были осуществить его. Предполагалось, что все произойдет во время обеда — мы ежедневно обедали вместе у Тараки. Но, к сожалению, среди тех, кто был посвящен в детали заговора, оказался один предатель. Он предупредил Амина, и тот на обед не пришел. Когда ему позвонили по телефону, Амин соврал: «У меня дочь заболела». Мы стали думать, что же нам предпринять теперь? «Плохо дело,— сказал я Тараки.— Но все равно мы обязаны осуществить свой план» — «Я сам все исправлю»,— ответил генсек. Он снял трубку и набрал номер Амина: «Что вы там не поделили? Вот здесь у меня Гулябзой и другие — приходи и поговорите по-мужски. Вам надо помириться».— «Пока ты не уберешь Гулябзоя и Сарвари, я не приду,— ответил Амин.— Убери хотя бы этих двух. Гулябзоя сделай послом». Но Тараки стоял на своем: «Приходи, буду вас мирить».

В тот же день, позже, Амин сам позвонил Тараки и предупредил, что официально откажется признавать его главой партии и государства. Не в силах скрыть своего огорчения, Тараки, услышав эти слова, бросил трубку. У меня с собой был маленький пистолет, я отдал его генеральному секретарю. Он сначала положил пистолет в ящик стола, но затем, передумав, вернул: «Пусть лучше будет у тебя, сынок».— «Товарищ Тараки,— предложил тогда Ватанджар.— Дайте нам десять минут, и мы решим эту проблему. Есть план. Есть люди».— «Нет,— решительно возразил Тараки.— Это не годится. Вы военные, а не политики, вам лишь бы пострелять».— «Тогда потребуйте чрезвычайного заседания Ревсовета или Совмина,— предложил я.— Там мы устраним Амина».— «И это тоже не выход».— «Еще вариант: объявите по радио и телевидению, что Амин отстраняется от всех постов в партии и государстве. Созовите, наконец, Политбюро и в ходе заседания изолируйте сторонников Амина». Тараки только отрицательно качал головой. «Скажи,— обратился он ко мне.— А командующий гвардией — чей человек, твой или Амина?» — «Кто ему первым отдаст приказ, того он и послушает».— «Тогда ты проиграл, сынок. И запомните, друзья мои: ради своего спасения я не убью даже муху. Пусть мою судьбу решают партия и народ».

После этого все мы разъехались по своим министерствам. Вечером, где-то около восьми часов, мне по телефону сообщили, будто бы Амин объявил о раскрытии заговора и о том, что мы, четверо, смещены им с министерских постов. Я тут же позвонил во дворец. «Не может быть!» — воскликнул, выслушав меня, Тараки. «Увы, это именно так». Обстановка накалялась. Однако Тараки по-прежнему запрещал нам пойти на крайние меры. Мы отправились в посольство СССР, чтобы там посоветоваться с советскими товарищами. Посол Пузанов той же ночью встретился с Тараки и Амином, пытаясь их примирить. Знаю, что во время этой встречи Амин требовал безоговорочной отставки четырех «буитовщиков», но Тараки «отдал» ему только Сарвари: на пост руководителя службы безопасности был назначен другой человек.

Мы, все четверо, жили в одном доме. Утром Маздурьяр мне позвонил: «Сегодня джума (выходной день), я поехал в Пагман отдыхать». А Сарвари и Ватанджар у меня сидят — совещаемся, что дальше делать. Телефонный звонок: одно высокое лицо доверительно сообщает, что по приказу Амина выделен целый батальон для нашего ареста. Набираю номер Тараки. А он опять за свое: «Не может быть!» Только я положил трубку — снова звонок от того же лица: «Батальон уже вышел». Времени терять было нельзя. Мы переоделись в национальную одежду и скрылись. А Маздурьяру не повезло: из курортного местечка Пагман его препроводили прямиком в тюрьму. Туда же Амин упрятал всех наших родственников.

Вы спрашиваете, как удалось спастись нам? Кто нам помог? Пусть это пока останется тайной. Вскоре мы оказались в Софии, а затем в Москве.

Гулябзой не стал рассказывать, и мы воспользовались другими источниками.

...Сотрудники нашей разведки укрыли трех бывших министров на вилле неподалеку от советского посольства. Спрятали их в подвале в ящиках с отверстиями для дыхания. Только глубокой ночью министрам разрешалось покидать эти «гробы», чтобы слегка размять ноги. Спустя несколько дней из Союза прибыл специальный Ил-76. Ящики с людьми погрузили в автомобиль, и он въехал в чрево самолета, двигатели которого не выключали. Аппарель подняли, самолет тут же пошел на взлет.

А. М. Пузанов. Громыко, узнав о вопиющем самовольничании Амина, велел мне снова ехать к афганскому генсеку и вести с ним разговор в духе вчерашнего указания нашего Политбюро. Едем тем же составом. Тараки немедленно принимает нас в своих апартаментах на втором этаже дворца Арк. Спрашиваем, знает ли он о расправе над четырьмя членами правительства? Оказывается, знает. Тогда предлагаем: «Давайте еще раз серьезно обсудим сложившуюся ситуацию. Если вы считаете возможным, пригласим сюда и товарища Амина». Он снял телефонную трубку и на пушту переговорил с Амином, чья резиденция находилась неподалеку. «Сейчас приедет». И вот тут-то он вдруг начал нам рассказывать о планах Амина захватить всю власть. Не знаю, что с ним произошло, но он с горечью говорил об Амине то, что мы безрезультатно пытались ему внушить не один раз.

Неожиданно прямо за дверью раздалась автоматная очередь. Мы вскочили. Горелов бросился к окну, крикнул: «Амин бежит к машине!» Тараки был ближе всех к двери, и я отодвинул его в сторону. Вбежали телохранители генсека, что-то на пушту ему объясняют. Тараки говорит: «Убит мой начальник канцелярии, главный адъютант Саид Таруи».

Когда мы покидали дворец, то хорошо рассмотрели убитого: он лежал лицом вверх, правая рука была прижата к поясу, как будто потянулся за пистолетом, и в этот момент его сразила пуля.

Впоследствии мы попробовали восстановить в деталях, как же все произошло. Итак, после телефонного разговора Амин в сопровождении трех охранников прибыл в Арк. Его машина остановилась рядом с нашими, он поздоровался за руку с советскими водителями и, оставив одного телохранителя у автомобиля, с двумя другими вошел во дворец. Там его встретил главный адъютант Тарун, кстати, большой друг Амина. Амин пропустил его и одного своего охранника вперед, а сам с другим охранником на некотором отдалении двинулся следом. Они стали подниматься по лестнице на второй этаж. И вот когда первые двое были уже наверху, началась стрельба. Кто первым нажал на курок? Я не могу однозначно ответить... Свидетели и участники перестрелки на следующий день по приказу Амина были арестованы и исчезли бесследно.

Перед уходом из дворца я сказал Тараки: «Нам, видимо, надо к Амину». Он не возражал. Мы попрощались с взволнованным генсеком и через пять минут были у Амина. Он вроде бы искренне обрадовался нашему появлению, взял меня за руки, и я увидел кровь на рукаве его пиджака. «Вы ранены, товарищ Амин?» — «Нет, помогал своему раненому охраннику».

В это время совсем близко раздался выстрел танковой пушки и одна из стоявших под окнами легковых машин разлетелась на куски. Видя это, мы говорим: «Товарищ Амин, вам следует разобраться в обстановке. Давайте продолжим нашу беседу позже». Когда мы через некоторое время вернулись, Амин заявил:

«Надо Тараки освобождать от всех его высоких постов». Мы высказались категорически против. Тогда он пошел на уступку: «Давайте лишим Тараки хотя бы одной должности». Мы снова ответили несогласием. После долгих споров решили так: утро вечера мудренее, сейчас расстанемся, а завтра продолжим наш разговор.

Мы уехали. Амин же зря времени не терял: за ночь он убедил многих руководителей партии и членов Ревсовета в том, что Тараки организовал на него покушение. Утром мы оказались перед фактом: Тараки был освобожден от всех занимаемых им постов и в партии, и государстве, а занял эти посты Амин.

А. К. Мисак. Что было — настоящее покушение на Амина или инсценировка? Я не могу ответить на этот вопрос. Темное, очень темное дело. Сам Амин преподносил мне это так. Когда Тараки в тот злополучный день пригласил его к себе во дворец, Амин, прежде чем отправиться, позвонил своему другу Таруну. Этот Тарун ранее был начальником жандармерии МВД, а теперь занимал высокий пост главного адъютанта Тараки и его даже сделали кандидатом в члены ЦК НДПА. Амин поддерживал с ним тесные, дружеские отношения. Позвонив Таруну, он поинтересовался: не опасно ли ему появляться? Тот успокоил: поскольку советские товарищи тоже находятся во дворце, опасаться нечего. «Тарун встретил меня внизу, он и мой телохранитель Вазир Зирак пошли впереди, а я вместе с другим своим телохранителем следовал в нескольких шагах сзади. Поднявшись на второй этаж, мы увидели у дверей комнаты, где был Тараки, двух вооруженных автоматами офицеров. Тарун велел им освободить дорогу, крикнув, что с ним идет товарищ Амин. Но вдруг те вскинули автоматы и открыли огонь. Тарун был убит сразу. Пули также попали в моего охранника Вазира Зирака, который прикрыл меня собой».

Я могу только строить догадки относительно того, что случилось. Но мне кажется, Брежнев и Тараки в Москве сговорились убрать Амина с политической сцены. Как-нибудь его устранить. В нем видели главное препятствие к ликвидации раскола в партии; к тому же Москву, как мы хорошо видели, смущали левацкие загибы «второго человека»...

Еще один свидетель инцидента во дворце Арк — свою фамилию он просил не называть — рассказал, что автоматный огонь, если судить по ранам Таруна, был таким плотным, что Амина, находись он близко, не могло бы не задеть. Его бы просто изрешетило пулями. По-видимому, Амин не поднимался выше первого этажа, то есть находился вне зоны огня. Он сам все подстроил, чтобы затем расправиться с Тараки. Всех оставил в дураках.

А. К. Мисак. Ночью Амин собрал Политбюро, а утром — пленум ЦК. Он живописал членам Центрального Комитета покушение на себя, «организованное по приказу Тараки». «Кандидат в члены ЦК наш дорогой товарищ Тарун убит,— патетически восклицал Амин.— Они хотели убить и меня — секретаря ЦК партии, премьер-министра! С помощью четырех гнусных и трусливых предателей, которых мы с вами несколько дней назад изгнали с постов, они задумали совершить переворот в партии и государстве. Они занесли меч над нашей великой революцией, но пусть же этот меч покарает их самих». Амин предложил исключить Тараки из партии, что автоматически означало и снятие его со всех занимаемых им постов.

Я и другой член Политбюро, Панджшери, предложили пригласить на пленум самого Тараки и выслушать его. Амин разгневался: «Тараки ни с кем не хочет разговаривать. Он не подходит к телефону, а своей охране дал приказ убивать всех, кто попытается подойти к дверям его резиденции. Если вы, товарищ Мисак, такой храбрый, то идите к Тараки и позовите его сюда». Я понял: если пойду, люди Амина убьют меня, а все свалят на охрану Тараки.

Пленум проходил в зале «Делькуша». Вокруг плотно стояли танки, все было оцеплено гвардией и агентами службы безопасности. Вел заседание пленума секретарь ЦК НДПА, министр иностранных дел Шах Вали. В итоге все единогласно проголосовали за исключение Тараки из партии и избрание Амина генеральным секретарем.

С просьбой рассказать о последних днях основателя НДПА и бывшего афганского президента один из нас обратился в конце 1989 года к его вдове, 65-летней Нурбиби Тараки. Она живет на вилле, расположенной в одном из привилегированных районов Кабула.

— Я была в спальне, расположенной неподалеку от кабинета, где муж принимал советских товарищей,— начала Нурбиби.— Когда услышала выстрелы, выбежала за дверь, увидела лежащего в луже крови Таруна. Одна пуля, кажется, попала ему в голову, другая — в бок. Охрана говорит: «Это люди Амина сделали». Кроме того, еще один наш человек был ранен в плечо — врач Азим: он нес чай и случайно попал под огонь. Это было примерно в четыре часа дня. Советские товарищи тут же уехали. Тараки позвонил Амину. «Зачем ты это сделал?» — спросил он. Я не знаю, что ответил Амин. Тараки попросил, чтобы тот забрал из дворца и распорядился похоронить тело Таруна. «Завтра»,— был ответ. Подобным же образом отреагировали на эту просьбу начальник генштаба и командующий гвардией, к которым Тараки обратился по телефону. А вскоре всякая связь с дворцом прервалась. Все телефоны молчали. Никто к нам не приходил.

Но муж не очень волновался. Он считал, что восторжествует здравый смысл и все обойдется. Что, наконец, советские друзья не позволят Амину натворить глупостей. Он не хотел кровопролития, насилия, еще надеялся на добрую волю, на силу товарищеских чувств. Ведь это чистая правда, что он очень любил Амина.

На следующий день от Амина пришла записка: «Прикажите своим охранникам сложить оружие». С нами оставалось два телохранителя — Бабрак и Касым. Оба вначале наотрез отказались подчиниться приказу. Тараки их уговаривал: «Революция — это порядок, и поэтому следует подчиниться».— «Не верьте Амину,— возражали охранники.— Он убьет вас, как вчера убил своего друга Таруна. Он будет идти до конца».— «Нет, товарищи,— мягко отвечал им Тараки,— это невозможно. Мы старые, верные соратники. Я всю жизнь отдал революции, другой цели у меня не было, и любой это знает. За что же меня уничтожать?»

Тогда Бабрак и Касым, чтобы не сдаваться, решили убить один другого. Опять Тараки их отговаривал: «Так нельзя. Подумают, будто вы были заговорщиками и решили избежать справедливой кары». Я тоже убеждала их не делать этого. Мы еще верили, что все образуется. Они сдались. И мы с ужасом увидели, как палачи Амина поволокли их куда-то, будто козлов на бузкаши. Так людей тащат только на эшафот. И действительно они были убиты почти сразу.

В последующие три дня нас не трогали. Мы жили без всякой связи с внешним миром, как под домашним арестом. Вместе с нами были брат Тараки с двумя детьми, его племянница и племянница брата. Оставались повар и прислуга. Затем всех родственников и персонал куда-то увели. Теперь с нами был только повар Насим. Еще через некоторое время ночью нас разбудили офицеры Амина: «Решено поселить вас в другом помещении. Живо собирайтесь!»

На территории дворцового комплекса есть отдельный дом «Самте джума», туда нас и привели. Комната, в которой мы оказались, была абсолютно пустой, если не считать голой жесткой кровати. Пол был покрыт толстым слоем пыли. Все это очень напоминало тюремную камеру. Я спросила у Тараки: «Неужели мы совершили какие-то преступления?» — «Ничего,— как всегда философски ответил он.— Все образуется. А комната эта обычная. Я знаю, что раньше здесь жили солдаты, что ж, теперь мы поживем». Я вытерла пыль. Восемь дней мы провели здесь. Муж вел себя абсолютно спокойно. Правда, ежедневно просил

о встрече с Амином. И все повторял: «Революция была моей жизнью. У меня есть ученики, которые доведут дело до конца. Я свой долг выполнил». Ему было 62 года. Он не болел, только стал совсем седым.

Потом меня предупредили, что поведут показывать врачу. Я и вправду чувствовала себя неважно: давление было очень высоким. Ночью пришли офицер и врач. «Почему вы хотите забрать ее ночью?» — спросил муж. «Днем люди увидят, пойдут ненужные разговоры». Меня привели в другой дом, все там же, на территории дворца Арк. Там я увидела других членов нашей семьи. «Почему сюда? — спросила я.— Ведь вы же обещали меня лечить».— «Подожди до утра,— ответил офицер.— Мы скоро вернемся». Но ни утром, ни днем, ни вечером они не пришли. Больше я никогда не видела этих людей. Я чувствовала себя плохо. Попросила лекарство. Мне с издевкой отвечали: «Где взять? У народа ничего нет, а тебе подавай». Если появлялся кто-нибудь из подручных Амина, я умоляла отправить меня обратно к мужу. Но они только ухмылялись.

Как-то ночью нас всех перевезли в тюрьму Пули-Чархи. Там 9 октября я услышала о смерти Тараки. Но только спустя три месяца, уже после освобождения, узнала некоторые подробности. Мне рассказали, что опять-таки ночью три аминовских офицера вошли в комнату мужа. Он стоял перед ними в халате, был спокоен. Попросил пить. «Не время»,— ответили палачи. Схватили Тараки за руки и за ноги, повалили его на пол, а на голову положили подушку. Так подушкой и задушили. Позже смерть засвидетельствовал командующий гвардией. Где похоронили моего мужа, я не знаю.

Потом я спрашивала, почему советские товарищи не помогли? Ведь и посол, и генералы обещали это. Никто не мог ответить. Я спрашивала у Мисака, почему они так легко отдали Тараки, почему ничего не предприняли для его спасения? Он объяснил это тем, что будто бы Амин их всех обманул. Он им сказал: «Тараки охраняют его сторонники, которые застрелят любого, кто попытается близко подойти к резиденции»...

А. М. Пузанов. Пытались ли мы спасти бывшего афганского руководителя от расправы? Да. Однако сделать что-либо было уже невозможно. Он находился в изоляции.

Так у нас появился новый партнер — Хафизулла Амин.

В начале ноября я получил телеграмму за подписью Громыко: «Учитывая ваши неоднократные просьбы об освобождении от должности посла в Кабуле, вы переводитесь на другую работу». А я никаких просьб и не высказывал. Ну, да что там говорить...

НОВЫЙ ПОСОЛ

На смену А. М. Пузанову в Кабул прибыл новый чрезвычайный и полномочный представитель Советского Союза — член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР Ф. А. Табеев, ранее работавший первым секретарем Татарского обкома партии. В 1986 году, после возвращения из Афганистана, он был утвержден первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР.

В своем совминовском кабинете в январе 1990 года он и принял одного из нас.

— У меня и в мыслях не было оказаться послом в Кабуле,— рассказал Фикрят Ахмеджанович.— Это случилось абсолютно неожиданно. Абсолютно! Когда беседовали со мной, предупредили, что обстановка в Афганистане сложная и меня просят поехать разобраться. Вроде бы поехать ненадолго. Тогда я прямо говорю: «О какой должности идет речь?» — «Просили бы вас поработать послом. Но если у вас имеются какие-то опасения, будем считать, что разговор окончен». Я ответил, что не боюсь и готов выполнить ответственное поручение партии. «Ну, что же,— напутствовали меня,— вы известный политический деятель, и афганское руководство, по-видимому, положительно отнесется к такому назначению».

На сборы времени не было, сказали: надо выезжать немедленно. Не позволили даже в самых общих чертах ознакомиться с обстановкой: «На месте все изучите». Брежнев на прощание посоветовал: «С выводами не спешите. Хорошенько разберитесь в ситуации, познакомьтесь с жизнью — только тогда давайте свои оценки». Следуя этому совету, я до нового, 1980 года ни одной телеграммы о положении в стране не отправил. 26 ноября мы прибыли в афганскую столицу, и вскоре я вручил Х. Амину свои верительные грамоты. Уже следующая встреча с руководителем Афганистана была рабочей: мы обсуждали детали его предстоящего визита в Москву. Амин просил о таком визите, и советская сторона дала согласие.

— Хотя в Москве, судя по всему, уже хорошо знали, что его дни сочтены...

— Мне об этом ничего известно не было. И потом, как откажешь в визите руководителю дружественного государства? Невозможно!

Из-за поспешного отъезда в Кабул я, надо сказать, сначала оказался в очень трудном положении. Ничего не знал о расколе в партии, не имел ни малейшего представления о группах «хальк» и «парчам», не ориентировался в хитросплетениях личных взаимоотношений между афганскими руководителями, а именно все это и определяло во многом общую ситуацию. Только позднее я узнал, что в Москве находится оппозиционная группа Гулябзоя, а в Чехословакии ждет своего часа Кармаль. Они, назвав себя «здоровым крылом партии», будто бы заявили нашему руководству: «Мы за единство в НДПА. Но за партию без Амина, которого уберем и сами решим, что делать дальше».

О злодейском убийстве Тараки никто из нас не знал. По-моему, об этом не ведали даже те, кому полагается знать все. Поверили официальной версии, которая гласила: «Тараки умер от треволнений». Мои отношения с Амином носили сугубо официальный характер, мы встречались несколько раз исключительно по делу.

Амин представляется мне авантюристом высшего класса. Предатель интересов народа — в этом у меня тоже сомнений нет. Политически безграмотный человек, заявивший мне, к примеру, однажды: «Мы совершили социалистическую революцию, но поскольку у нас пролетариата нет, диктатуру будет осуществлять армия».

Он испытывал явную неприязнь к нашим среднеазиатским республикам, где, по его мнению, слишком затянули со строительством социализма. Говорил: «Мы управимся лет за десять». Просил не направлять в Афганистан советников из Средней Азии. «И на учебу мы туда посылать своих людей не будем». По некоторым вопросам я пытался с ним спорить. Говорил ему о грубых искривлениях в проведении земельной реформы: «Вы разбили середняка, отторгли его от революции». Амин на словах соглашался: «Это дело поправимое». Ошибки он сваливал на Тараки. Однажды не удержался от плохо скрытой угрозы: «Я надеюсь, вы извлечете правильные уроки из деятельности своего предшественника». На совещании послов соцстран в Кабуле Амин позорил А. М. Пузанова в открытую: «Советский посол поддерживал оппозицию, вредил мне».

Почти за месяц моей новой работы ничего особенного не произошло. Мы готовили визит афганского руководителя в Москву. Все наши ведомства, представленные тогда в Афганистане, во всяком случае формально, поддерживали аминовское руководство.

— Вы, что же, так до самого конца ничего не знали относительно планов замены верховной власти в Кабуле?

— Абсолютно ничего не знал! Вечером сидим с женой в квартире. Вдруг видим сквозь окно зарево в конце Дар-уль-амана, слышим ожесточенную стрельбу. «Что это?» — спрашивает жена. А мне стыдно перед ней: ничего не знаю.

27 ДЕКАБРЯ. КАБУЛ

Амин праавил в ДРА чуть больше 100 дней.

Биографическая справка. Хафизулла Амин. Выходец из пуштунского племени хароти. Сирота. В начале 60-х годов находился на учебе в одном из университетов США. Несколько лет работал директором педучилища. Член НДПА с 1966 года. В 1968 году пленум фракции «хальк» перевел Амина из членов партии в кандидаты, как скомпрометировавшего себя «фашистскими чертами». С 1969 года — депутат нижней палаты парламента. С 1977 года — член ЦК НДПА. Стоял на позициях путчизма, злоупотреблял левой фразой. Однажды, выступая на митинге, пообещал, что «нынешнее поколение молодых афганцев будет жить при коммунизме». Обладал задатками хорошего оратора. Планомерно устранял всех, кто стоял на его пути к единоличной власти. По некоторым данным, на его счетах в банках было 114 миллионов афгани и 2 миллиона долларов.

А. К. Мисак. Надо сказать, что до самой смерти он уже не чувствовал себя уверенным. Постоянно нервничал. Часто спрашивал то ли самого себя, то ли окружающих: «Почему Тараки хотел убить меня?» И всегда при этом слезы ручьями катились из его глаз. Был и другой вопрос, который он иногда произносил вслух: «Почему советские товарищи не доверяют мне так, как доверяли Тараки?.. Дайте мне несколько месяцев, и я все сделаю, как нужно Москве». Его неуверенность сквозила и в том, что он с большой неохотой соглашался жить во дворце Арк. «Надо быстрее переезжать на Дар-уль-аман,— твердил он.— Вот и советские товарищи тоже очень рекомендуют это». Ремонт там подходил к концу. Амину, как раньше и Тараки, импонировало то, что этот дворцовый комплекс был когда-то спроектирован и построен по желанию прогрессивного правителя Аманyллы-хана. Возможно, они ощущали себя его последователями и такими надеялись войти в историю Афганистана...

В начале декабря Амин перебрался туда вместе со всей своей свитой и охраной. Пригласив в гости друзей, он с гордостью показывал нам свое новое владение. Все было сделано и впрямь с завидной роскошью, размахом. Мы шутили: «Ты теперь такой большой руководитель, а тут кругом горы. Не боишься? Темной ночью нападут разбойники...» Амин вполне серьезно отвечал на это: «Советские товарищи обещали прислать сюда своих людей для охраны, а также обнести всю территорию колючей проволокой, установить сигнализацию».

Повара и врачи при дворце были советские. Помню, переводчиком у поваров состоял таджик по имени Момаджан. Амин очень дорожил дружбой с военными советниками, всячески подчеркивал: у него самые теплые отношения с советскими генералами. А вот посла Пузанова не любил, за глаза называл его парчамистом. Считал, что Брежнев и кремлевское руководство за него, вот только «парчамист Пузанов» мешает.

Во главе службы безопасности, которая при Амине стала называться КАМ, он поставил своего близкого родственника Асадуллу Амина. При КАМ, конечно, тоже был советник из Москвы в чине генерала. Однажды при мне Асадулла пришел к новому генсеку с досье на многих видных парчамистов. «Эти люди тайно действуют против государства,— сказал он.— Их надо обезвредить».— «А что думает по этому поводу советский товарищ?» — спросил генсек.— «Он согласен». Не хочу бросать тень на генерала,— возможно, Асадулла солгал, но все это я слышал собственными ушами.

В правительство 1989 года Шах Вали вошел как министр без портфеля. «Мог бы приносить больше пользы,— вздохнул Шах Вали при нашей встрече,— но что поделаешь, если должностей на всех не хватает». После свержения Амина бывший член Политбюро, министр иностранных дел более семи лет провел в тюрьме. Затем два года просидел дома, сейчас не только министр, но и член ЦК НДПА.

— В начале 1980 года,— рассказывает он,— состоялся так называемый «суд» над халькистским руководством партии. Одиннадцать человек были приговорены к расстрелу. Приговор, не мешкая, привели в исполнение. Тринадцати другим подсудимым, в том числе и мне, сначала тоже объявили расстрел, однако затем заменили двадцатью годами тюрьмы.

— Но это финал. А что предшествовало ему? Расскажите о последних днях Амина.

— Он утверждал, что между ним и Брежневым установлен хороший контакт, хотя было ли это правдой, я не знаю. Во всяком случае, по поводу встречи с Брежневым он хлопотал. Вопрос о приглашении в Афганистан советских войск никогда не обсуждался ни в нашем Политбюро, ни в правительстве. Только однажды Амин каждому из своих приближенных шепнул доверительно: вероятно, прибудут советские войска, но не для участия в боях, а исключительно для охраны. Войска, по его словам, встанут на рубежах вокруг Кабула, а высвободившиеся афганские части будут направлены в провинции для борьбы с мятежниками. Амин вслух делился своими идеями: «Может быть, переодеть советских солдат в форму афганских вооружённых сил, чтобы особенно не раздражать население?»

А. К. Мисак. О помощи северного соседа говорилось много, но обычно в абстрактных выражениях: «Советский Союз не оставит нас в беде», «Москва поможет дать отпор любому агрессору», «Великий советский народ протянет руку дружбы...» Вот в таком духе. Близкий друг Амина, занимавший пост министра высшего образования, Махмуд Сума однажды рассказал мне, что он слышал слова генсека: «Если мне будет плохо, Советский Союз окажет широкую военную помощь и даже, быть может, пришлет солдат». Было ли нам так плохо, что понадобились чужие солдаты? Я много раз задавал себе этот вопрос. Думаю, внутреннее положение в Афганистане не требовало ввода советских войск.

27 декабря Амин пригласил своих ближайших соратников с семьями на обед. В конце обеда вдруг всем захотелось спать. Я еще помню, обеспокоенно спросил: «Может быть, нам что-то в еду подсыпали? Не яд ли это? Кстати, кто твой повар?» — «Не волнуйся,— ответил хозяин.— И повар, и переводчик у меня советские». Однако сам Амин тоже имел бледный вид. Держался за стены. Я пожал плечами и поспешил на свежий воздух. Погода была морозная, выпал снег, снаружи мне стало немного легче.

Кто отведал этот обед, чувствовал себя, словно пьяный. Только Панджшери с удивлением взирал на наши мучения. Он единственный из нас не ел суп, потому что соблюдал диету. Видимо, что-то было подмешано именно в суп. Быстро распрощавшись со всеми, я поехал к себе на площадь Пуштунистана, в Министерство финансов, и попытался заняться там делами. Все происходило в четверг, а у нас это короткий день, накануне выходного. Сел в кресло — и как в глубокую яму провалился. Очнулся, разбуженный сильным взрывом, даже стекла в окнах повылетали,— такой это был взрыв. Посмотрел на часы: шесть вечера. И снова впал в забытье. Тут мой испуганный охранник вбежал в кабинет, стал меня тормошить: «Вам лучше поехать домой». Я проворчал: «Взрыв... Ну, что взрыв... Обычное дело. Принеси-ка лучше бумаги»,— и снова уснул. Не знаю, сколько прошло времени, когда охранник снова разбудил меня: «Сильная стрельба в городе. Проситесь! В городе что-то происходит. Надо ехать домой».

В жилом микрорайоне у своего подъезда я увидел несколько встревоженных министров. Никто не понимал, что происходит. Приехавшие секретари районных комитетов партии сказали, что стреляют советские солдаты. «Что нам делать? — спрашивали они.— Наши активисты вооружены, но они не знают, можно ли отвечать огнем».— «Вы уверены, что это советские?» — раздалось сразу несколько изумленных возгласов. «Да, мы своими глазами видели»...

В квартире я включил радио. Передавали музыку. Стал крутить ручку настройки в надежде услышать что-нибудь о происходящем в Афганистане. Кажется, в половине десятого рядом с диапазоном, на котором обычно вещало кабульское радио, я наткнулся на женский голос. Диктор несколько раз повторила: «Сейчас будет выступать товарищ Бабрак Кармаль — генеральный секретарь ЦК НДПА». Мы были ошеломлены, ведь пленум не собирался, когда же Кармаль успел стать генсеком? Неужели он въехал в Кабул на броне советских танков? Я был почти уверен в том, что радиостанция, которую мы услышали, вещала с территории Советского Союза — из Ташкента, Душанбе, или, быть может, Термеза.

Ш. Вали. Охраняли дворец, в котором жил Амин, советские солдаты, внутри была личная охрана из афганцев — человек десять — пятнадцать. В 19 часов 30 минут ваши солдаты бросились на штурм дворца. Моя жена, находившаяся там, погибла при обстоятельствах, до сих пор неясных. Погибли сыновья Амина, были убиты его телохранители. Зачем была устроена такая бойня — ведь эти люди могли сдаться без единого выстрела?.. Ночью по радио сообщили, что по решению революционного суда Амин приговорен к смертной казни и приговор приведен в исполнение. А утром меня арестовали.

— Вы испугались?

— Нет. Я ничего противозаконного не совершил, не чувствовал за собой никакой вины. По радио объявили, чтобы наутро все члены ЦК явились на радиостанцию. Мы пришли. Три дня нас держали там, а затем под конвоем советских танков отвезли в тюрьму.

И все-таки: что же случилось за обедом? Кто пытался если не отравить Амина, то, во всяком случае, вывести его на какое-то время из строя? При всей кажущейся фантастичности эта версия вытекала из рассказов многих людей. Но она требовала проверки. И тогда нам посоветовали обратиться к генералу Валояту Хабиби, начальнику Центрального военного госпиталя, который в тот злополучный день оказывал медицинскую помощь генсеку и его окружению.

Хабиби в 1972 году окончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде, в 1979-м стал начальником госпиталя и с тех пор бессменно им руководит. Факт беспрецедентный: все сколько-нибудь заметные кабульские руководители за эти годы «тасовались» множество раз.

— Знал ли я Амина? — переспрашивает генерал, который, кажется, удивлен, что советские журналисты пришли расспрашивать не о достижениях военного госпиталя.— Я знал его плохо. Мы никогда не встречались и не разговаривали.

— Никогда?

— Ну, если хорошенько вспомнить,— генералу явно не по нутру наша настойчивость,— один раз я был у него как врач-кардиолог и еще как-то возил к Амину советских стоматологов — у него кровоточили десны.

— А не могли бы вы вспомнить день 27 декабря 1979 года? В одной высокой инстанции нам сказали, что вас тогда приглашали для оказания помощи Амину?

Генерал изумлен.

— Интересно, кто же вас направил ко мне?

Мы называем фамилию одного из руководителей ЦК НДПА, который в дружеском разговоре действительно порекомендовал найти Хабиби. Кажется, ответ успокаивает генерала, но не совсем.

— Вы же понимаете,— говорит он,— я как человек военный должен получить санкцию своего руководства. Речь идет о тайне государственной важности...

Теперь наш черед сделать свой ход.

— Мы говорили с разными людьми, в том числе и с такими, кто занимает

более высокие посты, чем ваш. Они были откровеннее. Они понимают: пришла пора рассказать правду. Это наш общий долг перед историей.

В общих чертах мы передаем генералу то, что слышали ранее про обед у Амина. Похоже, это производит на него впечатление. Желание помочь нам борется в нем с опасением приоткрыть тайную завесу.

— Итак, днем 27 декабря вы вместе с другими врачами выехали на Дар-уль-аман для оказания медицинской помощи. Что вы там увидели?

— За обедом всем гостям стало очень плохо. Некоторых пришлось даже увезти в больницу для промывания желудка.

— В чем проявлялось это «плохо»? Как они все выглядели?

— Они спали, а некоторых разбирал безостановочный истерический смех.

— А Амин?

— Ему еще до нашего приезда промыли желудок врачи из советского посольства.

— Что это было? — наш разговор напоминает теперь блиц-партию в шахматы. Боясь, что собеседник передумает, перестанет рассказывать, держим высокий темп.— Что это было, чем их отравили?

— Нет! — Хабиби протестующе поднимает вверх руку.— Я не получал разрешения говорить об отравлении. Мы об этом поговорим когда-нибудь позже. Вы понимаете?

В кабинете, кроме нас и генерала, сидит на диване офицер в темно-синей форме ВВС — замполит госпиталя. Возможно, последняя фраза означает, что генерал не хотел бы быть откровенным в присутствии этого человека? Но он уже и так сказал много.

— Работали ли с Амином советские врачи? — наудачу задаем последний вопрос.

— Да, около него постоянно находилось три-четыре ваших медика. Один из них был большим моим другом — это полковник Виктор Петрович Кузниченко, консультант главного терапевта нашего госпиталя. Я всегда брал его с собой, когда надо было ехать к руководству. Он был молод, энергичен.

— Был?..

— Во время штурма дворца он погиб. Пуля попала ему прямо в сердце.

Штурм, штурм... Тут, признаться, мы натолкнулись на стену. Кто штурмовал? Сколько их было? Как проходила операция? Все наши собеседники будто воды в рот набирали, когда мы пытались их расспрашивать. «Не могу говорить», «Рано об этом рассказывать», «Не имею права», «Нет!» — заученно повторяли и афганцы, и советские, едва речь заходила о штурме дворца Амина.

Занавес тайны удалось лишь чуть-чуть приподнять с помощью Ф. М. Факира. Когда-то он был не только министром внутренних дел в аминовском правительстве, но и весьма приближенным к «первому лицу» человеком. Узнав о том, что Факир вечер 27 декабря провел рядом с Амином, мы написали ему в Кабул, просили рассказать о том, как это было. Бывший министр незамедлительно ответил. В его письме сквозило такое уважение к Амину, какого мы никогда прежде не встречали. Факир, к примеру, писал, что последние дни афганского руководителя были наполнены заботой о единстве партийных рядов, создании атмосферы товарищества и доверия. Якобы его девизом стали слова: «справедливость, законность, безопасность». Он говорил: «Мы должны извлечь правильные уроки из прошлого. Необходимо учитывать народные традиции, применять их в политической работе, чтобы вернуть доверие людей, больше не отталкивать их от себя». По словам Факира, Амин настаивал на скорейшем принятии конституции. Он был озабочен вспышками военных действий и много времени ежедневно уделял телефонным разговорам с командирами частей и соединений в провинциях. «Совершить революцию легче, чем удержать затем власть,— часто повторял он.— Нам это удастся только с помощью великого северного соседа».

В конце декабря агентура КАМ стала сообщать ему о скоплении большого

количества советских войск у афганских границ. Но он не верил во вторжение. Он считал, что сведения о предстоящем вторжении с провокационной целью подбрасывают в КАМ спецслужбы империалистических государств. «Однажды,— писал нам Факир,— мы заговорили об этом. Амин рассмеялся мне в лицо: «Вторжение? Советское руководство никогда не пойдет на такую явную глупость». Он привел целый ряд доводов, среди которых я запомнил следующие: в Советском Союзе хорошо знают об уроках трех неудачных попыток англичан покорить афганцев; там отдают себе отчет в том, что такое джихад, когда весь народ поднимается против незваных пришельцев; остальной мир осудит СССР как колонизатора».

Действительно, подтвердил в своем письме Факир, 27 декабря все гости Амина, отведав суп, потеряли над собой контроль. «Я в тот день должен был встречаться с генеральным секретарем в 14.00. Ровно в срок зашел к нему. Амин лежал без сознания, а вокруг суетились врачи из нашего военного госпиталя и из советского посольства. Только в 18.30 он пришел в себя. Увидев меня, сказал: «Факир, кажется, я схожу с ума». По его лицу потекли слезы, и он опять впал в забытье. Через полчаса он очнулся снова. Все врачи уже почему-то уехали, и в комнате были только я и его жена. Он прямо, не мигая, смотрел на меня, словно вопрошал: что же было и что же будет? Посоветовав ему успокоиться и хорошенько отдохнуть, я попросил разрешения уйти Направился в сторону его рабочего кабинета, но по дороге решил заглянуть к начальнику генерального штаба Якуб-хану, чтобы вместе поужинать. Открыв дверь в его комнату, я увидел там несколько советских офицеров — в тот же момент они начали стрелять в Якуб-хана, а я бросился бежать. Меня пытались забросать гранатами. Поднялась бешеная пальба, звуки которой удалились в сторону комнаты, где был Амин. С трудом я спрятался в одном укромном месте и потому сумел уцелеть».

Да, самые большие трудности ждали нас при выяснении обстоятельств штурма дворца, гибели Амина и его близких. Скупые западные публикации, а также рассказы непосредственных участников тех событий позволили только приоткрыть тайну. Правда, и в рассказах немало недомолвок. Но тут уж ничего не поделаешь...

По имеющимся сведениям, штурм дворца сначала был назначен на 12 декабря. Для этой цели предполагали использовать усиленный советский десантно-штурмовой батальон, который направлялся из Баграма в Кабул для охраны правительственных объектов. Однако, как утверждают военные, от операции пришлось отказаться потому, что батальон в ходе короткого марша умудрился растерять по дороге значительную часть своей бронетехники. Она оказалась неисправной. Пришлось подтягивать более мощные силы.

25 декабря началась переброска по воздуху подразделений десантной дивизии. Не обошлось без ЧП: один из тяжелых транспортных кораблей внезапно рухнул при подлете к аэродрому. Взрыв оказался такой силы, что его слышали за несколько десятков километров от места катастрофы.

Дивизия десантировалась, выдвигалась на исходные рубежи и разворачивалась при полном бездействии афганских войск. Амин был абсолютно уверен, что Советская Армия явилась исключительно для его защиты У него, по оценкам наших и западных специалистов, вполне хватило бы сил для организации обороны. К примеру, в Кабуле он располагал двумя верными ему танковыми бригадами, которых было достаточно, дабы воспрепятствовать выдвижению наших десантников. Более того, 27 декабря дворец охранялся всего лишь обычным дежурным нарядом, а отборная гвардия (две тысячи штыков) находилась неподалеку в казармах. Снаружи резиденцию охраняли переодетые в афганскую форму советские десантники из уже упоминавшегося батальона. 26 декабря дивизион многоствольных зенитных установок, обладающих большой огневой мощью, занял позиции на господствующих высотах вокруг дворца.

27 декабря в 19.30 начался штурм дворца и одновременно ряда правительственных и военных объектов в центре города. Разрушительный огонь грозных систем вначале сосредоточился на казармах, где находились гвардейцы. Их буквально разнесло в клочья. Можно считать, что эти люди и были первыми жертвами необъявленной войны. Уцелело всего несколько танков. Защитникам дворца все-таки удалось нанести некоторый урон атакующим: выстрелами из танков и гранатометов были сожжены два или три советских бронетранспортера, сколько погибло наших солдат и офицеров, мы не знаем. Убит был полковник Г. И. Бояринов, который, судя по ряду свидетельств, находился в первых цепях атаки.

В штурме участвовало большое число советских офицеров, как армейских, так и госбезопасности. Ворвавшись во дворец, они действовали по такой схеме: пинком ноги распахивали дверь, в комнату летела граната, а следом — автоматная очередь. В числе убитых оказались некоторые родственники Амина, жена министра Шах Вали, а дочь генсека была ранена осколками гранаты. Сам он, как утверждают, в нижнем белье выскочил из спальни на звуки выстрелов. Бросился по направлению к бару — и тут его настигла граната. Его добивали лежачего, беспомощного.

Гулябзой и небольшая группа оппозиционно настроенных к диктатору афганцев вошла во дворец «во втором эшелоне». По рации открытым текстом руководитель операции прокричал: «Главному — конец!»

Все было закончено.

Тело афганского руководителя тихо вынесли под покровом темноты из дворца и тайно захоронили. Никто так и не знает где. А если и знает, то молчит.

Окончание следует

Сергей Чупринин

ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ПОРОГЕ СЕДЬМОГО ГОДА ПЕРЕСТРОЙКИ

Уже и еще

В странное время мы живем. Все начато — и все брошено на полпути, не доведено, во всяком случае, до ума. Все вроде бы сказано — ничто не договорено. Все, казалось бы, срыто до основания — но, приглядитесь, ни один устой толком даже и не покачнулся. Всем давно уже все ясно; иллюзии развеяны; с душевным разбродом и идейными шатаниями, отнявшими у многих из нас несколько лет, покончено; каждый, слава Богу, так либо иначе самоопределился — непонятно только, что делать теперь с этой ясностью, этой безыллюзорностью и этим самоопределением.

Все уже измотаны, все предельно раздражены и взвинчены, все валятся с ног от усталости — но ведь, будем откровенны, почти никто не приступал пока еще как следует к работе.

Речь, конечно, о работе созидательной, творящей новое качество жизни.

Слова «уже» и «еще» сталкиваются друг с другом в самых причудливых, самых диких комбинациях. Чужестранцам не понять, можно ли с нами уже сотрудничать. Или еще нельзя? Или уже нельзя? Ведь и для нас самих, по правде говоря, что ни дело, что ни тема, что ни предмет для размышлений, то мучительная загадка. Недаром же на родное «авось» мы, как и встарь, полагаемся куда охотнее, чем на правительственные программы. Астрологам и хиромантам, придавшим «западный», профессорский лоск традиционной на Руси профессии юродивых, верим больше, чем Президенту, и даже больше, чем самым непримиримым его противникам — хоть из Демократического союза, хоть из депутатской группы «Союз». Благими намерениями в стране по-прежнему мостят непроезжие дороги, и призрак «незавершенки» вместе с призраком «безнадеги» привычно витает над всеми нашими проектами, всеми нашими начинаниями.

Взять хоть политику.

Шестая статья — уже — с театральной торжественностью удалена из Конституции. Разного рода политических партий, блоков, союзов, фронтов, ассоциаций да форумов развелось у нас превеликое множество. Податься при желании есть куда. Выдвинуться при желании есть на чем. Плюрализм крепчает, причем это уже действительно не плюрализм мнений, как еще год назад, а плюрализм организаций, массовых или претендующих на массовость движений. И что же? Да ничего особенного. Все, увы, как и во время оно: мы говорим — партия, подразумеваем — КПСС, и только КПСС, по-прежнему КПСС, поскольку плюрализм плюрализмом, но без воли или по крайней мере без соизволения, без, на худой конец, попустительства Старой площади, без ее руководящей и направляющей санкции ни в одном сколько-нибудь серьезном начинании до сих пор нельзя сделать ни шагу.

Так во всем. Того, что пропагандисты из РКП называют «социализмом», у нас уже нет,— того, что те же пропагандисты именуют «капитализмом», а их оппоненты — открытым, правовым, демократическим обществом равных возможностей, у нас еще нет. Гражданская война пока, слава Богу, еще не разразилась,— но она, к несчастью, уже давно идет. Малышей уже учат Закону Божьему, но еще отдают в октябрята; рейтингу популярности в массах Ленина, Дзержинского, Кирова (а чуть копни — то и Сталина) могут, как утверждают социологи, позавидовать инициаторы перестройки; самое же главное — психология «хомо советикуса» ни от чего еще не освободилась, и люди по-прежнему оценивают друг друга по критериям «Морального кодекса строителя коммунизма», а картины счастливого, уже «послеперестроечного» будущего рисуют с безотчетной оглядкой на ту еще, хрущевскую, идиллию Программы КПСС...

Я знаю, мне скажут: переходный, мол, период, так всегда, мол, бывает, когда силы действия равны силам противодействия, когда прошлое и будущее будто стопорят друг друга, одномоментно присутствуя в каждой точке, в каждой молекуле настоящего.

Так-то оно так. И все же нет-нет да и ужаснешься: ничто ведь пока еще не предрешено и все разговоры о необратимости перемен пока, увы, не больше, чем разговоры. Хочется пожаловаться: «Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты подзатянулось?» Ведь мы, худо-бедно, уже шесть безгранично долгих лет прожили, как теперь выражаются, в подвешенном состоянии, и похоже, что наша перестройка — это действительно всерьез и надолго. Настолько надолго, что нынешнее поколение советских людей, очень возможно, так и закончит свои дни, не вкусив в полной мере ее плодов.

Детям, внукам, может, еще и повезет. Нам же других дней не отпущено. Следовательно, как ни жалуйся, как ни пеняй на судьбу, но пора привыкать (уже привыкаем, уже, если по-честному, привыкли) к этой подвешенности. Пора смотреть на нее как на реальность и обживаться в ней как в реальности, по капле выдавливая из себя раба прошлого, по миллиметру, а когда удается, то и по сантиметру отвоевывая пространство для будущего.

Иного не дано?

Иное-то как раз дано, но на прыжки «из царства необходимости в царство свободы» и наоборот в двадцатом веке уже нагляделись. Спасибо, больше не хотим. И никто в России, кроме безумцев, всерьез этого не хочет, поскольку уже кровью учен, поскольку в генах хранит знание о том, что эволюция — пусть даже самая мучительная, чреватая кризисами и паузами, изнуряющая тактическими схемами типа «Шаг вперед — два шага назад», «Один пишем — пять в уме»,— все равно результативнее, надежнее, потому что человечнее любых революций — ради чего бы нетерпеливцы ни выводили народ на баррикады, ради чего бы ни подталкивали они государство ли, общество ли к созданию ревтрибуналов, чрезвычаек, трудовых армий. Простите мне грубую остроту, но лучше жить в подвешенном состоянии, чем быть повешенным. Или видеть, как вздергивают на фонари твоих самых лютых идейных противников...

Так что давайте, как советовал еще Осип Мандельштам, «...не волноваться: нетерпенье — роскошь...».

И давайте, с другой стороны, не запаздывать — в анализе, в оценках, в выработке решений,— поскольку хоть шатко и валко, но перемены все-таки идут и поскольку (наравне, само собою, со спешкой, с преобразовательским зудом) именно запаздывание стало, похоже, родовым проклятием перестройки.

Причем запаздывает не только власть. И вот примеры — разнопорядковые, конечно, но одинаково, мне кажется, выразительные.

Боже мой, как мощно, как продвигающе могли бы на ход общественных процессов в стране, на сознание интеллигенции и в итоге на мнение народное воздействовать «посильные соображения» Александра Солженицына, появись они не осенью 1990-го, а хотя бы годом-двумя раньше!.. Как кстати прозвучало бы ясное, веское слово писателя в атмосфере, наэлектризованной сражениями вокруг «Декрета о власти» на втором Съезде народных депутатов СССР, начальными еще заявлениями прибалтийцев о своей безоговорочной государственной независимости, сахаровским проектом Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии!.. Тогда Солженицын наверняка смог бы еще многих вразумить и укрепить, многих предостеречь и уж, во всяком случае, у многих наших «великодержавников», «ультрапатриотов» отбить охоту защищаться и нападать его именем...

А что осенью 1990-го? Трактат «Как нам обустроить Россию?», конечно же, прочли, но — сужу по отсутствию сколько-нибудь существенного, стойкого резонанса в печати (ритуальные восторги, равно как и ритуальные обиды не в счет) — прочли этот трактат как-то отстраненно, не воспламеняясь, с интересом скорее академическим. И причина, думаю, не столько в составе солженицынских идей, сколько в том, что момент для их обнародования был упущен, реальность стала уже иной и то, что раньше произвело бы эффект разорвавшейся бомбы, мирно легло теперь на библиотечные полки...

Или вот предложенная вниманию участников ноябрьского писательского пленума декларация об обновлении, переустройстве Союза писателей СССР на конфедеративных началах. В этом документе наряду с набившей оскомину «перестроечной» риторикой есть и дельные, казалось бы, предложения, но... их на пленуме не захотели даже обсудить. Почему? Да потому же, почему целый ряд республиканских парламентов, которые еще год-два назад с готовностью отозвались бы на идеи нового Союзного договора, сейчас отказываются его не только подписывать, но даже и рассматривать.

Время ушло. Время упущено.

И появился опыт жизни порознь. В республиканских союзах писателей поняли, что они могут превосходно обойтись вообще без какого бы то ни было координирующего «центра»; занимаясь своими собственными делами и работая в интересах «дружбы народов — дружбы литератур» на горизонтальных, как нынче выражаются, межсоюзных, а еще лучше — межписательских, межличностных связях. Что же касается попыток объединить литераторов на почве мировоззренческой, поведенческой близости, то и тут...

Будь этот опыт даже положительным, решительно непонятно, ради чего конфедерироваться «Апрелю» и «Товариществу», отшатнувшимся друг от друга Ленинградской городской и областной

писательским организациям. Есть ли вообще поле для их взаимодействия? Есть ли заботы, с которыми им поодиночке не справиться; есть ли полномочия, которые они добровольно захотят делегировать «центру» — грядущей, если она, конечно, сложится, Конфедерации союзов писателей СССР?

Позже выяснится, что есть. Но об этом и в самом деле позже, а пока о главном. О том, что мы — незаметно, может быть, для самих себя — внутренне все-таки уже изменились. Иной, чем годом раньше, стала литературная ситуация. Иной — исподволь, неявно — становится на глазах и наша литература.

Что же произошло?

А вот что: началось разгосударствление литературы. Термин «разгосударствление», конечно, до нелепости громоздок, зато емок. И суть его проста: лишившись цензуры, утратив обязанность (а часто и привычку) сообразовывать каждую строку, каждое творческое намерение с распоряжениями хоть Старой площади, хоть улицы Воровского, литература наконец-то перестает быть и «частью общепартийного дела», и «словом и делом государевым», то есть разновидностью казенной службы, государством оплачиваемой и перед государством же несущей всю полноту ответственности.

Закон о печати и средствах массовой информации подтвердил, что с крепостной зависимостью литературы от государства покончено,— по крайней мере, на уровне теоретических деклараций.

Писатели стали свободными людьми. Или, сразу же сам себя укорочу, получили право быть, чувствовать себя свободными. Без этого уточнения не обойтись, поскольку, как знает каждый человек в нашей стране, между правами и возможностью ими воспользоваться — дистанция огромного размера.

Во-первых, возвращаю читателя к начальным абзацам этой статьи, воля и неволя, паралич чиновничьей власти и ее по-прежнему безграничное всемогущество у нас ныне причудливо перепутаны, парадоксально совмещены друг с другом. Все уже можно и ничего еще нельзя, в чем на собственной шкуре убедились, скажем, редакции литературных изданий (в том числе и «Знамени»), рискнувшие — в строгом соответствии с Законом, в полном согласии с духом времени — заявить о своей юридической, административной и хозяйственной самостоятельности.

А во-вторых...

Знакомясь с выступлениями целого ряда писателей в печати, на встречах с Президентом страны, на разного рода пленумах и съездах, я часто с невеселой улыбкой припоминаю рассказ Петра Дмитриевича Боборыкина о том, как, прослушав высочайший Манифест 19 февраля 1861 года, дворня тут же в слезах повалилась барину в ноги: не гони ты нас, родимый, от себя, дай дожить свой век в подневольном тепле и рабской сытости...

Что делать? Свобода от государства — это ведь и в самом деле свобода не только от уз, но и от опеки, от хозяйской заботы и ласки. Как не понять! За окнами лакейской просторно, студено, страшно; а тут, в надышанном, обустроенном дедами да отцами закутке, уютно, и даже барская трепка понимается как знак лестного внимания: бьет — значит любит...

Вразумите, а то мы сами в толк не возьмем, о чем писать и что думать; дайте нам такое же ясное постановление, как давешнее — о журналах «Звезда» и «Ленинград», заявил, если помните, писатель Анатолий Иванов на одной из первых встреч с М. С. Горбачевым.

Помогите, а то нам самим не прокормиться,— гомонят, обращаясь с челобитной к начальству, ораторы-писатели на последнем своем российском съезде. Вот одна только, наудачу, цитата из стенограммы, зато в ней все задушевное высказано! «Был такой лозунг,— жалуется Николай Никонов,— отделить Союз писателей от государства. Товарищи, это крикливый лозунг, Союз не может быть отделен от государства... Мне думается, что мы должны помогать нашему государству в строительстве, в воссоздании его, а, в свою очередь, требовать от государства внимания к нам».

Чего требовать? Внимания, это понятно. Но еще (и допрежь всего) возможности кормиться не за собственный, а, как и привыкли, за чужой счет. Продолжу цитирование трогательного в своей наивной беззастенчивости выступления Николая Никонова: «У меня есть предложение — Союз писателей имеет право на отчуждение доли средств от издания нашей классики, и советской, и русской. Без этого мы не проживем, нужно обратиться в правительство с такой просьбой».

...Одну челобитную от другой отделяют шесть без малого лет перестройки. Какой путь пройден: раньше требовали указаний — теперь попросту вымогают деньги! Хотя, если по правде, разница в данном случае чисто внешняя. Во-первых, деньги и раньше подразумевались — для тех, кто верою и правдой

исполнит указания. Во-вторых, против получения указаний и на съезде писателей РСФСР никто ничего, кажется, не имел — во всяком случае, готовность отслужить, безусловной преданностью отплатить за все хорошее и тут не вызывает сомнений.

Может быть, и грех так думать, но возникает ощущение, что оппозиционные по отношению к лидерам перестройки настроения, которые не вдруг окрепли в среде авторов и подписантов известного «Письма писателей России», коренятся не столько в идейных, мировоззренческих разногласиях между Михаилом Горбачевым и, допустим, Николаем Шундиком или Феликсом Чуевым, а в кровной обиде. В обиде, конечно же, на Хозяина, на государство, которое и от выдачи прямых указаний теперь уклоняется, и смутьянов на конюшню больше не посылает, и — главное — грозит (пусть пока еще только грозит!) отлучить былых «подручных партии» от казенной кормушки, перестает сообразовывать сумму положенного писателям вознаграждения со степенью их чиновничьего усердия и размахом их идеологической преданности.

Хотя и то сказать: участи подавляющего большинства членов Союза писателей сейчас действительно не позавидуешь. Без присмотра и опеки им и в самом деле не продержаться на плаву, не выдержать испытания ни рынком, ни свободной конкуренцией дарований, соревнованием художественных идей.

Бог с ними, с писателями-«миллионщиками» да «генералами»!.. Их рановато жалеть: и тиражи переизданий пока что не оскудевают, и с драконовскими налогами они как-нибудь справятся — оформляя, например, по совету Петра Проскурина, высказанному на декабрьской встрече деятелей культуры с Президентом страны, часть гонораров то на тещу, то на свояченицу... Но вообразите себе положение литератора, что называется, рядового, нечиновного, в особенности провинциального. Ему и раньше-то жилось не слишком сытно, но... Членский билет СП все-таки давал худо-бедно и право на гарантированное издание книжки пусть даже раз в три — в пять лет, и возможность срывать червонцы «по линии» Бюро пропаганды советской литературы, и мало ли какие еще возможности — вплоть до возможности прийти в обком, в исполком и «выбить», предположим, квартиру или, предположим, льготную турпоездку на дикий, растленный Запад...

А теперь? Издатели-кооператоры членскими билетами Союза писателей не интересуются: им, своекорыстным, подавай только то, что бойко пойдет с лотка — как гамбургеры или леденцы на палочках. Государственные же издатели клюют в лучшем случае либо на звучное имя, либо на эффектную тему. В лучшем — поскольку и они вкусили уже коммерческую сладость беспошлинной, безгонорарной перепечатки хоть Валишевского, хоть Агаты Кристи. У литераторов остается, правда, возможность выпустить книгу за свой счет. Но, во-первых, этого счета у рядовых, у нечиновных, как правило, нет, а во-вторых, и читатели-покупатели не хуже кооператоров интересуются, как правило, чем угодно, но только не тем, состоит ли предлагаемый книготорговцами автор в Союзе писателей или не состоит...

Иными словами, массовая писательская безработица — реальность нынешнего уже дня, и есть все основания думать, что дальше дела у членов Союза писателей пойдут еще хуже.

Можно ли, нравственно ли злорадствовать по этому поводу? Среди авторов, не востребуемых книгоиздателями, не привлекших к себе внимание литературной периодики, есть ведь не только патентованные бездарности. У кого-то дарование тускловато, но несомненно; кому-то просто пока не повезло; чьи-то рукописи изначально предназначены немногим ценителям и, следовательно, никогда не будут иметь коммерческого успеха, хотя и небезынтересны по-своему, необходимы в развитой словесности. Или вот ветераны писательского труда. В тон сегодняшним читательским и издательским ожиданиям им уже не попасть: поздновато; прежние же их вещи настолько зачастую испещрены родимыми пятнами застоя, что переизданию не подлежат Этих стариков разве не жалко? Да и серых, посредственных, заурядных беллетристов, стихотворцев и драмоделов — когда они не агрессивны — тоже ведь, по правде говоря, жалковато. Люди же! Легко ли остаться без привычного социального статуса, без — случается и такое — нормальной «гражданской» профессии?..

Так что проблем масса. Кому же их решать, когда государство уже сняло с себя заботы о материальном и финансовом обеспечении литературы, а общество еще не готово принять эти заботы на себя? Конечно, Союзу писателей. Не нынешнему, пораженному, как и встарь, министерскими амбициями, по-прежнему претендующему на право руководить, контролировать и координировать Союзу писателей, а грядущей корпорации пишущих, занятой и озабоченной корпоративными, профессиональными, цеховыми задачами и нуждами.

Министерство по делам литературы — хоть фадеевского, хоть марковского или карповского типа — свой век уже отжило.

Век «клубов по интересам», когда писатели-единомышленники пробуют сбиться в своего рода мини-союзы, будет, судя по всему, недолог: недаром же на ладан дышит «Апрель», недаром же нечем похвастаться «Единению», «Содружеству», «Согласию», «Товариществу русских художников», иным полуполитическим-полутворческим новообразованиям.

Что же касается вынянченной кабинетными мечтателями из «рабочего» секретариата СП идеи о некоем общепримиряющем, консолидирующем «Центре», который ни во что вникать вроде бы не будет, но из которого самые мудрые, самые авторитетные наши литераторы будут давать душеполезные советы и своим менее мудрым собратьям и местным писательским организациям, то это детище вообще кажется мне мертворожденным.

Не надо координировать: писательство — дело в принципе одинокое, и согласовывать творческие интересы — значит лишь нивелировать, обстругивать их! Не надо никакой «общесоюзной» идеологии — пусть это будет даже «идеология согласия»: писатели сами — наедине с собственной совестью — разберутся, «куда идти, в каком сражаться стане?». И — ради всего святого — не надо бы Союзу писателей впредь хлопотать о дальнейшем развитии, совершенствовании и процветании литературного процесса в стране!.. Пустые это хлопоты и опасные: книги на заседаниях все равно не пишутся; дискуссии и так называемые «творческие» обсуждения никого пока не сделали более талантливым, и не было еще такого постановления, которое принесло бы писателям и литературе что-либо, кроме вреда...

А вот соединенными усилиями противостоять налоговым поборам, и впрямь грабительским, необходимо, как и вообще необходимо отстаивать интересы писательской гильдии в ее отношениях с «внешним» миром. И вырабатывать систему социальной защиты тех литераторов, кто нуждается в защите,— самое время. И позаботиться о социальной переориентации, может быть, даже о профессиональном переучивании части пишущих,— тоже пора, и как будет славно, думаю я, если с помощью Союза хоть кто-то из малоудачливых беллетристов или стихотворцев добровольно распростится с докучным сочинительством и либо найдет себя, допустим, в издательском бизнесе, либо пожнет лавры в роли литературного агента, книготорговца, специалиста по рекламе, по маркетингу — да по чему угодно!.

Союз писателей — вот мое убеждение — не развалится, спасет себя и поможет — посильно — спастись своим членам лишь в том случае, если вовремя преобразуется из нынешнего Союза *над* писателями в Союз *для* писателей, превратится из литературного генштаба с планирующими и командными функциями в своего рода сферу обслуживания писательского труда, в агентство по оказанию литераторам юридических, канцелярских, посреднических, консультативных, бухгалтерских, иных услуг. В таком Союзе не будет места начальникам — их заменят клерки, юрисконсульты, менеджеры, экономисты, переводчики, и такому Союзу охотно, как можно предположить, и писатели передоверят часть многотрудных — не творческих! — забот, и местные организации делегируют часть своих функций.

Вот вам, кстати, и поле если не для сотрудничества, то по крайней мере для мирного сосуществования писателей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, убеждений и талантов. «Каждый пишет, как он дышит...» — и все в равной мере и на равных основаниях пользуются услугами собственного (содержащегося, конечно же, на собственные деньги, а не на деньги Гоголя или Булгакова, как размечтался было Н. Никонов) деполитизированного агентства.

Навроде того, как все мы — без различия талантов и убеждений — пользуемся услугами жэка или поликлиники, не видя в том угрозы для личной независимости. Лишь бы только сантехник не брался координировать наши дела, а стоматолог не покушался на заповедные тайны нашей профессии.

Ибо главным итогом нынешнего процесса разгосударствления литературы может и должен явиться только один святой принцип: «Каждый пишет, как он дышит...».

«Ты царь; живи один»

Есть, впрочем, и альтернатива этой тенденции к деполитизации, разгосударствлению нашего Союза, всей литературной жизни в стране. И отчетливее всего эта альтернатива заявила о себе на минувшем уже декабрьском съезде писателей РСФСР.

Раз верховная партийно-государственная власть не желает (или не может) больше нами руководить и нас содержать, примерно так размышляли ораторы, то мы имеем право сами искать себе могучего покровителя.

Покровитель, а вернее сказать, покровители не заставили себя долго ждать.

Помещение для проведения съезда предоставило военное ведомство и тут же услышало в ответ благодарное писательское слово: «...Нравственная сила, наш Союз писателей должен объединиться с военно-патриотической силой, с армией. Чтобы в нужный момент достойный отпор дать всем этим негодяям. Не будем обманывать свое предчувствие, свое зоркое писательское видение, а признаемся честно перед собой и скажем открыто народу: в мире идет третья мировая война!»

Съезд явился почтить своим присутствием Иван Кузьмич Полозков —

и тут же был вознагражден пылкими заверениями писателей в их беззаветной преданности «слову и делу» Российской компартии: «...Не рынок спасет нас, а обновленная Коммунистическая партия, Компартия России и наша армия. На мой взгляд, это те силы, которые способны вытащить Родину из беды, и мы должны помочь им в этом деле. Встать на их сторону...».

О таких властных структурах, как, например, КГБ или МВД, в речах с трибуны говорилось заметно реже, но, судя по публикациям «Литературной России», других изданий «национал-патриотической» направленности, идеологи Союза писателей РСФСР претендуют на то, чтобы стать идеологами и этих внушающих вполне заслуженное почтение сил, выразить — как в яркой художественной, так и в страстной публицистической форме — их ведомственно-державные интересы.

«Влеченье — род недуга...»? Видимо, так, и я не удивлюсь, если благодаря попечению названных выше «спонсоров» Союз писателей РСФСР действительно вскоре трансформируется в «новую национально-государственную партию России», создание которой взялся на писательском съезде «предугадать» Станислав Рыбас. Эта партия и так уже, собственно, существует, разве что неформально. Писателей-волонтеров в ее рядах уже сейчас хватает, но...

Говоря обо всем этом, необходимо учесть одну тонкость, ставшую очевидной именно в истекшем году.

Взаимное «влеченье» монархистов и коммунистов, лириков и полковников, «шовинистов» и «интернационалистов» было бы неверно объяснять мотивами, так сказать, идейными, мировоззренческими. Скорее напротив. Если послушать наших национал-государственников, то получится, что они объединяются *вопреки* своим личным убеждениям, как бы *поверх* идейных барьеров, и недаром ведь С. Лыкошин заявил на российском съезде: «Надо на время, может быть, смириться с идеологической несовместимостью, с понятийными расхождениями в суждениях русских людей, которые живут великой национальной идеей исторической преемственности, и так называемых национал-большевиков. Надо найти форму взаимодействия во имя спасения Российского государства. Если мы этого не сделаем сегодня, завтра нас разорвут на части...».

Так что, если оставить за скобками «патриотическую» риторику, — какие уж тут «идеи»! — быть бы живу...

Мне, кстати заметить, вообще кажется, что пора идейного возбуждения, ожесточенной идеологической рубки в нашей литературе и в нашем обществе уже миновала. Дело сделано. Стороны поляризовались. Все аргументы — и «левого» фланга, и «правого», и «самобытников», и «конвергентов» — выложены на стол. Все способы и приемы словесного воздействия на умы использованы. Поэтому и споры между враждующими лагерями, дойдя до своего пика примерно год-полтора назад, сегодня будто по кругу прокручиваются, вызывая уже не живейший интерес публики, как бывало,— чья, мол, возьмет? — а скорее усталое раздражение: да умерьте же наконец свое красноречие, и так ведь все всем известно!.

Действительно, известно.

Уж сколько, казалось бы, энергии и терпения было положено на то, чтобы внятно, понятно объяснить, отчего мы и жили и живем так скверно, какое общество на костях умудрились выстроить, а все равно поднимается на трибуну писательского съезда собрат-литератор — и в крик: «Берегите заветы предков! Берегите те социалистические завоевания, которые делают человека достойным и уверенным в завтрашнем дне!»

Уж сколько, казалось бы, говорено о ценностях общеевропейского дома, о невозможности и дальше прозябать на задворках мировой цивилизации, а с трибуны все того же съезда, как встарь, несется либо заполошное: «Оградим, спасем наше общество от заморской чумы!» — либо агрессивно-констатирующее: «...Невооруженная интервенция западного образа жизни обходится нам дорого — дороже, чем все войны, вместе взятые».

...Что тут возразишь? Да и надо ли возражать? Тем более что караван идет, будто бы и не внемля публицистическим руладам любого толка.

Иное время сейчас на дворе: не идейной конфронтации, а *политической* борьбы. И не мнения в ней что-то значат, а реальный баланс сил, причем день ото дня крепнет ощущение, что силы эти подобны айсбергам: на поверхности — то есть на съездах народных депутатов, на сессиях разных уровней — видны лишь малые верхушки, и все решают не они, а те массивы, что скрыты под водой, надежно утаены от самой пронзительной гласности.

Говоря это, я отнюдь не хочу утверждать, будто писательские призывы к идейному размежеванию и мировоззренческому самоопределению провозглашались зря. Вовсе нет. Именно писатели — а уж вослед им социологи, историки, экономисты, парламентарии — дали контур, программное обеспечение тем силам, в столкновении которых решается судьба страны. Именно писатели научили разговаривать на политическом языке и улицу, и прессу, и залы заседаний. Именно писатели ценой отказа от собственно литературного творчества заполнили идеологический вакуум, образовавшийся на начальном этапе перестройки, временно исполнили обязанности отсутствовавших у нас в тот момент политических деятелей.

Теперь надобность во всех этих ролях и функциях исчерпалась. Появились

профессиональные политики, н уже им, а не писателям, внимают и на сессиях, и на митингах. Эмансипировалась, вырвавшись из-под ведомственной опеки, пресса, и слово писателей заметно реже появляется на газетных страницах, а появившись, не вызывает такого резонанса, как бывало, воспринимаясь скорее как частное мнение частных лиц.

Словом, мавр сделал свое дело и...

Говоря все это, я отнюдь не хочу утверждать, что писателям нет больше места в политической и государственной жизни страны. Место-то найдется, но, во-первых, только для желающих продолжить активную политическую деятельность, а во-вторых, в любом случае гораздо более скромное, чем прежде.

Показательна вяловатость, с какою в обществе были встречены громокипящие речи на VII съезде писателей РСФСР: ну что, шумим, братцы, шумим?.. Ну-ну, мол. А почему так? Да потому, думаю, что Союз писателей РСФСР, точнее, его боевой секретариат — хоть в михалковско-бондаревском, хоть в нынешнем бондаревско-романовском, хоть в провалившемся прохановско-бондаренковском варианте — кажется реальной, самостоятельной силой только его непосредственным руководителям и «подручным». Общество же разумно смотрит на действо, развернувшееся в Театре Советской Армии, как на своего рода спектакль в театре марионеток. Научились, слава Богу, уже отличать личные ораторские придумки да задумки — цена им три копейки в базарный день — от слова, заказанного и просуфлированного спонсорами: консервативной частью партийного и советского аппарата, армейским генералитетом, военно-промышленным комплексом, директорским и председательским «корпусами», иными столь же влиятельными и столь же реальными силами сегодняшнего общественно-государственного бытия.

Нетрудно предположить, что и в «новой национально-государственной партии России», если она законным порядком оформит свое существование, писателям будет отведена вовсе не роль комиссаров, идейных вдохновителей, на которую они, похоже, до сих пор рассчитывают, а роль скорее агитаторов, пропагандистов, несущих в массы уже готовые призывы и лозунги.

Роль для «властителей дум» незавидная? Ну, что же делать. Другой нет. И не случайно, я думаю, и Виктор Астафьев, и некоторые другие видные писатели, чьим авторитетом на протяжении всех лет перестройки норовили прикрыться секретари российского Союза, либо попытались утихомирить своих разбушевавшихся собратьев, либо заняли на съезде роль отстраненных наблюдателей, либо и вовсе не явились в зал, где формировался союз «генералов меча» с «генералами литературы».

Что же до тех, кто овациями встречал на съезде всякое антиперестроечное слово, то они, похоже, любой ролью готовы удовлетвориться, лишь бы, как во время оно, чувствовать себя нужными, мобилизованными и призванными, выполняющими ответственный, хорошо оплачиваемый социальный заказ...

Ну да Бог им судья! Как бы ни гомонили, как бы ни суетились вокруг потенциальных клиентов, литература, я уверен, остается с теми и в тех, кто понял нынешнюю свободу не как свободу выбирать себе покровителей, а как свободу творить, не повинуясь никому и ничему, кроме голоса собственной совести.

С теми и в тех, кто, как заклинание, твердит сегодня пушкинское:

Ты царь: живи один.
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг
благородный.
Они в самом тебе.

Такие писатели у нас есть. Такие книги пишутся и уже написаны, сужу хотя бы по редакционному портфелю «Знамени» на 1991 год, по тому, как рукописи, вполне доброкачественные, но не возвышающиеся над планкой гласности, постепенно вытесняются из журнальных планов произведениями истинно значительными, отмеченными печатью внутренней авторской свободы.

В поисках утраченного литературного процесса

Впрочем, за столом, в гордом уединении с листом бумаги, книги всего только пишутся. Живут же они в контексте, во взаимодействии друг с другом и с читателями, в том, что принято называть литературным процессом.

И вот тут полная неясность: да есть ли он у нас нынче, литературный процесс?

Нет, и очень хорошо, что его больше нет, сказал, как отрубил, Анатолий Курчаткин в «Литературной газете», ибо любое выявление «закономерностей», «магистралей», «тенденций» свидетельствовало бы о писательской несвободе, о неизжитости тоталитарного контроля над литературой.

Литературного процесса сейчас действительно нет, и очень жаль, заметил автор этих строк в начале минувшего года. Жаль, так как только в его магнитном поле рассыпанное множество пусть даже и хороших книг приобретает очертания литературы.

Кто из нас прав?

Думаю теперь, что неправы оба. Литературный процесс в стране, конечно, идет, и очень бурно, хотя иначе, чем в предшествующие десятилетия. Тут бы критике и критикам поработать, именно они ведь как-никак создают это самое магнитное поле, но...

Свежайшая литературная новость: в прошлом году критика как род творческой деятельности у нас практически исчезла. И из издательских планов, и из журнальных книжек, и из «Литературной газеты», «Литературной России», «Огонька», других изданий. Похоже, что бич безработицы — когда добровольной, а когда и вынужденной — ударил в первую очередь по авторам проблемных статей, аналитических обзоров, квалифицированных рецензий, литературных фельетонов и реплик.

За критиков маститых, «с именем», можно пока не волноваться: они еще сумеют (если, конечно, напишут) «пристроить» свой отзыв не в один, так в другой журнал. А вот с молодыми уже сейчас беда. Куда им податься, где обучиться начаткам ремесла? «Литературная газета» — за вычетом разве что «колонки» Аллы Марченко и многошумной дискуссии вокруг памфлета Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе» — литературно-критических материалов, по сути, не публиковала. «Новый мир», по словам его главного редактора, принял решение помещать только те статьи, что не утратят своей актуальности через несколько лет, и рецензирует теперь в основном Николая Гумилева, Леонида Добычина, Кэтрин Анн Портер — писателей, что говорить, превосходных, но не вполне все-таки современных. В «Дружбе народов» критика, как и встарь, скромнее скромницы, не вспомнишь даже, что там было напечатано под этой рубрикой. «Юность» не откликнулась ни на одну, кажется, новую книгу. «Вопросы литературы» фактически не выходили, да и в тех четырех номерах, что поспели к Новому году, центральное место отдано «Людям и ложам» Н. Берберовой, материалам из литературного архива. То же и с «Литературным обозрением» — львиную долю берут себе материалы из литературного архива, а с недавних пор еще и публикации прозы, поэзии — опять-таки за счет запропавших статей, обзоров, рецензий...

Остаются, правда, «Молодая гвардия», «Наш современник», «Литературная Россия» и, с другой стороны, «Огонек», «Книжное обозрение», но там в почете критика исключительно воинственная, срывающая все и всяческие маски, то есть как бы и не вполне критика в строгом смысле слова.

Не хочу этим сказать, что достойных литературно-критических публикаций вовсе не было в истекшем году. Были, и читатель без труда припомнит пять-шесть дельных, ярких статей, пять-шесть имен критиков, которые либо, как Александр Агеев, блестяще дебютировали, либо, как Наталья Иванова, и сегодня не сбавили свою творческую активность. И все же: профессия критика становится, похоже, реликтовой, вымирающей...

Причин несколько. Вот объективная, от самих критиков не зависящая. Мы и обречены были пасть первыми в условиях нынешней гонки за тиражами, в атмосфере «дикого», «первобытного» рынка, когда издатели, публикаторы с одним и тем же коммерческим критерием подходят решительно ко всем текстам: к детективу, рассчитанному на массовый спрос, и к аналитическому, «спокойному» исследованию, заведомо сориентированному на сравнительно узкий круг квалифицированных читателей. Первый шаг здесь сделали книгоиздатели, закрыв большинство редакций критики и литературоведения на переучет, пустив под нож даже те книги критиков, сборники статей, которые уже готовы были к выходу в свет. Не отстают, как видим, и журналисты,— их тоже можно понять: газетно-журнальная площадь сейчас остродефицитна, и ее, конечно же, лучше занять чем-либо более эффектным, леденящим читательскую душу, чем обзор или рецензия.

Есть и причины субъективные, за которые уже мы сами, критики, несем всю полноту ответственности. Во-первых, критика раньше и глубиннее, чем остальные сферы творчества, политизировалась, превратившись с началом перестройки в род идеологической публицистики «на литературном материале», и первой должна была почувствовать на себе исчерпанность гиперполитизации, первой уступая место — для разговоров о жизни — народившимся за последние годы профессионалам: политикам, политологам, социопсихологам, прорицателям с патентами и без оных.

На политизированную критику уже нет былого спроса — на критику сугубо эстетическую, экспертную еще нет. Да и потом... Попробуйте-ка сами окинуть единым взглядом сегодняшнее литературное безбрежье, разобраться в том, что выпускается в свет, что привлекает к себе читательское внимание!..

Раньше была аскетическая, нищая, позорная, но определенность: следи за чередой новинок по реестру «Книжного обозрения», просматривай регулярно поступающие свежие книжки немногочисленных литературных журналов, втайне сопоставляй их с публикациями «Континента», «Граней», «Синтаксиса», с вестями из литературного «подполья» — и интерпретируй себе на здоровье, оценивай, выноси суждение. А теперь?.. Все

логии морально устарели. Ни о какой прежней иерархичности тем, жанров, имен и помина нет. Все привычные критерии сбиты, а частью и просто не работают.

Вот, например, исконный для советской критики — и «левой», и «правой» — критерий «остроты», гражданской смелости художника. Можно ли им сегодня пользоваться? Не говорю уж о возможности «проявить смелость» в оценках былого, многострадальной нашей истории. Но стоят ли сегодня чего-либо антисемитские выходки некоторых авторов «Молодой гвардии», «Нашего современника» в сравнении с «Майн кампфом», с «Протоколами сионских мудрецов», с иными такого же свойства книжками, что бойко раскупались делегатами и гостями российского писательского съезда в фойе Театра Советской Армии? Стоит ли чего-нибудь «оппозиционность» выступавших на этом съезде ораторов, а следовательно, и «оппозиционность» их художественного, литературного мышления в сравнении с транспарантами и лозунгами на митингах, с листовками «Долой Горбачева!», которыми в дни, когда писалась эта статья, были оклеены стены подземного перехода на Пушкинской площади в Москве?..

Голова кругом идет и при взгляде на поток собственно книжно-журнальной продукции, где в одном ряду вещи, написанные только что, и вещи, извлеченные из-под спуда; непотопляемые, видно, при любой погоде «Нюрнбергские призраки» А. Чаковского, «Судьба» П. Проскурина, «Вечный зов» Ан. Иванова и сочинения крутейшего из вчерашних литподпольщиков; книги с издательским грифом «Советского писателя» и книги с маркой «Посева» или «Ардиса». Традиционные журналы — скажем, «Дружба народов», «Новый мир», «Иностранная литература», не говоря уже о периферийных,— поступают к подписчикам с полугодовым и более опозданием, зато, как грибы после хорошего дождя, выглянули на ясный свет десятки, а возможно, и сотни новых, «нетрадиционных» журналов, журнальчиков, альманахов, сборников, экспресс-выпусков и т. д. и т. п.

События в литературном мире сменяются с неуследимой быстротой. Вспомните-ка, как мгновенно взошла на литературном небосклоне и почти мгновенно погасла звезда современной антиутопии. Почему взошла, понятно: не столько под воздействием Е. Замятина, Д. Оруэлла, О. Хаксли, хотя и под этим воздействием тоже, сколько по зову нашего встревоженного, напуганного безотрадной перспективой сознания. Почему погасла, тоже понятно — действительность стала такой, что и самая угрюмая фантазия кажется детским лепетом, и сможет ли разве наиболее дерзкий антиутопист перешибить простодушный вопрос кого-то из читателей еженедельника «Аргументы и факты»: «Скажите, будут ли впоследствии льготы для тех, кто переживет перестройку?»

...Одно слово — свобода!..

Она-то и дает литературную, книжно-журнальную чересполосицу, к анализу и оценке которой подавляющее большинство критиков сегодня пока просто не готово. Она-то и воспрещает писать о литературе и литературной жизни по-старому, проводя былые «магистрали», вычерчивая прежние «тенденции». Остается вздохнуть и сказать: все в мире литературы переворотилось и только начинает укладываться...

Причем «укладываться» на новый манер. Ясно, например, что литературному процессу в условиях свободы книгоиздания, а главное, в условиях свободы слова, уже никогда не быть ни однолинейным, ни одноуровневым. Ясно и то, что разгосударствление литературы с неизбежностью приведет к ее децентрализации. События и процессы явно будут идти вперехлест, наслаиваясь друг на друга, литературные «школы» и «волны» не чередоваться, как чередовались, допустим, «исповедальная» и «деревенская» проза, «громкая» и «тихая» лирика, а существовать одномоментно. Что же касается традиционной для советского восприятия «пирамидальности» в построении литературы, то она сменится разноэтажной — «современной» — застройкой.

Уже сменяется.

Возьмите хоть минувший год. Его заблаговременно назвали «годом Солженицына» и... Ошиблись? В общем-то нет. Произведения великого изгнанника действительно печатались всюду — «от Москвы до самых до окраин...», приковывая к себе страстное внимание читающей России. И все-таки... Назвать истекшие двенадцать месяцев **только** «годом Солженицына», свести все линии литературного, книжно-журнального спектра **только** в этот пучок, **только** к этому «центру» было бы преувеличением.

Хотя бы потому, что это был еще и «год Библии», вообще религиозной, духовной, мистической литературы.

Откройте номера «Книжного обозрения» на реестре новинок, пройдите вдоль книжных развалов «черного» рынка, загляните в годовые комплекты «Смены», «Литературной учебы», «Волги», «Звезды Востока», других литературных и нелитературных изданий... Библия, Коран, Закон Божий, жития святых, молитвословы, сочинения отцов церкви, богословов, религиозных мыслителей, священнослужителей, сборники духовной поэзии и — вперехлест этим несомненным знакам духовного возрождения — всевозможные «Тайны черной и белой магии», бесчисленные сонники, гороскопы, что-то антропософское, что-то кришнаитское, что-то астрологическое, что-то про хиромантию, спиритизм, волшбу и ворожбу — вплоть до «Новейшего самоучителя шаманского искусства». Спрос на эти книги, брошюры, журнальные и газетные публикации огромен,— естественно, что час от часу в условиях рынка, свободы книгоиздания нарастает и предложение, восполняется дефицит, накапливавшийся за десятилетия.

Далее. Заранее прошу прощения у строгого читателя, но вынужден сказать, ибо истина дороже: минувший год был еще и годом «Азбуки секса», «Техники половой жизни», «Энциклопедии эротики», секс-дайджестов, секс-гороскопов, секс-ревю, иных такого же сомнительного свойства изданий, которые и по количеству выброшенных на лотки наименований, и по количеству распроданных экземпляров могут, я боюсь, смело соперничать с любым из видов выпускавшейся в стране книжной продукции.

Это явление на печатные страницы в буквальном смысле слова **голой** натуры (а также на кино-, теле- и видеоэкраны, на сценические и концертные подмостки, в выставочные залы) вызывает разное к себе отношение. От невозмутимо спокойного, экспертного заключения: «За лето 1990 года в СССР сформировался также и рынок печатной продукции, удовлетворяющей гуманитарный интерес советского человека к сексу» («Коммерсантъ», 1990, № 47),— до клокочущего негодованием диагноза: «Немалая часть прессы в подцензурных условиях, судя по всему, до того, бедненькая, настрадалась, что заболела «бешенством матки» (речь В. Распутина на VII съезде писателей РСФСР).

И тем не менее перед нами именно явление, реальность новейшего времени. Воля ваша, порою даже кажется, что есть доля правды в злорадной шутке: перестройка — это парламентские дебаты плюс пустые прилавки и

...Плюс эротизация всей страны

Мне, знаю, скажут, что все эти пособия для начинающих (или, напротив, изнуренных) онанистов не имеют решительно никакого отношения к собственно изящной словесности. Согласен. Я и сам считаю, что полезные советы — как, например, достичь оргазма с помощью включенной на полную мощность стиральной машины — в компетенцию литературной критики не входят. А вот как быть с незнамо кем написанными (либо переведенными) и изданными, зато бойко распродающимися «Каникулами в Калифорнии», «Элеонорами», «Валенсиями», «Пансионатами любви», «Школами любви», «Ночами любви», иными «художественно-эротическими» — по уверению торговцев—сочинениьицами, где все тот же примаичивый пахучий материал представлен уже не в грубо инструктивной, а в изящно беллетризованной форме, и читатель — если он не брезглив — может до посинения услаждать свой взор живыми картинами типа:

«Жаннет услышала, как заскрипела в спальне кровать, и уже не могла сдерживать себя. Стоя, она расстегивала на себе платье, сбросила его на пол, трусы и лифчик полетели туда же. Влетев в спальню, она увидела Лили и Чета, тесно сплетенных друг с другом. Она подскочила сзади и прижалась обнаженным телом к спине Чета, так что все трое образовали живой сэндвич. Чет был его прослойкой. С неведомо откуда взявшимся мастерством Жаннет любовно обрабатывала каждую часть его тела горячими поцелуями, в то время как ее руки заботливо гладили его бока и бедра. Каким-то извращенным, неизвестным ей чутьем она нашла самый приемлемый, соответствующий ее натуре, способ излияния ее страсти»...

Оборвем цитату, ибо дальше — уж поверьте — пойдет форменная похабень, изложенная — еще раз поверьте на слово — все с тем же «неведомо откуда взявшимся мастерством».

Опять не уровень? Не литература? Хорошо. Ну, а в одночасье ставшие известными не только узкому кругу профессионалов-филологов, но и широкой публике «Заветные русские сказки» А. Афанасьева, ну, а пушкинская «Тень Баркова», «юнкерские поэмы» Лермонтова, «Лука Мудищев», «Опасный сосед», «Санин», «Навьи чары», набоковская «Лолита», наконец,— это тоже не литература? Или косяком пошедшие переводы некогда запрещенных во всем мире и уже одним этим во всем мире прославленных книг — «Любовник леди Чаттерлей» Д. Г. Лоренса, «Тропик Рака» Г. Миллера?

Или — и это, пожалуй, самое острое блюдо сегодняшней литературной кухни — книги Э. Лимонова, Ю. Алешковского, Д. Савицкого, С. Юрьенена, Вик. Ерофеева, В. Сорокина, многих наших юных и не очень юных писательниц-феминисток, которые бьются за право на каждостраничные оргазмы как за самое неотъемлемое из всех прав советской женщины?

Еще совсем недавно эти книги как эмигрантов, так и литподпольщиков либо вовсе не печатались у нас в стране, либо печатались с изъятием самых рискованных сцен и ситуаций, с отточиями взамен так называемой «табуированной лексики», а говоря попросту — матерщины. С прошлого года — все иначе. Не-

приличные слова, сальные шутки уже не проборматываются и не камуфлируются, а подаются пафосно, с победоносным вызовом: свобода, так твою!.. И муза советского секса предстает ныне не грязной, грубо раскрашенной девкой, что жмется поближе к трем вокзалам, а элегантной интердевочкой или чуть ли не Чоччолиной, избранной за постельные подвиги в итальянский парламент: глаз сверкает, бедро играет, все эрогенные зоны — напоказ!..

И мы, похоже,— как говаривал в свое время наш Президент, правда, по иному поводу,— еще только в самом начале пути. Производственное объединение инвалидов извещает через «Книжное обозрение» об открытой подписке на «Эротические рассказы» в двух томах, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» спешно готовит к выпуску антологию русской эротической поэзии... Появляются уже *литературные* журналы и альманахи, ставящие своей целью ликвидацию нашей с вами сексуальной неосведомленности... Воспряли посредственные беллетристы, сценаристы, драмоделы — они теперь знают, чем сдобрить сухомятку своих сюжетов... На прорыв пошли графоманы, и в каждой редакции, в каждой литконсультации вам скажут, что модное еще вчера социальное разоблачительство стремительно вытесняется публичными раздеваниями: «Расстегни свои застежки и завязки развяжи...».

Как ко всему этому относиться?

Я думаю, спокойно. Вернее, трезво. Еще вернее, разумно, здраво. Без глупого ликования: падает, мол, последний бастион деспотизма и творческой несвободы. И без паники: рушится, мол, последняя плотина на пути СПИДоносной распущенности и вседозволенности.

Конечно, возмутительно, что нынешние секс-офени раскладывают, развешивают, пропагандируют свой товар не в специально отведенных для того местах, а на самых оживленных перекрестках, в подземных переходах, на вокзалах и станциях метро, а то еще чище — облепляют лотками, киосками школы, магазины «Детского мира», детские кинотеатры. Конечно, нельзя не негодовать при одной мысли о том, что именно родной наш Ленинский комсомол обложил, будто рэкетир, данью раскинутую по всей стране сеть видеотек, видеокафе, видеоклубов, и денежки, заработанные на знакомстве подростков с «Девочками в прозрачных трусиках», с «Девушками из массажного кабинета», с иными такого же свойства киношедеврами, капают теперь в комсомольскую копилку. Конечно, достойно, мягко говоря, сожаления и то, что многие наши кинематографисты, деятели театра, книгоиздатели, журналисты и писатели, наконец, будто не видят иного средства повысить коммерческую привлекательность своей продукции, кроме нещадной, беззастенчивой эксплуатации самых низменных инстинктов, самых гадких привычек и самых пошлых вкусов толпы.

Тут спору нет. Отрицательные эмоции, вызванные разгулом доморощенных секс-революционеров, накапливаются, концентрируются, падают на почву, хорошо подготовленную десятилетиями принудительного ханжества, столетиями традиционного целомудрия и добровольного нравственного самоограничения. И — хочется призвать на подмогу городового, хочется пресечь скверну специальным распоряжением Президента, специальным Законом об охране общественной нравственности, введением специальной моральной цензуры.

Поостережемся, умерим, как сейчас выражаются, свои эмоции!..

Во-первых, толку не будет: в каждый подземный переход БТР не введешь, к каждому ксерокопировальному устройству и к каждому видеомагнитофону милиционера не приставишь. Во-вторых, есть у нас уже опыт движимой самыми благородными побуждениями антиалкогольной кампании: нравственный уровень населения, увы, не повысился, зато виноградники вырублены и напряжение в обществе возросло многократно. В-третьих... Опять же опыт антиалкогольной, иных прочих кампаний: у нас, дай только волю, так ударят по этим непотребствам, что и бунинские «Темные аллеи» окажутся под запретом, и «Тихий Дон» придется купировать, и снова кто-нибудь, как художник В. Сысоев в приснопамятную эпоху застоя, схлопочет лагерный срок за озорные сюжеты своих лубков.

Нет уж. Назапрещались. Свобода неделима, и сказал же ведь кто-то из великих, что достаточно хоть что-либо запретить, как по неумолимой логике вещей и все остальное будет жить под постоянной угрозой запрета.

Это если говорить в «общеметодологическом» плане. А в практическом... Пустое дело, по-моему, как пасту в тюбик обратно запихивать, так и собственные велосипеды в который раз изобретать. Есть мировой опыт, сводящийся, по сути, к двум принципам: локализации и замещения. Локализации посредством выделения особых районов, улиц, «точек» для торговли пахучим товаром, посредством многоступенчатого индексирования фильмов, шоу, спектаклей, журналов и книг (здесь, кстати, могли бы сказать веское слово и церковь, и школа, и Детский фонд и Фонд культуры), посредством, наконец, продуманной лицензионной и налоговой тактики. Что же касается замещения, то общедоступность печатной и видеопродукции, где злополучная «проблема пола» разрешается на уровне подлинного искусства и предельная откровенность откорректирована художественным, нравственным тактом, надежнее, я убежден, отвадит юношество (и не только юношество) от грубой и наглой порнухи, чем любые карательные меры. Не надо, ей-ей, быть

семи пядей во лбу, чтобы романы Г. Миллера или, допустим, Э. Лимонова предпочесть какой-нибудь косноязычной «Валенсии».

Не будем, впрочем, и гипероптимистами. Всегда, во-первых, найдутся особи, рыщущие в поисках того, что «погорячее» да «пожестче», ну да Бог им судья. Во-вторых, эротическая культура, как и любая другая, нарастает, отфильтровывается не вдруг, годами, и нас долго еще, боюсь, будет передергивать гримаса брезгливого возмущения при взгляде на домодельные пикантности. Но что же делать? За все надо, увы, платить. Тут диалектика, если хотите. И в этом смысле «Азбука секса», «Каникулы в Калифорнии», иное прочее — своего рода побочный (и малоприятный) продукт разгосударствления культуры, накладные расходы, неизбежные при осуществлении прав на свободу слова, книгоиздания, творчества, рыночных отношений, наконец.

Так к ним и отнесемся — как к накладным расходам. Не пряча брезгливой гримасы, но не забывая и главного. Того, что теперь за просмотр, допустим, фильмов Пазолини или Бертолуччи советского зрителя уже не потащат в кутузку, уже не намотают ему срок, как случалось совсем еще недавно. Того, что теперь можно печатать *всего* Пушкина, *всего* Лермонтова, Языкова, Бунина, Сологуба, Алексея Толстого, Кузмина, Набокова, других классиков, что редакторские ножницы, цензорский карандаш не покушаются более на сцены и эпизоды, оскорбительные с точки зрения воинствующих сексоборцев. Того, что мы в принципе — пока, подчеркну, еще только в принципе! — получили право смотреть, слушать и читать то, что во всем мире смотрят, слушают и читают.

И еще одно немаловажное, на мой взгляд, именно в этическом плане обстоятельство: подорваны наконец-то позиции «двойного счета» в отношении наших профессиональных моралистов к «стыдному» и «зазорному». Что имеется в виду? А вот что.

На самой заре перестройки Василий Иванович Белов рассказал потрясенным читателям, как он «лет эдак пятнадцать тому назад» впервые побывал в Париже. «Программа была весьма плотной, но мы,— признавался прославленный своим целомудрием писатель,— выкроили-таки один вечер и побывали на печально знаменитой площади», где, как известно, бьют в глаза «обширные цветные фотографии голых красоток» и прочие «бесстыдные атрибуты секс-киосков». Там Василию Ивановичу не понравилось — настолько, что он едва ли не всю современную западную культуру заподозрил в разложении и вырождении. Ну да ладно; это, что называется, их нравы и их заботы. Но вот вернулся писатель домой и — «Каково же было мое удивление, когда в Вологодском Дворце культуры железнодорожников (КОРе, как у нас говорят) я воочию увидел... самый настоящий кафешантан!», причем этот «танец бедер и животов наблюдало около тысячи старшеклассников и учащихся ПТУ»...

Не берусь судить, стоило ли пускать вологодских подростков на концерт вологодской же самодеятельности. Может, и не стоило, хотя — судя по тому, что вослед В. Белов обличал в непристойности «пресловутую аэробику» по ТВ и спектакль «История лошади» в ленинградском БДТ,— сомнительно все же, что «в бесстыдстве» беловские «соотечественницы и землячки превосходили парижских».

Но дело не в этом. А в вопросах, что первыми же приходят на ум любому непредвзятому читателю. Вот первый: а что же, собственно, рассчитывал Василий Иванович увидеть на «печально знаменитой площади»? Вершины европейской культуры и просвещенности? — но при таком похвальном желании надо было «выкраивать» вечер для Гранд-Опера, Лувра, Центра Помпиду хотя бы... Хотел удовлетворить свою любознательность, воочию удостовериться в том, что слухи о разгуле любобесия небеспочвенны? Хорошо, но зачем же тогда, нравственно ли лишать права на аналогичную любознательность и тех, кто ни «лет эдак пятнадцать тому назад» в Париже не бывал, ни сегодня этой возможностью не располагает? Остается, увы, предположить только одно: по святому убеждению писателя В. Белова, то, что невредно и даже полезно «выездным» борцам за народную нравственность, безусловно, вредно и уж никак не полезно их «невыездным» землякам-несмышленышам.

Так? Видимо, так, и мне близка злая ирония, с которой Н. Травкин откомментировал недавнее распоряжение Президента СССР о пресечении секс-экспансии на советском телевидении: «Хотя я лично ничего такого по нашему ТВ ни разу не видел, все равно правильно: не надо народ портить. Пусть эту порнуху, как прежде, смотрит на своих дачах партноменклатура»...

Не будем заблуждаться: равенство в возможностях если и достигнуто, то пока только *в принципе*: одни «выкраивают» вечер для посещения Фоли-Бержер и покупают «Плейбой» за твердую валюту, другие смотрят самодеятельность в КОРе и имеют право отовариваться «Азбукой секса» (хотя, говорят, уже и «Плейбой» можно купить у кооператоров — за двести рубчиков номерок всего-навсего!). И все-таки... Не отрицая, что сексуальная революция «по-советски» действительно способна нанести ущерб нравственному здоровью нации, нельзя не видеть и того, как благотворно может сказаться на этом же здоровье устранение «двойной морали» — хотя бы только в принципе.

А то, что в нашем обществе, в нашей культуре до самого недавнего времени бесчинствовала именно «двойная мо-

раль», вряд ли нуждается в доказательствах.

Принято, например, считать, что вся советская литература времен застоя была до пресноты беспола и бесчувственна, что бдительные редакторы и цензоры отовсюду вымарывали малейший намек на что-либо фривольное. Так ли? Нет, не так. То, что действительно не было дозволено «быку», то есть обычному писателю, в лучшем виде было дозволено «Юпитерам» в ранге лауреатов, секретарей писательского Союза.

Припомните-ка!.. Это ведь у Анатолия Иванова в его «народных» романах сцены кровосмешения чередуются со сценами изнасилования, грязного блуда, растления несовершеннолетних. Это ведь Юрий Бондарев водил своих пресыщенных «выездных» героев по гамбургской Реепербан, вдохновенно рассказывая «невыездным» читателям о грудях, ягодицах, пупках и нравах тамошних прелестниц. Это у Петра Проскурина жена первого секретаря обкома партии нагою нимфою носится по росистым полянкам. Это у Георгия Маркова, наконец, жена секретаря горкома сначала подперла «своими прелестными ручками в кольцах и перстнях выразительные бедра», а затем «заперебирала розовыми стройными ногами с круглыми коленями»!..

Так что простодушную даму, которая в одном из первых телемостов заявила, что секса, мол, у нас нет, нагло обманули. Был у нас секс, по крайней мере в литературе, но особый: деревенско-партаппаратный. Были и специалисты, которые с «неведомо откуда взявшимся мастерством» (куда там нынешним безымянным авторам «Элеонор» и «Валенсий»!) живописали картины сладкого порока — либо на сибирской заимке, либо в столичной квартире «улучшенной» планировки. И уж не эти ли, догадываюсь, масленые картины, наряду с возможностью вживе увидеть мирно попыхивающего трубкой отца народов, так болезненно влекли миллионы любопытствующих к «Вечному зову», к «Берегу» и «Выбору», к «Судьбе» и «Имени твоему», к «Тростинке на ветру»?

Сейчас лицензии на сквернословие и любострастие ни от кого не требуют. И «быки» и «Юпитеры» наконец-то уравнены в правах перед издателем и читателем. Все разрешено. Все приветствуется. Хочешь про Сталина — пожалуйста. Хочешь про эрогенные зоны — сколько угодно. Хочешь намекнуть на свою сокровенную религиозность или монархичность — да ради Бога!.. Запретные плоды один за другим перестают быть запретными и...

Вот тут-то как раз и начинаются серьезные — уже собственно литературные, творческие, а не цензурные — проблемы.

На испытаниях

Мы так, к несчастью, воспитаны: интересно прежде всего то, что запретно, престижно то, что не всякому разрешено, достойно уважения или по крайней мере зависти то, что пришлось либо «выбивать», либо «пробивать».

Так в жизни. Так и в литературе, которая, не успев еще толком отдышаться от цензурных теснений и административных преследований, втягивается сейчас в зону испытания всеразрешенностью. И уже видно, что это испытание окажется не слабее предыдущих.

Вот хоть тот же секс, чтобы уж закончить разговор о нем.

Знаю прозаика, который в каждое очередное свое сочинение вставлял несколько страниц, написанных с предельной, как ему казалось, раскованностью и рискованностью. Добродетельная наша цензура, само собою, не дремала — и скандальная слава отечественного порнографа, столь милая моему знакомцу, откладывалась до другого раза. В прошлом году этот «другой раз» наконец-то наступил, страницы, дышащие грехом и пороком, увидели свет — и что же? Да ничего. Мир не перевернулся, читатель даже не поежился, критика не заметила, а прозаик, к великому его неудовольствию, не проснулся знаменитым.

Увы ему; одно дело — «грешить бесстыдно, непробудно» на фоне всеобщего литературного ханжества, расцвечиваемом разве только «выразительными бедрами» секретарской прозы, и совсем другое — пробившись, тут же вступить в жесткую конкуренцию с «Ожогом», с «Тропиком Рака», с валом пошедшими на читателя «рискованностями» эмигрантской и андеграундной литературы. Намерения поскандалить, эпатировать начальство и публику оказывается в нынешних условиях мало, как мало оказывается и эффектной темы. Требуется еще что-то. Что? Либо «идти до упора», то есть сквернословить и любодействовать на печатных страницах так, как другим и не снилось,— но тут край близок, и шагнуть к нему — значит перестать быть писателем, превратиться в поставщика порнографических открыток «с разговорами».

Либо попытаться вплести эротические мотивы в художественную плоть произведения — так, чтобы и с откровенностью (если уж без нее кому-нибудь не обойтись) все было в порядке и художественность только выиграла, насытившись новыми тонами, звуками, красками.

Требуется, иными словами, искусство, и вот тут, развязавшись с локаль-

ным, хотя и занятным сюжетцем, пора сказать о главном — для писателей и читателей — завоевании последнего времени: лишь теперь, с разгосударствлением творчества и книгоиздания появляется возможность видеть в литературе литературу — и именно литературу.

Поспешу оговориться во избежание недоразумений: не надо записывать меня в эстеты, в стан ревнителей «чистого» искусства и, следовательно, гонителей «ангажированности», «идеологизированности» и вообще социальности. В стране, где едва ли не каждый день то тут, то там вспыхивают перестрелки, льется кровь, и речи быть не может об отрешении от «злобы дня», о добровольном отказе писателей от права высказываться напрямую, с гражданским пафосом. Хотя свободы уже декретированы, но и сегодня «поэт в России больше, чем поэт», и я убежден, что слово учительное, проповедническое, убеждающее, а не только исповедное, никуда не уйдет ни из литературы, ни из общественной жизни.

Скажу больше. Я вообще подозреваю, что модные нынче призывы «углубить художественность» ценою отказа от социальности, от идеологичности суть лукавство — в лучшем случае. В худшем же и наиболее распространенном — потрафление интересам той правящей силы, которая действительно предпочла бы, чтобы писатели, художники ушли «в красивые уюты», не путались бы, что называется, под ногами — мешая власти стрелять по безоружным, «брать под охрану» издательства, вводить повсеместно чрезвычайное положение, «приостанавливать» действие Закона о печати.

Тут, словом, все ясно. Но речь и в самом деле не об этом. А о том, что в условиях, когда (пока?) все можно безбоязненно высказывать и почти все безбоязненно напечатать, в оценке литературных произведений, в подходе к литературе перестают играть сколько-нибудь значимую роль так называемые привходящие обстоятельства.

Какие? Не будем вспоминать пору эзопова языка, вызванного необходимостью хоть как-то противостоять цензурному разбою, когда критик, разбирая творчество поэта, прозаика, драматурга «из лучших», вынужден, бывало, сознательно придерживать свое перо, ибо художественные образы, переведенные в понятийный план, начинали зачастую выглядеть форменной антисоветчиной, а их интерпретация могла быть понята и как медвежья услуга, если не вовсе донос. Не будем вспоминать и то, как жадно и как по большей части некритично прочитывались книги, просочившиеся из-за кордона, рукописи, проступившие из подполья,— легко ли, нравственно ли было рассуждать об их художественных изъянах, когда ты знал: каждая строка в этих текстах оплачена либо лагерными мытарствами, либо изгнанием, либо — в лучшем случае — выброшенностью автора из легальной литературной жизни?

Дело прошлое? Хорошо. Тогда обратимся к реальности близкой, полуторадвухлетней давности. Вспомним, как наиболее толковые, прогрессивнейшие наши критики (а с ними и лучшие, квалифицированнейшие читатели) будто палец к губам прикладывали — не спугнуть бы! — когда сперва поодиночке, а потом уже и лавиною пошли в массы книги, чье беспрепятственное издание и распространение на родине еще недавно и их авторам, и их читателям, и властям казалось абсолютно непредставимым.

Я и сейчас считаю, что тогда нужно было прикладывать палец к губам, нужно было расчищать журнальную площадь, места в издательских планах для тех, кто заждался, истомился в надеждах на встречу с широким кругом российских читателей,— может быть, даже и за счет сегодняшних, здешних, сравнительно благополучных поэтов, прозаиков, публицистов. Но теперь-то эта надобность снята временем!.. Запретные сочинения — на каждом прилавке, в каждом журнале — кроме разве только «Молодой гвардии», не желающей и в этом отношении поступаться ждановско-сусловскими принципами. Писатели-изгнанники месяцами гостят на родине, переходя из одних жарких объятий в другие; вчерашние литподпольщики месяцами гостят за границей, мелькают на теле- и киноэкранах, охотно выступают в советской печати... Все, слава Богу, разрешено. Все, слава Богу, общедоступно. Формальное, по крайней мере, единство русской литературы, слава Богу восстановлено и..

Радость узнавания, встречи, как это обычно и бывает, во многих, не столь уж редких случаях омрачилась печалью взаимного разочарования.

Оказалось, например, что кое-кто вырвался за границу или ушел в дворники, в истопники лишь затем, чтобы невозбранно материться и невозбранно проклинать «Софью Власьевну» с ее сатрапами,— а этого, согласитесь, маловато для собственно литературы — особенно в пору, когда ни за первое, ни за второе уже не потащат в кутузку. Выяснилось, что многое из вызванного эмоциями шестидесятых — начала восьмидесятых годов сейчас просто не воспринимается советской аудиторией или воспринимается, как говорят, с точностью до наоборот — так, скажем, произведения, дышащие эмигрантской ностальгией или гибельным ощущением прощания навсегда, вряд ли встретят в наши дни сочувственный отклик со стороны читателей, узнавших, что Лету — хвала перестройке! — можно, оказывается, переплыть и обратно. Стало наконец очевидным, что соотношение талантливых и неталантливых авторов в эмигрантской среде и в андеграунде примерно таково же, как и в Союзе писателей. И более того — сошлюсь на личный журнальный опыт,— теперь уже ясно, что небездарных, многообещающих, казалось бы, писателей среди тех, кто раньше не мог пробиться в

печать, увы, больше, чем рукописей, готовых к немедленной сдаче в набор, достойных внимания массовой аудитории.

Это с одной стороны. А с другой — теперь уже невозможно числиться в «непризнанных гениях» только на том основании, что ты, допустим, пишешь стихи без знаков препинания. Теперь уже смешно хвастаться шрамами, полученными в боях с непонятливыми редакторами и чересчур понятливыми цензорами. Теперь уже глупо выглядит защитное высокомерие, гревшее душу многих наших литподпольщиков: раз меня не печатают — значит я пишу хорошо, значит, я заведомо «выше по касте», ближе к Музе, чем те, кто печатается, увенчивается премиями и т. д. и т. п.

Теперь напечатают — если ты того стоишь. Теперь прочтут — если твои произведения выдержат сопоставление с чужими, если они не потеряются на неслыханно, небывало переменившемся сегодня литературном фоне...

Из литературы эмиграции и андеграунда ушло, словом, главное — энергия не только политического, мировоззренческого, но и эстетического сопротивления государственному насилию. Что ни говори, именно она держала запретные книги на особом режиме наибольшего читательского благоприятствования, заставляла, отложив в сторону любые советские издания, в первую очередь, часто в спешке и в страхе, за одну ночь, проглатывать практически любой не меченный Главлитом опус.

Я не знаю, как относятся к этой ситуации писатели-эмигранты, чьи литературные интересы всецело связаны с Родиной, а житейские — со странами проживания. Зато среди тех, чья творческая судьба сложилась в андеграунде, раздражение и досада уже сейчас заметны.

«Для меня как поэта,— признается ярко талантливый Виктор Кривулин,— перестройка — вещь убийственная, хотя внешне все складывается как нельзя более благополучно: мои стихи с 1985 года стали печатать на Родине (до этого — только за границей). Я, как зайчик, вступил в Союз писателей, и все такое прочее. Однако из моей жизни исчезло что-то очень важное. Может быть, чувство особой избранности, позволявшее мне и моим друзьям говорить свободно вопреки любой цензуре то, что мы считали необходимым. А сейчас у меня такое чувство, будто меня обокрали и по дешевке распродают краденое, то есть то, что было выстрадано, обдумано, выговорено».

Что делать? Перемена участи коснулась, как видим, не только добронравных, законопослушных членов Союза писателей, но и героев эстетического сопротивления. И похоже, что пути «Назад, в андеграунд!», как призывает сейчас газета «Гуманитарный фонд», уже нет, если, конечно, сознательно не вести себя в искусстве так, как в политике ведет себя Валерия Новодворская, то есть не нарываться преднамеренно на то, чтобы тебя непременно посадили, а тираж твоей книги непременно арестовали...

Факт остается фактом. Теперь уже и та литература, которая гордилась, а иногда и бравировала своей принципиальной невключенностью, неинтегрированностью в официозную культуру, была принципиально другой, становится на наших глазах компонентом, частью единого общекультурного организма. И недаром же многие ее сколько-нибудь видные представители охотно заняли вакантные места в сегодняшнем литературном истеблишменте: курсируют по дальним заграницам, раздают автографы, позируют перед объективами, устраивают презентации своих книг в самых престижных залах столицы. А кое-кто (и только это, на мой взгляд, действительно грустно) пишет теперь так, будто стремится завоевать интерес и доверие не столько своей страны, сколько узкого круга высоколобых западных гуманитариев — советологов и славистов...

Еще раз повторю для ясности: русская литература стала уже единой.

И — разной, к чему многие из читателей, из критиков, боюсь, пока еще не готовы.

В ином случае самые тонкие наши ценители не истощались бы так в спорах о том, какой в обозримом будущем явится русская литература: останется ли она «властительницей дум», движущей силой общественного прогресса и духовного возрождения, как испокон века было в нашем Отечестве, или превратится — на западный будто бы манер — в искусство для немногих, в нечто камерное, заведомо «немассовое» и «некассовое», элитарное.

Пустые это споры! В том-то и принципиальная для нас новизна, что литература отныне будет вот именно что разной, и каждый без затруднений найдет в ней свое: кто-то трибуну или, если хотите, амвон, кто-то университетскую лабораторию или аристократический салон, а кто-то и вовсе вид досуга, дающий возможность развлечься, расслабиться, скоротать вечерок за необременительным чтением...

Время, когда и самый прыткий детективщик внутренне натягивался, с тем чтобы его милицейская повесть непременно предстала «энциклопедией русской жизни», когда тайные эротоманы-сочинители вынуждены были прослаивать соблазнительные эпизоды производственными дивертисментами или рассуждениями о «нравственных исканиях нашего современника», когда и самые рафинированные авангардисты обязаны были адаптировать свои тексты, если хотели увидеть их напечатанными,— это время уже ушло.

Вернее, уходит, и я, например, предвижу в самом скором будущем появление журналов, которые будут различаться не идейными позициями, как ныне, а уровнем культурных запросов и направленностью специализированных интересов своей предполагаемой аудитории.

Ну что же, пусть каждый делает свое дело.

Главное — делать его хорошо, профессионально, с ощущением полной творческой свободы.

Вместо постскриптума

Эта статья — как, наверное, догадывается читатель — писалась не один день и даже не один месяц. Общественно-политический «фон» менялся с фантастической быстротой и фантастической непредсказуемостью. Автора кидало то в жар, то в холод. Тревоги вытеснялись надеждами, надежды — отчаянием, ужасом перед тем, что день грядущий нам готовит.

И — что скрывать? — не раз и не два приходила обезволивающая мысль: Боже ты мой, о чем это я здесь рассуждаю, о чем философствую? Какая свобода творчества, какое разгосударствление литературы, какие виды на будущее, когда танки рвут асфальт наших городов, когда каждый президентский Указ, каждое правительственное распоряжение сеют очередную панику в стране, когда предложение «приостановить» действие Закона о печати, перекрыть кислород гласности уже не только раздается с самых высоких трибун, но и осуществляется на практике?..

Призрак диктатуры уже сейчас — в декабре, когда статья готовилась к набору, в январе, когда пришла верстка мартовского номера,— бродит на просторах родины чудесной. Что же, думал я, произойдет у нас и с нами, когда «Перемена участи» увидит свет?..

Тем не менее статья перед вами... Почему? Вот маленькая притча. Когда-то давно я прочел о занятном социопсихологическом эксперименте. Людей спрашивали: что вы будете делать сегодня, если узнаете, что завтра — конец света? Ответы, конечно, были получены разные: одни из опрашиваемых намеревались немедленно напиться до остолбенения, другие — срочно покаяться в грехах, третьи — наоборот, пуститься во все тяжкие или упреждающе, по доброй воле уйти из жизни...

Экспериментаторы только головами качали: все эти ответы свидетельствовали о психической нестабильности опрашиваемых. На стабильность психики, на душевное здоровье, с ученой точки зрения, мог указать только один ответ: если завтра конец света, то сегодня я буду делать то, что и без этого знания намеревался делать.

Мораль сей басни ясна. И хотя само упоминание о стабильности психики в наши дни покажется, может быть, трагикомически неуместным, я тем не менее убежден:

надо волноваться, уповать, впадать в отчаяние, негодовать, снова уповать на лучшее.

И — делать свое дело.

Так, как ты умеешь его делать.

На пределе своих возможностей.

Советую прочитать

АЛЛА МАРЧЕНКО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ «ВРЕМЯ И СУДЬБЫ»

Вы, наверное, уже обратили внимание на плотные, аскетические, в черно-бурое одетые томики, проштемпелеванные казенной печатью: «Время. Судьбы. Москва. «Книга»? Серии от роду — четвертый год. За этот срок издано одиннадцать наименований; начало — **Я. Рапопорт. «На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года»** (1988)[1].

Некоторые из них уже были отчасти известны «узкому» читателю по заграничным или самиздатовским публикациям (**«Записки об Анне Ахматовой. Книга I. 1938—1941» Лидии Чуковской**, 1989; **«Воспоминания» Н. Я. Мандельштам**, 1989). Другие печатались в советской периодике либо полностью (**К. М. Симонов. «Глазами человека моего поколения»**, 1990), либо «крупноблочно» (**Л. Э. Разгон. «Непридуманное»**, 1989). Но большинство, предполагаю, учитывая внезапно резкое падение спроса на «лагерные страдания», еще долго бы не увидело света, если бы в издательстве «Книга» не проявили необходимой для создания такой библиотеки инициативы и настойчивости, можно сказать, дальнозоркости. Если б не понимали: мемуарная литература о времени репрессий — наиважнейшая часть общечеловеческой памяти и к тому же «уходящий объект».

Однако серия «Время и судьбы» не совсем мемуары, в классическом понимании вечного сего жанра. И бремя нашего беспощадного времени, и судьбы, им отформованные и укороченные, таковы, что многие герои «не успели» написать о себе. За них, посмертно, сделали это друзья-единомышленники. Так, вместо Гроссмана о его существовании на земле свидетельствуют Семен Липкин и Анна Берзер (**Семен Липкин. «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», Анна Берзер. «Прощание»**, 1990). На месте издателей я бы прибавила к умному этому дуэту еще и опубликованный года два назад очерк Бориса Ямпольского («ДН», 1989, № 2). По-моему, «Последняя встреча с Василием Гроссманом» не только замечательный по тонкости и деликатности нюансировок литпортрет, но еще и блистательный образец мемуарной прозы.

Не является в буквальном смысле мемуарной и созданная **Р. Орловой и Л. Копелевым книга «Мы жили в Москве: 1956—1980»** (1990). Скорее это летопись литературной жизни Москвы за четверть века, крайне необходимая, на мой взгляд, общественному самосознанию. Привыкнув жить, по утрам забывая свои вечера, с короткой памятью, каждое поколение — от нулевой отметки, мы утрачиваем чувство собственной, малой, истории. Р. Орлова и Л. Копелев это отмирающее чувство реанимируют. О своих же злоключениях говорят скупо, ровно столько, сколько требуется для того, чтобы отнять у забвения то, чему свидетелями были.

Помимо хроники (в лицах, фактах и положениях), в книге (часть вторая) — девять коротких, но емких биографий-характеристик «соотечественников». Среди них и знаменитые (Ахматова, Сахаров, Чуковский, П. Григоренко), я малоизвестные широкой публике (Л. Зонина, К. Богатырев), а то и вовсе неизвестные (Ю. Маслов). Но все они для Орловой и Копелева не попутчики, а «милые спутники», что «жизнь своим явленьем осветили», ежели вспомнить стих Вас. Жуковского.

Есть и еще одно отличительное, редкостное в теперешних скоропоспешных обстоятельствах, свойство у мемуарной серии «Книги»: она не выпускает «голые тексты». К примеру, «Записки об Анне Ахматовой» Чуковской. Для первого советского издания Лидия Корнеевна представила «дополнительный разъясняющий материал» — «факты, люди, книги, документы». Включила в состав тома и стихи Ахматовой, без которых, по убеждению автора, вполне справедливому, многие страницы «Записок...» темны и непонятны.

Сложна по составу и **«Цена метафоры или Преступление и наказание Синявского и Даниэля»** (1989).

Не получив доступа к материалам суда и следствия, составитель Е. Великанова собрала сопутствующие закрытому Делу документы («подсудимые произведения», письма писателей в защиту Синявского и Даниэля, газетные статьи, разоблачающие «отщепенцев», воспоминания и т. д.). Сложен-

[1] Ждут бумаги и свободных издательских мощностей и еще три рукописи: «Показания» Анатолия Марченко, «История моего заключения» Н. А. Заболоцкого и «Дело Вавилова» Марка Поповского.

ное — умножилось, образовав мозаичный портрет общественного состояния, для историков любопытный, для нас, очевидцев, печальный. Но тут уж ничего не поделаешь: так это было.

Даже мемуары **Алексея Каплера**, почти дожившего до поры, когда стало можно хотя бы думать о непозволительном, дополнены воспоминаниями о нем (Ю. Друнина, М. Галлай, В. Фрид, Б. Метальников) в книге **«Я» и «Мы»: Взлеты и падения рыцаря искусства»** (1990).

Но нужны ли мемуарные приложения к собственно мемуарам? В свое время Андрей Сахаров, предваряя «Воспоминания», так объяснял одну из главных причин, побудивших его взяться за этот труд:

«...При широком интересе к моей личности очень многое из того, что пишется обо мне, о моей жизни, ее обстоятельствах, о моих близких,— часто бывает весьма неточно, я стремлюсь рассказать вернее».

Слов нет, редкий мемуарист не стремится к подобной верности, и все-таки далеко не всякий и не всегда может, смеет, умеет, наконец, рассказать о себе то, что людям со стороны, на расстоянии, виднее. Так и с Каплером. И он сам, и Юлия Друнина, поэт и жена, для которой Алексей Яковлевич был и остался «самым умным, самым добрым и прекрасным человеком», хотя о многом и по разным причинам все-таки промолчали. Скажем, не раскрыли «секрета» каплеровского обаяния — сделал это один из его «шапочных» знакомых:

«...Через несколько минут... он обращался с нами так, как будто мы сто лет знаем друг друга... Вот эта общительность — или, как говорят по-ученому,— коммуникабельность, бросалась в глаза... как одна из самых ярких черт Алексея Яковлевича. Дар природы?.. Да, конечно, но вместе с тем это еще являло собой и высокое умение, выработанное хорошим воспитанием, у следующих поколений, увы, почти уже не встречающееся. Он блестяще владел искусством общения, умел быть необычайно любезным, внимательным к собеседнику, никогда не навязывал ему своего я, а наоборот — весь был направлен на то, чтобы воспринимать говорящего»

Я позволила себе процитировать столь пространно вроде бы частное наблюдение Б. Метальникова потому, что оно почти совпало с образом Алексея Каплера, какой сложился лично у меня в ту пору, когда кинодраматург вел по ТВ популярную «Кинопанораму». Это еще и прекрасная рецензия на его мемуары. Каплер и здесь, в «эгоцентрическом» жанре, весь «направлен» не на себя, а на партнера по сюжету жизни, кем бы ни был партнер — легендарной актрисой Верой Холодной («Загадка королевы экрана») или безымянным сокамерником («Тюремный триптих»).

Не ограничилась «Книга» элементарным переизданием и в случае с «Воспоминаниями» Надежды Мандельштам. К достаточно известному тексту стараниями издателей присовокуплены: обширный очерк Ник. Панченко о Надежде Яковлевне, стихотворения Мандельштама, указатель имен и, конечно же, примечания (А. А. Морозов).

Обо всем этом я упоминаю не из педантизма, а потому, что слишком хорошо знаю, как легко в первобытно-коммерческую эпоху снимать сливки с не нами надоенного молока и как трудно не спешить и делать что надо, дабы удержаться на уровне культурного издательского дела.

Есть у серии «Время и судьбы» и еще один важный оттенок, отличающий серию от схожих по видимости издательских начинаний. Лучше всего об этой специфической тонкости, об этой как бы скрытой («за сценой») установке сказал в предисловии к томику **Я. Харона «Злые песни Гийома дю Вентре»** (1989) А. К. Симонов:

«Когда-нибудь, не при нашей с вами жизни... человечество преодолеет распри и в новом, удивительном единстве своем захочет заново прочесть историю, избрав в качестве оглавления не хронологическую цепь войн и монархов, катаклизмов и классовых битв, а... череду вершин — деяний человеческого духа... И построит это будущее человечество музей... выставит... самые гордые свидетельства того, как вопреки всем мерзостям зла и вражды, сытой тупости и голодного отупения, сквозь все ночи мира светил людям огонь добра, братства и творческой воли... В разделе рукописей, между дневниками Анны Франк и... листами «Мастера и Маргариты», будет лежать небольшая, отпечатанная на розоватой синьке книжка «Злые песни Гийома дю Вентре». В таком музее—хранилище светоносных образцов творческой воли — могли бы, пожалуй, оказаться многие из изданий рецензируемой серии. И прежде всего наверняка Житие калужского крестьянина Василия Васильевича Янова, чье хождение по мукам впервые опубликовано «Книгой» в сборнике **«Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910—1930-е годы»** (1989).

«...Его жизнь,— пишет о Василии Янове составитель книги А. Рогинский,— представляла собой последовательное, бескомпромиссное и, пожалуй, абсолютно точное воплощение этических требований Толстого, включая самые суровые».

Но вернемся к дю Вентре, вернее, к его «породителям» — Якову Харону и Юрию Вейнерту.

По исходно-основной профессии Яков Харон был «киношником», звукооператором мирового класса, а по складу ума и таланта — генератором идей, а также мастером на все руки, за что, видимо, и угодил в совконцлагерь, причем дважды, сроком на восемнадцать лет — уж очень «торчал» и «высовывался». С его солагерником и соавтором Юрием Вейнертом судьба поступила еще жестче: его «взяли» за любовь, сочтя интимную телеграмму хитроумной шпионской шифровкой. Впрочем, ссылать Юрия начали еще в его школьные годы. Вейнерты-старшие были потомственными интеллигентами, следовательно, нежелательным, подозрительным «контингентом». Но в 1937-м ссылкой-высылкой не кончилось, на этот раз вышел ГУЛАГ.

ГУЛАГ их и познакомил и подружил — Харона с Вейнертом, и плодом этой дружбы, сложения двух творческих воль, двух источников энергии сопротивления силам зла и явились Сто сонетов никогда не существовавшего парижанина, поэта-воина и «современника» Варфоломеевской ночи — Гийома дю Вентре.

Вернувшись в Москву, на волю, в 1954-м, Харон (уже один, Вейнерт погиб в неволе в 1951-м) отшлифовал сонеты, сочинил мистифицированную биографию незаконнорожденного француза, а также реальный комментарий к Ста сонетам — «для восстановления истины об интеллигентах в тех условиях».

Автор предисловия, литератор и сценарист А. К. Симонов, впервые услышавший о дю Вентре еще в младшем школьном возрасте, оказался после смерти Харона (в 1973-м, от лагерного туберкулеза) как бы душеприказчиком осиротевших рукописей. И когда время вдруг переломилось, естественно, предложил их знакомым редакторам самых прогрессивных журналов, а те, естественно, отказались, испугавшись экстравагантности «заявки». А вот «Книга» не испугалась, приняла к печати, хотя, может быть, просто сработал инстинкт самосохранения: после публикации мемуаров Константина Симонова серия была как бы на распутье; чтобы найти свой ракурс, необходимо было свернуть с общей для всех — столбовой дороги. И, думаю, сделала правильный выбор: необычная история трех поэтов проявляет, высвечивает необычность серии — и ее место в массиве литературного Мемориала, и ее особую идею, ибо идеи — создания органические, в том числе и идеи сугубо издательские.

Положите рядком и читайте, сравнивая мысленно, скажем, то, что вспоминает о сыне Ядвига Адольфовна Вейнерт, с тем, что рассказывает Василий Янов. Впечатление такое, что эти никогда не встречавшиеся, рожденные в разные годы и в разных сословиях люди — потомственный интеллигент и потомственный крестьянин — сделаны из одного и того же «человеческого материала», что их светоносность (пассионарность?) изначальна, врожденна и неистребима даже там, где, казалось бы, невозможна просто жизнь, жизнь как форма существования белковых тел...

Лев Гумилев в одной из недавно опубликованных бесед с писателем-историком и фольклористом Д. Балашовым на вопрос корреспондента новорожденного толстого журнала «Согласие» (1990, № 1) — что же нас ждет впереди? — ответил, исходя из своей «теории пассионарности» (уже известной подписчикам и читателям «Знамени»):

«...Чтобы выжить всем,— по крайней мере нужно дать жить и работать тем пассионариям, которые у нас еще сохранились».

Добавлю: и не забывать тех, кому время и судьба не дали до-жить и до-работать.

Не вспоминать — от случая к случаю, к дате — в разгар кампании Покаяния, а помнить, ибо

Между «помнить» и «вспомнить», други,
Расстояние как от Луги
До страны атласных баут.

Кстати, о Луге и об этом «темном» трехстишии из ахматовской «Поэмы без героя». Ни один из доступных мне комментариев к «Поэме...» не разъясняет, какие же «сложные и глубокие вещи» таит-прячет этот «топоним». А вот воспоминания матери Юрия Вейнерта его, похоже, рассекречивают:

«...Прожив некоторое время дома (в Ленинграде, после очередной ссылки.— А. М.), Юра должен был куда-то уехать. Хотелось поближе, и мы решили отправить его за 100 км, в Малую Вишеру. Но нужно было там найти работу, а это непросто, когда масса амнистированных ленинградцев (дело происходит в 1935-м.— А. М.), семьями связанных с нашим городом, ринулись в Лугу или Малую Вишеру... Маленький городишко, скорее село, деревянные домики, грязь, немощеные дороги, и на каждом шагу — то научный сотрудник Эрмитажа, то известный историк-архивист, то профессор университета — «бывшие»...

Вот этой «мертвой» гражданской смерти тех, кто заживо погребен в «лугах», мертвой, потому что «не названа» и «не известна», Анна Ахматова как бы противопоставляет смерть живую — «участвующую в жизни» (если воспользоваться мыслью и терминологией Мераба Мамардашвили, «Родник», 1989, № 11). Отсюда и образ «страны атласных баут», то бишь Италии, где «ритуал памяти и боли» выполняется полностью, когда даже на народных Венецианских карнавалах фигура смерти, закрыв лицо атласным капюшоном, наравне с прочими масками участвует в плясках жизни. Когда акт ухода из жизни — потому что оплакан принародно — становится актом «культурного строительства».

Об этой стороне дела также не худо бы помнить, и в первую очередь нам, читателям, ибо ныне от нас с вами, а не от плохих властей и алчных издателей, от нашего хотения-веления зависит, воскреснут ли павшие мертвой смертью или так и останутся в «чертоге теней».

Из почты «Знамени»

Книги Г. В. Юдина в Библиотеке Конгресса

Американцы в большинстве своем ничего не слышали о «потемкинских деревнях», и оттого крайне сложно им точно объяснить значение емкого русского слова — «очковтирательство» — другая планета, другая «весомость». В Америке простое слово, иногда подпись, нередко лишь рукопожатие все еще решают исход дела, ворочают капиталом. Честность и правдивость американцев вошли в поговорки — об этом хорошо знают россияне. Потому и верят по сей день советские книголюбы, специалисты по литературе всех уровней, от критиков до академиков, что книжное собрание Г. В. Юдина все еще хранится в Библиотеке Конгресса. Приезжающим с Востока иностранным гостям показывают в этом книгохранилище десятки, иногда сотни книг юдинского собрания, рассказывают, ничтоже сумняшеся, об этом кладезе знаний всевозможные небылицы, гонят этакую американскую туфту, и советские специалисты возвращаются в Россию с радужной уверенностью, что русская жемчужина — библиотека Юдина — уцелела в своем первозданном виде, что, быть может, когда-нибудь она вернется домой. Возвращаться, однако, нечему: библиотека как единое целое погибла, и, хотя пресловутый пепел от нее и остался, ее уже не возродить.

В 1980 году вышла в свет прекрасно изданная книга Чарльза Гудрама — «Сокровища Библиотеки Конгресса» (Charles A. Goodrum, Treasures of the Library of Congress; New York, H. N. Abrams, 1980, 318 p.). В этом официальном издании русские раритеты полностью игнорированы, как будто их и не было в ведущем книгохранилище великой страны. Естественно, и имя Г. В. Юдина в этой публикации предано забвению. Правда, почти двадцатью годами ранее, в 1961 году, Библиотека Конгресса выпустила «Русскую книгу». Это был составленный Татьяной Фесенко каталог русских книг XVIII века (Eighteenth Century Russian Publications in the Library of Congress. Prepared by Tatiana Fesenko, Washington, 1961, 157 p.). И сегодня это раритет из раритетов. Краткая история публикации такова. Как-то в конце 50-х годов Татьяна Павловна Фесенко чисто случайно оказалась в подвальных помещениях Библиотеки Конгресса, где она в то время работала. Ведомая какой-то интуицией, она обратила внимание на несколько ящиков с книгами, предназначенных к уничтожению за ненадобностью,— освобождалось место для новых поступлений. Каковы же были горечь и досада Т. П. Фесенко, когда она заглянула в один из них: книги оказались редчайшими, многие из собрания Г. В. Юдина. Отважному библиотекарю с трудом удалось убедить начальство, что книги XVIII века необходимо сохранить. Только по чистой случайности 1316 книг и журналов избежали гильотины, и на свет появился каталог этого бесценного собрания Т. Фесенко, который в значительной степени дополняет и книгу В. Сопикова «Опыт российской библиографии» (1904), и труд Ю. Битовта «Редкие русские книги и летучие издания XVIII века» (1905), и уникальную книгу «Русские книжные редкости. Опыт библиографического описания редких книг с указанием их ценности» (1902).

Юдинских же книг в Библиотеке Конгресса было когда-то более восьмидесяти тысяч! Где они? Тут-то мы и подходим к интереснейшему детективному сюжету, правда, с трагическим концом.

Геннадий Васильевич Юдин родился в 1840 году в Сибири. Родился, что называется, в рубашке: его природное трудолюбие и любознательность были вознаграждены Всевышним — дважды фортуна улыбнулась ему: по лотерейным билетам он выиграл крупные для тех времен суммы. Сначала для Юдина оказалась счастливой лотерея банкира Г. Блока: он выиграл 75 000 рублей. Билет Второго государственного внутреннего займа оказался и того счастливее: выигрыш в 200 000 рублей — двести тысяч не шоломалейховских, а реальных банкнот... Геннадий Васильевич, хотя очень любил путешествовать и на сей раз соблазн был велик, капиталы свои использовал с толком, приумножая их. И лишь одной своей слабости он потворствовал постоянно. Это были книги, его книжное собрание. Оно увеличивалось год от года. Друзья и сотрудники Юдина помогали ему, покупая для него русские книги в самых отдаленных уголках планеты. Для своей библиотеки он построил в Красноярске на берегу Енисея деревянное здание. Дом-библиотека был воспроизведен на экслибрисе коллекционера.

В центре его — контурное изображение Царь-колокола, на нем — храм Василия Блаженного, с левой стороны от которого — портрет старика с библейской бородой, справа — здание самой библиотеки. В верхней части экслибриса дата: 1907 — год поступления собрания Юдина в Библиотеку Конгресса. Внизу надпись: «Домашняя библиотека Г. В. Юдина». Позднее этот книжный знак был заменен американским, более утилитарным: цифра 1800 в круге над надписью «The Library of Congress», изображение орла и, чтобы не было сомнений, все так же по-английски: «Yudin Collection».

Каких только книг не было в библиотеке красноярского купца Юдина, каких раритетов! Бесценные книги петровского времени, первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» (знаем мы, что эта книга сохранилась в единичных экземплярах), «Словарь русских суеверий», книги, изданные Новиковым, книги Ломоносова, три экземпляра первой русской газеты «Ведомости»... Всего не перечислить. Расскажу о нескольких книгах из собрания, которые попали ко мне.

Это знаменитый альманах «Новоселье», изданный Смирдиным в 1833 году в связи с переездом его книжного магазина на Невский проспект в Петербурге. Кстати, в этом альманахе впервые опубликован пушкинский «Домик в Коломне». Украшает эту историческую книгу гравюра Галактионова, выполненная по рисунку Брюллова: новоселье у Смирдина.

Это первый и единственный номер альманаха «Русская Талия», выпущенный в 1825 году Фаддеем Булгариным совместно с Н. Гречем. Книга предназначалась ценителям отечественной сцены. Именно здесь впервые был опубликован первый акт бессмертной комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Между прочим, несмотря на «антагонизм» между Булгариным и Пушкиным, первый все-таки посчитал нужным процитировать великого поэта в своем альманахе, касаясь сценического мастерства кудесницы Истоминой.

Это и редкая книга «Польская революционная обедня». Она ценна прежде всего тем, что на ее титульном листе — автограф самого Г. В. Юдина. Особенно редка работа В. Снегирева «Лубочные картинки русского народа в московском мире». Трудно сейчас найти и экслибрисы графа С. Г. Строганова. Сергей Григорьевич подарил Г. В. Юдину немало ценных книг из своей личной библиотеки. Как трудно, например, найти сейчас и тоненький сборничек Евгения Велизария «Стихотворения», изданный в Одессе в 1892 году. Еще сложнее, если вообще возможно, раздобыть статью О. Клера — извлечение из газеты «Урал» за № 136 и № 197 от 1897 года — «Предварительная заметка о мамонтовых костях, найденных у деревни Нижне-Пуртовой Баланрской волости, Камышловского уезда»...

Читатель, наверное, уже заметил, что я все говорю и говорю о книгах Г. В. Юдина, которые оказались у меня (в моем собрании их почти шестьдесят). Каким же образом эти бесценные раритеты попали ко мне?

Перед тем как ответить на поставленный вопрос, хочу «предоставить слово» Татьяне Павловне Фесенко. В своей интереснейшей статье «Русские сокровища Библиотеки Конгресса» (сборник «Отклики», Нью-Хейвен, 1986) она, в частности, писала: «Юдин старел... самоубийство сына нанесло ему тяжелый удар. Он понимал, что жизнь подходит к концу, и мысли о том, что после его смерти библиотека... без хозяина распылится по отдельным собирателям, не оставляли его. После долгих колебаний и душевной борьбы он решает продать свое собрание, а в 1898 году в Томске.., появляется объявление: «Библиотека предназначена к продаже, но не иначе, как в одни руки: библиофилу, библиотеке в большом городе или учебному учреждению». На объявление никто не откликнулся. Юдин продолжал помещать объявления в русских изданиях... все более снижая первоначально указанную цену. Но охотников при поставленных условиях так и не находится... И вот объявления Юдина о продаже книжного собрания с непременным условием сохранения его целостности появляются в крупных заграничных газетах. В «Washington Post» объявление было напечатано 16 февраля 1903 года и сразу привлекло внимание заведующего Славянским отделением Библиотеки Конгресса А. В. Бабина, знатока русской книги. Не смущаясь далекой дорогой, осенью 1903 года Бабин отправляется в путь и прибывает в октябре в Красноярск, где юдинское собрание производит на него еще более сильное впечатление, нежели это можно было предположить по объявлению... К тому же в январе 1904 года Г. В. Юдин получает письмо от Герберта Пэтнама, в котором тот заверяет, что собрание владельца красноярского книгохранилища стало бы известно под именем его собирателя. В ответ на это письмо 8 февраля 1904 года Юдин официально предлагает американцам купить библиотеку, хотя окончательное соглашение было подписано только 3 ноября 1906 года... Он снижает цену, назначенную им руководителям американской библиотеки, но ставит три непременных условия: **его книги должны быть помещены в отдельном зале; все непереплетенные книги должны быть переплетены и на всех книгах должен стоять его книжный знак.** Вначале эти условия действительно были строго соблюдены, но после второй мировой войны книги были **распылены по разным полкам».**

Это интереснейшее сообщение нуждается лишь в некотором статистическом уточнении. Во-первых, библиотека Г. В. Юдина была продана Библиотеке Конгресса за смехотворно мизерную цену — 40 000 долларов, что составило всего треть затрат самого собирателя. Поэтому совершенно права Т. П. Фесенко, которая считает, что это не продажа, а скорее дар. Во-вторых, тут интересно вспомнить и отчет директора Библиотеки Конгресса Г. Пэтнама: «...и вопрос о перевозке библиотеки в Вашингтон был вопросом серьезным. Понадобилось более 500 ящиков, которые были заказаны. Направление было избрано через Европейскую Россию и Германию. Три месяца пошло на изготовление ящиков и укладку книг. Перевозка началась 6-го февраля и 6-го апреля коллекция благополучно была доставлена к дверям нашей библиотеки. Такая перевозка не была бы возможна без содействия русских властей, которые, по просьбе нашего посланника, очистили железнодорожную линию и дали поезду открытый путь». В-третьих, добавлю от себя, Г. В. Юдин свято верил в то, что целостность его собрания будет сохранена. Но через сорок с лишним лет американцы забыли о своем слове: часть книг растворилась в громаднейшем библиотечном фонде, часть была обработана, а часть, причем значительная, была разворована, распродана, переработана на макулатуру, уничтожена. Любопытно отметить также, что два государственных деятеля высоко ценили юдинскую библиотеку: В. И. Ленин, который пользовался этим книгохранилищем, и американский президент Теодор Рузвельт. В письме к Герберту Пэтнаму от 16 октября 1906 года президент выразил свое удовлетворение в связи с приобретением Библиотекой Конгресса книжной сокровищницы Юдина: «Этим поступком Вы обеспечили Библиотеке Конгресса ведущее место в этой области не только в Соединенных Штатах, но, насколько я могу судить, и где бы то ни было за пределами России...»

Американская жизнь юдинского собрания была, однако, коротка. Годы «холодной войны» наложили своеобразный отпечаток на умы американских чиновников. Бюрократы от книг решили просто ликвидировать юдинскую библиотеку за ненадобностью. Знали они, что за соблюдением условий соглашения с Г. В. Юдиным никто уже не проследит, помнили, что во всей России так никто и не проявил интереса к этой библиотеке.

Т. П. Фесенко частично права, утверждая, что «книги были распылены по разным полкам». Если бы только «распылены» по полкам, не обладать бы мне сегодня таким собранием книг Юдина! У русской писательницы Аллы Кторовой, насколько мне известно, юдинских книг около тридцати. Знаю я и другие имена книжников, у которых по нескольку реликвий из юдинского книгохранилища. Книжные «следопыты» могут найти юдинские книги на стеллажах библиотек Йельского, Гарвардского, Колумбийского и других университетов Америки. До сих пор можно наткнуться на них и в книжных лавчонках американской глубинки.

Книги безмолвны, но безмолвствовали в свое время и библиотекари, пожалуй, все, кроме Татьяны Павловны Фесенко. Но и она не называет имен конкретных виновников, очевидно, понимая, что бесценному памятнику русской культуры этим не поможешь. Некоторые грузовики с юдинскими книгами попадали сразу же на переработку, некоторые пробивались к американским книготорговцам, которым нравился лишь экслибрис бывшего владельца. Двадцать два года тому назад, когда только начинался мой эмигрантский путь в Вашингтоне, Виктор Камкин, один из пионеров-собирателей русской зарубежной книги, предложил мне соблазнительную покупку — сто книг из юдинского собрания всего за двести долларов. На беду, у меня тогда не было этих денег. Уже значительно позднее то тут, то там приобретал я книги из библиотеки Г. В. Юдина. Недавно владелец магазина книги на Аляске сообщил мне, что дешево уступит одну юдинскую книгу: торговаться не пришлось — за мизерную сумму я приобрел альманах «Новоселье» — золото, увы, все еще валяется на улицах американских городов.

Известно мне, что Алла Кторова старалась передать в дар Библиотеке им. Ленина свои книги из юдинского собрания. Из этой затеи ничего дельного не вышло: она столкнулась с непониманием и бездушием чиновника, на сей раз советского. Мой опыт тоже печален. Один, например, разъезжающий по свету рецензент «Книжного обозрения» обещал пристроить коллекцию где-нибудь в Москве. Когда казалось, что основные пункты договоренности были достигнуты, последовал меркантильный финал: «Сорок книг передадим в дар, а двадцать продадим!» Над оставшимися «в живых» книгами Геннадия Васильевича Юдина все еще тяготеет какой-то жестокий рок.

Э. Штейн

США

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 08.01.91. Подписано к печати 01.02.91. Формат $70 \times 108^{1}/_{16}$.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 426 000 экз. Заказ № 61. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.